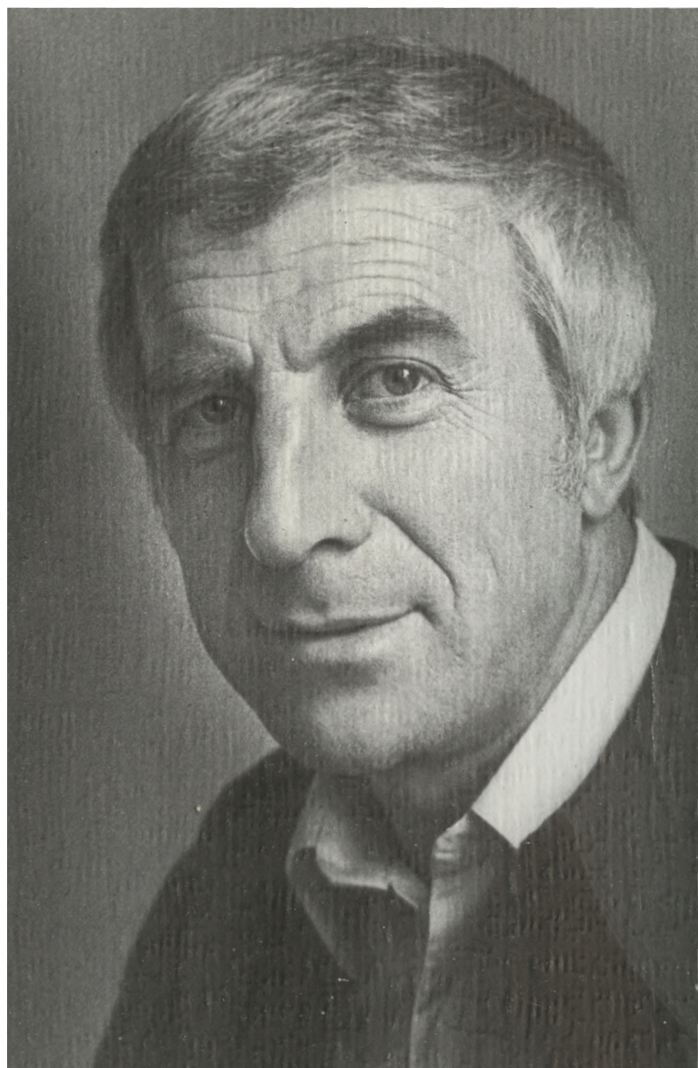


Михаил
Глинка



Дождливый
май

Михаил Глинка • Дождливый май



Михаил Глинка



Дождливый
май

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЛЕНИЗДАТ • 1986

84.3(2)7

Г54

Г $\frac{4702010200-075}{M171(03)-86}$ 202-86

© Состав, оформление, Лениздат, 1986

Горизонт чист

ПОВЕСТЬ

Вокруг штаба

Вместе со мной ждал, когда его примут, поджарый старший офицер. У адмирала шло совещание.

— Простите, товарищ капитан первого ранга,— сказал я,— вы не знаете, надолго там? Или, может...

Он пересилил себя и глянул в мою сторону.

— Туго со временем?— спросил он.— Поплачьтесь адмиралу. Разыщет.

— Вы меня неверно поняли,— сказал я.— Я просто думал...

— Не имел в виду вас понимать, старший лейтенант.

Он сделал шаг к окну и оказался ко мне спиной.

Чем ближе к северу, тем все становилось жестче. Когда он упомянул мое сегодняшнее звание, я показался себе ряженым, хотя когда-то носил такую форму ежедневно, и уж что-что, а носить ее умел. Сейчас на мне было то, что дают стажерам в экипаже. Китель жал в ребрах, погоны торчали, а брюки я собрал ремнем на поясе, как завязывают мешок. Штаны эти были как кошмарный сон. После дождя они, должно быть, пахли грибами.

Вот как бывает, когда ты решил посвятить себя флоту на... три месяца. Говори с моряками по душам, но живи в таких брюках. Тебе наговорят. Можешь не сомневаться.

Не напишу я ни повестей, ни рассказов...

Из дверей кабинета вышли человек восемь. То были командиры лодок. Понималось сие и без того, чтобы разглядывать их нагрудные знаки. С тех пор как родилась эта профессия, их всегда узнавали. Немцы, народ-барометр на все военное, еще во время первой мировой завели в ресторанах обычай вставать, когда входил командир-подводник. Считалось, что подводника нельзя не узнать. Даже издали.

Командиры ушли по коридору.

— Прошу,— сказал адъютант.

Поджарый двинулся к двери.

— Извините, товарищ капитан первого ранга,— сказал адъютант.— Вот товарищ корреспондент из журнала. Назначено.

Лицо поджарого повернулось ко мне, и во взгляде его отразилось полное отсутствие интереса ко мне лично и живое любопытство к представителю разновидности.

— Вот оно что...— собрав губы в трубочку, сказал он.— Ну как же, как же. Им важней...

Я вошел в кабинет, ощущая всей спиной, что не только форма, но и кожа неладно на мне сидит. Вот едешь в такую командировку и поешь себе, как тетерев, что она кому-то, кроме тебя, нужна. Потому что писать о морях поучительно. Потому что это важно для молодежи. Это важно самим морякам. Это им просто необходимо... Ты даже готов уважать себя за такое самоотвержение. А потом тебе в спину смотрит поджарый каперанг. Нетрудно представить себе, что он думает.

Чувствуя спиной его взгляд, я шагнул в кабинет.

У контр-адмирала были глаза рыси. Радостные, коварные, бесстрашные.

— Вот что,— сказал он, оглядев меня.— Вот что! Так дело не пойдет!

Он прошелся обдумывая.

— Поезжайте обратно в экипаж,— сказал он.— Замшевый пиджак имеется? Не взяли? Худо. Яркий галстук с большим узлом? Французский? Можно. В таких дозах их идеология нам не страшна. В базу писатель приехал? Или кто? Траченных временем старших лейтенантов мы сами отыщем... Если понадобятся. Но они обычно не нужны. Нужны юные лейтенанты и молодые командиры лодок. Офицеры с максимальным, так сказать, моторесурсом. Это, кстати, одна из тем. И специфик. И особенностей. Это есть сегодняшний флот. А вы... писатель. И пусть все знают, что вы здесь. И пусть вы это знаете. И пусть здешний народ знает, что вы о нем собираетесь писать. Ваша профессия редка и значительна. Какую бы дребедень вы ни писали.

Он был так похож на рысь, что мне казалось, будто я вижу над его ушами светлые серые кисточки.

— Через неделю — в море,— сказал он.— А сейчас поезжайте обратно в экипаж, сдайте все это камуфлю. Пусть вам вернут вашу бриаровскую трубку, заморский

шарф и бриллиантовые запонки. Нам нужен писатель. Алексей Толстой нам нужен, Эренбург, Соболев. Флот у нас такой, что нам ни к чему селькор в жеваном кителе. Пока вы в таком виде, я и говорю с вами как со снабженцем. Прошу простить. Привычка.

Он нажал на кнопку. В моих ответах пока не нуждались. Вошел адъютант.

— ГАЗ-69 в распоряжение товарища. Адмиральскую каюту на плавказарме. Пропуск.

— Есть,— сказал адъютант.

Когда я выходил из штаба, мне навстречу на лестнице попался одутловатый черноволосый капдва. Мы разминулись, прошли по нескольку ступенек: он — вверх, я — вниз, и остановились.

— Здорово, — первым сказал он.

Я помнил его лицо, походку, голос. Помнил даже, что у него было туго с математикой. И вообще он тогда не блистал. Я не помнил только, кто он. Он не помнил, кто я.

— Ты зачем к нам? — спросил он.

— Да так.

— Надолго?

— Месяца на три.

— А где сейчас?

Обычайнейший вопрос, обязательный элемент любого разговора с одноклассником. Вначале этот вопрос, а в конце разговора странное: «Передавай всем приветы». Кому? Какие приветы? От этих слов на меня всегда веет безнадежно забытым временем, когда мы были готовы улыбаться каждому, не различая, стоит ли.

— Где ты сейчас? — повторил он.

Я сказал, что приехал от журнала.

— От «Кораблестроения»?

— Нет, от литературного.

— Да ну? Послушай, ты даешь. А что это ты в таком зипуне? И тут, — он кивнул на погоны, — недобор? Разжаловали?

— Это временно. Я не служу.

Мы не виделись двенадцать лет.

— А-а... — сказал он. — Не служишь. На переподготовку, значит?

— Да нет. Я же тебе объясняю. Корреспондентом.

В его черных глазах что-то мелькнуло и остановилось.

— Ты у нас не первый,— сказал он.— С нашего курса уже есть один. Писатель...

— Кто?

— Да этот. Господи... Знаешь ты его...— Он щелкнул пальцами и назвал мою фамилию.

Мы помолчали.

— А ты читал что-нибудь у него?— спросил я.

— Да раза два.

— Ну и как?

— Детали к месту швыряет. Вообще читается. Но только, думаешь, ухватил, а он... То ли побоялся, то ли не в силах. Но вообще-то ждем. Лелеем надежду. А ты что, не читал?

— Читал.

— Ну и что?

— Не знаю.

— Как твоя фамилия?— спросил он вдруг прямо.

Я ответил.

— Знаешь,— сказал он.— Я ведь теперь вспомнил.

Вспомнил теперь и я. Он был на параллельном курсе другого факультета, потому я и не мог сейчас докопаться в памяти до его фамилии.

— Обо всех мне, конечно, неизвестно,— сказал я,— но кое о ком слышу. Как вы тут под полюс ходите, как в кругосветку. Фамилии в прессе появляются.

— С выдержкой времени,— улыбнулся он.

— Ну естественно. Но все-таки, когда вы ордена получаете, нам становится известно.

— Например?

— Помнишь, такой здоровенный, из электриков, еще со сломанной рукой на пятом курсе ходил?

— Шалимов. В академию сейчас уехал.

— Точно. И еще... Из ваших один. Мне говорили, что ему чуть Героя не дали.

— Кому это?

— Клычкину.

— Врут,— уверенно сказал он.

— Почему врут? У него уже два Красных Знамени.

— Одно.

— Точно знаешь? Мне говорили, что два.

Он расстегнул шинель. Перед колодками медалей выслуги лет я увидел у него красно-бело-красную ленточку.

— Прости, Игорь,— сказал я.

Теперь я даже вспомнил его имя.

— Жамэ,— сказал Клычкин.— Никогда.— И засмеялся.

— А ты кем тут?— спросил я.

— Да старпомом...

— Почему вздыхаешь?

— Тебе показалось.

— А Знамя за что получил?

— Знамя-то? На лед босиком вышел.

— Ну брось. Я серьезно.

— И я.

— Ну все же, за что?

— Правда. Не босиком, но в сандалиях.

— На полюсе, что ли?

— Неподалеку. Ну, бывай. Иду на доклад. Где искать-то?

— На первой плавказарме.

— Добро,— сказал он.— Соседи.

Шофер, которого мне дали, был лихой. Мы неслись виражами между сопками, сопки стояли в снегу, они сверкали под солнцем, и из голубоватого протаявшего снега торчали черные сырые бока скал. Небо было как самаркандская эмаль. Шла весна.

На контрольном пункте перед металлическим шлагбаумом матрос с монгольскими глазами минут пять неподвижно смотрел в мой пропуск. Так же он смотрел в него часа четыре назад. Рядом с матросом стояла собака. Но не овчарка, канонический образ стража, а замызганная дворняжка, из тех, что по деревням кусают велосипедистов за пятки. Но здесь она набралась необыкновенной серьезности. Когда мы тронулись, она даже не подняла головы.

И мы опять понеслись.

Сопки были те же, и камни те же, и та же весна. И дорога местами даже хуже, но что-то переменялось. Может, прибавились эти развилки, на каждой из которых сворачивай куда хочешь — никто не спросит у тебя пропуск. И какой-то обшарпанный грузовичок, который везет старую мебель. Куда он и откуда? Десять раз ведь я бывал в Заполярье и всякий раз, как вижу здесь остов старой машины, или дом, который уже сносят, или заброшенную тропку, поражаюсь — когда же это успели уже использовать и бросить? Для меня всегда начало истории Заполярья связано с тем днем, вернее, той ночью, когда я шел по совершенно безлюдному но-

венькому городку. Фонари сияли, снег визжал, и ноги, уже леденели. В руках у меня были два громадных потых чемодана; по небу летали блики сияния, а рядом со мной шла жена. Визжал снег. Сияли фонари. Она шла в новой шубке. Впереди у нас было все, что теперь уже позади...

«Козел» несся между сопками.

— Из каких мест?— спросил я у шофера.

— Это вы насчет урожая?

Даже этот и то понимал, что я не офицер. Хоть и в погонах. Я посмотрел на него. Что-то здорово за эти годы изменилось. Я сегодня узнал, что там, за шлагбаумом, нет ни одного матроса на лодках без десяти классов или техникума. Вот какие пироги.

— Курские мы,— вдруг сказал шофер.

— А что,— сказал я.— Большой ведь город.

Сам я никогда не бывал в Курске.

— Курские мы,— дурачась, сказал шофер.— За Обводным такая улица есть в Ленинграде, Лиговку пересекает.

Неслись мы так, как носятся только штабные машины на Севере.

— Любишь?..— спросил я.

— Ленинград-то?— со злой торжественностью на лету схватил шофер.— Его оград узор чугунный? А как же! Лиговку больше всего. Вы знаете, немцы хотели Ленинград без Лиговки взять. Они на нее торпеды бросали.

— Как?

— А так — торпедами бомбили. Не нравилась она им. У нас на Лиговке грибы растут. От грязи. Между трамвайными путями. Может, потому.

— Загибаешь,— сказал я.

— Может, и загибаю. Долго вас в экипаже ждать?

Обратно мы ехали еще быстрее. Матрос опять долго, еще дольше рассматривал мои документы. С таким вниманием и бесстрастностью можно рассматривать шпаргалку на экзамене.

Дисциплинированная собачка толково дежурила у его ног.

На плавказарме меня ждала отделанная сереньким интеллигентным пластиком адмиральская каюта. Мне отдали ключи. Один был от двери, другой — от сейфа. Я стал искать сейф. Глупо иметь ключ и не знать, зачем он. Сейф оказался вмонтированным в нижний ящик стола. Ящик до конца не выдвигался, мысль констру-

тора была понятной — вокруг сейфа: сложности естественны.

Я сидел на корточках около сейфа, когда ко мне постучали и в дверях появилась круглая лысая голова и погоны капитана первого ранга.

— Простите,— сказал он.— Слышу, сосед появился. Не скажете мне, вода у вас идет?

— Не знаю.

— Проверьте.

Я открутил кран. Вода не шла.

— Адмиральские каюты, называется. Что бы нам с ним сделать?

— С кем?

— Да с этим, с начальником плавказармы... Послушайте, пойдемте-ка на минуточку ко мне. Мне аудитория нужна. Будьте зрительным залом.

Его каюта была от моей через переборку.

Он глянул в телефонный список и набрал номер.

— Дежурный? Попросите начальника ПКЗ в третью каюту. Да, к капитану первого ранга Шкаеву. Так точно. Из Москвы. Да сейчас же.

Положил трубку. Живой он какой-то был.

— Раздолб, что ли, ему учинить? Но нет. Долог путь рассказа, короток путь показа. Так, кажется, кто-то из древних сказал? Только кто?

Младший лейтенант пришел почти сразу. Нам было слышно, как он потоптался около каюты. Робел.

— Разрешите?

— Прошу!

Тот бережно переступил комингс. Не такой уж он растяпа был, этот микромайор из сверхсрочников. Дело-вая его биография прослеживалась отчетливо — курсы, звездочка, надежды на береговой клуб или Дом офицеров... И тут вдруг судьба спиной — плавказарма. Оттого и вода не шла.

— Ну как дела?— спросил Шкаев.— Давно на Севере?

Тот что-то ответил. Невразумительное. Понимал, верно, что все не так просто.

— Так мы для чего вас с товарищем позвали...— Шкаев посмотрел в мою сторону.— Мы вас позвали обсудить некоторые, так сказать, аспекты военно-морской службы.

Младший лейтенант переминался.

Шкаев вынул из шкафчика стакан и фляжку из нержавеющей стали, плеснул.

— Сошлетесь на меня,— сказал он.— Закуски вот только нет.

— Запьем, товарищ капитан первого ранга. Только бы дверь...

— Вот именно,— согласился Шкаев.

Он запер дверь на ключ и ключ положил в карман. Младший лейтенант стоял посреди каюты.

— Смелей!— сказал Шкаев.— За успешное руководство плавказармой.

Тот взял стакан и, ничего не сказав, опрокинул в себя.

Лицо его убавилось, глаза закрылись. Он ощупью схватился за кран умывальника и стал его откручивать. Кран захрипел, засвистел, и из него упала оранжевая капля. Воды не было.

— Не идет, что ли?— сказал Шкаев.

Младший лейтенант с остекленевшим взглядом рвал на себя ручку двери.

— Понял?— сказал Шкаев.

Младший лейтенант открыл рот. Он задыхался.

— Будет вода?

Говорить тот не мог.

— Будет вода?

— Сейчас,— наконец выдохнул тот.— Скажу, чтобы сейчас дали.

— То-то,— сказал Шкаев и открыл дверь.

— Жестко,— сказал я, когда младшего лейтенанта не стало в каюте.

— Только так.

— Я вижу, у вас есть хватка. Опыт, так сказать...

— Да уж что-что... Только горб это, а не опыт.— И он выразительно хлопнул себя сзади по шее.— Я шесть лет лодкой командовал. И вообще, молодой человек, перед вами старик. Мне, знаете ли, пятьдесят четыре. А вам? И что вы вообще здесь делаете? Дайте-ка мне отчет. Почему вы влезли в адмиральскую каюту? Выкладывайте.

— Человек я береговой...

— Разговорчики,— сказал Шкаев.— У меня глаз на беглецов с флота наметанный. Слушаю вашу легенду. Говорите что угодно, вернее, что привыкли говорить, а наше дело добраться до сути. Так вот, вопрос первый — почему ушли с флота?

Глаза его смеялись и допрашивали. А язык... Что ж язык? Версалем на нашем флоте не пахнет. Надо ловить интонации.

Так и так, сказал я. Это верно, что я раньше служил. А потом хрустнул позвонок. В каком смысле хрустнул? В прямом. А теперь? А теперь вот литрabота.

— Хорошо пишете?— спросил Шкаев.

Интересно, какого ответа он от меня ждал?

— Ну так вот,— сказал он,— дайте что-нибудь на вечерок. Прочту, тогда и обсудим.

Есть у пожилых офицеров характерная черта: они считают, что нет дела, которое было бы непосильно. А может, они в чем-то главном и правы?

— Тогда и обсудим,— повторил он.

Когда так просят, попробуй не дай.

Шкаев, как и я, ждал похода. Мы должны были пойти на одной лодке. На следующее утро он постучался ко мне сразу после завтрака. Литературных разговоров не заводил.

— Зрелище имею вам показать,— сказал он.— Пойдемте на палубу.

Я вышел с ним на бак плавказармы.

По всем косогорам от пирсов до штаба, между казармами и вдоль дороги, что вела в городок, копошились черные фигурки.

— Аврал к приезду комиссии,— сказал Шкаев.— Питер Брейгель Старший.

Действительно, в разнообразных позах черных фигурок на пятнах снега была картинная живописность. Фигурки двигались, шевелились, оставаясь каждая в своем квадратике. Подправляли ступеньки деревянной лестницы на боку косогора, подновляли перила, в десять метел мели причальную бетонную линию, тащили на плечах свисавший петлями километровый кабель, катили баллоны.

Несколько матросов рогожными швабрами красили кузбасским лаком обнажившиеся в приливе мазутные камни.

— Во дадут!— сказал непосредственный Шкаев.

— Так остановите,— сказал я.— Вы же в некотором роде именно и есть тот, кого ждут. Это ради вас камни красят.

— Остановить? Ни за что. Ни в коем случае! Это вершина аврала, всплеск его, это, так сказать, береговой дизайн, а вы—остановить! Смысл генеральных проверок не только во всеобщем аврале. Смысл еще и в том, чтобы любой матрос понял: его трудом интересуются. Больше того, в его силах комиссию порадовать, удивить, а если шевельнешь мозгом, то даже ошара-

шить. То, что комиссия остановится и будет долго на эти крашенные камни смотреть,—совершенно несомненно. Перо, конечно, кому-то вставят, можете не сомневаться,—за бочку лака, за испорченные швабры, но комиссия придет в необычайно хорошее расположение духа. Кстати, от складского майора, который это придумал, или от мичмана-интенданта больше и потребовать нечего.

— Вы заметили,—спросил я,—что занавески на иллюминаторах в тех каютах, где мы живем, мечены от руки?

— Да ну?

— Болгарским крестом — номер плавказармы и номер каюты.

— А...—сказал Шкаев.—Знаю. Это вестовой. Присмотритесь. Боевая единица, весьма, я бы сказал, оригинальная. Кстати, у вас есть одеколон? Держите его в сейфе.

Вернулся к себе я не сразу. Мы со Шкаевым еще постояли на палубе, потом прошлись по пирсу. Когда я пришел в каюту, на линолеуме высохали влажные пятна от тряпки, кран сиял иступленным блеском, иллюминатор был слегка приоткрыт, и из него тянуло бодрой струйкой морозного кислорода. Бумажник с документами и деньгами, который я забыл на одеяле, лежал теперь посередине письменного стола. Флакон «Шипра» с умывальника исчез.

В каюту постучался Шкаев. Одному ему не сиделось.

— Ну что? — спросил он. — Составляете творческие планы?

Веселый яд сочился из его слов, был в стрельнувшем по моим бумажкам взгляде. Ему смешно, наверно, было думать, что со временем он станет читать как литературу о подводниках то, что я напишу.

— Отложите, — сказал он. — Пойдемте еще побродим. Перед походом надо побольше гулять. Денек, знаете ли, солнце.

Я ждал, что он заговорит о рукописи, которую я дал ему на вечер. Но Шкаев о ней не вспоминал.

Оживление на кособоре замирало. Кое-где вдоль дороги еще мели смешанную со снегом пыль, и около складов лежали на бетоне вытащенные на просушку брезенты, но всеобщий аврал уже сник. Трое матросов катили мимо складов баллон сжатого газа. Они толкали его ногами. Солнце давало бледную тень. Оно еще не грело.

Мы вышли к первой сопке: кругом теперь были только камни да снег, и какие-то крупные птицы, наверно вороны, лениво отмахиваясь, висели впереди над дорогой, там, где у самого ее изгиба торчал черный утес. На вершине утеса росли карликовые березки, и легкий, легчайший звон слабого, но постоянного ветра стоял в камнях, березках, столбах. Мы шли молча. За сутки, что мы были знакомы, я уже привык к насмешливому выражению лица Шкаева, а сейчас глаза старого подводника были серьезны, почти печальны.

— Напомните мне как-нибудь на лодке, чтобы я рассказал вам одну историю, — сказал он.

Мы уже ушли далеко в сопки.

— А может, сейчас расскажете?

— Нет, — ответил он. — Сейчас не стоит.

— Ну хоть о чем?

— О чем? Да так сразу не скажешь... Вот у вас в вашей рукописи употреблено слово «родина»...

Он остановился и посмотрел мне в лицо. Ждал чего-то.

— Это ведь не понятие, не предмет вне нас... А вы еще в перевернутый бинокль норовите...

Он замолчал. Мы повернули обратно, и, лишь когда увидели снова впереди пирсы и черные спины лодок на фоне белоснежных сопкок противоположного берега бухты, старый каперанг тронул меня за плечо.

— Потом, на лодке, — сказал он. — Может, вас укачивает, или затоскуете, или еще что-нибудь... Столичный вы сейчас какой-то. За материалами приехали. Продукцию гнать. Вы уж простите.

На плавказарме

Вестового я увидел вечером. Вероятно, он решил, что меня нет, и, прибрав у Шкаева, вошел не постучавшись — душевая у нас со Шкаевым была общая.

Вошел и остановился, высокий, нескладный, чуть не сказал — мальчишка. Нет, мальчишечьим у него было только телосложение, а лицо из-за полуоткрытого рта с немного отвисшей нижней губой могло бы показаться лицом слегка тронутого, если бы не пронзительно добрые глаза.

— А... вы тут, — сказал он и улыбнулся, как ребенок, уверенный, что его не обидят.

В руках у вестового была веревочная швабра-семи-хвостка. Все еще глядя на меня, он сделал неуверенный

шаг по каюте, и швабра потянулась за ним по линолеуму, оставив мокрый след.

— Вы, говорят, в поход идете? — сказал вестовой. — Сами захотели или вы по работе?

Я вспомнил слова Шкаева, пропажу моего «Шипра» и решил, что попрошу вестового в каюте не убирать. Но тот угадал мои мысли.

— Вы, наверно, думаете, что это я ваш одеколон взял? — сказал он. — Это не я. Правда.

И, видя, что я молчу, добавил:

— Я убираю эти каюты. Ваши две и по левому борту — такие же две. Это мое заведование. Я это люблю...

— Что любите? Убирать?

— Да. Порядок наводить. И угадывать по вещам, за кем убираю...

Отвык я, что ли, от откровенности? Стало неловко, а вестовой, заглядывая мне в глаза, продолжал:

— Зимой тут один капитан второго ранга приезжал с аквариумом.

— С аквариумом?

— Ага. Маленький такой аквариум, переносный, просто банка плоская. Под шинелью в самолете вез, чтобы рыбки не замерзли.

— А зачем он их вез?

— Потому что живородящие. И должны были вот-вот... А ему в командировку ехать. Он их с собой. Потому что, говорит, два года ждал, когда они станут мальков на свет производить.

— Ну дождался?

— Дождался, только в походе. Я у него тоже перед походом спрашивал — не боитесь? А он отвечает: «Ты что, смеешься, — говорит, — у меня мальки должны появиться».

Странное воодушевление плескалось в глазах вестового.

— На лодке сразу все сделали, что для рыбок нужно, — продолжал он, — трубочку с воздухом, лампочку. А здесь мы с ним бились, бились — никак. Да еще на три дня котел из строя вышел — в каютах иней. Он между подушками аквариум ставил. Полежит рядом, нагреет подушки, потом этими подушками аквариум обкладывает. Вот тут, в головах, где у вас книжка лежит. Они у него тоже одеколон аукнули.

— Кто?

— Если б узнать. Утром я прихожу делать приборку, открываю обе каюты. Уберу одну, перехожу в дру-

гую. Почти всегда дверь заперта — та, которая сейчас не нужна, а если только забуду — они тут как тут...

— А вы часто забываете каюты запирать?

— Мама мне говорила, что я болен рассеянностью. А тут говорят — разболтанный.

— Кто говорит?

— Начальник плавказармы.

Я вспомнил, как тот рвал дверь из каюты Шкаева и как Шкаев соболезнующе на него смотрел.

— И часто они аukaют?

— Да нет. Но это вроде игры.

— Хорошая у вас игра.

— Ну нет, — решительно сказал он. — Тут никогда ничего не пропадает.

Видно было, что он любит эти каюты.

— Это вы вышиваете на занавесках?

— Заметили, да? — просиял он. — Очень домой хотелось. А вы, правда, на лодке идти не боитесь?

На следующий день я спросил о вестовом у Шкаева.

— Побеседовали? — спросил он. — Правда, любопытный? Я, знаете, много с ним говорил. Неглуп. Читает много. Но что-то в нем есть такое... Непроходимость какая-то... С этим одеколоном, например.

— Вы думаете, что он сам?

— Батенька... — устало сказал Шкаев. — Ну не надо, прошу вас. Я уже догадался, что вы доверчивый.

В эти дни перед походом я иногда ходил или ездил автобусом в городок.

Городок медленно просыпался после полярной ночи. Бледное солнце, которое светило по три-четыре часа в день, понемногу превращало в цветное то, что было еще недавно черно-белым или черно-серым. Цвета домов, сопки и неба пока еще оставались мутными, словно краски, смешанные вместе, но уже понемногу желтое, розовое и голубое влезало в пейзаж. Это был затяжной, холодный рассвет. Даже солнце не рассеивало оксичательно рассветной мглы. Морозная мгла висела над городком, висела над парившим заливом, стояла даже в каюте, когда ты открыл дверь и каюта еще не знает, войдешь ты или нет. А потом щелчок выключателем — и каюта превращается в твой дом.

Вечерние шаги по палубе отличаются от дневных, а тем более утренних. Утренние шаги над головой я не люблю с детства — это горн, который с секунды на секунду выдернет тебя из себя, а заодно и из пригретой

кóйки, это крик: «Отсекают!», с которым мы неслись по трапам и шкафутам «Авроры», служившей нам спальным корпусом. Мы бежали, натягивая на ходу тесные в подмышках тельняшки, а наш железный командир роты с секундомером стоял у выходного трапа, поднимая, как шлагбаум, руку, и с последним шажком секундной стрелки обрубал тех, кому суждено было сидеть взаперти субботу и воскресенье, еще субботу и еще воскресенье. Амнистий не бывало, сам он сидел с нами вместе... Я не люблю звука утренних шагов по палубе.

Кто ходит надо мной днем, я не слышу.

А к вечеру звук шагов по палубе всегда немного задумчив, в вечерних звуках вообще нет металлической несомненности утра, в вечерних шагах слышится характер, ожидание или меланхолическая потребность одиночества, в которой обычно не признаешься, минутного, как бы скользящего и не фиксированного, но все же созерцания, бессознательной задумчивости.

Лодки подходили к плавказарме обычно ночью. О том, что они у борта, я узнавал по утрам — так тихо они подходили. Пришедший на плавказарму экипаж расползался по коридорам и душевым. В кают-компани оказывались новые офицеры. Среди прибывших всегда были двое-трое, кто глядел на мою гражданскую одежду с враждебным недоумением. Но интересоваться, кто я и почему в таком виде, было неосторожно.

Самым ревностным хранителем строевых порядков оказался интендантский майор, который командовал береговой столовой около штаба. В эту столовую повел меня Игорь. Мы уже сидели за столиком, уже съели суп, когда к Игорю подбежал матрос в белой куртке и, нагнувшись, стал что-то ему говорить, глазами указывая то на меня, то на сидевшего поодаль майора. Одутловатое лицо Игоря застыло. Матрос, поглядывая на меня неодобрительно, ждал ответа. Видимо, ему льстило участие в наведении порядка среди офицеров.

Игорь тускло взглянул на матроса. Тот сразу подобрался.

— Идите, — сказал Игорь.

Следующим к нашему столику подошел дежурный по камбузу. Игорь выслушал мичмана, вытер рот салфеткой, посмотрел в окно и, помолчав, сказал:

— Идите.

Еда в меня уже больше не лезла.

— Подойти-то боится, — сказал Игорь, глянув на бродившего в дальнем конце зала майора. — Плавсостав,

видишь ли, всегда прав. Даже когда он не прав. А кстати, ты чего это не в форме?

— Адмирал так решил.

— Вот именно, — сказал Игорь. — Нечего пугать народ. Худую тебе форму тогда дали. А с начальством общую точку зрения иметь приятно.

Мы вышли с Игорем из столовой.

— Скоро в море-то?

— Вот-вот, — сказал он. — Пойдем-ка, кстати, поучишь барахло.

Самое приятное из того, что мне дали, была офицерская пилютка и большие, очень мягкие кожаные рукавицы. Рукавицы были с двумя пальцами. Как я убедился потом на лодке, они замечательно удобны. Всюду то масло, то графит — не будешь же через каждую минуту мыть руки.

У двери каюты на плавказарме Игоря ждал капитан-лейтенант. Лицо у него было веселое, гордое и живое. Чуткие тонкие губы, тонкий нос с горбинкой, посадка головы, как у декабриста.

— Ждешь? — спросил Игорь.

— Точно так.

Вывернутые слова на военной службе можно произносить не всем. Не каждому они идут. Этому Жерару Филипу было можно.

— Гвоздев к вам придет, — сказал Жерар Филип. — Его сегодня адмирал взял на булавку.

— Да ну? — отпирая дверь, спросил Игорь. — За что же?

— Гвоздев был в штабе, у флажка¹. Идет по коридору, а навстречу адмирал. Гвоздев остановился, честь отдал. Адмирал тоже остановился. «Вы, — говорит, — лейтенант, откуда?» Ответил. «И кем?» — «Командиром группы, товарищ адмирал». — «Как служба?» — «Нормально, товарищ адмирал». — «Не очень, — говорит, — нормально; старпом, видно, у вас чересчур добрый». Гвоздев молчит. «Атомный вес хлора?» — спрашивает адмирал. Тот глазами хлопает. Из головы вылетело. «Хорошо, — говорит, — тогда наводящий вопрос: шинель от полу?» — «Тридцать пять, товарищ адмирал... И то и другое...» — «Ну хоть вспомнили, — говорит, — а старпому все же передайте тезисы нашего разговора; возможно, после этого вы станете ему не так безразличны».

¹ Ф л а ж о к — флагманский специалист.

Помолчали.

— Тлеем, — сказал Игорь. — Нельзя сказать, что горим, но тлеем с дымом. Стиляги чертовы. Мода, видите ли, пошла — шинели укорачивать. Гвоздев что, у нас третий за месяц? Познакомьтесь.

— Киреев, — сказал мне Жерар Филип. — Помощник командира.

— Еще дела? — спросил Игорь.

— Личная просьба есть. Моя.

— Давай.

— Уходил в отпуск Болотов, брал у меня деньги... Теперь прислал перевод. Но не в соединение, а в городок. И мне этот перевод не дают.

— Почему?

— Не вам, говорят, перевод.

— Объясни! Что ты солому жуешь...

— Доверенность нужна.

— Кому? На что?

— Мне. На получение перевода.

— Отчетливей.

— Имя мое в удостоверении — Гаврила Андреевич.

— Знаю. Дальше.

— Но все зовут меня Геной. С самого училища. Вот Болотов и прислал перевод на Геннадия Андреевича.

— Что нужно?

— Печать. Иначе я этих денег не получу.

— «Под трибунал, под трибунал, — замурлыкал Игорь. — И в долговую яму...» Пиши.

«Я, — писал Жерар Филип, — нижеподписавшийся Киреев Геннадий Андреевич, доверяю получить Кирееву Гавриле Андреевичу...»

Игорь за цепочку вытянул из внутреннего кармана печать и дыхнул на нее.

— Не Киреев ты, а Киже, — сказал он и со всей силы хлопнул печатью по странной бумажке.

Только Киреев вышел, только Игорь расстегнул туужурку и, улыбнувшись, сел напротив меня, только собрался я расспросить его о полынье, полюсе и сандалиях, как раздался стук в дверь.

— Разрешите войти, товарищ капитан второго ранга?

Лицо Игоря приняло размытое, скучное выражение. Офицер, который стоял в дверях, мог бы быть ре-

кламным экспонатом на выставке флотской моды. В морской форме существует та неуловимая грань, за которой пуговицы, погоны, материалы брюк и тужурок, соотношение размеров и частей формы, продолжая оставаться предписанными уставом, все же являются уже не массовыми. Вместо давленных штампом пуговиц являются литые анодированные, и якорь на этих пуговицах чуть более изящен; вместо казенных сорочек с воротниками, похожими на собачьи уши, — рубашки с еле видной ребристой ниточкой, и уголки воротника вполне острые, но линия их неуловимо следует сегодняшнему крику моды.

— Разрешите войти, товарищ капитан второго ранга?

— Да вы уже вошли.

— Разрешите обратиться?

Игорь кивнул.

— Разрешите доложить?

Игорь кивнул опять.

— В заведованиях по приготовлению боевой части один...

Тут он замолчал и уставился на меня.

— Говорите, — сказал Игорь. — Докладывайте. Товарищ идет с нами.

— Разрешите продолжать?

Игорь передернулся. Из доклада штурмана вытекало, что докладывать было, в общем, не о чем. Еще раз пять повторив «разрешите», он наконец вышел из каюты.

— Щелкунчик, — сказал Игорь. — Щелк да щелк, щелк да щелк. Каблуки бы пожалел. Выгоним. Несмотря на всю его исправность.

— А исправен?

— Ну! Не то слово. Штурман просто высочайшего класса. Но вот видишь какой. Дождется со своим щелканьем, что его кто-нибудь покусает. «Разрешите войти», «разрешите доложить», «разрешите обратиться», «разрешите то, разрешите это». А не разрешишь, так и будет стоять и есть тебя глазами. Исполнитель, как немец. Иной раз так хочется его изругать — и не за что. А после разговора на стенку лезешь.

— Что же вы его держите?

— А что сделаешь? Отличный штурман, но чувство юмора ампутировано. Так нет пока такой статьи — гнать за это. Вот если бы, скажем, у него пальца на ноге не

хватало... Но, вообще говоря, даром он нам, конечно, все равно не обойдется.

Сказал и схватился за дерево.

Перед выходом

С «газиком», который определил мне командующий, вышла неувязка. Я-то думал, что получил машину в свое распоряжение, но Игорь, услышав от меня об этом, только свистнул.

— Съездил — и будь счастлив, — сказал он. — Штаб на транспорт прижимист. Гарантирую, что не разъездишься.

Я не послушался его и пошел в штаб — хотелось посмотреть окрестности. Особенно места прошлых боев. Но когда я пришел к дежурному по штабу, то понял, что единственный шанс вырвать машину, это сослаться, кроме слов адмирала, еще и на неотложное дело. А какое у корреспондента может быть дело?

— В редакцию, в редакцию, — сказал я. — Флотская газета... Оттуда, кстати, не звонили?

И вместо прогулки по окрестностям мы опять покатали по той же дороге, на которой стоял шлагбаум с гордой сторожевой дворняжкой. Шофер был тот же.

На дороге стояло необыкновенное оживление. Все время нам навстречу попадались зачехленные брезентом тягачи. Иногда они ехали в одиночку, а иногда их появление на шоссе предупреждали «газики» с красными фарами. Тогда мой водитель отруливал в кювет и останавливался.

Охрана из медленно проезжающих машин немигающе и бесстрастно рассматривала нас. Хрипящий тягач проходил мимо, где-то над нами, как поваленная набок колокольня или пролет моста, ползла обернутая в брезент штукovina, потом, занимая все полотно бетонки, прокатывалась задняя платформа на восьми или черт ее знает скольких спаренных громадных колесах, а потом снова охрана и снова красные фары.

— Ну и времечко мы выбрали, — сказал я водителю. — Что это они разъездились?

Он вырулил на дорогу, глянул на меня украдкой, но сдержаться так и не смог.

— Ученья, — сказал он, — будто не знаете...

Его прямо распирало изнутри. Наверно, он полагал, что кто-кто, а я-то уж в курсе дела. Потому, мол, и прислали. Теперь, кстати, так думать стал и я. Об

ученьях, конечно, мне никто не сообщал, но ведь могли же меня послать на месяц раньше или на месяц позже? Нет, видно, кто-то подумал там за меня.

— Зачем притворяетесь? — спросил водитель. — Я и то знаю.

Мое молчание он оценил по-своему. Наверно, он его одобрил, потому что глядел уже гораздо дружелюбнее, чем при первой поездке. Он даже решил пооткровенничать.

— Мне лично тут нравится, — сказал он. — Служишь так уж служишь.

— В каком смысле?

— А во всех. Лично я не люблю, чтобы ты служил, а у тебя дом под боком. Непокойно. Тогда и служить не стоит. А уж тут до дома — ого-го...

Теперь нам навстречу ехали один за другим грузовики с торчащими из-под капотов заборниками воздуха. Их колпачковые крышки торчали выше кабин.

— Другие советуют — женись... — вдруг сказал мой водитель. — Раз пишет — в отпуске, мол, и женись. А чего жениться-то? Она — в университете, ты — в армии.

Он подождал, хотел, видимо, чтобы я как-то подержал его мысль.

— Ждать-то будет? — спросил я.

— Чего ж ей не подождать? Я ведь не водку пью.

— Специальность есть гражданская у тебя? Дело какое-нибудь?

— Гражданское-то? А как же? Слесарь четвертого разряда. Только я шоферить пойду. У меня первый класс к демобилизации набегит.

— Любишь машину?

— А чего ж...

— Бережешь, видно. Вон все ручки обмотал.

— Чтоб красивее. Я тут вон одного подвозил, а ему, видите, пиво надо открыть. Зубами уцепился, хрустит, а все никак, он вот об эту ручку раз — и ободрал... Я ему говорю — мало что ты ленту всю испортил, так еще и краску царапнул. Извини, говорит, не думал. Будто он вообще о чем-нибудь не своем может думать. Я тебе, говорит, этой ленты хоть мешок достану... Достанет он...

Узенький месяц неожиданно ярко блеснул справа от дороги и, запрокинувшись, заскользил над сопками. Он был как чайка.

— Вон на том КПП дружок служит. Тоже с Лиговки..

А я все смотрел на месяц, ныряющий за сопки. Была в нем, как всегда, условность и сказка. Душа не может равнодушно перенести изысканности тонкого серпика над нами, и нам надо напрячь воображение, чтобы считать месяц видимым краешком невидимого физического тела. Луна в нашем сознании живет сама по себе, а месяц (скорее в подсознании) — сам. На Луне мы можем разыскивать и показывать детишкам горы и лесосеки, мы можем рассуждать о закрытой от нас лунной спине, спорить о дисперсной почве одноликой спутницы Земли или о ее разреженной атмосфере... Небесный серп же из другого мира. В нем нет изъяснов. Он символ или частица зыбкого настроения. Месяц можно повесить за рожок, он бежит, цепляясь за кусты, его можно разбить в замерзшей луже, он выныривает над полем или рекой, если мы его очень ждем, и все же всегда неожиданно; на месяце можно загадывать, на его помощь надеяться, он играет с тобой, как дельфин, скакнувший из воды.

Месяц опять нырнул за сопку, вылетел и снова исчез, и была в нем бестелесная суть, как в цифре, букве или в древнем магическом знаке, который живет независимо от того, помнят ли люди его изображение...

— Лично мне, — сказал водитель, — не нравится, если жена там, а ты тут.

Он смотрел на дорогу. По дороге снова шли тягачи. Мы опять съезжали в кювет, ждали, нас обдавало теплым вибрирующим ревом. К лодкам везли зашнурованные в брезент сигары.

— Война — фигня, — сказал водитель, — главное — ученья!

Адмирала я встретил под самый вечер, когда вошел к дежурному по штабу сказать, что возвращаю ему машину и водителя. Адмирал спускался по лестнице. Он был в шинели.

— Вот, — сказал он, глянув на меня, — другое дело! Ну как разместились?

Вблизи тянулся дежурный, прижимая ладонь к брючному шву. Как мне знакомо было это движение. Я слишком долго носил погоны, чтобы не запомнить навсегда внезапную сырость пальцев, если тебе предстоит пожать руку адмирала. Ты — дежурный, рукопожатие вполне вероятно... Я был не в себе от адмиральского звания вообще, просто оттого, что оно существу-

ет, — абсолютно мифическими мне казались атрибуты адмиральского гардероба: шитый канителью козырек, разлапистая капуста эмблемы, четыре (а не три!) пары пуговиц адмиральской тужурки и черный шитый пятиугольник вокруг звезды! Как восторженно-безмолвно я поддерживал королевскую скромность адмиральных брюк — без намека на лампас или кант, насколько несравнимо для меня в течение всего детства и юности звучали слова «генерал» и «адмирал». Никакого соответствия для меня не существовало.

Помню одного контр-адмирала, друга детства отца. За шесть лет нахимовского училища я видел его раза четыре. При второй встрече он спросил меня, что за лычка у меня поперек погончика.

«Это такая, вице-старшина...» — пролепетал я. «Женского рода?» — спросил контр-адмирал и, засмеявшись, продолжал разговор с моими родственниками. Через час у меня было 39,5. Потом я несколько дней отлеживался в лазарете совершенно здоровым. Никто не мог понять, что со мной было.

Дежурный незаметно тер ладонь о брюки.

— Не командуйте, — сказал адмирал. И кивнул мне на дверь. — Идете?

Мы вышли из штаба. Черная «Волга» неслышно двинулась нам навстречу и замерла в трех метрах.

— Догонишь у четвертого поворота, — сказал адмирал. — Не проводите меня немного?

— Через сутки у вас, вероятно, не будет времени, чтобы гулять со мной?

— У вас тоже. Вы выходите через три часа.

Как я этого ни ждал, а все равно получилось неожиданно.

— Так мне, наверно, надо быть на месте...

— А вы и так на месте. Вы что, думаете, с тех пор, как вы здесь, хоть пять минут было неизвестно, где вы находитесь?

— За мной следят?

Мы ходко шли по дороге. Было почти совсем темно.

— Если бы и следили, ничего в этом сверхъестественного бы не было. Вы же понимаете, где находитесь. Но успокойтесь. За вами не следят. Просто дело поставлено.

Мне стало не по себе. Бессмысленность сегодняшней поездки в редакцию вылезла как-то сразу. Дел у меня в редакции не было ни малейших. Просто катался на

машине, катался как мальчишка. А тут еще эта дорога, по которой везут технику.

— Да это ничего, — сказал адмирал. — Мы же понимаем, что вам хочется и полазить и посмотреть. То, что можно, вам и так покажут. Когда вернетесь из похода.

— А что можно?

— Вам — почти все.

— А что нельзя?

— Что нельзя, то вы и не увидите. Да вам это и не нужно. Насколько я понимаю, вам интересны человеческие отношения в условиях подводной обстановки. А это — пожалуйста. Что увидите — все ваше. Характеры, ситуации, звуки, видовые ощущения, запахи, жаргон, особенности юмора — да сколько угодно! Я бы сам... будь у меня когда-нибудь свободная неделя, детективчик подводный состряпал. Вот на пенсию уйду — потягаемся. Вопросы?

Обожаю военную манеру рубить разговор в любом месте, как только он грозит запутаться. Озабоченность? Непонимание? Что тебе непонятно? Спрашивай! Задавай вопросы. И я их задавал, задавал, задавал...

Человек получает при рождении лицо. Лоб, губы, глаза... Сначала от человека почти не зависит, какие они, что получил — то и получил. А потом жизнь начинает печатать на этом лице свое мнение о его владельце. И тут уже никуда не уйти. Я люблю смотреть на лица моряков после сорока.

— Еще вопросы? — спросил контр-адмирал. Мы подходили ко второму повороту.

Я спросил у него — нравится ли ему быть адмиралом?

— Еще бы.

— Даже несмотря на то, что вы не принадлежите больше себе? У вас нет времени на себя. Вы ведь, наверно, не остаетесь один с собственным «я»...

— Крайне неверно, — перебил он. — До такой степени неверно, что я даже удивлен степенью... Как бы это сказать? Вашей некомпетентности.

Он говорил совсем не так, как при нашем первом разговоре. Рысское и лихое, что тогда поразило меня в нем, вдруг куда-то сегодня ушло. Стал бы он тогда искать слова «удивлен степенью», «некомпетентность»... После первого разговора я вышел, словно меня пропустили сквозь мясорубку, а теперь оказалось, что такой прием — это лишь один из возможных. Кисточки

на ушах у собеседника уже больше мне не мерещилось.

— А разве стиль работы штаба — это не я? — спросил он. — Разве люди, которых я делаю командирами лодок, — это не я? Ведь у другого был бы другой подход и другой почерк... Разве организация и взаимодействие боевых средств — это не я?

— Но разве тут есть что-нибудь произвольное?

— А как же! Только не произвольное, а индигендуальное. А как вы думали? Ведь если мои действия и действия моих командиров лодок кто-то может предугадать и предупредить, то на черта я вообще нужен? Вы ведь морское училище кончали. Неужели у вас никогда не было в жизни ощущения, что есть нечто относящееся к морской службе, чего никто, кроме вас, сделать все равно не может? Неужели вам никогда не приходилось испытывать чувства незаменимости?

Он попал если и не в большое место, то совсем рядом. До сих пор мне кажется, что мое место на флоте пустует. Десять лет прошло, а я не перестаю это ощущать.

— Почему вы ушли с флота?

Вот уже третий раз меня здесь об этом спрашивают.

— Врачи.

— Бросьте, — сказал он. — Расскажите это тем, кто не знает, как трудно вырастить морского офицера и как он потом нужен. Думаете, у нас сейчас нет желудочников и почечников в море? Мы ведь знаем, кто куда отпуска берет. Когда заказывают Вильнюс или Калининград, это значит в Друскининкай, к волшебному источнику. Но никогда сам не напишет название курорта. Потому что служить хочет. Не представляет себе иной жизни. Страшится... И я его понимаю.

Голос у адмирала незаметно стал злым.

— Нет, — сказал он. — Перестаньте. Это для бухгалтерии доводы. А вот, если помните, Нельсон двенадцати лет в море ушел. Глаз потерял, руку потерял, хроническая морская болезнь, а в результате — полное господство англичан на море, и ничего Наполеон сделать с Англией не мог, как ни старался.

— Так уж одному Нельсону Англия и обязана...

— Ну мы не будем спорить о роли личности в истории. Кстати, есть и более близкие по времени примеры. И гораздо более выпуклые. Маресьев, к слову сказать. Тоже ведь иногда за подмышки из кабины вытаскивали.

Некоторое время мы шли молча. Когда он заговорил, голос его опять стал мягче.

— Так что вы флоту должны, — сказал он. — И довольно много.

А по дороге навстречу нам продолжали двигаться зачехленные машины. Они катились не так свирепо, как носятся штабные, в их движении была размеренность армии, готовящей тылы перед броском.

Иногда мы попадали в лучи, которые светили из щелей фар. Ни одна машина не притормозила.

— Вас не узнают, — сказал я.

— И не должны узнавать. У них есть приказ и маршрут. Этого достаточно.

Мы подходили к третьему повороту дороги.

— Вот ученья, — сказал он. — Всеобщее движение, трата денег, нежелательные происшествия...

— Какие?

— А черт его знает какие. Оттого и происходят, что нельзя всего предугадать, — то киты в океане оказываются там, где быть не должны, то на стрельбах простой болванкой корабль-цель так прошьют, что он, родимый, тонуть начинает. А он на плаву нужен. То лодка, выходя на поверхность, единственную на сто миль кругом льдину перископом подцепит... Да мало ли всего. Но опыт. Опыт копим. Всего. Всюду. Каждый случай. Каждый день опыта. И американцы тоже копят. Технику свою, кстати, они без усталости гоняют. У них сейчас на новых лодках по два экипажа — «голубой» и «золотой». «Голубой» в море, «золотой» на берегу. «Золотой» в море — «голубой» ждет. И конечно, история «Трэшера» и другие аварии — это свидетельство несовершенства техники и неосторожности эксплуатации, но ведь это еще и опыт... Стоя у стенки, его не получишь. А опыт эксплуатации у них растет. Вот, например, есть такая проблема на лодке — куда девать отходы, пищевые в первую очередь? Кстати, далеко не такая второстепенная проблема, как может показаться. Так вот, американцы в последнее время стали доставлять на лодки компот без косточек по той причине, что косточки — это отходы. Мелочь. Однако чрезвычайно характерная. И говорит о тщательном подходе. Нет, они соображают. И конечно, чрезвычайно интересуются тем, что у нас. Чрезвычайно.

Я оглянулся. Приглушенно светясь, метрах в ста от нас ползли подфарники адмиральской «Волги».

— Ну что ж, — сказал он, — вам пора, мне пора.

Побольше смотрите на командира. Командир — это узел. Все, что идет сверху, замыкается на нем, и все, что снизу. Кроме того, здесь, на той лодке, на которой вы пойдете, — случай особый. Очень молодой командир и очень опытная тройка — старпом, механик и заместитель. Да, еще одно. Понаблюдайте за тем, что можно назвать психологической совместимостью. Вот у нас была с полярниками встреча. Так они рассказывают, что, оставаясь на льдине, совершенно не употребляли сильных, так сказать, выражений — не ругались. А были только одни мужчины. И еще они все между собой были на «вы». Так наблюдайте.

Я вернулся на плавказарму, и мне сообщили, что командир лодки, на которой я ухожу, просил ждать его посыльного в каюте. Через час в дверь постучали.

Старшина, который пришел за мной, был выполнен в кустодиевских красках — румяный, чернобровый, безлозубый.

— Пойдемте, товарищ старший лейтенант, — сказал он мне.

Я попросил минуты три на сборы.

— Жамэ. Хоть четыре.

Как мне это было знакомо! Сорное слово, скользившее в речи офицеров, теперь заскочило и к старшине. Наверно, он был из центрального отсека, где всегда много офицеров.

— Кто вы по специальности, старшина?

— Штурманский электрик.

Так и есть. Гирокомпас, навигационные приборы. Все то, что рядом со штурманской выгородкой.

Забросив все, что я оставлял, в рундук, мы вышли из каюты. Шкаев, наверно, уже был на лодке, его дверь стояла запертой.

Пока мы шли, старшина рассказал мне, что здесь, и непосредственно на их лодке, раньше служил его родной старший брат. Он даже был таким же самым штурманским электриком, но это было еще при Кирееве, то есть когда Киреев был штурманом.

— Я с ним знаком, — сказал я.

— Вот у него бы служить! — сказал старшина. — Я ведь ради него на эту лодку и попросился. Сколько рапортов написал. А его раз — и в помощники...

Старшина вздохнул.

— Ради него, знаете... Такой человек... За него кто угодно в лепешку расшибется.

— А почему?

Мы шли мимо темных пирсов. На лодках горели штаговые огни.

— Весело с ним. И наказывает, и шкуру дерет, а весело. И никогда не угадаешь, что он с тобой сделает. Интересно. Он и в волейбол так играет... Косого кистью, допустим, ждешь, а он тебе как вломит прямой драйф — руки поднять не успеешь. Мастер спорта!

— Да ну?

— В сборной флота. Я, правда, тоже... Первый у меня по волейболу.

— Все ясно.

— Да нет, даже и без волейбола... Вот у кого можете спросить. Киреев — это такой человек...

Начинать свою лодочную жизнь с того, чтобы обсуждать офицеров с матросами, — не самое удачное. Но мне теперь очень хотелось узнать, что этот старшина скажет о штурмане, своем непосредственном начальнике. Все же я сначала был корреспондентом, а потом уже офицером.

— Штурман-то? — сказал он. — А не знаю... Мне бы на его месте страшно было служить.

— Почему?

— Да так.

— Ну все же?

Но старшина больше ничего не сказал. Только когда мы подошли уже к самой лодке, он вдруг произнес:

— Если у человека первый разряд по какому-нибудь виду, то надо ему тренироваться? Дальше, я имею в виду.

— Это вы про себя?

— Неважно.

Но, вероятно, это для старшины и было важнее всего, и, сдавая меня на лодке с рук на руки, как сдают неодушевленное имущество, он бормотал что-то про первый разряд и про тех, кто в этом понимает, как свинья в апельсинах, и бормотание это очень не шло к его ясному, яркому лицу, точным коротким движениям и тяжелым плечам волейболиста.

Мы стояли у каюты командира. Командир смотрел мне в глаза. Не высматривал, не проникал, просто смотрел. Но я понимал, что решается что-то главнейшее. Я тоже очень верю первому взгляду.

— Так куда наш путь? — спросил я.

Более чудовищного, более бестактного в военном смысле вопроса задать было нельзя. Как он у меня вылетел, объяснить не сумею. Командир улыбнулся.

— Прощу, — сказал он и открыл передо мной дверь своей каюты.

Я вошел, он вошел тоже и закрыл дверь.

— Вот, — сказал он и отдернул шторку на переборке. На кальке, заштемпелеванной в углу печатями и подписями, я увидел цепочку черных утюжков.

— Это мы, — сказал командир и ткнул в один из утюжков.

Передо мной висела схема, видеть которую я не имел права. В ту же секунду, как я это понял, глаза мои отдернулись от кальки. Командир смотрел на меня строго, доверчиво и чуть смеясь.

— Зачем? — спросил я. — Я ведь не о том... Зачем вы мне это показываете?

— Позвольте уж мне это и знать, — мягко сказал он.

— Я ведь не в том смысле... Мне просто интересно... Я давно не был на корабле...

Он нажал на кнопку и сказал в микрофон:

— Дежурного по кораблю ко мне.

И задернул шторку. Появился дежурный офицер, неправдоподобно громадный мужчина. Таких раньше на лодки не посылали — считалось, что высота подволоков, узость люков, то да се... Ни к чему, мол.

— Покажите товарищу корабль, Черенков. Познакомьте.

Дежурный смотрел мимо меня, в глаза командиру. Постигал, но не постиг.

— В каком объеме, товарищ командир?

— В том, который потребуется.

— Не понял, товарищ командир.

— Не поняли? Повторяю. Отвечать на все вопросы, На все.

— Есть, — сказал Черенков.

— Да мне вовсе не нужно... — сказал я.

— Это уж вам решать, — сказал командир. Теперь уже они оба смотрели мне в глаза. В эту игру я уже давно ни с кем не играл. И уж что-что, а не думал я, что придется играть здесь. Это была игра в полное доверие. А может, это была не игра, а суть?

Выходя из каюты командира, я уже понимал, что мной овладевает резиновая, тугая глухота. На черта мне их секреты, не хочу, не нужно мне их — все эти цифры, и схемы, и системы, и инструкции...

— Так о чем вам рассказать? — спросил сверху вниз Черенков.

Ни о чем я не хотел сейчас слышать. Цепочка утюжков стояла перед моими глазами. И на кой это мне ляд?

— Потом, — сказал я. — Сейчас еще не знаю... У вас ведь есть дело?

— Дело-то? Ого-го... — сказал он. — Через час отходим!

Я остался более или менее один, и когда остался один, то понял, что более фанатичного стража над этими цифрами и схемами, чем я, главный штаб не мог бы найти.

За пять минут мою душу купили.

Через час я стоял на мостике отходящей от пирса лодки. За нами булькал выхлоп дизелей, нос лодки медленно отползал по черной воде, черное небо было в звездах. Месяц скрылся.

— Отдать кормовой!

Но кормовой швартов не отдали, а взяли. Его свернули и закрыли под стальным листом обшивки.

— Швартовой команде — вниз!

Но швартовые полезли с палубы наверх, в рубку...

Казалось, все делают наоборот. Но это было не так. Просто я отвык от флота. Так отвык, что даже стал анализировать команды...

Лодка вышла в залив. На мостике остались командир, штурман, сигнальщик и я. Шли на дизелях.

— Что-то мне кажется, штурман, мы к правому берегу прижимаемся, — сказал командир.

Прежде чем ответить, штурман склонился над пеленгаторным репитером.

— Разрешите доложить?

— Жду.

— Курс обычный, товарищ командир. Идем по створам. Много раз ходили этим же.

— Значит, меня глаза обманывают.

Минут пятнадцать шли молча.

— Впрочем, справа здесь неопасно... — пробормотал командир.

— Виноват?

— Да ни в чем вы пока, штурман, не виноваты. Камни, говорю, ведь у выхода левее?

— Левее, товарищ командир.

— Вот я об этом и говорю.

Больше командир не сказал ничего. Но пока мимо нас не прошли последние черные мысы, он стоял и смотрел вперед. Что-то ему не нравилось. И сигнальщик, и я это чувствовали.

В первый же день было происшествие.

Мы уже несколько часов шли под водой. Матросы проскальзывали сквозь переборочные двери резво, но не торопясь. Жизнь лодки понемногу нащупывала устойчивый ритм. Время от времени включался динамик межотсечной связи.

— Акустик. Горизонт чист.

— Есть акустик, — в микрофон отвечал вахтенный офицер.

И сразу же, уже машинально, за акустиком — доклад рулевого:

— На румбе — триста сорок.

— Есть рулевой.

И сразу же боцман — с горизонтальных рулей:

— Глубина... дифферент...

— Есть боцман.

Идем. Качать совсем перестало, по лодке разрешение находиться без головных уборов. Чуть пощелкивает краска на переборках — меняем глубину, корпус обжигает вода.

— Акустик. Горизонт чист.

— Есть акустик...

И вдруг Игорь, который сидит рядом со мной, просматривая вахтенный журнал, поднимает голову и начинает шумно втягивать носом воздух. Еще секунда — другая — и он выхватывает у вахтенного микрофон и орет в него:

— Вырубить вентиляцию! Загерметизировать отсеки! Искать источник запаха бензина!

Тут все стали ползать по отсеку и нюхать. Действительно, временами казалось, что слышишь. Потом снова пропадало. Из других отсеков доложили, что у них запаха нет. Значит, где-то у нас. Ищем, ползаем, шарим. Теперь, когда вентиляцию выключили и воздух в отсеке стоячий, — точно, откуда-то тянет.

— Как тебе кажется, — спросил Игорь у механика, — шестьдесят шестой?

Механик пожал тучным плечом, командир усмехнулся. Мол, как это возможно при таком ничтожном запахе еще различать марку бензина? Но, кроме меня, усмешку командира, наверно, никто не видел. Все ползали по отсеку.

Игорь был с командиром в одном звании, плавал на больших с самого выпуска, да еще все время на Севере,

Командир же до этого служил на средних и на Севере был всего год или два. При таком старпеме он не мог позволить себе даже малейшей неточности. Видимо, он отлично это понимал. Когда Игорь стал вслух угадывать марку бензина, командир лишь усмехнулся, но ничего не сказал.

Бензин искали около часу. Запах то возникал, то пропадал. Иногда вдруг казалось, что пахнет все кругом. И снова запаха нет.

Флакончик граммов на сорок нашли на нижней палубе, за магистралью. Нашли только потому, что около него лежала уже высохшая ватка. От нее еще немного пахло.

Игорь снова взял микрофон.

— Внимание в центральном, — сказал он. — Члену экипажа, принесшему на лодку бензин, прибыть ко мне. И принести с собой зажигалку.

Ждали минут десять. Игорь не повторял.

— Акустик. Горизонт чист.

— Есть акустик.

Молчание.

— Рулевые! — сказал Игорь. — Спите?

Молчание.

— Рулевые!

— Это я принес бензин, товарищ капитан второго ранга, — доложил рулевой.

— Вы, Михайлов?

— Так точно.

— Сдайте вахту. Зажигалку сюда.

Через минуту зажигалка лежала на вахтенном журнале рядом с флаконом. Игорь, ничего не говоря, повернулся к командиру.

— Зачем вам понадобилась на лодке зажигалка старшина? — спросил командир.

— Так ведь, может... Когда наверху будем, товарищ командир... Покурить...

— О строжайшем запрещении брать на лодку легковоспламеняющиеся вещества слышали?

Старшина молчал.

— Будете разжалованы, старшина.

Рулевой молчал.

— Вы меня поняли?

— Так точно, товарищ командир...

Ну и порядочки стали за те десять лет, что я пропустил!

— Свирепо, — тихо сказал я Игорю.

— Что?! Да ты подумай, только — отсек у него на виду на коленях ползает, а он хоть бы что, стоит себе, рулит. А из-за него сгореть все можем.

— Ну уж! Там бензина-то — на две авторучки.

— Химию помнишь немного?

— Что именно?

— Как сталь горит в кислороде?

— Так то в кислороде.

— Все эти штуки, — Игорь начал тыкать кругом пальцами, — только тем и заняты, что вырабатывают кислород. И чем больше ты даешь углекислоты, тем больше они дают кислорода. И работают, должен тебе заметить, они чрезвычайно исправно. Вдохни, поглубже... Неужели не чувствуешь?

А воздух был действительно как в сосновой роще после дождя. Только сейчас, пожалуй, я ощутил его чистоту и легкость.

В конце первых суток командир ушел к себе в каюту, и три дня я его почти не видел. Может быть, он отсыпался. Или думал. Или читал. Или приучал офицеров к самостоятельности. Команда его почти не видела.

Все остальное начальство сидело в центральном. Я не понимал, когда они спят. Они — это Игорь, замполит и механик. Сменялись вахтенные офицеры, приходил и уходил Шкаев, по полторы-две вахты слушал их разговоры и команды я, а эта троица неизменно сутки за сутками жила в центральном. Все сразу они не ходили даже на завтрак и обед. Один поест, сменит другого, а потом, глядишь, опять все вместе. Как мне и говорил адмирал, тут был узелочек. Игорь был старпом, переходивший в старпомах. Масягин, механик, был самым старым из плавающих механиков во всем соединении, он как-то незаметно перебрался через то время, когда его могли сделать флагманским, и теперь даже для флагманского механика он был слишком стар и малоподвижен. По здешним темпам продвижения его здесь считали не просто обойденным, а замшелым. И наконец, заместитель дважды отказался от места, предложенного ему на берегу. Говорили, что это тонкий прицел и, мол, Федоров ждет места получше. Мол, у него там рука.

Насчет руки так до моего отъезда ничего и не выяснилось, а вот то, что этой троице друг с другом хорошо и свободно, было ясно.

На лодку с собой я захватил пишущую машинку. Как-то я забыл ее в кают-компании. Когда я снова пришел туда через час, в машинке торчал лист бумаги и под крупным заголовком «НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ С ФЛОТОВ СООБЩАЮТ» было нащелкано следующее:

«Р а ц и о н а л и з а т о р

Матросу Отличникову пришла в голову мысль облегчить труд своих товарищей. О своей мысли Отличников сказал сослуживцам.

— Верно! — похвалили те.

Старший начальник объявил матросу Отличникову благодарность.

На досуге

Старшина второй статьи Бывалов — большой любитель музыки. Часто в свободное от службы время он с глубоким чувством исполняет для своих однополчан на баяне революционные и военно-патриотические песни.

Передал по телетайпу собкор... (тут стояла моя фамилия). Океан. Борт подводного ракетоносца».

Я решил оставить машинку в кают-компании и дальше собирать урожай. Посидишь вахту в центральном или на пульте управления, идешь спать в свою каюту, заглянешь в кают-компанию, а там уже что-нибудь нащелкано: «Рядовой Пупкин, стоя на вахте, побелел в караульном помещении печь. Командир поощрил флотского умельца».

В недрах лодки жил сатирический талант. Я принес собранные мной бумажки к заместителю по политчасти и сказал, что хорошо бы это дать в боевом листке, который как раз готовили к выпуску.

— Вы так думаете? — без выражения спросил он. — А вот у нас есть мнение, что это все довольно плоско.

При этом он как-то мутно взглянул на механика.

— Ну отчего уж так... — тоже нехотя буркнул тот. — Известная живость присутствует... Только тут подпись какая-то...

Я стал объяснять, что приписанное мне на самом деле принадлежит вовсе не мне. Я думал, что они уже это поняли сразу, но они глядели все мутнее и мутнее, словно от разговора со мной засыпали, а когда я, ища поддержки, оглянулся на Игоря, то мне стало даже не по себе. У Игоря сейчас была физиономия деревенского идиота.

— Так это не вы написали? — спросил механик тем же задуманным голосом. — А что, вы так не можете?

— Я?

— Вы.

— Нет. Не могу.

— Не могут, — сказал кому-то механик. — Хотят мал-мала, но не могут.

— Ну как? — спросил меня как-то Игорь. — Вижу, мало спишь. В конец лодки ходишь. Материал-то собирается?

Я ответил ему, что кое с кем говорю, но нет никаких происшествий, и потому не видно характеров. Стоит себе человек у приборов, или сидит у щита управления, или лежит в койке. Или бродит в трюме около манометров. Где же характер? Нет происшествий.

— И слава богу, что нет, — сказал Игорь. — Отличный корабль тем и хорош, что на нем не бывает происшествий. Давай-ка мы с тобой так сделаем: ты лица запоминай, если тебе любопытные попадутся, и приходи ко мне, а я тебе буду рассказывать прошлые происшествия.

Первый, о ком я его спросил, был кустодиевский старшина.

— А-а, — захохотал Игорь. — Династический? Заметил, да? Ну так вот, слушай. — Он понизил голос. — Служил у нас года три назад его родной братец. Тоже из себя ничего, румяный. Ничем, кроме вывески, не выделялся, но однажды из отпуска привез в виде гостинца какой-то жуткий насморк. Где подцепил — знать не знает, ехал, говорит, трое суток в общем вагоне. Лечить стали. Никак. Азиатская какая-то хворь, наши лекарства не берут. Страха на нас, помню, нагнал. Представляешь, если такая дрянь по экипажу начнет гулять? А может, еще последствия бывают? Доктор наш с ног сбился, словом, не дай бог... До антибиотиков дело дошло. А потом все нормально. Отслужил парень срок и уехал. Почти о нем забыли. Но нет, не дал забыть. Присылает примерно через год письмо на имя командира, просит взять из учебного отряда его брата — и именно к нам, на старую свою лодку, мол, считает корабль образцовым и замечательным, а кроме того, здесь, на этом корабле, служит Киреев, мастер спорта по волейболу, а его брат тоже играл в республиканской команде. Спорт спортом, но на корабле же все офицеры помнят, что нам тот деятель из отпуска привез. Нам такая роскошь не по карману — подобные штучки забывать.

У нас ведь боевой корабль. Мы отвечаем за то, чтобы на вахте у матроса нос сухим был... Ну и никто всерьез письма не принял. Но тут заместитель вступился. Вы, говорит, готовы дурное годами помнить и за этими деревьями леса не видите. Подумаешь, говорит, насморк, хоть и азиатский, брат-то его ничем еще пока не виноват, а тут может династия морская возникнуть, преемственность и вообще начинание. Вот и взяли. Теперь его на лодке иначе как Династическим не зовут. И когда его время в отпуск ехать придет, он еще наслушается. Офицеры ведь брата его помнят, а штурман — в первую очередь. Он так боится, что Династический на его голову что-нибудь подобное притянет, что на волейбольные тренировки его не пускает, не говоря уже о сборах. Вот какие пироги.

— Как его фамилия?

— Династического-то? Османов. Его Киреев своим янычаром называет, потому что Османов за Киреева готов кому угодно горло перегрызть. Волейболисты...

Механик, командир электромеханической боевой части лодки, а точнее — гидро-воздухо-электро-турбо-корпусно-механической, забирался за деревянные перильца в центральном посту с заметной одышкой — таким механик был толстым и неуклюжим.

Ни одного научного слова от механика я не слышал. Да что там научного, просто инженерного. Технические термины — эжектор, патрубок, фланцы — так и сыпались кругом, механик же таинственным образом обходился без них. Говорил он страшно неохотно, да еще при всяком слове будто страдал. С офицерами из своей боевой части механик общался на странном диалекте, наполовину состоящем из слов «мал-мала» и «самое то».

— Немного сильней, — говорил он, страдая. — Ну да, немного по ходу.

— На одну семьдесят пять? — изогнувшись к нему, спрашивал капитан-лейтенант.

— Чуть побольше. Совсем мал-мала.

— А не перекрутим, товарищ капитан второго ранга?

— Нормально будет. Самое то.

— Есть, — отвечал посерьезневший офицер и исчез из центрального. Около механика уже стоял следующий.

— У нас не вышло, товарищ капитан второго ранга.

— То-то... Говорил ведь. Обратно надо. На мал-мала. И этот, тоже все поняв, исчезал.

Механик напоминал Кутузова. Не только в его фигуре, в расставленных широко толстых ногах, но и в самом выражении оплывшего немолодого лица чувствовалась усталая мудрость человека, которому давно пора на покой; он сам это знает, но не уходит, потому что пока еще некем его заменить.

Команды, которые механик раздавал в виде советов — что, и куда, и насколько повернуть или ослабить, — очень напоминали кутузовские, как их передает Толстой. Механик как бы единственный из всех понимал, как можно держать обузданной лодочную энергетику и что надо ей отдавать, а чего отдавать ни в коем случае нельзя. Он сонно сидел в центральном в одной майке.

Оживал механик лишь тогда, когда мимо него проходил врач. А врач, как нарочно, выбирал такую минуту, которая у механика оказывалась свободной. Так было и сейчас.

— Кого мы видим! — оживившись, воскликнул механик.

Врач единственный на всем корабле продолжал ходить в пилотке. На пилотке сияла свежая серебряная капуста. Одна щека у врача была в красных клеточках от вафельного полотенца, на котором он только что спал. В руке он нес, как бы предлагая ее содержимое любому встречному, банку витаминов. По озабоченному лицу врача было ясно, что он не знает, чем бы ему заняться.

За предыдущие дни он уже организовал шахматный турнир. Но Игорь сразу же проиграл штурману, обиделся, как ребенок, на шахматы вообще и сказал, что ему некогда доигрывать другие партии, мол, лодка входит в заданный район. Без язвительных комментариев старпома турнир сразу заглох. Как ни упрашивал доктор записавшихся играть дальше, в конце концов от каждого он слышал намек на свое безделье. Все как будто вспомнили, что им некогда.

Боевой листок, вышедший тоже благодаря энергии врача, оказался смертельно скучным. Читать его было неловко. Единственное, что осталось врачу, — это помогать коку в составлении меню и кормить матросов витаминами. Бормоча как заклинание: азу по-татарски, бешамель в кляре, бигус тушеный, врач таскал с собой из отсека в отсек банки с витаминами. Благодаря крупным буквам А, В и С эти банки напоминали пособие по

изучению латинского алфавита. Цифирки возле букв имели, вероятно, сверхзадачу не дать подопытным забыть и устный счет. Матросы ели витамины самоотверженно, горстями. Уверяли, что после витаминов не так хочется курить. Багровая пятнистая сыпь, которой они покрывались так мгновенно и густо, словно прошли через заросли древовидной крапивы, их не волновала. И доктора, кажется, тоже.

— Русский организм, — говорил он. — Нужное возьмет, ненужное отбросит.

Доктор страдал без больных.

Время от времени в каюте доктора сидел в темных очках изловленный им доверчивый подсманный матрос. Шел сеанс кварца. Доктор в атласных спортивных трусах, слегка стесняясь собственной мощи, стоял в дверях каюты, сторожа ее, — пойманный мог скрыться. Сам доктор, принимая излишки кварца с каждым из своих пациентов, являл собой замечательную рекламу целебным лучам. Кожа его была коричневой, с фиолетинкой. Кроме того, он был здоровенным мужчиной, ему не было еще и тридцати, и он входил в сборную флота по трем видам тяжелой атлетики. Вдобавок ко всему он был уже майором. Спать на лодке он мог три четверти суток.

— А-а... — сказал механик, и его маленькие глазки начали лучиться. — Доктор прибыл. Труженик. Самое у нас необходимейшее лицо. Немного, правда, разноцветное.

Стараясь отвернуть от старпома гофрированную щеку, доктор остановился около механика.

— Мы тебе соболезнаем, доктор, — сладко сказал тот.

— Это почему?

— Мы-то все посменно работаем, а ты у нас односменку тянешь.

Щеки у доктора краснели порознь. Гладкая — сразу же, гофрированная — чуть погодя. Доктор стрельнул глазами в сторону замполита и старпома. Они подчеркнуто серьезно следили за беседой.

— А ты, — вдруг без всякого перехода сказал доктор механику, — а ты — напильник! Я-то хоть в человеческом организме разбираюсь...

— В каком, в каком?

— В человеческом. Вот ты заболеешь, я тебя буду лечить.

— Он меня будет лечить!

— Я врач.

— Он врач! Сколько ты у нас лет? Шесть? А сколько больных принял? Пятёрых. Четыре ангины и один порезанный палец! Он у нас врач. Шесть лет учили.

— Ну и что?

— А то. Скоро вас будут двадцать пять лет учить — и сразу на пенсию. Нет, если я даже заболею, я тебе не дамся. Залечишь.

Отвечать доктору было нечего.

— Акустик!

— Есть акустик. Горизонт чист.

Лодка идет. Меняем курсы, глубину. Подвсплываем на сеансы связи.

День, ночь, день, ночь. Эта смена все время ощущима, хотя бы потому, что днем хочется спать, но понимаешь, что нельзя, а когда не спишь ночью, то приходит теперь уже полузабытое мной ощущение тяжелой пустоты переутомления... День, ночь, день, ночь... Снова день. Кончился киносеканс, и из носа в корму прошло тридцать человек. Лодка стала неудифферентованной. Надо перегнать из кормы в нос тонны две.

— Копычев! Нагрузи вторую цистерну!

— Есть нагрузить вторую цистерну!

Несколько секунд тишины в центральном. Относительной, конечно, тишины. Корпус, переборки в центральном все же ворчат — слышна вибрация машин. Вот в носовом отсеке — там бывает полная тишина — только на больших ходах слышно журчание воды.

— Приготовить выдвижные устройства!

В динамике голос штурмана:

— Прошу дать шесть узлов — рамку может ободрать.

Старпом в микрофон же:

— Да, уж если обдерет, я вам не завидую!

В центральном появился командир. Его сегодня еще никто не видел.

— Товарищи офицеры! — бодро, но негромко командовал Игорь.

— Вольно! О чем разговор?

— О рамке, товарищ командир. Штурман боится, чтобы не ободрало.

— Благородно с его стороны. А как корабль?

Вопрос этот относится больше всего к механику. Ракеты и торпеды на пломбах, их счетная аппаратура дремлет до решающей минуты, всю аппаратуру ради-

стов, метристов и штурманов можно сложить в одной выгородке — так ее немного, у химика же вообще по одному приборчику на отсек, вся остальная лодка — это хозяйство механика.

Механик что-то успокоительно буркнул. Мол, в порядке корабль, был бы не в порядке, мы бы вас разбудили.

— Ну что ж, — сказал командир, не замечая майки механика, — раз все в порядке, надо немного понырять. Акустик?

— Есть акустик. Горизонт чист.

— На румбе... — закричал рулевой каким-то особенно звонким голосом, так что лодка сразу услышала: командует командир. — На румбе — сто тридцать два!

— Боевая тревога! — сказал командир. — Всплываем на перископную глубину.

Заверещали ревуны, и сквозь круглые двери стали проскакивать полусонные матросы.

— Если вам надо поработать — идите в мою каюту, — шепнул командир. — Я буду теперь здесь.

В каюте командира жила маленькая верткая муха. Она сидела на стекле круглых штурманских часов. Первым моим движением было тут же ее поймать. Но муха взлетела, и я увидел патрубок втяжной вентиляции — он был затянут капроновой марлей. Наверно, командир и муха дружили.

Я посидел немного с записной книжкой, но работа не шла.

В последние дни я старался проникнуться тем, что можно назвать настроением отсеков. Вот огромный носовой — всегда чуть сыроватый, чуть сумрачный, как будто ждущий своей очереди в лодочных делах. Но в носовом только торпеды — и он почти никогда не нужен. И самый боевой отсек годами молчит, наполняясь матросами лишь для показа кино. Экран вешают прямо поверх крышек торпедных аппаратов, и мелькающие черно-желтые кадры странным образом всегда слегка грустны и немного старомодны, если смотришь их в первом отсеке. Такой уж в нем воздух.

Вот отсек кают-компани, самый обжитой и теплый, но не по температуре воздуха, а по отношению к человеку, тут много дерева и мало механизмов. Здесь стоит военного образца радиоприемник, который, если лодка выходит под перископ, начинает ловить последние известия и музыку «Маяка». Во втором отсеке у кого-то живет гитара, во второй отсек под конец похода ходят

воровать книги; во втором отсеке у одного из офицеров в каюте маленькая бронзовая лампочка прошлого века, здесь же под трапом обычно устраивает временную парикмахерскую один из старшин-ракетчиков, в прошлом мастер из салона причесок; в этом отсеке не терпят ругани и не принято громко кричать. Я понимал муху, поселившуюся во втором...

Китель командира, висевший на продольной переборке, медленно пополз, меняя место — лодка шла с дифферентом на корму, — мы опять всплывали. Стало качать — вероятно, были недалеко от поверхности. Наверно, будут поднимать перископ. Проследив, чтобы муха не вылетела в открытую дверь, я вышел из каюты командира.

Когда я проходил ракетный отсек, он показался мне похожим на комнату каталогов Публичной библиотеки. Ящички, ящички, ящички... Один над другим — и все с хромированными дужками, чтобы вытаскивать. У пломб пусковых ручек стоял матрос со штыком на поясе.

В центральном

По лицам офицеров я понял, что антенну уже поднимали, персональная радиограмма получена, но об ученьях и в этой радиограмме ничего нет. И пока наше дело опять утюжить свой квадрат моря. Правда, выражение это — «утюжить» — едва ли может относиться к подводной лодке, свой квадрат мы скорее простегиваем, как ныряющей иглой простегивают толстое одеяло.

В центральном болтали офицеры.

Все никак не начнутся ученья, и опять жди — ныряй, выныривай и не смей подать радиограммы — сразу себя обнаружишь. И еще — слишком молод был командир и слишком старые те трое. Если бы в центральном не было командира, эта троица любую вольность пресекла бы, но тут он был, и возникла пауза до следующего всплытия, и командир только что отвел душу, устроив боевую тревогу, понырял, поманеврировал, лодка почувствовала его руку, а теперь снова подсменные могут отдыхать. Пауза.

Пауза в службе. Лодка идет на одной глубине.

— Акустик. Горизонт чист.

— Есть акустик.

Пропели рулевые. Пропели и замолчали. Верно, тоже прислушиваются к тому, о чем говорят офицеры.

— Акустик. Горизонт чист.

От центрального обычно расходится настроение по всей лодке. Когда бродишь по отсекам и видишь, кто чем занят и как несется служба у механизмов, нетрудно узнать, что делается в центральном. Находясь же в центральном, знаешь, как дела по всей лодке, стоит только схватить диалог вахтенного с рулевым. Он почти всегда один и тот же, этот диалог, вариации ничтожны, но тон его — это психологическая сводка лодочной погоды. Облетающие лодку слова устанавливают отношения в отсеках.

— Дайте микрофон, — сказал вахтенному офицеру командир. — Внимание по кораблю! Слишком большой расход пресной воды. Просьба к личному составу экономить воду, иначе вода будет подаваться в умывальники только три раза в день — утром, днем и вечером.

Механик с Игорем незаметно переглянулись.

Во-первых, говорил этот взгляд, воды столько, что хоть залейся. Во-вторых, нечего нам напоминать о том, что мы не заботимся об автономности корабля. В-третьих, нечего делать это через нашу голову, да еще по боевой трансляции. Ты еще о чистке картошки по этой трансляции объяви. А вообще-то и до тебя лодка исправно плавала, без экономии, так сказать, на умывании...

А может быть, только потому и позволили они себе переглянуться, что тоже устали? И не потому ли замполит вдруг потянулся сладко и сказал:

— Имею рассказать вам береговую байку. Как ты на это смотришь, Афанасьевич?

— Это ты о чем? — спросил механик.

— Да так. Об истории одного знакомства. Значит, было это, не соврать, давно. Лет двадцать будет... Идет курсант по Невскому. И палаш на боку.

— Да ну тебя, — сказал механик.

— Слушаем, слушаем, давай, Александр Иванович...

— Ну так вот. Лето, август, поздний вечер. Ну часов одиннадцать, скажем, а то, может быть, и начало двенадцатого.

— Не ври. Одиннадцати еще не было.

— Может, лучше ты, Афанасьевич?

— Что я?

— Ну ты расскажешь?

— Не буду я ничего рассказывать.

— Тогда слушай и не перебивай. Идет, значит, наш знакомый по Невскому и думает только об одном.

— Он всегда об этом думает, — сказал Игорь.

— Старпом, — сказал механик, — не вынуждайте меня хамить!

— Разговорчики! Александр Иванович, мы вас слушаем.

— Бредет он, значит, народу все меньше, девушки если и попадаются, то сугубо деловитые — спешат, смотрят в землю. Время позднее. Полное фиаско. А палаш, знаете ли, по ноге брякает, раздражает. Вроде напоминания о собственной ненужности. Мол, вот я совсем ни к чему. Как и ты.

— Без беллетристики можно? — спросил механик. Маленькие свои глазки он прятал.

— Без беллетристики нельзя. Бредет он, адреса вспоминает. Здесь одна раньше жила, в том доме и сейчас живет, но там мама по вечерам дома, а те все на дачу уехали. Одним словом, худо, хоть иди в Адмиралтейство обратно на радость отцам-командирам. Невский пустеет на глазах. Обеднел город. Жители есть кое-какие еще, но все не те, ненужные. А палаш бряк-бряк, мол, зря ты меня из пирамиды вытянул да еще зачем-то вытер от смазки и снова намазал. К чему это, интересно, мы с тобой готовились?

Механик зажмурился и покрутил головой.

— Вот учитесь, — сказал он мне и кивнул на заместителя. — Баснописец.

— Встретился ему кто-нибудь или нет? — спросил Шкаев.

— Не опережайте событий, товарищ капитан первого ранга. Если не развить настроение одиночества у нашего знакомого, то никакой истории не выйдет. А настроение с каждым шагом у него все мрачней и дошло до такой степени, что и встретиться ему сейчас подходящая девушка, если она глянет ему в глаза, то убежит, хотя, прямо скажем, собой он вовсе недурен.

Все, даже командир, оценивающе посмотрели на механика. Тот мученически умехнулся. Представить его молодым курсантиком я не мог. Не хватало воображения. Да еще этот палаш.

— Товарищи, не пускайте его, — сказал заместитель. — Наглядность уйдет. Сиди. Сиди. Слушай. Да, так вот, бредет, значит, по Невскому. И чтобы уж совсем поставить точки над «і», должны мы сказать, что целый месяц наш знакомый был на практике и на берег практически не сходил. Это мы для того, чтобы объяснить его трудное положение.

— Акустик. Горизонт чист.

— Есть акустик.

— И видит он вдруг, — продолжал заместитель, — что в телефонной будке стоит девушка, кружочек вертит, а сама глазами ищет что-то на улице. По нему скользнула глазами, чуть притормозила, но особенно разглядывать его не стала... И кажется ему почему-то, что не просто так она глянула. А девушка хороша. Светлые волосы в крупных кольцах, гибкая, загорелая... По дождю, думает, поблизости, черт ее знает, что она там по телефону выяснит, может быть, ничего и не выяснит и у нее возникнут дополнительные вопросы...

— Горазд ты все же трепаться, — сказал механик.

— Так и случилось, — не обращая внимания на слова механика, продолжал заместитель, — по телефону девушка не дозвонилась, вышла из будки, и на лице у нее какое-то сомнение, назовем его мимолетным... Что же мне, мол, делать? Наш герой с саблей на боку тут как тут. «Извините, — говорит. — Не знаю, чем вы опечалены, но не могу ли я помочь?» — «Нет, не можете». Первая тема на корню иссякла. Думал, думал наш герой и придумал. «Тогда, — говорит, — давайте познакомимся». — «Зачем?» — «По-моему, это необходимо». — «Почему же?» — спрашивает девушка. А что он может ответить? Потому, что он на корабле месяц просидел? Честнее всего, конечно, было бы так и ответить, но он, хоть и выглядел мужественным, палаш, знаете все же, на поверку таким не оказался. «А потому... — говорит, — потому...» И ничего сказать не может. Она улыбнулась. «Хорошо, — говорит, — вы пока думайте, а я пойду». — «Куда?» — очень умно спрашивает он. «Если вы не против, то домой». — «Нет, — говорит он, — я совсем не против».

На механика было жалко смотреть. Закрыв глаза, он качался из стороны в сторону, словно собираясь закричать.

— «Домой, — говорит, — пойду». — «Хорошо, — решает он, — но и я тоже с вами». — «Ко мне домой?» — оживившись, спрашивает девушка. Тут бы ему как настоящему мужчине и сказать: «Да, угадали». Так нет, опять испугался. «Что вы, — говорит, — как можно такое подумать? Только провожу». Смерила она его взглядом — полагаю, что уничтожающим, — и говорит: «Ну что с вами делать. Проводите». Он и пошел рядом. Кто она? — думает. Пианистка? Пальцы очень развитые — когда она по телефону звонила, он заметил, как они выются. А может, модельерша? Те вот так же хо-

дят — ногу несут вперед и немного вовнутрь. О чем бы нам с ней потолковать? «Вы, — говорит, — читали «Капитальный ремонт»?» Поразить решил. «Нет, — она отвечает. — Я вообще к производственным романам с опаской». — «Да нет, — говорит, — это не производственный». — «А какой же?» — «Так, трудно сразу сказать в одном предложении». — «Ничего, вы в нескольких». — «И в нескольких, — говорит, — трудно». Она, бедняжка, растерялась, ей, видно, впервые такой ученый человек попался. «А тогда как же, — говорит, — можно о его содержании узнать?» — «Очень просто, — отвечает, — я вам его целиком могу пересказать». — «Всю книгу?» — «Да, — говорит, — всю книгу». И, не ожидая, когда она его попросит, принялся. Но, чтобы удобнее рассказывать, за локоть ее взял. Она человек воспитанный, прерывать его рассказа не стала, но локоток подергала, подергала и высвободила. Так ей, вероятно, удобней было.

— Послушай, — вдруг заорал механик, — кто тебе, к черту, эти подробности-то передал? Что ты плетешь? Никто тебе такого не рассказывал... Вот ей-богу... — добавил он, оглядывая всех присутствующих, — ей-богу, врет!

— Дальше, дальше...

— Под ручку, значит, не вышло... Двигаемся. «Капитальный ремонт» рассказываем. На Владимирский повернули. На Владимирском еще темнее. «Знаете, — говорит, — вам бы не споткнуться тут». И снова берет ее под локоть. А у нее глазищи огромные, смешливые. Остановилась, уперлась в него этими глазами и говорит: «Ну что ж, только сами потом не жалеете!» — «Я?! — говорит. — Жалеть?!» — «Да, вы». И локтем его руку к талии прижала. «Пошли», — говорит. «Капитальный ремонт» на время засох. В горле какое-то першение. Потому что походка у нее — мать честная! Раньше-то он только видел это, а теперь своей рукой чувствует. Рука отдельно живет у него теперь. К Владимирской площади подходим. Вдруг она у него спрашивает: «Вы торопитесь сейчас?» Он заблел что-то. А девушка волосы головой назад, на спину швырнула и опять своими глазищами уперлась в него. То ли смеется, то ли всерьез. И на одной ножке качается. «Пойдемте, — говорит, — ко мне». Он молчит. Борется со стихийным, так сказать, целомудрием. Только дышать стал, как турбина. «Вы одна живете?» — говорит. «А вы как думаете?» Как он думает? В половине двенадцатого ночи в гости

зовет. Ясно, одна. Но догадливости своей ходу не дал. Как всякий, заметим, умный человек.

Механик встал и, хромая на обе ноги, пошел на выход из отсека.

— Петр Афанасьевич! Да куда ты — дело ведь к концу...

Механик обернулся и, сжав толстые пальцы в кулак, показал снизу эту кувалду заместителю.

— Ну, погоди, — сказал он. — За мной не залежится. Лицо его перекашивалось.

— Дальше, дальше...

— Ну так вот. Стоят около лестницы. «Пойдемте», — говорит она. Но ему все еще мало. «Как, — спрашивает, — вас зовут?» А она посмотрела на него и говорит: «Это-то вам зачем? Не все ли равно?» Он подумал немного и, видно, решил, что она права. По лестнице стали подниматься. У него нет-нет, да палаш и громыхнет. «Тише, — говорит она. — Мне с соседями не очень повезло». Нет, все же без Афанасьевича неинтересно рассказывать.

Игорь сделал знак заместителю. От него было видно что-то, чего не было видно нам. Заместитель встал и заглянул туда, куда показывал Игорь. Из-за ограждения выдвижных устройств торчала толстая нога механика. Он наверняка все слышал.

— Жаль, что Афанасьевича нет, — повторил заместитель. — Ну да ладно, надо уж досказать. Идут, значит, по лестнице. Пришли к двери. «Снимите ботинки», — шепчет девушка. А он, вы его знаете, человек гордый. «Зачем?» — говорит. Как-то не совсем ему кажется гармонично — палаш, погоны, то да се, а ботинки в руках. Но девушка — чудо просто — загорелая, гибкая, лукавая. И еще — вполоборота к нему стоит и на пальчике ключик вертит. Не снимешь ботинки — стой здесь. Что делать? Стал снимать. А ножны по кафелю скребут, да еще шнурки на одном ботинке запутались. Он их, как настоящий мужчина в минуту страсти, рванул — и в пролет, вот, мол, смотри, какой у меня характер.

Из-за выдвижных устройств раздался глухой стон. Тут даже командир ухмыльнулся.

— Шнурки, значит, разрушил, ботинки в руках — сам стоит на цыпочках. Ваше, мол, слово. Она опять улыбнулась и шепчет: «Постойте минутку, я сейчас», — и тихонько ускользает в дверь. Но еще минуты не прошло, выскальзывает обратно. «Все, — шепчет, — в порядке! Пойдемте! Только тихо!» Бредут на цыпочках по

длинному коридору. Задели за что-то палашом, состояние нашего героя не объяснить. Но ничего, никто не выскакивает. Дошли до двери в комнату. Она нажимает на ручку, вводит его на середину комнаты и шепчет: «Постойте тут!» — а сама отходит почему-то. Шторы глухие на окнах, какие-то зеркала поблескивают. И вдруг он понимает, что в комнате есть еще люди, да не один, не два, а много — и они везде, со всех сторон. Слышит, как кто-то, не она, прикрывает сзади дверь. И кто-то шаркает ногой впереди. И кто-то что-то шепчет... Что бы вы тут сделали, если вы настоящий мужчина? Не знаете? А он швырнул на пол ботинки и рванул из ножен палаш. И тут зажегся свет.

— Ну и что? Что дальше? — спросили мы.

— Так что... Длинный стол, углом. За столом человек двадцать пять... А на пустом паркете посередине — пятикурсник Высшего инженерного училища имени Дзержинского, в носках, на цыпочках и почему-то над головой палаш в желтой смазке... Стоит он, родимый, и руку не опускает. Как натурщик в Академии художеств. А в комнате хохочут, со стульев просто падают от хохота. О чем наш герой думает? О ботинках. Один-то рядом, а второй он куда-то сам зашылыгнул...

— А дальше?

— Что дальше? Дальше выходит девушка на середину и говорит: «Дядя Юра, выиграла я наше пари или нет?» И все гости орут: «Выиграла, выиграла!» А наш герой, хоть и занят поиском ботинка, видит, что между гостями сидит контр-адмирал. И контр-адмирал вместе со всеми хохочет. Оказывается, это дядя, и племянница с ним полчаса назад поспорила — сейчас, говорит, пойду, подхвачу на улице первого попавшегося моряка, и он сделает все, что я захочу. Ну адмирал — то ли забыл молодость, то ли не видел, что у него за племянница, то ли, напротив, шутник — и скажи ей: «Слабò! Не приведишь». Вот и все.

— Как все? Как все?

— Ну так, — сказал заместитель. — Все. Нашел ботинок. Положил палаш на паркет, обулся. Завязал обрывки шнурка. Все.

— Нет, — сказал Шкаев, — вы нас разыгрываете. Тут что-то дальше должно еще быть. А адмирал?

— Что адмирал? «Обулись, — говорит, — товарищ старшина первой статьи? Идите-ка сюда, присаживайтесь».

Офицеры заулыбались.

— Ну уже хватит, — сказал, появляясь из своего укрытия, механик. — Разрисовал. Не было ничего такого.

— А вы встречались потом с этой девушкой? — спросил я.

— Да мал-мала было, — сощутив глазки, ответил механик и глянул на заместителя. — Так за мной не заляжется. Не сомневайся.

Игорь ткнул меня в бок и отошел. Я отошел вслед за ним.

— Ты что, не понял? — спросил он. — Это ж зам рассказывал, как Петр со своей женой будущей познакомился.

— Ну да?

— Вот тебе и «ну да». Четверо детей у них. И все девчонки.

— А что, правда, хороша?

— Не то слово, — сказал Игорь. — Первая дама Заполярья была. Тут ничего зам не прибавил.

— А откуда он в таких подробностях эту историю знает?

— Да он ближайший Петькин друг, и семьи у них дружат. Наверняка Елена сама же десять раз все и рассказала, и наверняка при Петьке. Ну, Иваныч, конечно, наплел слегка, но в общем так, наверно, и было... Он вообще любит Петра, как ребенка даже, а не как брата, потому что Петька кое в чем наивен до невероятия, а сам Иваныч — дошлый, как библейский змей. Вот у них и существует симпатия по принципу влечения к противоположности.

Вася

О начале учений все не сообщали.

Нам дали теперь другой квадрат океана, и в докладах штурмана о навигационной обстановке все чаще проскальзывало слово «пак», то есть паковые льды. Штурман, кстати, был единственным, кто посочувствовал мне, когда увидел, что кто-то щелкает на моей пишущей машинке.

— Ну что за люди, — сказал он, и в его глазах послушного пуделя застыло горестное выражение. — Знают же, что человек занят делом, что у него своя отчетность... Нет, надо влезть и нагадить...

Он так преданно на меня смотрел, что я невольно подумал о его одиночестве на лодке.

В тот же день моя волшебная машинка изрекла вы-

писку за подписью Петра Первого: «Штурман хоть и хамская натура, до вина и баб. охоч, но за знанием многих хитростных наук в кают-компанию допускается». Я не стал показывать листок штурману.

Я жил в одной каюте со Шкаевым. Соседней была каюта врача. Наверху была кают-компания. После каждой еды над нами с грохотом плющили консервные банки, содержимое которых только что съели. Плющили их кувалдой, чтобы в контейнере для уборки мусора они занимали меньше места. Проблема отходов — то, о чем мне говорил адмирал, — не отпускала лодку.

Я лежал и читал, часто отрываясь от книги. Все последние дни меня не покидало ощущение, что я здесь все-таки ни к чему. Офицеры были дружелюбны и разговорчивы, матросы дружелюбны и молчаливы, о чем бы я ни спросил — все готовы были и рассказывать и показывать хоть целыми сутками, но между ними и мной стоял высокий невидимый барьер. Для них этот поход, эти механизмы, эти команды и эти отношения были жизнью, для меня — лишь иллюстрацией некоего вида существования. Если бы лодка встретилась с другой и они встали бы борт к борту, я мог бы перейти из рубки в рубку, и ничего бы не изменилось ни у нас, ни у тех. И ничего бы в другую лодку я своего не принес, и ничего бы тут своего не оставил. Машинку, может, да и у той уже появился собственный, независимый от меня характер.

Шкаев, кажется, страдал той же хворью, что и я. Когда он приходил в нашу каюту, то бросал несколько слов и либо снова уходил, либо уходил я, каюта была совсем маленькой, и к концу второй недели похода меня стали раздражать манеры Шкаева — сначала его насмешливость, потом, напротив, его мрачность. Больше того, меня стало раздражать, что он читает, не обращая на меня внимания. Но когда он откладывал книгу, чтобы перекинуться со мной словом, я напрягался, чтобы его дослушать.

Замолчал бы, думал я. Но когда он замолкал, я ждал, чтобы он заговорил.

Я лежал, читал, старался собрать мысли, но они расползались, как муравьи. Шкаев пробубнил что-то рядом и ушел искать себе занятие. Никакого задания, могущего занять его от сна до сна, у него, насколько я понимал, не имелось.

Я поймал себя на мысли, что если так занялся предположениями о занятиях Шкаева, то это уже, вероятно,

апофеоз безделья. Скорей бы конец похода, впервые за эти две недели подумал я. И вдруг потянуло домой, как может потянуть только вдали-вдали и именно тогда, когда никакими силами появления дома не ускоришь.

В соседней каюте, где жил доктор, что-то звякнуло. Не разбирая слов, я услышал в голосе доктора, доносившемся из-за переборки, какие-то новые ноты — профессионально-утешительные. Но и торжествующие. Опять что-то звякнуло. Из каюты доктора, вероятно, приоткрылась дверь, и я теперь отчетливо услышал, как доктор говорит:

— Ничего, Васенька... Ничего. Разрежемся.

После этих слов опять звякнуло. Я спустил ноги с дивана и приоткрыл дверь в коридор.

Доктор стоял на пороге своей каюты, загородив вход мощной спиной. Стоял он у входа в каюту, как часовой, которого можно убить, но нельзя сдвинуть с места. В глубине каюты, на диване, в одних длинных сатиновых трусах лежал чрезвычайно упитанный матрос. Лицо матроса было в красных пятнах. Выражало оно противоречивые чувства. Кроме страха на нем было выражение того успокоения, которое мы ощущаем, передавая мучительную болезнь, с которой мы боролись в одиночку, пусть не в очень умелые, но зато в ответственные руки. На лице Васи запечатлелось это, если можно так выразиться, освобождение от ответственности.

Доктор вынимал из шкафчика хирургические инструменты и вытирал их полотенцем от рыжей заводской смазки.

Инструменты еще ни разу не были в деле. Вытертые ножи и щипцы доктор бросал в никелированное ведро, стоявшее на полу каюты.

— Ничего, Васенька, разрежемся по первому классу...

Я попытался представить себя на Васином месте. Здравый смысл — это хорошо, но ведь даже в зубокабинете мы испуганно косим глазом, стараясь углядеть хоть на секунду раньше, чем он появится у нас перед носом, какой из крючков выберет сейчас врач.

При каждом новом звуке упавшего инструмента Вася вздрагивал и, меняя позу, силился заглянуть в ведро, словно от того, сколько накопится там этих ни-

келированных ножей и ножниц, зависело, сколь глубоко и мучительно будут его, Васю, взрезать.

Звяк.

— Не надо меня резать.

— Как это не надо? Ты соображаешь, что говоришь? Перитонита захотел?

Звяк.

— Я дотерплю.

— До чего это ты дотерпишь?

— До берега.

— А на берегу?

Звяк.

— Не надо меня резать.

— Очень даже надо. Не-об-хо-ди-мо. У тебя острый.

— Товарищ майор, я лучше дотерплю...

Увлечшись разговором, доктор вынимал уже те инструменты, которые никак для вскрытия живота пригодиться не могли. Какой-то нож с лезвием, вроде мастерка каменщика, ножницы, похожие на те, чем подрезают над трамвайными путями сучья деревьев. Пилу.

— Пилу зачем? — взвизгнул Вася.

— Верно. Видишь, не так все и страшно. Пилу мы на место...

Нагнувшись к ведру, он сзади увидел меня. Говорят, так художники иногда смотрят на пейзаж, чтобы он стал более красочным, — кровь, мол, приливает к радужной оболочке в глазу. Возможно, я явился доктору в более ярком, чем обычно, свете, потому что он заметно обрадовался.

— Вот оперироваться будем, — радостно сказал он, все еще так же особенно глядя на меня. — Острый аппендицит. Медлить нельзя.

Произнося эти слова, он был несомненно счастлив.

— Командир разрешил? — спросил я.

— Разрешил. Готовь, говорит, операцию, а мы сейчас на сеанс связи подвсплывем, радиogramму получим и уйдем на глубину. Наверху семь баллов. Нельзя наверху резать.

— Можно я тебе помогу?

— Ты?

— Я.

— А у тебя какая-нибудь медпрактика есть?

— У меня дед был врачом, — сказал я.

— Дед жив?

— Нет.

— Давно умер?

— Давно.

— Ну все же не очень давно? — спросил доктор, своей интонацией подсказывая мне, что я не мог забыть то, чему несомненно научил меня дед.

— Два года мне было.

Вася внимательно нас слушал. Он даже голову боком повернул. Любое слово доктора теперь имело отношение лишь к нему.

— Нда... — сказал доктор. — Два года. И хороший, говоришь, был врач?

Об этом, мне казалось, я не упоминал, но подтвердить предположение майора поспешил.

— Это важно, — задумчиво сказал майор.

Вася тянулся к нам ухом с дивана. Он был как иллюстрация к статье «Звукоулавливание».

— Ну что ж, — еще более задумчиво сказал майор. — Если два года... то... Я не вижу, в общем, серьезных противопоказаний. Но ты уверен, что два?

— Можно сказать, почти три.

— Вот видишь, — сказал доктор и погрозил мне ланцетом. — Три — это не два.

— Не надо меня резать! — глядя уже не на доктора, а на меня, вскрикнул Вася.

— Вот что, Василий, — брюзгливо сказал доктор. — Я думал, ты уже понял. Не по-мужски... Давай-ка лучше новокаин введем...

В шприц, который оказался у доктора в руках, мог войти стакан лекарства. Я таких шприцев еще не видел.

Вася слабо вякнул. До этой минуты он, видимо, все еще не верил, что его будут оперировать.

— Поворачивайся на спину, — жестко сказал врач. — В детский сад будем играть?

Я тоже подошел к дивану. Теперь уже я был ассистентом.

С выходом в море связано множество суеверий. Не брать на борт женщин. Не плевать за борт. Не свистеть на палубе. Не мыться. Вася, вероятно, был последователем последней школы. Руки у него были черные. Я посмотрел на босые Васиные ноги. Лучше было не смотреть.

— Может, мы его сначала в душ? — спросил я у доктора.

— В душ? Ни в коем случае. Одно из двух — либо ему там плохо станет от жары, либо он оттуда улизнет. Ищи его потом. Не надо мыть. Простынькой накроем,

а в середине я окошко прорежу. Спиртиком вымоем и обклеим со всех сторон. Ясно?

После укола Вася стал покорней.

— Глотни, — сказал доктор и чего-то налил Васе в маленький стаканчик зеленоватого стекла. — Можешь проверить. Живот тебе этим вымоем.

— Не надо мыть, — сказал Вася и улыбнулся.

— Повеселей? Так: А теперь мы тебя запрем.

— Зачем запирать? — спросил Вася.

— Разговорчики.

Прежде чем выйти из каюты, доктор тщательно запер сейф и стеной шкаф.

— Не ищи, — сказал он Васе. — Все на замке.

Потом мы вышли, и доктор запер каюту.

В помощь нам прибыли два старшины-сверхерочника, проходившие медпрактику в госпиталях. С их помощью мы пришили в кают-компанию толстый белый нейлоновый тент и пристегнули его по всему подволоку и переборам. Только над столом в тенте оставалось небольшое прямоугольное отверстие для люстры рассеянного света.

Стулья из кают-компания вынесли. На пол налили воды, чтобы не летела пыль, поставили кварцевую лампу для очистки воздуха от бактерий, в отсеке вырубili вентиляцию, чтобы воздух отстоялся. На подогревной плите около кают-компания кипятились инструменты.

Старшины быстро скинули с себя одежду и облачились в халаты. Как только они завязали себе лица марлевыми масками, они сразу стали похожи на старых санитаров.

Все к операции было готово. Ждали слова командира.

А лодку уже заворачивало веретеном — не просто раскачивало, а вертело, как может вертеть только подводный корабль, не приспособленный к поверхности. Концевые отсеки обкручивали какой-то невидимый конус. Так ходит ручка волчка. Человек пять на лодке наверняка уже позеленели и залегли. А что-то там делалось с нашим Васей?

— За мной! — сказал нам доктор. И мы спустились к его каюте.

Вася лежал на спине и щипал себе живот.

— Совсем ничего не чувствую.

— Колумб, — сказал доктор. — Творец новостей.

Он еще раз наполнил громадный шприц и склонился к Васиному животу.

— Уже и так замерзло...

— Не простудишься. А теперь надо его наверх нести, — скомандовал он нам.

— Я сам идти могу.

— Разговорчики. Входи в роль. Ну, взяли!

Оболочка Васиной души оказалась тяжелой и на редкость неудобной к тому, чтобы ее носить по трапу.

— Товарищ майор, да я сам...

— Мешать будешь?

Лодка ходила веретеном.

Пока мы тащили Васю, нас обколотило о поручни и переборки со всех концов. Наконец мы положили его на стол в кают-компании.

— Если оперировать сейчас, косметических швов не будет, — пробормотал мне на ухо доктор.

— Чего, товарищ майор? — спросил Вася. Он все время прислушивался.

— Тяжелый ты, как мешок с... гвоздями. Вот что я говорю.

Вася опустил затылок на стол и еще больше побледнел. Видно, он что-то все же расслышал.

— Привязать! — сказал доктор. Вася не сопротивлялся. Его того и гляди могло скинуть со стола. Лодку вертело немилосердно.

— Уж скорей бы... — бормотал он. Он весь был в поту. И совсем белый, наверно, от новокаина.

Мы накрыли Васю простыней, и доктор вырезал в простыне окошечко в том месте, где должен был оперировать. Затем вымыл живот Васи спиртом. Потом мы надели майору марлевую маску и стерильные перчатки, и он, подняв ладони к плечам, встал над Васей.

Еще минут десять лодка шла под самой поверхностью. Никто из нас не говорил больше ни слова. Простыня у Васи на груди стала промокать.

— Нехорошо? — спросил доктор.

— Нормально...

Голос у Васи был каким-то серым.

— Радиограмма принята! — доложили радисты.

— Сейчас погрузимся, — сказал доктор.

Прошло еще минуты две. По динамику понеслись команды. Игорь командовал погружением.

— Задраить нижний рубочный люк. Товсь на быстрый!

Мы почувствовали, как лодка наклоняется носом вниз. Мы погружались. Скоро качать перестало.

Все еще не опуская рук в перчатках, доктор подо-

шел к динамику межотсечной связи. Один из старшин нажал под динамиком кнопку.

— Есть второй! — ответил из центрального голос Игоря.

— Прошу разрешения у командира начинать операцию.

— Не разрешаю, — ответил командир.

Еще через несколько минут к нам в кают-компанию пришел заместитель. Он сказал, что персональной радиограммы не было. Была только общая.

В общей радиограмме сообщали о начале учений.

Операция

— Ну так что же нам с ним делать теперь? — спросил я у заместителя.

— Приказано всплыть через час. За сорок-то минут вы ведь не управитесь? — заместитель повернулся к доктору.

Тот глянул на Васю.

— Нет, — сказал он. — Мне нужно гарантированных хотя бы полтора часа. Это ведь брюшина.

Вася все слышал. На простыне в нескольких местах проступали мокрые пятна.

— Поддерживайте обезболивание, — сказал заместитель. — Всплываем минут через пятьдесят.

Через сорок минут лодку снова стало мотать. Снова по трансляции понеслись команды, предшествующие выходу под перископ. Снова мы слышали писк рации.

Персональной радиограммы опять не было. Их давали по очереди, вдоль цепочки рассредоточенных в океане лодок. Сначала радиограммы получали те лодки, в зоне действия которых в ближайшие часы мог появиться условный противник. Где наше место в этой цепи, мы не знали. Это было известно лишь штабу. Но штабу было неизвестно, что у нас на операционном столе лежит матрос. И мы опять нырнули.

Вася с замороженным животом лежал на столе.

Потом наступила полночь.

Мы вышли к поверхности, аккуратно проткнули ее антенной и погрузились снова.

То же самое было в час ночи.

Приходил поглядеть на нашего пациента командир.

Просидел рядом с Васей часа полтора заместитель.

Зашел Шкаев. Вид у него был совсем другой, чем все последние дни.

— Что с вами? — спросил я. — Вспомнили об именинах?

— Да нет, — говорит. — Просто так. Ученья...

— Ну и что?

— Вот и видно, что вы — невоенный человек.

Людка меняла глубину. Переходить из отсека в отсек сейчас нельзя. И Шкаев, несмотря на свой довольный вид, вдруг стал томиться.

— Да что с вами?

— Я же вам сказал. Ученья.

Тут мы снова всплыли, и, как только можно было уйти в центральный, Шкаев сразу же ушел. Вместо него пришел Игорь.

— Ну, — сказал он мне, потирая ладони, — сегодня стрельнем. Залп давать будем. Смотри не проспи.

— Когда?

— Не знаю. Может быть, через час, может, через десять. Когда цель в зону действия войдет. Залп дадим. Залпик имени товарища Шкаева.

— Почему имени Шкаева?

— Как почему? Он же спец по ракетной стрельбе. Один, можно сказать, из корифеев стратегического рисунка. У ракетчиков даже термин такой есть — принцип Шкаева... Да ты что — никогда с ним об этом не говорил? В одной каюте живете... Эх ты! Меню в записные книжки переписываешь, а такого зубра проглядел.

Я обиделся.

Шкаеву, конечно, я говорить ничего не собирался, но вообще-то всякой откровенности конец. Бок о бок на плавказарме неделю жили, здесь уже — третью неделю в одной каюте. Откуда я? — говорит. Да так, штабная единичка, скучища, дел никаких...

И на тебе! Специалист по ракетному удару.

Вася лежал на столе. Лежал пятый час.

Мы всплывали, поднимали антенну, снова убিরали. Сверхсрочники и я слонялись по второму отсеку как сонные мухи. Спать хотелось невыносимо. Мы снова и снова кипятили инструменты, включали кварцевую лампу. Вася лежал с пятым уколом новоканна. Мы принесли из кают чистые подушки и подложили ему под плечи и под голову, чтобы он заснул. Но потевший раньше, он теперь мерз — за какой-нибудь час у него появился насморк.

— Еще не легче, — сказал врач.

— Принести одеяло? — спросил один из сверхсрочников.

— В одеяле больше всего инфекции.

— А если новое?

Разбудили баталера, взяли у него новое одеяло. Покрыли Васю еще одной новой простыней, накрыли одеялом. Он все не мог заснуть, лампы мешали. Потушили лампы. Наконец Вася стал дышать посвистывая. Пропал он минут десять.

Мы не заметили, как нас начало качать.

— Внимание второй! — сказал голос командира. — Разрешаю начинать операцию.

Еле слышно защелкала на переборках краска — мы уходили на предельную глубину. Персональная радиограмма была получена.

Доктор стоял, подняв руки в резиновых перчатках к плечам. Это были уже третьи перчатки.

— Ну что, Василий. Начнем?

Он взял в руки скальпель. Когда нож коснулся кожи, Вася вздрогнул и изогнулся.

— Держите, — сказал доктор. — Кажется, новокаин перестал брать.

Я подавал инструменты со стороны Васиных ног. В коленях ноги были привязаны.

— Ну спокойно же! — прикрикнул доктор.

Вася с ужасом глядел в белый тент над собой. Он что-то шептал. Руки доктора уходили все глубже.

— Зажим. Тампон. Еще тампон. Еще.

Сначала у меня не было времени взглянуть под руки доктору. Но потом я встал к нему поближе и стал смотреть. Сквозь желто-розовую щель в животе я увидел глянцевиные красно-фиолетовые кишки. Это очень напоминало анатомические макеты в кабинетах анатомии. Мешало только то, что края раны и кишки пульсировали. И еще был какой-то желтый слой под кожей — неживой, страшный...

— Тампон... — сказал врач.

Мне почудилось, что нас снова качает. Переборки понесло в сторону.

— Тампон! — крикнул доктор. — Тампон!

Я очнулся в коридоре около кают-компания. Сидел на стуле. Перед носом у меня была вата с нашатырным спиртом, ее держал сверхсрочник в бedom.

— Ни разу разреза не видели? — спросил он.

— Ни разу.

— Нормально. Я два раза с катушек валился в госпитале. Да это со всеми бывает. Теперь можете не бояться. Больше не свалитесь.

Я действительно никогда в жизни не видел, как режут человеческое тело.

Вася кричал. Операция шла уже двадцать пять минут. Доктор никак не мог найти аппендикс. Вася скрипел зубами.

— Ты вот что, — не вынимая рук из Васиного живота, сказал доктор, — ты вот что: если надо выразиться, так не стесняйся. Все мужчины.

И тут Вася загнул такое, чего ни до этого, ни после я никогда не слышал. Там были даже причастия.

— Ну, полегче стало? А сейчас терпи!

И Вася терпел.

Аппендикс и в клинических условиях иногда оперируют по нескольку часов, зависит от случая. Наш случай, насколько я мог понять, был нехороший. Вася, должно быть, давно терпел боли, он скрыл не один приступ. Состояние брюшины оказалось критическим. Всюду попадались спайки.

— Молись богу, что вовремя захватили, — пробормотал доктор. — И не вертись. Ждать все равно было нельзя. Ни часу.

Ассистенты вытирали доктору со лба пот. Из-за спая в брюшине он никак не мог найти отростка. Прошло уже около часу с тех пор, как сделан был первый надрез.

— Скоро? — спрашивал Вася.

Доктор не отвечал. Прошел час и пять минут. Час и десять. Час и пятнадцать. И вот доктор держит в руках аппендикс...

Отросток был чуть зеленоватый.

— Кетгут, — сказал доктор. Ему подали нитки и крючковатую иглу. Доктор стал шить.

— Ножницы!

И вдруг я увидел, как по лицу нашего доктора бежит вода. Один из сверхсрочников схватил полотенце и стал вытирать эту воду. Я посмотрел на руки доктора. Оболочка аппендикса, только что натянутая, тугая, теперь была дряблой — аппендикс лопнул. Содержимое его ушло в раскрытую брюшину.

Прошло несколько секунд. Мы ждали. То, что произошло, понимал даже я. И что будет дальше — тоже.

Дальше будет воспаление, нагноение, перитонит. Перитонит в океане.

Мы смотрели на доктора. По его лицу бежала вода. Я вспомнил разговор доктора с механиком. Накаркал, толстый черт. Накаркал.

Доктор выпрямился и схватил скользкой перчаткой за плечо одного из ассистентов. На плече остался след.

— Вниз ко мне... Весь готовый пенициллин сюда. В шкаф, вторая полка. Весь!

Через минуту сверхсрочник уже топтал по трапу обратно. В руках и под мышками он нес шесть пол-литровых стеклянных банок с винтовыми крышками.

Доктор решительно отрезал оболочку аппендикса и швырнул в ведро. Потом стал отвинчивать крышки от банок и лить то, что в них было, прямо Васе в живот. Звук струи менялся. Это было смешно и страшно.

А потом — зашил.

Мы отнесли Васю в каюту заместителя по политчасти. Так нам было приказано. Лицо Васи было пепельно-желтым. Он плохо, наверно, понимал, где находится. Он не спал, но и не бодрствовал. Слов не произносил, но всхлипывал и скрипел зубами. Потом открыл глаза и сказал:

— Ой, чего-то у меня там...

И потянулся к животу.

— Пенициллина у тебя там три литра, — сказал доктор.

Около Васи сел дежурить один из матросов его отсека.

Мы пошли с доктором в душ, облились горячей водой, и лишь когда я добрался до койки, то понял, что страшно, смертельно устал. Шел шестой час утра. Шкаева в каюте не было, сторожил свой ракетный спектакль в центральном.

Я заснул, а когда проснулся — первую очередь офицеров приглашали по трансляции к столу. Было без нескольких минут два.

Первое, что я увидел в коридоре второго отсека, был боевой листок. Под заголовком «Обморок от творческих впечатлений» неумелый карикатурист нарисовал меня лежащим около операционного стола. В руке у меня была громадная записная книжка. На обложке ее было написано: «Творческие впечатления». Между Васей и мной стоял растерянный доктор. Из рта у него плыло облачко. В облачке была надпись: «Кого же лечить?»

Около листка, гогоча, толпился синий народ.

День начинался неплохо.

Я пошел в центральный. В центральном я узнал, что, пока я спал, лодка вышла на свою позицию, обнаружила «противника» и дала условный ракетный залп. И снова, не обнаруженная, погрузилась. Теперь мы шли обратно в свой квадрат.

— Игорь, почему ты меня не разбудил?

— Командир приказал не поднимать по боевой тревоге никого из оперпровавших.

— Спасибо командиру! — сказал я.

Я проспал все то, ради чего меня посылали на Север. На эту базу. На эту лодку. Из всего ракетного удара я увидел одно — опустошенное и счастливое лицо Шкаева.

— Терпеть вас не могу, — сказал я. — Сосед называется.

Я был так зол, что забыл наше сегодняшнее соотношение. Что у меня были три маленькие звездочки, а у него — три большие.

Прожить со специалистом по ракетному удару месяц в одной каюте и ничего от него не услышать! Проплывать на ракетной лодке поход и проспать единственный эпизод боевой кульминации. Хорошую я напишу повесть...

Я так разозлился, что не пошел в кают-компанию, где обедала первая очередь офицеров, к которой я был приписан. Я пошел в другую от центрального сторону, просто так, без цели. Кто бы мне ни попадался навстречу — считал необходимым скалить зубы, благо тут у всех с зубами хорошо.

Несколько раз меня хлопнули по плечу, потянули за рукав. Раньше этого не делали.

В старшинской кают-компании меня встретили хохотом — видно, сидящие за столом только что обо мне говорили.

— Как он там? — спросил кто-то о Васе.

А что я мог ответить? Я пожал плечами.

— Оклемается, — сказал кто-то. — Жиру в нем было! Теперь на диете скинет. А майор ничего... Уконтрапупил.

Когда я уходил, вдогонку мне опять грохнул смех.

В отсеке, где по боевому расписанию должен был находиться Вася, меня посадили за стол. Отказаться не удалось.

— Как он там?

Сидим. И я вдруг понимаю: им есть что у меня спро-

силь. А мне — что им ответить. Им интересны мои слова. Больше того, над моими словами они могут посмеяться. Могут на них обидеться. А разве можно обидеться на чужого?

— Как Вася? Как там ваш пациент?

Куда я ни приходил, меня о нем спрашивали. Оказывается, вся лодка ловила новости о больном.

Доктор сидел у Васиной койки. Тот тихонько охал. Доктор откинулся к переборке спиной, придерживал Васю сквозь одеяло за ногу, словно боялся, что иначе потеряет контроль над Васиным здоровьем.

Зеленым своим лицом Вася сделал мне знак в сторону врача. Врач спал. Я думал, что он, как и я, отправился после душа к себе в каюту, а он, оказывается, вот где все время был.

— Ты как? — шепотом спросил я.

Вася повел слабой рукой над животом и сморщился. На столике лежал градусник. На шкале было тридцать девять и четыре.

— Давно? — больше глазами, чем голосом, спросил я.

Он не понял, что-то забормотал и задвигал головой. Наверно, опять начинался жар.

Доктор открыл опухшие веки.

— Что? Пульс? — спросил он и переложил свою ладонь с одеяла на запястье Васи.

Часа два было совсем плохо. Доктор поставил капельный аппарат, из которого потек в вену больного физиологический раствор, мочил Васе губы мокрой ваткой. Не отходил. Вася просил пить. Пить ему было нельзя.

В каюте скоро становилось душно, и, ожидая, когда понадобится, я стоял или сидел в коридоре. Оказывается, все время кто-нибудь был нужен.

Приходил заместитель. В кают-компании сидел с прошнурованной тетрадкой Шкаев. Записывал что-то, потом радостно озираясь. Видно, ему хотелось вскочить и побегать по лодке, но прошнурованная тетрадь не давала.

Об устройстве рубки

Пришел командир. Молодой он был невероятно. Вот загадка — Игорь старый, а командир молодой.

Командир ничего не спрашивал. Посмотрел на то, как доктор создает вокруг Васи медицинскую атмосферу и как на подхвате стою я. Взял меня за локоть.

— Пойдемте, — говорит, — вы мне нужны.

И к Шкаеву в кают-компанию заглянул.

— Не могу ли, — говорит, — вас тоже пригласить с собой, товарищ капитан первого ранга?

— Для чего?

— Да так, — говорит.

Пришли в центральный. Там эти трое сидят, как всегда.

— Прошу за мной, — говорит командир нам со Шкаевым.

И лезет по трапу к нижнему рубочному люку. Поднимает его.

— Старпом, — кричит сверху, — освещение здесь, пожалуйста, врубите.

За командиром лезет Шкаев. За Шкаевым я. Все трое — Игорь, механик и заместитель — сопровождают нас взглядами. Не то чтобы равнодушными, а так, равнодушно-нарочитыми. Игорь смотрит на меня, словно никогда в жизни не видел, а увидев, ни малейшего желания повторить это удовольствие не имеет.

Залезли мы в рубку. Командир открывает люк. На люке штурвал клинового запора. Вокруг этого штурвала мы все втроем и становимся. Собственно, больше нигде и стоять. Все, что в рубке есть, это трап к верхнему люку и несколько навигационных приборов, повторяющих показания основных. Вот и все. Непонятно, что нам здесь делать. Шкаев, видно, думает то же самое.

— Вы что, — говорит он командиру, — решили нам чердак своего особняка показать? Я, — говорит, — к примеру, ничего особенно нового тут не вижу.

— Чем же мне вас развеселить, товарищ капитан первого ранга? — сокрушенно говорит командир и оглядывает рубку. — Я-то думал, мы здесь найдем занятие...

И незаметно вынимает из кармана пачку сигарет.

Третью неделю мы не курим.

— Шутите, — говорит Шкаев. — Спичек-то небось не захватили?

Но спички у командира нашлись. Они лежали у него отдельно от боковинки коробка. В разных карманах.

— На всякий случай, — сказал он. — Для гарантии.

Мы закурили. Я огляделся. Гореть в рубке было действительно нечему.

Прислонившись спиной, Шкаев мечтательно улыбался и смотрел сквозь синий дым на нас обонх.

— Почему именно мы? — спросил он у командира.

— Общественное мнение.

— А все же?

— Вас — за то, что вы из Москвы. Главный штаб. Отдел кадров. Главком. Теперь у нашего корабля там будет рука.

— Так. А его?

Меня, значит.

— Чтобы потом можно было претензии предъявить, — сказал командир. — Я, мол, тебя даже в рубку курить водил, притом, что курение на лодке категорически воспрещено.

— Ну а если без шуток?

— Да так, — сбросив с лица всякое шутливое выражение, сказал командир. — Вот вас никто, пардон, за уши не тянул доктору помогать? Так ведь? А вы вызвались. Значит, оказались полезными кораблю, а корабль... Что такое корабль? Это кусочек...

Над нашими головами из-под верхнего люка раздался свист воздуха. Воздух надавил на барабанные перепонки, последние слова командира я уже не слышал. Вслед за шипеньем сверху полилась вода.

«Все, — мелькнуло у меня в голове, — отдраился верхний рубочный... Ничего не успеем...»

Вода лилась нам на плечи и головы... Командир белой взлетел к верхнему люку и повис на штурвале запора, стараясь затянуть его. Мы со Шкаевым разом нагнулись, сшиблись головами и стали рвать кверху нижний люк. Люк с хлопанием отрывался от комингса и захлопывался снова. В ушах щелкало от меняющегося давления.

Наконец его удалось оторвать. Через три секунды мы уже стояли в центральном. Люк над нашей головой был наглухо задраен.

— Ничего себе — современная техника, — сказал я Игорю. — На стометровой глубине наружные люки отдраиваются...

— Какие люки?

— Верхнерубочные, вот какие...

Командир и Шкаев молчали. Волосы командира, голая голова Шкаева, плечи у нас всех были мокрые.

— Люк отдраился? Как же это он сумел? — с идиотским лицом сказал Игорь. — Просто воздуху вам немного добавили, чтобы посвободней дышать.

— А вода? Вода откуда?

— Вода? — спросил Игорь.

— Сверху из-под люка...

— Из-под люка. А не из патрубка? Там трубы потеют.

Командир и Шкаев засмеялись. Смех этот, наверно, стоил им немало. Особенно командиру. Командир сделал шаг и оказался лицом к лицу с теми тремя.

— Вынужден признать, товарищи, — сказал он, — что в настоящий момент старший помощник лучше меня знает устройство корабля...

Он смотрел им всем в глаза, и они смотрели. Потом все четверо улыбнулись. Игорь встал и, держа руки по швам, сказал:

— Виноват, товарищ командир.

— Ничего. Я вам в какой-то степени даже благодарен.

И пошел из центрального. Остановился и добавил:

— Пусть только в следующий раз вами движут подбавляющие офицеру силы... А не ревность.

При этом он посмотрел на меня. И они со Шкаевым ушли.

— Все четко, — сказал Игорь. — Раз мы с тобой вместе учились, значит, я тебя ревную.

В центральном долго молчали.

— А вообще-то самое то... — сказал механик. — Молоток.

— Да... — поддакнул заместитель. — Мне не по себе стало — с такими они оттуда фотографиями вывалились... А ведь нашелся.

— Виноват, — еще раз сказал Игорь. — Больше не буду.

— Не будет он.

И все засмеялись.

Холодные и горячие

— Так вот, война, — рассказывал Шкаев. — Сорок третий год. Весна. Север. Я только что получил лодку...

Мы сидели втроем в каюте командира. Четвертой была дисциплинированная муха. Сидя на стекле часов, она почтительно мыла лапки.

К Васе я только что заходил. Вася перемогался. Доктор дремал рядом. Последняя Васина температура была чуть ниже тридцати девяти. Но все-таки уже ниже. Часа на полтора я был свободен.

— По нынешним временам лодка моя была бы средненькой, а тогда гордость техники, достижение... — продолжал Шкаев. — Ну и я горд, да что там горд, счастлив. Война, поход за походом, «охотники» вот-вот накроют, а я счастлив. Командую, наслаждаюсь и полагаю, конечно, что нет человека, которому бы мои приказания были в тягость. И вдруг такие обнаруживаются. Да не где-нибудь, а на моей же лодке. И не один, не два, а по меньшей мере человек пять. И собрались они, черти, в одном отсеке. То есть что значит собрались? Помню, что по моему приказу даже переделывались расписания боевых постов, так я хотел растащить их по разным отсекам, и представьте — не удастся. Это мне, командиру лодки военного времени, полному хозяину, у которого права вплоть до немедленного применения оружия! Но кроме прав есть у меня, понятно, и обязанности, и состоят они, как вы, вероятно, понимаете, в том, чтобы лодка была в постоянной боеготовности. А они, эти пятеро, то через своего офицера докажут, что им надо торпедные аппараты в порядок приводить и обязательно вместе, бригадой; то до прихода в базу компрессоры перебирают и тоже бригадой — и опять те же пять имен. Одним словом, всякий раз получается, что если я хочу пользы для лодки, то надо делать так, как они мне через своего славенького лейтенанта внушат. А лейтенантик был и правда славный, но выпущенный из училища досрочно, недоучка. И еще фамилия — Поплавков.

Прихожу к ним в отсек. Они как дүхи, около своих механизмов — что-то скребут. Вечно скребут, сутками, неделями. Лица в масле, руки в грязи, роба, брюки — как ветошь для протирки.

Вхожу в отсек. Все ко мне спиной. Кроме лейтенанта, естественно. Тот командует. Но они по первой команде только пол-оборота головой. Если и не ноль внимания, то около ноля.

Ну, думаю, я вас научу, я вам покажу, вы у меня еще вспомните, как вам хорошо жилось...

«Что, лейтенант, — говорю, — не очень-то ваши слова здесь слушают?»

Он стоит, переминается, глазами хлопает. Что ему ответить? Смотрю я на его угрюмую команду, и уже смена настроения у меня, мне-то самому еще тридцати нет, молодой. Может, думаю, их другим взять, не строгостью?

«Грязно, — говорю, — у вас в отсеке, Поплавков. Работа механизмов — это еще не все. Почему у вас люди в таком виде?»

Смотрю, переглядываются. Ладно, думаю, вы меня вывести из себя хотите, но это вам не удастся... Другим вас возьму. Докажу вам, как вы не правы. В тот же день привозят нам на лодку трофейный фаянс — несколько десятков тарелок. Красивые такие, приятно в руках держать. Да еще рисунок голубенький, парусные корабли, яхты... Замполит делит тарелки по отсекам.

«В кормовой, — говорю, — не забудь». — «Само собой, — говорит. — Хотя и зря». — «Почему зря-то?» — «Да так, — говорит. — Сам увидишь. Как с наволочками будет».

А наволочки, которые я приказал им выдать, они, не надевая на подушки, на протирку механизмов пустили.

Как заместитель говорил, так и случилось. Уже через день весь фаянс из кормового вынесли в помойном ведре.

Ах так, думаю. Назло, значит, мне...

«Поплавков, что случилось с тарелками?»

Глазами хлопает.

«Бьются, товарищ командир. Не привыкли матросы». — «Знаю, — говорю, — к чему они привыкли. Вы читали, что у них на дне мисок выковыряно?»

Молчит. Читал, значит. И я как-то нечаянно удостоился.

Приехала к нам на лодку тогда корреспондентка из флотской газеты. Поговорили, записывает что-то.

«Можно, — спрашивает, — по отсекам пройти?» — «Отчего ж нельзя... Пойдемте».

А на лодке в это время обед. Идем через отсеки, всюду предлагают присоединиться. Нет, думаю, девушка недурна собой, ее приход в некотором роде на корабле событие, отведу-ка я ее в свой любимый кормовой. Может, эти пираты и размягчатся немного от такой чести, а потом с ними будет полегче. Дошли до кормового. Я — впереди; заместитель по политчасти — сзади. Заместитель угадал мои мысли и говорит: «Отчего бы нам в кормовом не пообедать?»

Эта вся публика сидит с мисками на коленях. Заворочались, будто встать собираются.

«Вольно, — говорю. — Сидите. Да налейте-ка борща и нам тоже. Вот гостье, заместителю и мне».

Переглянулись. Но налили. Едим. Вдруг, смотрю, корреспондентка бледнеет. Ложкой двигать перестала.

«В чем, — спрашиваю, — дело?» — «Да так, ничего... Я сыта...»

Матросы рожи свои прячут. В чем дело, понять не могу. Понял, когда сам борщ доел. Вижу, на дне миски надпись. Свеклу разгреб. Если очень смягчить, что там было написано, то смысл примерно такой: «Мясо ищешь? Так вот фиг тебе, а не мясо». Корреспондентка в свою миску смотреть боится. Теперь уже не бледная, а красная вся. И еще один из этих пиратов говорит: «А командиру-то мяса положили?»

В общем, когда к нам на лодку командующий приехал, то обедать в кормовой я его не повел. А теперь, значит, они фаянс переколотили. Поплавков передо мной стоит и в глаза мне не смотрит. «Бьются, — говорит, — тарелки».

Ну, тут я рассвирепел и под горячую руку сунул Поплавкову суток пять, чтобы он получше за своими подчиненными следил. Подробно я очень рассказываю, по смысл в том, что стал я эту публику из кормового держать на прицеле. И собственно, в чем конфликт? Тогда по молодости я никак понять не мог, да и сейчас причину только предполагаю. И кажется мне, что дело здесь в необычайно остром чувстве собственного достоинства. Перекошенного, однобокого, но все же достоинства. А то, как они ко мне относились, — демонстрация независимости. Теперь-то я понимаю, что они так бы любого нового командира встретили, но тогда мне все это под личным углом отсвечивало. Меня, мол, именно меня невзлюбили! А за что? За то, что я молодой, веселый? За то, что я для своего экипажа в лепешку расшибусь? Но не тут-то было. Им в нелюбимых у меня хотелось ходить. Ах так, думаю... Ну ладно. Меня тоже заело. Можем и иначе. Пригрозил я одному из них штрафбатом. А этот парень был из-под Пскова, Забродин, медленный такой.

«Что ж, — говорит, — воля ваша».

Как при крепостном праве. «Воля ваша...» И лицо у него такое ясное-ясное... Будто свет увидел. Мучник.

«Ты как, — говорю, — отвечаешь? Ты что, Забродин, в церкви?»

А он улыбнулся тихо. И страха ни малейшего. Опасение лишь какое-то в глазах — будто боится он, что я чего-то не понимаю, но объяснить мне не в силах. В тот же день вижу: он одного новенького матроса около своего компрессора мурыжит.

«Чем, — спрашиваю, — занимаетесь?»

Потому что против воли у меня кормовые из головы не идут.

«Вот, — говорит, — вместо меня теперь будет...»

Не договорил. А у меня в горле запершило. Я как заору на обоих: «Ну-ка марш к своим заведованиям! И кому где стоять — об этом не вам думать!»

А недели через три в море намотали мы на один из винтов стальной трос.

Но сначала еще о двух из моего экипажа. О двух офицерах. Один был Арсеньев, минер. И почему он минер, да еще подводник — совершенная загадка. Роста небольшого, худенький, мерзнет все время. Ходит в ватнике, книжка из кармана торчит.

«Что, — говорю, — читаете?» — «Да я так... Не читаю».

Пихнул книжку поглубже, чтобы видно не было.

«Зачем же, — говорю, — с собой таскать?» — «Да так, заглядываю». — «Словарь, что ли?» — «Нет, не словарь». — «Вам бы, — говорю, — лучше аккумуляторы просмотреть торпедные. Ближе как-то».

А второй, друг его, штурман Баскаков. Непроницаемый такой, красивый. Так вот, намотали мы на винт стальной трос. Как это получилось, сказать трудно, — то ли это хвост от оборванного паравана был, то ли чей-то буй винтом срезали, — в общем, винт заклинило, двигатель воеет, греется, и батарею сажаем. Что делать? Надо на поверхность выходить и спускать водолаза. Легкий водолазный костюм у нас с собой был. Ну, вы знаете, что такое легкий костюм — это один свитер под резину, к лицу резина вплотную, а кисти рук голые. Весна, места эти же, льдинки плавают.

Говорю заместителю — собирай экипаж. На такое дело нужны добровольцы. И одному, конечно, не справиться — кто его знает, сколько там намоталось троса и как намоталось, — может быть, придется по отдельности каждую проволочку откусывать. И район нехороший. Все время их бомбардировщики здесь висят. И торпедосцы.

Но общего собрания не потребовалось. Пробрался ко мне Поплавков, а за его спиной один из кормовых, Коробов, самый из них жилистый и молчаливый. Я про него только и знаю, что он занкается.

«Что, — спрашиваю, — имеете сказать, Поплавков?» — «Да, вот, — говорит, — товарищ командир, мой просят вам передать, что не надо команду собирать —

сами все сделают». — «Т-т-так точно», — подтверждает Коробов.

Посмотрел я на него.

«А все, — говорю, — понимаете, что при этом может произойти?»

Тот молчит.

«Там ведь, наверно, нас уже ждать могут». — «Д-да, понимаем», — говорит. Как о само собой разумеющемся.

Если нас обнаружат — срочное погружение. Хлопнули рубочным люком и открыли клапана. Пятнадцать секунд. Иначе всем крышка. Даже те, кто будет водолаза с палубы подстраховывать, — и те останутся. Не говоря уже о водолазе. Если его не привязывать, то он на дно уйдет, если привязать, то его изрубит другим винтом.

Смотрю я на Коробова, и оба, наверно, об одном и том же думаем.

«Отдаете себе отчет?» — спрашиваю. Пожал плечом. Общая мода у них такая. «Само, — говорит, — собой».

И тут появляются Арсеньев и Баскаков. Баскаков — серьезный, побритый, слова жесткие. «К чему, — говорит, — командир, ненужная демократия? Назначьте, и все. Можно подумать, что вы ответственности боитесь. Желаю участвовать. Пишите меня».

А Арсеньев, тот, напротив, шутить пустился: «Вы, — говорит, — товарищ командир, не вздумайте Баскакова наверх посылать — он от кочевников происходит и человек на море случайный...»

А он сам, Арсеньев, не случайный, оказывается. Будто не понимает, что ему только очков и не хватает на носу. Библиотекарь! Смотрю я на него и вижу, что он весь мокрый. Но больше всего боится, как бы его страх не заметили... Нельзя его наверх не послать — этот ничего себе не прощает, и для него главное не только молодцом казаться, но и быть...

И такая меня нежность к ним разобрала, что мне их всех обнять хочется... А они стоят, смотрят, ждут — и лица злые. Кроме Поплавкова. Тот стоял, стоял да и говорит тоже: «Разрешите и мне, товарищ командир, участвовать».

Смотрю я на него — славный такой, храбрый. Что же он — хуже других? Не хуже.

«Нет, — говорю, — Поплавков. Там опытные нужны офицеры».

Видю: рад ужасно. И молодцом себя показал, и не надо наверх идти. Я посмотрел на Арсеньева — с того

прямо вода бежит, а глаза как два угля, и челюсть снизу прижал, чтобы не прыгала. Да, Поплавковых, думаю, порядком надо, чтобы одного такого, как Арсеньев, перетянуть... Если Арсеньев сейчас от страха не умрет. Только он, конечно, себе этого не позволит.

«Идите, — говорю, — Поплавков».

Не хотелось мне в тот момент больше сравнениями заниматься.

«Ну что ж, — говорю Арсеньеву и Баскакову, — давайте разрабатывать план. Что и как...»

Всплыли. А наверху светло, спокойно. Весна... Льдины плавают.

И полезли эти ребята под воду один за другим — по двадцать минут — до полного окоченения. Один под водой проволочку за проволочкой рубит, а двое тем временем по небу глазами шарят... Полчаса проходит. Час. На тех, кого из водолазного костюма вынимают, смотреть страшно: лица синие, с рубцами от резины, и веки уже от холода не мигают. А следующий уже сразу лезет, да еще и с шутками... Ладони были у тех, кто вылез, пальцы... Ледяная вода, проволока в заусеницах, да еще скорей, скорей. В общем, уже четвертого раздевали, и пятый собирался лезть, когда появились самолеты. Если бы они высоко шли, а то они вынырнули из-за горизонта милях в трех. И прямо на нас.

Шкаев замолчал.

— Ну а дальше? — спросил командир.

— Дальше? Дальше — срочное погружение.

— И никто из них не успел?

Шкаев ответил не сразу.

— Только мы погрузились и отошли — на одном винте не разбежишься, взрывы наверху...

— Сколько же человек осталось? — спросил командир.

— Четверо. Двое матросов и Арсеньев с Баскаковым.

— А потом всплывали?

— Всплыли. Сразу же, как самолеты улетели. Баскакова нашли. Он не выжил. Ран у него не было, только все порвано внутри. Близкий взрыв.

Мы с командиром молчали.

— Одно ощущение, — сказал Шкаев. — Так сказать, исповедальное, если хотите... Когда они погибали там, наверху, я не чувствовал вины, своей вины. И потом тоже. Они будто имели право на эту смерть. Вот пошли я Поплавкова подстраховывать водолазов, я бы потом места себе годами не находил. Он ребенок какой-то по

сравнению с ними был, наверное, позволял себе еще не становиться взрослым. А эти — не позволяли. Говорите вы... Подвиг... Что это такое? Геронизм. Герой. Для меня вообще слово «герой» связано обязательно с обороной, с закрыванием, так сказать, собственным телом чего-то исконного. Это не изобретательность, не лихость... Это совсем-совсем другое. Невозможность поступить иначе, что ли? Ваш ребенок лезет под машину, разве будете вы думать, что на свете нужнее вы, а не это несмысленное существо? Разве у вас есть выбор?

— А ваша лодка? — спросил командир. — Ваш экипаж? Как он потом без этих людей существовал?

— Новые появились... — сказал Шкаев. — Другие. Но всегда между этими другими были и холодные и горячие.

— А теплые?

— Теплых всегда сколько угодно. Но из них героев не бывает.

— Это, кажется, я где-то уже слышал, — сказал командир. — А вот мы сейчас все время говорим о том, что существует повседневный подвиг. Как ни крути, а тут что-то бренчит, фальшивит.

— Еще как. Что бы мы ни говорили о том, что иные достижения мысли, труда или опыта могут приравняться к героизму, я не соглашусь. Героизм, подвиг — это превосходство духа человеческого над телом. Это испытание тела на муку, на гибель. И других испытаний, мне кажется, не существует, если речь идет о героизме. Это смертельный конфликт между духом и заботой о собственном теле. И пока его нет — нет победы духа. Нет риска для тела — нет и героизма. В повседневной жизни они, по-моему, невозможны. Там, где не пахнет смертью, насильственной смертью, там нет и подвига. Подвиг — это быть или не быть. Повседневность таких дилемм не ставит. Все равно ведь быть.

— Жаль, нет моего заместителя, — сказал командир. — Что бы он тут сказал?

— Так ведь и я не стал бы спорить, — ответил Шкаев. — Просто условились бы, что военный подвиг, боевой — это одно, а трудовой — совершенно другое. Я ведь, молодые люди, военный человек всю жизнь. Могут у меня быть свои предрассудки?

— Наверно, даже должны, — сказал очень серьезно командир. — Только почему вы не хотите называть их убеждениями?

Нос к дому

По лодке распространилось умиротворение.

За стрельбы четверка. Вася медленно, но верно уходил от перитонита. Того и гляди, придет радиогамма: «Домой!»

Всякий раз, дойдя по диагонали нашего квадрата до северного его угла, мы с охотой поворачивали к югу, а дойдя до южного, с неохотой — к северу. Через каждые несколько часов по лодке летели сигналы ревунов — командир объявлял одну тревогу за другой. Он теперь не уходил из центрального. Игорь шарил по отсекам, выискивая неубранные углы, несмазанные механизмы, матросов, нетвердо знающих обязанности.

В перерывах между тревогами по межотсечной связи вызывали в центральный командиров и старшин отсеков.

— Немедленно! — приказывал центральный. — Оставить все дела! Срочно!

Младшие офицеры и старшины нехотя бегали по лодке. Глаза их все равно оставались умиротворенными. Стрельбы окончены. Что еще от нас нужно? Поскорей бы...

Игорь злобно бродил по отсекам.

— Девяносто процентов аварийности приходится всегда на два последних дня, — сказал он мне.

— Встать! — орал он. — Убрать немедленно! Почему оставлена незакрытая дверь!

Я почти сутки не заходил к Васе. Зашел. Доктора рядом с Васей не было. Вася лежал похудевший и очень злой.

— Есть-то дадут или нет? — капризно крикнул он мне.

— А можно?

— Так подите узнайте! Резать — так не спрашивали...

Мне стало радостно. Больные так не орут. Больные так не требуют еды.

Доктора я будить не стал: пусть один поспит, а другой поголодает — на пользу.

Общее умиротворение действовало и на меня. Днем я спал, а ночью бродил по лодке, засиживаясь где придется до трех-четырёх ночи.

Раз я пришел оттуда совсем к концу ночи. В центральном меня не остановили, там шел какой-то малоинтересный разговор, а мне хотелось спать.

Я разделся, лег и заснул. Вообще-то раздеваться не

полагалось. Проспал я минуты две. Динамик в нашей каюте был прилажен так, что моя голова находилась от него сантиметрах в десяти. Вот этот динамик и заговорил голосом заместителя:

— Старшему лейтенанту (тут была моя фамилия) прибыть в центральный пост для получения творческих впечатлений!

Последние слова были произнесены с таким командным распевом. Воображаю, как зажмурились от восторга те, кто слышал. А слышали, естественно, все. Трансляция общая.

«Спасибо, друзья, — подумал я. — Не забываете. Мало того, что у меня вообще положение на лодке хуже губернаторского, так еще надо его подсвечивать такими объявлениями. Не пойду».

— Повторяем. Старшему лейтенанту...

И опять конец фразы зам произнес с захлестом. Но тут я вспомнил, как командир отреагировал, когда ему на голову вылили литр воды, и соскочил с койки. Поддаваться им просто так было нельзя. Я надел пилотку. В пилотке же со времен Васинной операции по кораблю уже не ходил даже доктор.

Я шел по отсекам, печатаю шаг, чтобы у тех, кто попадался мне на пути, не было сомнений, что я выполняю приказ центрального. Лучший способ прекратить смех над собой — смеяться самому.

— Куда вы? — спросил меня участливо штурман.

— Для получения творческих впечатлений.

Тот горестно покачал головой.

Четыре капитана второго ранга и один первого сидели в центральном с каменными лицами.

— Старший лейтенант такой-то, — доложил я, — для получения творческих впечатлений прибыл.

— Есть, — сказал командир, не моргнув глазом. — Получайте творческие впечатления. К перископу!

Тут только я почувствовал, что мы у поверхности. Лодку слегка качало. Я шагнул к перископу и, по-старпомовски захватив одну из ручек сгибом локтя, вертнул шлифованную стальную трубу так, чтобы одним взглядом охватить весь горизонт.

То, что я увидел в окуляры, я не забуду никогда.

Океан лежал ярко-серый и слегка серебристый. На нем не было ни одного блика, ни одного задира, ни одного барашка — только плавные, как ночная музыка, волны, серые, чуть светящиеся, и серое же, чуть светящееся над ними стояло небо, а в нем висели фарфоро-

во-белые чайки, и одна из них — в нескольких метрах от перископа — глядела мне прямо в глаза.

Был апрель, его конец, мы шли в высоких широтах, стояло раннее утро. И утро полярного года.

Чайки, складывая крылья, падали в волну, выхватывая из воды рыбу, — мы, вероятно, шли сквозь косяк сельдей.

Океан светился жидким, подернутым вуалью свинцом. Все было ярко-серым, только чайки да маленький аккуратный бурун от нашей гидроакустической станции, которая резала волну перед перископом, ярко-белые.

Если бы я был живописцем, я бы написал картину. И она называлась бы «Утро мира». В ней были бы только эти два цвета — ярко-серый и снежно-белый.

— Спасибо, парни, — сказал я, оторвавшись от окуляров. — И вам, товарищ капитан первого ранга, тоже.

И тогда они все заулыбались.

— Ну понял, — говорят, — что тебя нужно было позвать?

И я остался с ними в центральном. Да и как не остаться.

И, сидя рядом с ними в центральном, я почувствовал, что только сейчас, только теперь стал здесь немного своим. И только с этого момента им небезразлично, что я о них напишу. А до тех пор они бы и читать не стали. Просто не обратили бы внимания. Пишешь, ну и пиши, наше дело — плавать.

Через четыре часа на очередном радиосеансе лодка получила приказ идти в базу.

— Нос к дому, — сказал командир.

— Начата циркуляция, — запели рулевые.

— Акустик. Горизонт чист.

Через двое суток мы подходили к своим берегам. Всплыли. Берегов не было видно. Висел туман.

Впервые за три недели отдраили верхнерубочный люк. Сверху из рубки пахло холодом. Также необычность — три недели жили, как в оранжерее.

Командир, штурман и штурманский электрик — это был волейболист Османов — стояли наверху, в ограждении рубки. Через некоторое время оттуда крикнули, чтобы подали питание на прожектор, и послышался монотонный голос штурмана:

— Открыть. Закрыть. Открыть. Закрыть. Открыть. Закрыть... Сколько раз я вам, старшина, говорил, что заведование штурманского электрика — это первосте-

пенной важности объекты... Плохо заботитесь о вверенной вам технике. Придется в базе заняться с вами дополнительно. Вместо волейбола. Так. Открыть. Закрыть. Открыть. Закрыть...

В центральном блеснул фиолетовый отблеск дугового прожектора. Загорелся и снова потух, и вниз, шаря руками по трапу, спустился штурман. Жмурясь и протягивая вперед руки, он добрался до штурманской выгородки и, на ощупь найдя табуретку, сел там у стола.

— Ничего не вижу, — сказал он.

Командир крикнул сверху, чтобы глаза штурмана осмотрел доктор. Старшина Османов распахнул шторы зажженного прожектора в тот момент, когда штурман решил проверить, почему их немного заедает.

— Пройдет, — осмотрев глаза штурмана, сказал доктор.

— Но я ничего не вижу. Пятно только черное.

— Ничего. Посиди тут до вечера и прозреешь. Капли сейчас сообразим.

— Старпом, не слышу доклада! — крикнули сверху.

Вот и сюжет, мелькнуло у меня в голове, вот то, ради чего стоило идти в поход, наблюдать, записывать, не спать ночей. Вот она, психологическая несовместимость в действии.

— Старпом, не слышу доклада!

— Штурман?

— Ничего не вижу...

— Началось, — пробормотал Игорь. — Теперь жди. Там туман, этот здесь ослеп... Киреев!

— Есть!

Жерар Филип вырос, как из-под палубы.

— Не забыл, как лодку в бухту вводить?

— Туман, товарищ капитан второго ранга?

— Туман.

— Ждем! — раздался сверху голос командира. — Старпом, что с вами?

— Двигай, Киреев.

Киреев надел канатку и полез наверх.

— Можешь и ты отправляться туда же, — сказал мне Игорь. — Давай. Только у командира спросись, он сейчас злой.

Теперь нас наверху было четверо.

Лодка шла в туман.

Младший штурман снизу сообщал Кирееву данные прокладки по карте. Лодка шла на средних оборотах.

Была небольшая бортовая волна. В полумиле впереди по-прежнему ничего, кроме бело-серой пелены, видно не было.

— Киреев, подавайте команды сами, — сказал командир. — Локатором не пользоваться.

— Есть локатором не пользоваться.

Лодка шла в раздвигающийся перед ней туман. Проектора больше не включали.

— Ну как, помощник?

— Определяемся, товарищ командир.

— Да уже пора. Вершинки сопок ловите.

— Ловлю, товарищ командир. В штурманской!

— Есть! — ответил динамик.

— Записать пеленга...

Минуты через три из штурманской рубки сообщили, что место, вычисленное по данным Киреевым пеленгам, в шести кабельтовых к западу от рекомендованного курса.

— Что там? — спросил командир.

— Заваливаемся.

— Так-так... Ну выбирайтесь. Командуйте.

— Лево двадцать градусов по компасу! — скомандовал Киреев.

В это время я увидел лицо старшины Османова. Он стоял сзади Киреева. Что-то беспомощное и испуганное было в этом лице. Наверно, все же нарочно открыл в лицо штурману прожектор, подумал я. И теперь боится.

— Ну как, Киреев?

— Сейчас все будет в норме, товарищ командир.

— Ну-ну...

Старшина Османов зашевелил губами. Очень ему не шел этот вид — растерянный и поникший. Киреев не обращал на старшину внимания. Только раз повернулся к нему и, сунув кулак ему под нос, проворчал:

— Погоди еще у меня! Выжег, сукин сын, начальнику очки? Тоже мне, ловкость рук, перворазрядник ухов!

Старшина еще больше осунулся и открыл рот, но Киреев еще свирепей погрозил ему кулаком в перчатке. Видно, не до Османова ему было сейчас.

— Товарищ командир, — доложили из центрального. — Получена радиограмма — встречным курсом из базы идет корабль. Расходимся левыми бортами. Расстояние — полмили.

Локаторщики передали снизу, что встречный корабль идет прямо по носу.

— Малые обороты, — сказал командир.

Через несколько минут мы услышали сирену. Казалось, что она доносится слева, но в тумане могло быть что угодно. В ответ наша лодка взвыла могучим пронзительным визгом.

Встречная лодка вынырнула из тумана метрах в пятидесяти правее нашего курса. Мы увидели белый бурн перед ее носом и черный приплюснутый к воде силуэт рубки. Лодка шла под турбиной.

— Киреев, что творится? Почему она у нас справа?

— Не могу знать, товарищ командир...

— Самый малый!

— Есть самый малый...

Встречная лодка тоже сбавила ход. Белый есротник впереди нее стал совсем тоненьким. Замигала морзянка.

— «Ваш курс ведет к опасности», — прочел сигнальщик.

— Спасибо, Киреев, — сказал командир. — Давненько я таких сообщений не получал.

Киреев потянул вниз замок канадки. По смуглому его лицу тек пот.

Старшина Османов опять зашевелил губами и даже взял сзади Киреева за локоть.

— Да сгинь ты! — прошипел помощник.

Снизу сообщили, что глубина под килем — восемнадцать метров. Через две минуты она уменьшилась до пятнадцати.

— Что делаем, Киреев?

— Не понимаю, товарищ командир. Определялись по сопкам!

— Это я уже слышал. Но я не слышу ваших команд. Я ведь вам, кажется, передал управление. Вам ведь старпомом становиться? Или вы хотите, чтобы меня снова старпомом сделали?

— Никак нет, — сказал Киреев. — Стоп, машина.

Из люка у нас под ногами выглянула голова Игоря:

— Прошу разрешения!

За Игорем лез заместитель. Наверно, оба почувствовали обстановку.

— Ну так что? — спокойно спросил командир.

Жерар Филип в расстегнутой канадке, весь залпшсь потом, молчал.

— Хорошие дела, — сказал командир. — К себе домой войти не можем. Где мы находимся? Киреев, кажется, я вас спрашиваю?

Помощник тряхнул головой, и с лица покатились капли.

— Сейчас снова будем пеленговать сопки, может быть, маяки проглянут...

— Маяки... — презрительно сказал командир.

— Товарищ командир... — вдруг отчаянно сказал старшина Османов. — Товарищ командир... Разрешите обратиться.

— Приспичило, старшина? Потом!

— Товарищ командир... Это я... Врет прибор...

— Что?!

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка... — сказал уже вылезший наверх Игорь. — Ну-ка давай, парень, раскалывайся!

Все смотрели теперь в осунувшееся лицо старшины.

— Капитан-лейтенант Киреев ни при чем, — еле слышно сказал старшина. — Шкала репитера... На пять градусов...

— Что на пять градусов?

— Сбита...

— Шехерезада, — сказал Игорь. — Главное, что сразу узнаём.

И вдруг все посмотрели в туман перед носом лодки.

— Малый назад! — свистящим шепотом сказал командир в переговорную трубу.

Нас мягко качнуло вперед, и лодка как-то странно, по-новому закачалась.

— Дела, — сказал Игорь.

Нас качало, все держались за ограждение рубки, только Османов не держался. Его вот-вот должно было шибануть о кого-нибудь из нас. Но он стоял как выросший. Лодку качало, а он не падал.

— Ты кому это хотел насолить? — спросил Киреев. Старшина молчал.

— Ну, долго будете молчать?

— Я не нарочно, правда, не нарочно... — забормотал Османов. — И прожектор зажег не нарочно, и репитер сбил... Я тогда уже собрал, прокладки переменил, уплотнение проверил... И вдруг — раз! Смотрю — шкала на один шуруп не так легла, а там шурупы через пять градусов... Снова разбирать, так я бы на тренировку не успел...

— На что же вы надеялись, старшина? — вдруг закричал командир. Я его еще таким не видел. — Вы что, не понимали, что дальше может быть? У вас воображение-то хоть чуть-чуть работает?

Османов молчал.

— Отвечайте, старшина!

— Я думал, что до похода еще успею... На ночной вахте, товарищ командир... Все время об этом думал... И не вышло, товарищ командир... Но я, правда, хотел все время его снова перебрать!

— А почему не сообщили?

Османов молчал.

— Отвечайте!

— Когда выходили, меня наверху не было, товарищ командир...

— Понял вашу мысль. Пусть штурман сам разбирается. А потом подводное положение, репитер вообще не нужен, а там, глядишь, пронесет и на входе в базу. И все шито-крыто. Так? А где устав? Почему, зная о неисправности в своем заведовании, вы не сообщили сразу же непосредственному начальнику?

— Не могу я у него служить! — вдруг высоким голосом закричал Османов. — Вот хоть под трибунал, товарищ командир! Не могу! Прожектор нечаянно включил и шкалу нечаянно сбил, а все из-за него, потому что под руку зудит!

— Ну-ка, ну-ка, старшина! Полегче! Без истерик!! Кто это дал вам право так высказываться об офицере?

— Не могу я у него служить!

Крикнул и как-то сразу сник.

— Марш вниз! И можете считать себя под арестом. Корма подсасывала под себя волну. Качало.

— Что это мы, старпом, всё пятимся?

— Сейчас, товарищ командир. Воспрянем.

С эхолота каждые две минуты сообщали, далеко ли до дна. Мы не спеша определились по радиомаякам и, прибавляя ко всем курсовым углам «неразменный пятак», как выразился подсохший Киреев, на малых ходах поползли сквозь туман ко входу в залив. В его горло мы вошли без приключений.

— Ну что, старпом, — сказал командир. — Сообщите нам что-нибудь результирующее.

Игорь думал секунд пять.

— Вот если только насвистеть, товарищ командир?

Тот хмыкнул.

Игорь засвистел переливчато и виртуозно. Киреев и заместитель заулыбались сразу. Я понял не вдруг. Командир как-то сощурился — видно, тоже не схватывал.

— Что? Что такое?

— Это из «Щелкунчика», товарищ командир, — невозмутимо ответил заместитель. — Финальный акт.

— Финальный, заместитель? А может, еще потеряем?

— Зачем, товарищ командир, — сказал Игорь и добавил: — Вверенные вам офицеры уже потеть начинают. — При этом он посмотрел на Киреева.

— А что, — сказал командир задумчиво. — В диких песнях ямщика есть резон.

И ведь не засмеялись, не перемигнулись.

Только потом я понял, что в этот момент они решили чужую судьбу. Решили так, словно чихнули. Им даже советовать оказалось ни к чему. А он еще ничего не знал. Сидел и привыкал к тому, что снова понемногу становится зрячим.

Остались последние полтора часа.

Собирать мне было нечего. Рукавицы, ватник, пишущая машинка. Я пошел за ней во второй отсек и услышал, как кто-то давит на ней клопов. Медленно, уверенно и крепко. Это был заместитель.

«Североморец! — допечатывал он. — Дважды утроим бдительность!»

— Вот я вас и поймал, — сказал я.

— Давайте тогда сочиним что-нибудь как соавторы.

Мимо дверей прошел доктор, заметил нас, всунул голову. Майор ходил теперь без пилотки.

— А-а, доктор, вот и вы!

— Вот и я.

— Вот и вы...

— Вот и я, — сказал доктор.

Смеяться над ним не выходило. Вася стремительно выздоравливал.

Белая «скорая помощь» ждала на пирсе, уже развернутая радиатором к госпиталю. Вася, коварно обманув бдительность доктора, вылез по трапу сам и даже попытался незаметненько встать в строй, но береговые санитары и береговой врач ворвались в строй, сразу превратив его в толпу, схватили, поволокли и почти насильно повалили Васю в распахнутый для него «седан». Лишь успевший два раза глотнуть берегового кислорода наш больной уже снова лежал — прямо в шинели — на фарфоровой белизны простынях, а машина с воем неслась вдоль пирсов по бетону, подпрыгивая на шлангах и кабелях. Через минуту она скрылась между сопками.

Командир рапортовал встречавшему, не снимая рукавицы. Есть особенный оттенок властности в вариациях громкости и тона команд.

Командир не то чтобы скомандовал тихо, но голос его был завинчен почти втугую. И явно командир не дошел шага на полтора. И явно нелепо сидела на его сильной легкой руке бесформенная баранья рукавица. И доклад командира был сух и беден оттенками, да что там беден — оттенков не содержал. Как вспомнились мне тут шкаевские кормовые — не знал наш кэп, как он на них сейчас похож, ох не знал... А строй — еще не береговой, когда все уже более или менее на одно лицо, а типично подводный, составленный из отчетливо разных, особенных людей, — смотрел на своего командира и слушал его: ведь некоторые за месяц командира ни разу не видели, только слышали по трансляции его команды. А вот он, оказывается, какой молодец. Не лебезит. Не мелочится. Что-то было в нашем командире от хорошей охотничьей лайки — та рычит, если ей почесать за ухом. И уходит. И любит спать в снегу. За то, может, природа и снабжает ее моральными, так сказать, силами держать в одиночку медведя. Не давать ему встать. Что-то в этой аналогии было... Я позавидовал командиру. Кто так ведет себя с начальством, имеет право даже на странности — скажем, на неприкосновенность мухи в его каюте: извольте ее уважать, эта муха командирская... Такого не хлопнешь по плечу. Кто бы ты ни был.

И в литых словах, которыми ответил на приветствие берега строй, тоже была сдержанность. И запас. Да, пришли, да, нормально. Хорошо служим? Да ведь надо же служить... А впрочем, как решите. В этом «как решите» было, конечно, пижонство. Оно содержало сознание того, что командир молодец. И экипаж тоже молодец к молодцу. Об Османове-то знали лишь мы трое.

Берег

Какая все же удивительная выдумка — разнообразность погоды! Даже не то чтобы разнообразность, а просто наличие погоды — дождь, снег, возможность их смены... И уж совсем роскошь — облака! А ветер? А, черт возьми, солнце!

Для того чтобы почувствовать, как музыку, слово «погода», надо просидеть месяц в консервной банке. А оттого, что в этой банке и души, и кондиционеры воз-

духа, и кинокартины, и вообще все, что бывает в жизни (кроме женщин), включая необходимость распороть и зашить другому человеку живот, от этого я теперь тем острее ощущал, как не хватало погоды. Этот ветер, и береговые запахи, и легкий мокрый снежок — какая, оказывается, все это сказка! Невозможно прекрасно было просто оттого, что нас снова окружает погода! Я оглянулся.

Строй матросов тянулся вниз к береговым казармам, офицеры с маленькими чемоданчиками расползались по сторонам — кто к штабу, кто к остановке автобуса, кто к другим пирсам. Наша лодка лежала внизу, погруженная на две трети, и по ее палубе бродила черная фигурка часового. Я поднимался по деревянной лестнице, что лежала на боку сопки, к почте. Лестница была ступенек в двести. Десятка через три я понял, что идти выше уже не могу. Икры ног не просто ныли — их резало изнутри.

Чуть повыше меня остановился заместитель с Игорем. Выше всех поднялся Киреев. Но и он поднимался, уже упираясь руками в колени. Потом остановился и он, как все, повернулся к заливу. Никто ничего не говорил. Все тяжело дышали и смотрели, улыбаясь, назад.

Кто это говорит, что моряков море только закаляет?

Как бы успокаивая — мол, слабость эта временная и очень ненадолго, — ноги быстро приходили в порядок. Пропала боль. Ушло нытье. И по дощатой лестнице на боку сопки опять затопали шаги. Еще раз четыре остановившись, я добрался до почты.

Писем было шесть.

Каждое из них от меня чего-то требовало. Особенно те два, которые, казалось, не требовали ничего.

Пора было ехать домой.



Шукин

РАССКАЗ

Федот Иванович Шукин — командир подводной лодки второго ранга, а до военной службы столяр — в четвертый раз подал рапорт об отставке.

Шукин был невысок, узкоплеч, от ревматизма шар-

кал подошвами, ноги не гнул и, кроме того, — может быть, лодочный воздух виноват или, говорят еще, вредят магнитные поля — облысел вчистую.

А в последние лет пять левая щека Федота Ивановича иногда вдруг прыгала так, будто он натыкался лицом на горячую спину.

Шукина вызвал командующий.

— Федот Иванович, — сказал командующий. — Ну зачем вам уходить?

Шукин молчал.

Разговор этот всегда начинался с того, что адмирал называл Шукина по имени-отчеству, и Федот Иванович смягчал. И казалось уже, что не адмирал принимает доклад командира лодки, а два приятеля плавают рядом в теплом пруду.

— Ну что вам, дорогой, эта отставка? — говорил адмирал.

Федот Иванович смущенно ежился. Полчаса назад он все знал твердо. А сейчас ответа не было. И прекратись разговор на словах: «Дорогой, да зачем, да как же без вас?» — Федоту Ивановичу опять бы отрезались все пути, но адмирал вдруг будто нашарил твердое дно в том теплом пруду, где они оба только что плавали, и, ступив на дно ногой, будто сразу увидел что-то, чего не мог видеть Федот Иванович, и заговорил твердо, уверенно, словами обкатанными и не допускающими сомнений. Федот Иванович окончательно смолк.

Все, что говорилось адмиралом, а говорилось об уважении, о незабвении подвигов, о людях, которые своей кровью заслужили некое право, и о том, что это за право, — все было верно, справедливо, и, уж конечно, Федот Иванович не собирался с адмиралом спорить. Все было верно и справедливо. Но только для других. А если говорить о нем, о Федоте Ивановиче Шукине, так при чем же здесь были и подвиг, и незабвение, и право? Вот уж который раз Федот Иванович говорил с адмиралом, и каждый раз, как доходило до таких слов, Шукину казалось, что кто-то ходит над его головой по железной крыше.

Смысл таких слов, когда они должны были относиться к его собственной жизни, до Федота Ивановича не доходил и дойти не мог.

Он-то знал, что на самом деле было и чего не было. Он знал, что не совершил ничего такого, за что его нужно было возвысить над другими людьми, и, уж во всяком случае, он не заслужил, чтобы двадцать лет под-

ряд ежедневно слышать рядом со своим именем приставку — Герой Советского Союза. Приставка эта — крутили ее на разные лады: героя, герою, героем — как будто уже исключала для Щукина некоторые, а если посмотреть внимательно, многие обыкновенные, простые дела, с которыми Щукин, после того как стал героем, уже вроде бы не должен был соприкасаться.

Как-то в Архангельске он шел с офицерами напрямую через рынок. И вдруг невиданной красоты яблоки. «Сторгуюсь», — подумал Федот Иванович. Над яблоками торчало замотанное в башлык пугало с заиндевевшими бровями. Федот Иванович уже подступил было к пугалу, уже прикинул, сколько с бешеной цены удастся сбить, но тут же, глянув на товарищей, понял, что торговаться не может. Нельзя. Не имеет права.

Или вот в доме отдыха, где они жили впятером в отдельном коттеджике, вышло так — заболела уборщица, и надо было оттащить метров за сто, до общего бака, помойное ведро. Бросили на пальцах, выпало Щукину. И сразу повисло между всеми что-то не сказанное еще никем, но все же, без сомнения, очевидное.

На пальцах бросали снова, и понес ведро кто-то другой.

И еще бывало, и еще, и еще... А когда Федот Иванович брался все же за простые, приземленные дела, из которых когда-то раньше только и состояла его жизнь, воспринималось это как особого рода чудачество знаменитого Щукина, и никто уже не мог понять, что Федот Иванович потому просто колет дрова, что это нужно, что он хорошо умеет это делать и что ему приятно их колоть.

Такое непонимание приводило Федота Ивановича в испуг, он пытался сопротивляться, но скоро увидел бесполезность сопротивления. Людям необходимо было видеть его необыкновенным. И тот, второй, кем хотели видеть Федота Ивановича, незаметно вселялся в него. Тот, второй, ходил в одной с Федотом Ивановичем шинели, разговаривал голосом Федота Ивановича, отдавал честь его рукой.

Несколько раз после войны рапорты Федота Ивановича об отставке возвращались к нему, совершив круг среди самых высоких адмиралов, и каждому возвращению рапорта предшествовала встреча с командующим или его заместителем, встреча, полная ласковых уговоров и пропитанная пониманием будто бы того, сколь тяжело легендарному Щукину служить в такой невысокой

должности, как помощник командира, старпом или командир не крупной лодки. Федот Иванович пытался объяснить истинное, но ничего не выходило — объяснял именно он, а отвечали кому-то другому, не ему; кого-то, кто стоял на его месте и был застегнут на те же пуговицы, то ласково называли хитрецом, то просили подождать немного, то — чего уж совсем не хотел и не ждал настоящий Федот Иванович — посылали на офицерские курсы. Так он и дошел до командира подводной лодки.

А сейчас Федот Иванович стоял перед командующим и улыбался, хотя улыбаться вовсе не хотелось, а была внутри какая-то дрожь, вроде той, которой дрожат шланги, если по ним гонят воду вперемешку с паром. Улыбка Щукина сбивала командующего с толку.

— Ветераны войны, — говорил адмирал. — Золотой фонд флота. Герои-подводники...

Федот Иванович хотел было возразить, что на лодку был послан уже потом, после награждения, и потому никак не герой-подводник, но вдруг увидел себя и адмирала как будто очень издали, и даже оттуда, издали, было видно, что каждый говорит о своем, ничего не понимая из слов другого, и Федот Иванович ничего не сказал и глаза опустил, и щека его, все еще продолжая улыбаться, прыгнула так, что даже втянулся воздух.

— Что с вами, товарищ Щукин? — спросил адмирал.

Федот Иванович поднял глаза.

— Что с вами? — повторил адмирал.

Как что-то отдельное от Федота Ивановича, щека его прыгнула опять, и еще один раз.

— Ниче-го, — сказал Федот Иванович. Потому что слово перебило пополам.

До войны Федот Иванович работал на заводе. Он был единственным и поздним сыном в семье. О матери он помнил только то, что ребятишки дразнили его ее старостью. Иван Щукин, уже совсем стариком, приставил сына к столярному делу и угас незаметно. В Федоте Ивановиче — ему еще не было двадцати — с детства жила крестьянская неторопливость. И будто он занимался тем же, чем и другие столяры на заводе, и так же, как и другие, временами плотничал — сбивал и малярные козлы, если была нужда, и короба для стружки, но скоро пошли по цехам шаберы и напильники с дубовыми и ясеневыми ручками, удобными и ухватис-

тыми, в приемных и кабинетах стали появляться полочки из полированной березы, и по заводу пошло выражение — «щукинский заказ». А двадцатилетний Федот Иванович бродил после работы по пустырям и подворотням, отколачивая от выброшенной мебели дубовые брусочки. Попадалось разное: коричневое на весь скол, в жучке и клопах, попадались стулья и шкафы, избитые гнутыми гвоздями, с пылью, прошедшей будто насквозь, иное дерево крошилось, как высохшая бумага, которую можно сжевать и слепить комом, но иногда вдруг — вот оно, ради чего стоит бродить, — доска дорогого дерева, не царпанная, не гнилая... Федот Иванович брал находку под мышку, а через неделю в красном уголке появлялась вдруг вешалка, чем-то похожая на шахматную наборную доску. Только доска висела на стене, а фигуры в нее были врезаны. Вешать на такую красоту ватники было совестно.

В неразберихе первых дней войны вместо саперного батальона Щукин угодил в пехоту. Ему бы идти со своим цепким глазом и точной рукой в саперы, но нет, угодил в пехоту. Да не в обычную пехоту, где нужен все равно и плотник, и столяр, и еще мастер тысячи и ста ремесел, а в морскую пехоту, в ударные, а тем самым — в каком-то высшем военном смысле — щегольские части. И смотреть по тому, что случилось дальше, так это как будто было и вовсе ни в какие ворота. Щукин был чуть не меньше всех в роте и не только не был громогласен или чрезмерно ловок — за что мог бы выделиться в сержанты, а скорее молчалив и тих, и все-таки — так уж выпало Щукину — вопреки его незаметности, кем-то, кого он так и не узнал, он был рассмотрен и одобрен. А по одобрении — произошло это для Щукина неожиданно — он был выделен из стрелявших, орущих, прыгающих, бегающих, стонущих и не стонущих, хороших и не очень хороших, и просто никудышных людей. И спокойный, простой столяр, который и боялся-то не меньше других, и не умел бы сложить двух слов, спроси его о высоком и патристическом, вдруг словно волей всех — да так оно по-настоящему и было — стал за убылью младших командиров через два месяца старшиной роты.

Один из дней следующего месяца прошел для Щукина так: он стоял на обломке камня — весь берег состоял из таких камней — и, чувствуя низом живота свои бурлящие, готовые подвести его от страха кишки, ждал, когда снизу, вровень с этим камнем, выскочит голова

в каске. Он знал, что по камню снизу к нему лезут. Когда каска появилась, поднялась немного, он ударил под ее край колом от проволочных заграждений. Потом он перебежал на другой камень, и в руках у него уже был автомат, и, издавая ртом какой-то крик, он стал стрелять, почти не целясь, в тех, кто лез и лез снизу на камни. И все, кто был рядом со Щукиным, тоже кричали и стреляли. Потом уже нельзя было стрелять, все перепуталось, и он бил кого-то, в кого-то тыкал с маху дулом автомата; потеряв равновесие, цепляясь за камни, полетел вниз, кто-то упал на него, придавил, Щукин почувствовал пальцы, которые, обрывая ему воротник, тянутся к голове, к уху; наугад, захватив в ладонь осколок камня, Щукин махнул рукой и по чему-то попал, он махнул еще и ободрал руку, но тут тяжелый дернулся и обмяк, став еще тяжелей, и Щукин, с трудом выбравшись из-под него, полез снова наверх и снова, схватив кого-то за ноги, вместе с ним полетел с камня. И опять кто-то навалился на него, но тут же отпустил и заорал:

— ...своих не узнаешь уже?

Они вместе выскочили наверх и сцепились снова с теми, кто лез на камни. Ничего другого за все сутки не было. Наклоненные вперед долговязые фигуры — Щукину при его росте все казались долговязыми — лезли и бежали на него; Щукина уже перестало тошнить от их вида, он стрелял, колот и разбивал сапогами чьи-то пальцы на краях камней, снова стрелял и бил, уже не удивляясь, что долговязые валятся и валятся, а он все еще на ногах, и ему уже казалось, что так оно и быть должно, иначе и не может. В перерывах между атаками они пересчитывались и вытаскивали наверх, на камни, снятый с колес «максим» и вытряхивали землю из его замка. Сколько раз такое было, Щукин потом не мог вспомнить. Между атаками они лежали где придется, за камнями, подтянув каждый к себе все, чем можно отбиваться в следующий раз, и не спали, хотя и не бодрствовали, а лежали, прислушиваясь, потеряв счет всему на свете. Когда катер снял их с берега, от батальона оставалось одиннадцать человек. Щукин был старшим по званию. Через несколько дней на переформировке он узнал, что его представили к Герою.

Потом он попал на курсы. Четыре месяца он ходил с тетрадками в длинный бетонный барак, где вдоль стен на цепных тросах висели учебные торпеды и стояли на подставках рогатые мины. Через четыре месяца Щуки-

на сделали младшим лейтенантом и отправили на Северный флот. На подводных лодках он успел еще захватить два года войны. К концу войны китель Щукина был похож на иконостас. Федот Иванович любил ходить в ватнике.

Люди на подводной лодке собраны тесно. Особая на лодке возникает неприязнь и особенная же любовь. И как в утреннем автобусе слово водителя закон просто потому, что все спешат, как в горах люди берут проводника из местных, так надежность Федота Ивановича, как главное в нем качество, сделала его таким, что ни матросы, служившие под его командой, ни офицеры, им командовавшие, скоро не могли уже представить, как бы они могли обходиться без Щукина.

— Все в порядке будет, товарищ Щукин? — спрашивал у него командир.

— Посмотреть вот, — отвечал Федот Иванович.

— Надеюсь. Уж на вас-то надеюсь, — говорил командир.

Лодка приходила в базу, стояла сутки, стояла двое, матросы чередовались на работах, Федот Иванович сидел в отсеке не выходя. Менял подшипники, подваривал «лягушки», набивал смазкой тавотницы. Неслышно скользили блоки с цепями, мягко заходили в трубы торпеды, с отлипающим влажным чавканьем задвигались клиновые затворы. Не сработавших в море механизмов у Щукина не бывало.

А Щукину казалось, что он остался простым столяром. Он возился с железом, тринитротолуолом, со сжатым воздухом, но мерки его оставались мерками на древесину. Он верил в легкую подгонку металла к металлу, как верил в подстругивание и подтесывание, и вот что удивительно — металл его слушался. Матросам не приходило в голову, что они могут не уважать Щукина за то, что он наравне с ними делает грязную работу. Федот же Иванович не думал о том, как произвести впечатление, и потому его производил.

Единственное, что мешало ему, — это то, что люди подозревали в его поступках больше значительности, чем было на самом деле.

Как-то на очередной проверке торпедных аппаратов он, не заглянув в трубу, дал обычный холостой выстрел в отсек. Из трубы вылетела стопка фарфоровых тарелок и, пролетев отсек, разворотила на переборке газоанализатор. В полуметре от разбитого прибора, спиной прижавшись к железу, стоял флагманский минер. Но-

ги гостя стояли в битых черепках, лицо было в цвет переборки.

И хотя сразу же стало ясно, что это вестовой поставил сушить тарелки в аппарат, а Шукин написал докладную о своей халатности, бригада хохотала над минером. Кто-то вспомнил, что за день до этого Шукин жестоко спорил с флагманским и будто бы сказал ему: «Ничего, приходите к нам, я вам докажу!» Сам Шукин никакого спора не помнил, да и вообще неделю не виделся с минером, но молва о Шукине ползла; комбриг, услышав о тарелках, нахмурился и вдруг захохотал, а в Шукине, кроме известной всем отчаянности, нашли еще и юмор.

Командовать сначала Федоту Ивановичу приходилось немного. Он был командиром отсека, и как улитка, услышав незнакомый шум или почуяв неизвестный запах, скрывается в своем домике, так Федот Иванович старался уходить от работы, состоявшей в командовании другими людьми, в свою, привычную работу, смысл которой был ему понятен.

Смысл этот состоял в том, чтобы во всех механизмах его отсека одна деталь действовала на другую только таким образом, каким ей действовать было предназначено, и никаким иным. Это были те самые отношения между предметами, которые Федот Иванович понимал сразу, как сразу, только, наверно, научившись ходить, понял, как действуют молоток или рубанок.

Какое-то время Федоту Ивановичу удавалось скрываться в своих делах. Но благодаря всегдашней исправности порученных Федоту Ивановичу механизмов, благодаря надежности его работы, из благодарности к нему и из любви, из нежелания и невозможности понять его скромность, из желания сделать Шукину доброе дело Шукина стали продвигать.

И Федота Ивановича раз за разом посылали на курсы и через его «не хочу» и через его «не могу», при помощи опять-таки его безотказности и дисциплины, довели до командования лодкой.

Спокойные дни для Федота Ивановича кончились. По мирному времени (а прошло уже лет пятнадцать после войны) он был вполне сносным командиром. Правда, может быть, это происходило потому, что, когда Федот Иванович был старпомом, у него был командир, встречая которого на берегу матросы переходили на строевой шаг метров за двадцать, а когда

Щукин стал командиром, ему назначили старпома, известного в бригаде по прозвищу Отбойный Молоток.

И Федот Иванович как-то тянул. Но каждый день этих последних пяти лет проходил для него с натугой.

Однажды, когда на лодке не ожидали его прихода, он застал всю вахту за игрой в домино. Время было вечернее, команда была на береговой базе. Федот Иванович стоял в центральном отсеке, а старшина и трое матросов переминались перед ним. Слышно было, как хлюпает вокруг корпуса вода.

— Так, — сказал Федот Иванович. — В костяшечки...

Он должен был что-то говорить, потому что это уж было слишком. Но Федот Иванович не находил в себе ни строгости, ни злобы. Только какая-то тоска оттого, что он должен и не может не наказать этих четверых, неловко стоящих перед ним, взяла Федота Ивановича.

— Так, — еще раз сказал он и вдруг впервые в жизни почувствовал будто быстрый ожог в левой щеке, и щека прыгнула, хотя Федот Иванович вовсе этого не хотел.

И вдруг он закричал на матросов. Закричал словами, которые были вовсе не его, не Щукина, слова, и видел, как подбираются и бледнеют матросы, впервые увидевшие его таким, и один из них старается незаметно задвинуться за спину старшины. Федот Иванович кричал, и время от времени его щеку пробивала судорога.

Так он узнал, что у него не в порядке нервы.

Он давно уже плохо спал. Под глазами появились серые складки. Иногда у Щукина бывали часы, когда он не понимал, то ли делает, что делать необходимо, или впадает в притворство. Федоту Ивановичу было сорок два года.

Последний рапорт об отставке он подал с твердым намерением не брать его обратно.

И отставка Федота Ивановича была принята.

Был вечер. Поезд шел почти точно на юг.

Федот Иванович один лежал в пустом купе и ощущал странную свою свободу и странную пустоту.

Оказывалось вдруг, что, кроме того мира, от которого он так хотел уйти, другого мира не было. И нелепо было подумать, что он, Федот Щукин, в последний раз едет с Севера и обратно уже никогда не вернется. Федот Иванович знал это. Но знал только головой.

Что же это? Как же можно больше не увидеть этого

белого с черными пятнами берега над серой водой, этих трех домов повыше к сопкам и машин, которые идут в раздвинутой между сугробами траншее? Как же можно этого больше не увидеть?

Не потому, что он любил этот берег и эту снеговую траншею, а потому, что старался и не мог понять, каким же образом там могло не быть его самого, раз все это, такое привычное, продолжало существовать?

И продолжал существовать — в пятистах, в пятистах одном, в пятистах двух, а потом в тысяче и больше, и больше километрах от Федота Ивановича — один матрос из нового пополнения, который вдруг все кусочки отделочного дерева, что нашел на лодке: буртики, рукоятки, верхушки круглых табуретов — стал ни с того ни с сего полировать...

Призывали Щукина из большого города, и теперь город принимал Щукина обратно, принимал со всем тем радушием и льготами, на какие только были способны его канцелярии и комиссии. Льготы эти выражались в том, что Федоту Ивановичу не нужно было ничего доказывать и ни о чем ходатайствовать для получения жилья. И этот скользкий контакт с канцеляриями, от которых зависели квадратные метры будущей квартиры, не разрушил пустоты, ощущавшейся Щукиным.

Он всего несколько дней прожил в гостинице при комендатуре.

И вот свой ключ и своя дверь. Два офицерских чемодана стояли среди голых стен.

Надо было с чего-то начинать. Но с чего? И что? Что начинать?

Стояли чемоданы. Обои были розоватые, в цветах. За окнами смеркалось.

Родных — из тех, кого знал до войны, — не осталось никого. Знакомые — человека три-четыре во всех этих бесчисленных улицах и домах — были те, кто ушел в отставку раньше. Это были люди, не близкие Щукину на флоте, но здесь он ощутил необходимость разыскать их, даже Юровского, красавца и болтуна. Юровский врал так вдохновенно, что и сам начинал верить в свои военные приключения. Но в городе были еще и Батурин, и Картищев, и Межелидзе...

Однако знакомые были знакомыми, а сейчас между голыми стенами стояли два обитых деревянными на-

кладками чемодана. Множество мелких дел обступило Федота Ивановича. Им не могло быть конца. Распаковать, ванна, замок, спать на чем сегодня...

Все дела были похожи в одном: все они были существенны и нужны для Федота Ивановича и больше не важны и не существенны ни для кого на свете.

Федот Иванович расстегнул пуговицы шинели и сел на чемодан.

И вдруг ощущение нелепости того, что ему предстояло, сдавило ему душу. Федот Иванович задохнулся.

Нелепостью было то, что он сидит здесь, нелепа была его, вовсе ненужная ему, свобода, нелепо было то, что люди, которым он мог бы понадобиться, должны будут искать его через справочное бюро, и нелепей всего, что не было таких людей. Никто не звонил в дверь. И ждать было некого.

Федот Иванович был человек спокойный. Не раздеваясь и сидя на чемодане, он закурил. Дым пополз по комнате, комната стала не такой уж пустой, и мысли Федота Ивановича остановились в своем холодном течении. Потом они даже будто отделились от него. Этого Федот Иванович и ждал.

Он встал, скинул шинель и китель, остался в тельняшке и пошел врезать купленный накануне замок. На это ушел час.

За окнами стало совсем темно. Кто-то пробежал по лестнице то вверх, то вниз. Под окном, внизу, качался фонарь и бросал свет на плохо вымытые стекла. То, что навалилось на Федота Ивановича, когда он вошел в квартиру, пришло снова. Деваться было некуда.

Федот Иванович оделся и спустился по лестнице. Он долго ходил по улицам своей странной походкой, немного волоча вывернутые ноги. Он шел навстречу фонарям, шел, уходя от них, и тень его, еще более неуклюжая, чем он сам, то отставала, то забегала вперед, мельтешила, размахивала руками, выворачивала ноги, словно напоминала Федоту Ивановичу, что все оставшееся ему время он будет вот так же бегать и подпрыгивать вокруг себя со своей большой пенсией, отдельной квартирой, мебелью, которой у него еще нет (но он ее купит), и со своими болезнями, которые у него уже есть.

На следующий день он пошел искать работу.

От столярного дела он отстал давно. Да и, говоря начистоту, Федот Иванович понимал, что этого ему уже не хватит. Когда он служил на лодках, столярное его

прошлое тянулось за ним, занимая и в мыслях и в привычках время и место, а теперь, когда можно было к нему вернуться, оказалось, что то самое командирство, от которого он так хотел освободиться, сделало возвращение невозможным. А может быть, просто прошло время.

Иногда, закрыв глаза, Шукин видел себя у выполняющих из шахты сложенных ручек перископа и слышал, как сквозь дрожь переборок разносятся по отсекам слова его команды.

Делать табуретки, строгать гладильные доски, полировать письменные столы — от этого он уже ушел. И ушел далеко.

Он опять закрывал глаза. Третий год войны. Вонь человеческого тела в заиндевевшем отсеке. Свет аккумуляторного фонаря, и вдруг глухой крик через стальную дверь: «В четвертом! В четвертом! Герметизируйте переговорную трубу...» И в полутьме срывающиеся удары кувалды.

Нет, в столяры он пойти не мог...

Федот Иванович бродил по городу, останавливаясь около досок объявлений. Требовались маляры, монтеры, опытный прораб по канализации. Нужны были шоферы.

Мимо Федота Ивановича с зеленым глазком проехала такси. И он вдруг подумал, что хорошо, наверно, ездить вот так, ездить, когда у окон мелькают лица и ты все время кого-то везешь. Но вот проехало второе, опять незанятое такси, и мысли Федота Ивановича ушли дальше, и показалось ему, что есть что-то сиротливое в этих убегающих по улице неизвестно куда машинах. А мимо шли один за другим троллейбусы.

И в том настроении, в котором находился Федот Иванович, в том состоянии, в котором он стоял сейчас на краю тротуара, давка внутри троллейбуса, деловая обычная толкотня не могли не обрадовать Шукина.

Мелькнуло озабоченное лицо водителя, мелькнули руки, которыми водитель словно нес, чуть согнувшись в пояснице, большое и очень ценное блюдо, и Федот Иванович, постояв еще немного, сел в троллейбус и поехал в троллейбусный парк.

Паспорта Федот Иванович еще не успел получить, и вместо него пришлось показывать офицерское удостоверение. С любопытством взглядывая на Шукина, инспектора забежали из комнаты в комнату. Потом они

все собрались в одной, покричали за дверь и пригласили Федота Ивановича войти.

— Так на какую же должность вы претендуете, товарищ Шукин? — спросили у него.

— Я бы хотел водить троллейбус, — сказал Федот Иванович.

Инспектора переглянулись.

— Это ведь курсы, несколько месяцев придется учиться... — сказал один.

— Да, — ответил Шукин.

— Не очень вас понимаю... — сказал другой. — Вы, видимо, не со всех сторон обдумали...

— Слишком много водителей? — спросил Федот Иванович.

— Да нет! — чуть не хором ответили ему. — Водителей-то как раз не хватает.

— В чем же дело? — спросил Федот Иванович.

Инспектора опять переглянулись.

— Вы зайдите лучше к главному, — сказали ему.

И Шукин пошел к главному.

— Все знаю, — сказал главный. У него был просторный сухой кабинет с большим окном. Под окнами стояли стада троллейбусов. — Ну вот что, я не буду крутить, — и видно было, что так оно и есть — главный скажет прямо. — С водителями у нас все время хлопоты: тот врезался, этот опоздал, третий на перекрестке пробку устроил. Водителей нам приходится наказывать.

Главный нравился Шукину. Федот Иванович подумал, что главный наверняка раньше был водителем. Говоря Шукину об уличных происшествиях, он даже руки поднял на воображаемую баранку.

— Понимаете, товарищ Шукин, наказывать приходится, — повторил главный. — Выговоры, лишения премий. И воспитательная, так сказать, мера — приказ на стенку...

— Ну и что? — спросил Федот Иванович.

— Ну и то, — ласково и грубо сказал главный, — что оплошности могут быть и у вас. Они бывают у всех. А не могу же я вам объявить выговор наряду с другими. Как хотите, а не могу! Народ-то у нас всякий... Не имею права. И уж простите, а я далеко не уверен, что из вас выйдет первоклассный водитель. И может получиться несоответствие...

Федот Иванович молчал.

— В диспетчеры пойдете к нам? — опять грубовато

спросил главный. Он вышел из-за стола и, подходя к Шукину, ласково взял его за локоть своей большой цепкой рукой. — Или в главные контролеры? Да вы не думайте, это не билетки надрывать. Контролировать будете контролеров.

— Нет, — сказал Шукин. — Контролировать я больше не хочу. Даже контролеров.

На курсах шоферов при автопарке Федоту Ивановичу предложили быть председателем экзаменационной комиссии.

— Какой же из меня председатель? — поразился Шукин. — Я же не разберу, о чем люди говорят.

— Разберете, — сказали ему. — А кстати, вам это и не нужно.

— Так зачем же тогда такой председатель комиссии?

— Осуществлять общее руководство.

— А попроще? — сказал Федот Иванович. — На самом деле, что я должен делать?

— Осуществлять общее руководство, — ответили ему.

На том заводе, где Федот Иванович до войны был столяром, ему предложили должность, в названии которой было слово «освобожденный». Федот Иванович не стал расспрашивать. Ему было ясно, что «освободят» его именно от той части работы, которую он ищет.

Прошел месяц. Наступила зима. Федоту Ивановичу везде говорили одно и то же. Простое издали казалось трудным вблизи.

По привычке он просыпался рано, взглядывал в темное окно и вставал с низкой раскладушки.

Как-то утром в прихожей взвыл звонок. Пока Федот Иванович спешил к двери, что-то сжалось в нем. Кто-то его искал.

— Пищевые отходы, — сказала дворничиха так, что Федоту Ивановичу сразу стало стыдно, что у него нет пищевых отходов.

Он пожал плечами.

— На черный день корки копишь?

— Нет никаких корок.

— У-у, — сказала дворничиха, то ли осуждая его, то ли жалея. — Бобыли... На тот свет сберкнижку возмешь? Дивана не купит...

Во всей квартире стояли два стула и стол на алюминиевых ногах. Федот Иванович не мог себе представить,

что в этих стенах он будет жить долго, может быть, всю оставшуюся ему жизнь.

— Бобыли... — еще раз строго повторила дворничиха. — Необщественный элемент.

— Это почему же? — спросил он.

— Потому что на десять баб по статистике девять мужиков.

Он посмотрел дворничихе в глаза — в эти напористые глаза еще молодой бабы и вдруг судорожно глотнул.

А дворничиха опять смотрела мимо его плеча на пустые стены квартиры.

— Хозяин... — насмешливо сказала она, но в этой насмешливости было и еще что-то. — Жилье даром тра-тишь... — Отвернула от него свои щеки и, шурша калошами на валенках, пошла вниз по лестнице.

Женщина... Жена... И когда Федот Иванович представлял себе свое положение со стороны: капитан второго ранга, не пьяница, есть где и на что жить, — препятствий не возникало. Но вот он вставал утром, больной от пустынного вчерашнего вечера, от бессонницы, от безделья будущего дня, и все рушилось. Он заставлял себя жить: вставать утром, передвигаться, исполнять мелкие необходимые дела, но кто-то невидимый внутри его совершал работу опустошения. Встав утром, Федот Иванович чувствовал себя шагнувшим еще дальше по тому пути, который начался отеками, бессонницей, ревматизмом. Федот Иванович насильно пил чай и выходил из дому. Непривычно коротким было непривычное пальто, непривычно толстым шарф, непривычно ездил на голой голове кепка.

Чтобы жениться, надо сначала познакомиться, заговорить. Федоту Ивановичу казалось, что всем и всякому видно, для чего, обедая в столовых, он разглядывает женщин. Из человека и вообще небойкого он становился молчуном.

Федот Иванович целыми днями бродил по городу. Когда начинало темнеть, возвращался в свою квартиру. Он чувствовал, что еще немного — и он не выдержит.

Дом, где жил Федот Иванович, стоял на окраине города, среди холмов. Как только выпал снег, холмы оживились. Стало много лыжников. Иногда Федот Иванович надевал высокие сапоги и уходил далеко по снегу. Возвращался он замерзший и усталый. Это помогало засыпать.

Однажды он зашел слишком далеко, на озера, что были километрах в пяти от его дома. На озерах было хорошо: был чистый, непрестанно идущий снег, одинокая свежая лыжня и белые крутые холмы на сером небе. Снег по-осеннему не скрипел. Он держался только среди кустов, а на гладких скатах мело, и сквозь снег торчала сухая трава. Лыжников попадалось все меньше.

Пустынными казались задернутые метелью высокие холмы, пустынные, именно из-за нескольких движущихся точек, озера, одиноко и сумрачно было от низкого, лишь недавно просветлевшего и сразу начавшего темнеть неба, черных столбов, уходящих в белые овраги, прутьев кустарника, и первые огни по холмам будили смутную и непрестанную, как метель, тоску. Это могла бы быть тоска по покинутому дому, если бы у Федота Ивановича был дом.

Быстро темнело. Снова нагнало туч, невидимых, но как бы составляющих все небо, понесла еще сильнее сухая, теперь уже начавшая завывать метель, исчезли с холмов последние лыжники, и только вдалеке, по занесенному озеру, плохо различимые в наползающей темноте, двигались навстречу Федоту Ивановичу редкие точки одиноких лыжников. С неглубоких сугробов взлетала снежная пыль.

Щукин шел и шел, и чем больше уставал, тем все короче становились ниточки его мыслей. Усталость придавливала тоску. Федот Иванович, наклоняясь вперед, старался делать большие шаги.

А кто-то шел навстречу уже совсем близко. Федот Иванович слышал звуки. Это не была музыка из динамика, которую иногда, неотчетливо, какими-то рваными кусками доносило из-за холмов. Это не был шорох метели. Что-то далекое, довоенное: было для Федота Ивановича в том, что он слышал. Из совсем раннего. Будто из какой-то давней книжки...

Но вот человечек поравнялся со Щукиным. Это был маленький сухой старичок. Деловито катясь на лыжах мимо, он сердито напевал что-то тонким, лающим голоском. И только тогда Федот Иванович понял, чего он, оказывается, ждал. Он думал, что ему навстречу идет плачущий ребенок.

Прошел день, два, три. И пришел вечер. Ныли колени, и особенно чужой казалась комната с алюминиевым столом.

Федот Иванович оделся и вышел из дому. Он обманывал себя, делая вид, что не знает, куда идет. Он вошел в троллейбус и проехал пять остановок. Троллейбус остановился у дома с колоннами.

Никто не спросил у Федота Ивановича, зачем он вошел, зачем оставил внизу пальто, зачем поднялся по широкой, под мрамор отделанной лестнице. Федот Иванович не знал бы, что ответить.

Вот пустой огромный зал, а вот маленькие залы — один за другим вереницей. В первом из них стоял страшный шум. Человек двадцать ребятни, спрятав руки под столы, играли в настольный хоккей. В углу качались метровые деревянные гуси — им на шею набрасывали кольца.

Он прошел еще один зал — там играли в шахматы и шашки. Один малыш стоял против столика, потому что со стула хуже видел доску. При каждом ходе он рукавом задевал за задние фигуры.

На Федота Ивановича никто не обратил внимания. Ребята были заняты. Он прошел еще несколько комнат, но везде шла своя напряженная детская жизнь, и везде его не замечали.

Федот Иванович вернулся в большой зал. Люстра здесь не горела, и только настенные рожки давали полусвет.

Вдоль стен зала под стеклянными колпаками стояли модели кораблей. Федот Иванович нашел подводную лодку и нагнулся над ней. Он простоял так довольно долго, мысленно делая замечания тому, кому принадлежала эта работа.

— Дядя, вы не знаете, что это за дырки? — спросил кто-то рядом. — Почему их так много? Это окна?

— Не окна, а иллюминаторы, — поправил другой.

— Это не окна, — ответил Федот Иванович. — Через эти дырки вода входит и выходит. Чтобы лодка погружалась и всплывала.

— А как они называются?

— Шпигаты, — ответил Федот Иванович, и то, что он почувствовал тогда на снежном озере, когда спешил навстречу старичку, стало медленно, как воздух балластную цистерну, заполнять его.

— А на сколько метров подводная лодка может нырнуть?

— Не нырнуть, а погрузиться, — поправил другой.

— Зависит от типа лодки... — начал Федот Иванович, но ему не дали договорить.

— А вы сами на какой плавали?

«Откуда они знают, что я плавал?» — только и успел подумать Федот Иванович.

Он еле успевал отвечать.

Толпа ребят около моделей росла.

На следующий день, захватив только свой новенький паспорт, из которого можно было узнать лишь то, что владелец его — Щукин Федот Иванович, рождения 1921 года, он направился в школу, которая стояла среди новых домов его окраины и откуда особенно много ребят высыпало с лыжами на снежные холмы.

Он пошел прямо к директору и сказал, что хочет работать завхозом. Про себя Федот Иванович думал еще о кружке по моделизму, но он понимал, что сразу обо всем говорить нельзя. А время покажет.

— Где работали? — спросил директор.

— Только что вышел в отставку, — уже немного пугаясь, ответил Федот Иванович.

— Авиация? Артиллерия? Ракеты? — спросил директор.

— Флот.

— Части?

— Подплав.

Директор куда-то торопился. Он встал, и Федот Иванович тоже встал.

— Война? — спросил директор.

— Война.

— Награды?

Федот Иванович молчал.

— Понятно, — сказал директор. — Что ж. Не всем носить Александра Невского. Так ведь? Впрочем, это я только по привычке. Важно, что человек делать умеет.

Директор говорил короткими фразами, будто стрелял очередями.

— Что вы умеете делать? — спросил он.

— До войны столярил.

— Отлично, — сказал директор. — Отлично... — Но открылась дверь, и к директору вошло сразу несколько человек. — Ну вот что, — торопясь, сказал директор. — Значит, завхозом. Семьдесят рублей. Найдете Кухарева — синий пиджак, палочка, галифе — пусть сдает дела.

— А он? — спросил Федот Иванович.

— Кабинетом заведовать. Давно сам хочет. Все. Принимайте дела. До свидания.

Через неделю голая голова Федота Ивановича уже примелькалась в школе. У Федота Ивановича снова не стало времени. Он уставал, но это была другая усталость. К нему снова вернулся сон, и уже несколько раз бывало так, что, если бы не будильник, Федот Иванович проспал бы. Он вскакивал с испугом. «Опаздываю», — металось у него в голове. Но и испуг его, и эта спешка имели оттенки радости и знания того, что он, Федот Иванович, нужен, необходим. Он быстро собирался, быстро выходил из дому и проводил в школе время до темноты. Было несколько ночей, когда в притихшем здании школы раздавался истошный визг циклевочной машины — Федот Иванович ровнял в коридорах полы. Около школы под его руководством трамбовали место для катка, расчищали подвал под модельную мастерскую. Шукин ездил заказывать циркулярную пилу для реек.

В подвале, рядом с будущей мастерской моделизма, сам собой устроился кабинет Федота Ивановича. Собственно, скорее это была кладовая или небольшой склад — мел, чернила, полотерные щетки, но так уж получилось, что кроме стеллажей, завешенных простынями, встал там еще и письменный стол, и кто-то из уборщиц притащил на цемент, под ноги, кусок чердачного войлока. Иногда за целые сутки Федот Иванович ни разу не заходил в свой кабинет, но мысль о том, что после птичьего базара этажей можно несколько минут посидеть в тишине, была ему приятна.

И сейчас он сидел в кладовой и без страха, а даже с каким-то удовлетворением думал, что лет через десять, а то и меньше станет носить валенки с калошами и не будет этого стесняться. Чего же стесняться, если ноют ноги? Наверно, приходила старость. Тень набежала на лицо Федота Ивановича, на его голый лоб.

По цементу коридора к кладовой зашлепали шаги. У двери остановился паренек. Он взялся за косяк и потерся о него щекой.

— С чем пожаловали? — спросил Федот Иванович. Паренек глядел в пол и теребил полу курточки.

— Дядя Федот, — вдруг набравшись отчаянной смелости, выговорил он — Я там стекло вышиб...

— Большое? — спросил Федот Иванович.

— Ага, — сглотнув что-то в горле, сказал паренек. — Здоровое...

За спиной паренька стоял пожилой, небольшого роста человек.

— Начальник отдела кадров роно, — сказал он.

— Слушаю вас, — сказал Федот Иванович.

Наступило молчание. Разбивший окно еще разглянул на Федота Ивановича и понесся по коридору.

— Вот где вы, товарищ Щукин... Вот куда спрятались, — наконец сказал гость.

Федот Иванович хотел предложить сесть, но было некуда. Тогда он встал сам.

— Слушаю вас, — повторил он.

— Да, — сказал пришедший. — Не знаю, как и начать... Военкомат меня обглаживает из-за вас, вот что.

Федот Иванович молчал.

— Ну, что скажете? — продолжал гость. — Ведь ни директор, ни дети не знают... Это педагогично, по-вашему?

Федот Иванович ничего не ответил.

— Впервые в моей практике, впервые, — сказал начальник отдела кадров. — Просто впервые.

Было долгое молчание. Пожилой человек все стоял рядом со Щукиным, потом пожал ему руку и тихо вышел.

Прошел март, прошел апрель, наступил май. Приблизился День Победы.

Пионеры разыскивали героев.

Школа готовилась к торжественному вечеру. Федот Иванович наводил особенный блеск в актовом зале. Старшеклассники помогали ему вешать над окнами хвойные гирлянды. В кружке рисования готовили полуметровые ордена.

И наступило Девятое мая.

По всей школе трещала бумага открываемых после зимы окон, все было звонче, быстрее, по школе летали стремительные сквозняки, и никто их не боялся.

Федот Иванович в кепочке, которая за весну как будто приросла к его голове, ходил по актовому залу, высматривая, что бы еще подправить. Подправлять было нечего.

Несколько дней назад директор, встретив его в коридоре, сказал:

— Вечер будет, Федот Иванович. Может, выступите? Воевали ведь?

— А что говорить? — спросил Федот Иванович. — Да и плохо я говорю.

— Ну, ну, — сказал директор. — Впрочем, пророк в своем отечестве... — он улыбнулся, положил руку Федоту Ивановичу на плечо. — Какие из нас с вами пророки?..

К шести часам стали собираться ребята. И их веселая кутерьма, беспорядочное как будто беганье туда и сюда, в зал и из зала, и то, как двое почему-то должны были обязательно втиснуться в одно кресло, хотя рядом было три пустых, и гам, который, как ни старались воспитатели, никак не утихал, — все это уже было для Федота Ивановича шумом своего дома:

Но вот толпившиеся у дверей зашумели, стихли и расступились. Впереди, прокладывая дорогу, шел директор. За ним два офицера — летчик и моряк. Все трое поднялись по лесенке на сцену, и офицеры сели за стол с красной скатертью. Директор остался стоять. Когда аплодисменты стихли, директор, улыбнувшись, начал стрелять своими короткими фразами:

— Дорогие гости! Школа, наша школа, вся наша школа...

Зал опять взорвался.

Федот Иванович стоял в толпе у двери.

Он не рассмотрел офицеров, когда они проходили совсем рядом, потому что все оглядывался на заднюю стену зала, где от верхнего легкого сквозняка качался готовый оборваться длинный бумажный плакат. А директор школы с явным удовольствием уже произносил звания гостей:

— ...полковника Рылова Николая Николаевича.

Зал хлопал. Федот Иванович все оглядывался.

...и капитана первого ранга в отставке Юровского Павла Семеновича... — крикнул директор.

Федот Иванович вздрогнул и посмотрел на сцену. Метрах в пятнадцати от него, за столом с красной скатертью, сидел на сцене Пашка Юровский, его одноклассник, вдохновенный врун и пустельга. Юровский был в парадной тужурке с бронзовыми листьями на лацканах. Из-под тужурки висели наискось награды. Может быть, уже только один Федот Иванович мог вспомнить историю Пашкиного взлета.

Матросы притащили тогда в распоряжение дивизиона немецкого шифровальщика. При шифровальщике оказался код. Этим кодом в тот же день была расшифрована стратегическая радиограмма. Матросы были с бронекатера Юровского. Они так и не узнали, что было в

карманах у того вываленного в глине, полуживого немца. Все трое погибли. Двое — в десанте, третий потом служил на лодке у Щукина и, зная, что удачно отстрелявшуюся лодку ищут, вызвался добровольцем на коротком всплытии чинить поврежденные горизонтальные рули. Его пришлось оставить наверху, когда из низкой облачности выскочило звено «фокке-вульфов».

Со сцены говорил летчик.

Он говорил скупой, спотыкаясь, а перед тем как сообщить цифру, повторял «значит, вот» или «значит, так» и искал глазами по бумажке.

Федот Иванович смотрел на Юровского. Он не видел его четыре года. Юровский за это время не постарел. Он прямо и уверенно сидел за столом, живо поворачиваясь к говорившему летчику. Волосы у него были густые, блестящие.

Федот Иванович смотрел на Юровского. А тот улыбался, глядел в зал, и взгляд его скользил, не останавливаясь, и по Федоту Ивановичу.

Юровский не узнавал Щукина.

«Что же он сейчас скажет?» — думал Федот Иванович.

Представить себе, что это будет тот звон, который уже столько раз приходилось ему от Юровского слышать, он не мог. Собственно, острой нелюбви к Пашке у него не было. Он просто не относился к Пашке всерьез, как не относились к нему всерьез и на флоте. Тогда Юровского слушали не для того, чтобы узнать новое о войне. Слушали просто потому, что у человека ладно висел язык. Коэффициент поправки на Пашку был известен.

Сейчас перед Юровским сидели дети. Его, Федота Ивановича, дети.

Пашка поднялся из-за стола.

Задумано и отработано у него было или случилось само собой, но, когда он встал, ордена и медали его не просто звякнули, а протяжно зазвенели. Пашка дождался полной тишины, кашлянул и глухо, но слышно для всех начал:

— Ребята! Дорогие наши дети, — и вдруг, словно припоминая, поднял руку ко лбу. — Двадцать пять лет назад в окопах, залитых талой водой, мы, морские пехотинцы, ни на миг не забывали о том будущем великом дне, годовщину которого в такой торжественной обстановке мы сегодня празднуем...

Зал взорвался аплодисментами.

«Морская пехота?» — подумал Федот Иванович. О морской пехоте он еще от Пашки не слышал. Номер был новым.

Юровский продолжал говорить. Это было, наверно, интересно, потому что зал стихал, мгновенно разражался смехом, замолкал опять.

Через несколько минут Юровский рассказывал уже о своем участии в знаменитом новороссийском десанте. Насколько Федот Иванович помнил, они оба в это время учились в той самой «старшинской академии», откуда вышли младшими лейтенантами.

Федот Иванович шагнул вперед. Он сделал это нечаянно, ему просто захотелось заглянуть Пашке в глаза.

И блестящий рассказчик на сцене вдруг споткнулся. Он замолчал и, звякнув орденами, поднял руку к нагрудному карману. Того, что он искал, в кармане не оказалось. Юровский сунул руку во внутренний карман и вынул очки. В зале стояла тишина.

«А ты, Пашка, все же стареешь», — подумал Федот Иванович. Потому что и без всяких очков он увидел в движениях Юровского старческую суетливость. Юровский смотрел на Щукина.

Зал ждал. Ждали дети, ждал директор, даже полковник-летчик вскинул на Юровского глаза и поднял домиком густые брови. Молчание длилось слишком долго.

— Может быть, воды? — спросил директор, встал и сделал рукой движение к горлу, словно показывая, что сухость в горле понятна, если человек говорит с таким жаром.

— Нет, — сказал Юровский. — Я уже кончил... О многом можно рассказать, о многом, да только... только... Что ж тут такого... Все воевали.

Это было так неожиданно, внезапно, а главное так странно, что зал все чего-то ждал.

Раздвинув стоявших у дверей, Федот Иванович выбрался из зала. Он прошел несколько шагов по коридору и остановился у окна. Он остановился у окна и закурил. Если бы дети увидели своего завхоза сейчас, они не узнали бы его. На лице Щукина лежали тяжелые медные тени. Он смотрел на вечернюю мирную улицу, но взгляд его был такой, каким провожает торпедист пену за своей торпедой. Федот Иванович смотрел перед собой неподвижно. Дым папиросы легко вился у его лица. От этого еще тверже казалось выражение глаз.

Но потом выражение глаз Щукина смягчилось, Федот Иванович усмехнулся и, даже не взглянув на дверь

зала, пошел, шаркая подошвами, в свой кабинетик. Он хотел забыть осевшее, остолбенелое Пашкино лицо. Он не хотел думать о нем. И, чтобы отвлечься, Федот Иванович перешел в модельную мастерскую, запустил пилу и, слушая ее веселый, слегка отдающий сиреной визг, стал гнать на рейки сухой и тяжелый буковый брусок. Федот Иванович слушал визг пилы, по звуку машинально давая станку нужный режим, и, наползая на сверкающий край диска, визжал розоватый бук, и легким веером под станок, запорашивая ноги Федоту Ивановичу, текли розоватые мелкие опилки.



Весной

РАССКАЗ

1

Капитан третьего ранга Никольский прошелся в полутьме по прохладному вестибюлю. Звук шагов был такой, как нужно, — он очень подходил к тому настроению, которое сегодня у Никольского должно было быть. И может, потому, что это настроение все-таки не приходило, капитан третьего ранга автоматически отметил тяжесть компактной кобуры, новизну кителя, тугую мягкость перчаток — ощущения, еще недавно вполне достаточные, чтобы такое настроение пришло.

Все было отлично, и Никольский отлично себя чувствовал, но почему-то сегодня он должен был себя уверять, что это — так.

До недавнего времени Никольский служил на крейсере, и жизнь катилась, как по рельсам. Огромный корабль и его размеренная, скорее, даже выверенная жизнь подчиняли себе людей. Корабль подчинял людей и сам был в их власти. Здесь была обратная связь. Никольский служил с удовольствием, порой даже с самозабвением. Служба на крейсере была логичной, как дыхание.

Никольский еще раз пересек вестибюль, вышел из подъезда и остановился. Как дежурный по училищу он, пожалуй, не должен был бы здесь останавливаться, потому что в сквере напротив училищного фасада уже не

осталось ни пятнышка снега, и воздух был такой легкий, такой готовый к зелени...

Было тепло.

Было так тепло, что Никольский про себя, в шутку как бы, пожалел курсантов, одетых в теплые бушлаты. Курсанты со всех сторон тянулись к подъезду. Около дежурного они переходили на строевой шаг и отдавали честь. Никольский хмурил брови и отдавал честь тоже. Хмурился он притворно. Настроение было не для дежурства. Захотелось вдруг поваляться в траве, захотелось расстегнутого ворота легонькой рубашки, смеха, теплой, отпускной лени. И глядеть, глядеть в небо, тоже теплое, горячее даже...

И наверно, потому капитан третьего ранга посмотрел на часы, и лицо его стало еще строже. До конца увольнения оставалось двадцать минут.

Капитан третьего ранга был молод. Молод не только для своего звания, а молод вообще. Призы главкома за артиллерийскую стрельбу, дальние автономные походы, стремительный взлет — все это уже было, и было при не сходявшем весь год загаре, при могучем желудке и веселой уверенности в себе. Все мелькнуло, и на всем Никольский оставил свою зарубку, как на деревьях в собственном лесу, — представления о жизни, как о деле стоящем и ясном, окрепли, и им было от чего крепнуть — события шли густо.

А потом у них с Аней родился малыш...

И Никольский, до тех пор не подозревавший в себе ни сентиментальности, ни особенной любви к детям, осел на берегу — конечно, на год, на два, конечно, временно, а потом снова будут корабли, наверно, уже собственный эсминец... Но оказалось, есть и еще целый класс вещей. Эти вещи, или отношения, или стороны — Никольский не знал точно, как их назвать, раньше все это вполне умещалось в слове «Аня» — вдруг стремительно стали набирать силу. Никольского потянуло к семье, хотя сейчас, казалось, были только соски, пеленки, крик по ночам...

И теперешние отношения с женой — чуть поблекшей от родов и в своих контурах, как в нефокусном снимке, чуть потерявшей четкость — тоже по-другому волновали молодого офицера. Переставшая быть красавицей, она расцвела по-новому и тянула его к себе гораздо сильнее, гораздо крепче — он думал о ней и сейчас, стоя у подъезда.

Дежурить это не помогало. «Помощник попался вя-

лый, — подумал Никольский. — Застрявший на берегу, явно невезучий старший лейтенант. А ведь, наверно, мой ровесник, не моложе...» Никольский искал в нем хоть какую-нибудь яркую, бьющую в глаза черту. Пусть бы это была рассеянность ушедшего в свои мысли, пусть, наконец, даже враждебность тому, чем живет Никольский, — и тогда капитан третьего ранга признал бы в нем того, с кем стоит считаться. Но помощник следил за Никольским боязливо и услужливо, с самого развода бездарно его копировал, и это было такой карикатурой, что даже посыльный отворачивался. А посыльный был совсем другого склада. И, ощущая перед этим первокурсником некоторую педагогическую ответственность, Никольский должен был бы как следует взяться за помощника. Тут были и другие соображения. Мгновенно, обрастая подробностями, разносится по училищу молва о новых офицерах. А Никольский был в училище недавно.

Он оглянулся и увидел в глубине вестибюля застывшую фигуру посыльного. Можно было не сомневаться, парень караулил каждое его слово.

Нет, дежурить не хотелось. Никольский попытался распалить себя искусственно — вспомнил, как на разводе караула, продвигаясь вслед за ним вдоль строя, помощник сплюнул в платок и с интересом в него посмотрел. Вспомнил, но и это не помогло — только не захотелось возвращаться в дежурку, где сидел старший лейтенант.

Все в жизни Никольского было построено на четком различии двух миров. В каждом из них он жил органично и легко, а сейчас миры эти, условно названные им «Аня» и «крейсер» и, казалось, закрепленные навечно, вдруг начали смещаться, расплылись, входя в соприкосновение, и легкости уже не было. На службе он думает о лете, об Ане, о малыше... Вдруг подумал, что заболел малыш — и для него, Никольского, на время перестанет существовать даже мечта об эсминце. «Уязвимость? — спросил себя Никольский. — Старею, что ли?» Но малыш был здоров, и завтра к вечеру его надо будет купать. Это было как приятное открытие. Чтобы не улыбнуться, Никольский еще раз нахмурился и еще раз, отстегнув кнопку желтоватой перчатки — собственной, замшевой, а не казенной, нитяной, — посмотрел на часы.

Оставалось шестнадцать минут.

Никольский одернул рукав и посмотрел вокруг. Курсанты отовсюду спешили к проходной. Они шли с де-

вушками и поодиночке; те, что были с девушками, оставались недалеко и прощались, или стояли, договаривая последнее, или стояли молча, или даже шли обратно — проводить ее до площади...

Красивых девушек было много. Никольский подумал, что их всегда было много и всегда, наверно, будет много там, где носят морскую форму. Он впервые в жизни подумал, что есть в этом что-то не совсем настоящее: в том, что раз флот — значит, красивые девушки. Но мысль эта задержалась недолго.

Послышался на площади, в которую упирался проезд, глухой, но далеко разносящийся шум, и Никольский увидел, что с другой стороны площади темнота становится как бы гуще и колышется — это начали прибывать войска для ночной предмайской репетиции.

Звучали только шаги. Музыка слышно не было, но на площади копился огромный сводный оркестр — изредка отблеском фар сверкали трубы.

Прибывающие войска со всех сторон обходили училище.

Надо было идти к телефонам — через несколько минут начнутся доклады дежурных по факультетам. Никольский подумал об этом и... не ушел.

В нескольких шагах от него стоял третьекурсник с девушкой. Большая мятая бескозырка глубоко сидела на голове парня.

«Остановлю, — подумал Никольский. — Вот проводит свое сокровище — и останавливаю. Что это за кабак — выдернул из бескозырки пружину и стоит передо мной, будто я — пустое место. Обнаглели совсем...»

И тут Никольский посмотрел на девушку. Только что он думал о красивых, о том, как их много... «Сглазил», — подумал он.

Девушка была вдобавок еще и неловкой, и когда она пошла, а за ней пошел третьекурсник, Никольский увидел, как она неуклюже, будто двигаясь по параллельным доскам, переставляет ступни, и пальто ее оттопыривается на животе.

«Кабак какой, — все больше раздражаясь на третьекурсника, подумал Никольский. — Зачем он ее такой к училищу водит? И как ей самой-то?»

Но тут из дверей выскочил посыльный — дежурного к телефону вызывал начальник училища.

Отвечая адмиралу, Никольский машинально смотрел в окошечко дежурки. Третьекурсник в мятой бескозырке не проходил.

Адмиралу не спалось — в эти дни училище обследовала комиссия управления. Любое нарушение — мельчайшее, ерундовое — в дни таких проверок порой разрастается в ЧП и из приказа в приказ ползет чуть не до главкома. Никольский понимал бессонницу адмирала.

К площади все стекались войска. Теперь Никольский даже из дежурки слышал их шум.

Увольнение кончилось. Начались звонки, доклады дежурных, беготня помощника и посыльного. На некоторое время Никольский забыл о том, что так и не задержал третьекурсника.

Дежурные один за другим докладывали по телефону. Опоздавших с увольнения было мало. Опоздал кто-то на минуту. На полторы. Один — на пять. Никольский поморщился. Это была уже грань ЧП. Телефон зазвонил снова.

— Докладывает дежурный по второму факультету, — сказали в трубке.

— Слушаю.

— На факультете опоздавших с увольнения нет, за исключением — не пришел с увольнения один человек дежурный по факультету старшина первой статьи Карташов.

— Вы с какого языка на русский переводите, старшина? — спросил Никольский. Смысл доклада не сразу до него дошел. — Фамилия неприбывшего?

— Курсант Скворцов.

— Курс?

— Третий, товарищ капитан третьего ранга.

— Ясно, — сказал Никольский. «Уж куда ясней, — подумал он. — ЧП крупным шрифтом».

Прошло полчаса. На площади зазвучали фанфары, грохот десятков барабанов разорвал ночь, и через минуту грянул сводный оркестр. Играли марш «Москва майская»...

Усталость постепенно брала свое. Никольский оперся локтями на толстое стекло стола, сдвинул на затылок фуражку и вяло листал страницы дежурного журнала. Надо было записать ЧП. Он уже вынул из кармана ручку, уже снял с нее колпачок...

— Товарищ капитан третьего ранга, курсант в двери стучится!

— Ко мне его, — сказал Никольский. Пришел, не пришел — это уже не меняло дела. Через минуту перед ним стоял опоздавший.

— Час и четыре минуты, — сказал Никольский. — Спорить не будете?

— Никак нет, — ответил курсант. Это был тот самый, в бескозырке без пружины.

— Фамилия?

— Курсант Скворцов.

— Почему опоздали, товарищ Скворцов?

Парень молчал.

— Говорите.

Курсант молча поднял на Никольского глаза («ничего не выпрашивающие глаза», — про себя отметил Никольский), скользнул ими по лицам помощника дежурного, посыльного и опять уставился в пол. Но в этих потупленных глазах не было сознания вины.

— Отвечать будете?

— Никак нет, — ответил курсант, но вызова в его ответе не было.

— Я вам приказываю.

Курсант переступил с ноги на ногу и снова поднял глаза.

И, глянув на помощника, Никольский вдруг подумал, что, случись с ним, Никольским, что-то, что надо знать не всем, он тоже не стал бы говорить при этом человеке.

— Старший лейтенант, — будто вспомнив что-то и посмотрев на часы, сказал Никольский, — сходите проверьте караул. — Но даже тут, даже для этого человека у него сегодня не хватило какой-то стали, меди какой-то, и он кинул помощнику вслед: — Сходите, а я поближе к утру второй раз проверю...

Помощник оглянулся, и вдруг улыбка показалась на его лице.

— Да построже, прошу вас, — отбиваясь от этой улыбки, сказал Никольский и нахмурился. — А вы можете идти спать, — повернулся он к посыльному.

Никольский и опоздавший остались в дежурке одни.

— Ну, так что же все-таки произошло? — спросил Никольский. — Мне кажется, я вас уже видел. Вы ведь уже подходили к училищу?

— Да, — ответил курсант. — Я здесь был.

«Не „да“, а „так точно“, — подумал Никольский. — И вообще, чего я с ним церемонюсь?» Но вспомнилось это существо, которое стояло рядом с третьекурсником, и вдруг Никольский спросил:

— Докуда вы ее проводили?

Третьекурсник вскинул на Никольского глаза. Он

опять было промолчал, но Никольский, заметив колебание парня, уже торопил, уже подгонял его следующими вопросами:

— Объясните мне, наконец, что произошло? Вы приходите к проходной, торчите тут, а потом опаздываете на час...

— Я не знал, что войска пойдут, товарищ капитан третьего ранга, — сказал курсант.

— Ну и что? Что вам войска?

— Поэтому и пошел провожать...

— Ничего не понимаю, — сказал Никольский. — Зачем? Она что, сама бы не добралась до дому? Зачем тогда вас провожала?

Курсант снова молчал.

— Я не то хотел сказать, — добавил Никольский. — Не она — «зачем», а вы «зачем»? Что вашей подружке эти войска могли сделать?

— Ничего, — ответил парень.

— Так зачем же вы пошли?

— Чтобы проводить.

— Не морочьте мне голову! — сказал Никольский.

Парень молчал. Но никакого сознания вины на его лице не было.

— Я не знал, что кругом будут войска, — повторил он.

Никольский забарабанил пальцами.

«Или этот парень идиот, или я, — подумал он. — Ну, еще раз!»

— Куда вы ее провожали?

— Через площадь.

— А она одна не могла пройти?

— Могла. Только лучше со мной.

— Это понятно, — сказал Никольский. — Я не о лирике.

— Я тоже не о лирике, — ответил парень.

— А о чем же?

— Женщина она.

— Это тоже понятно, — сказал Никольский, но его неприятно резануло, что парень сказал слово «женщина».

— Не так, — сказал курсант. Он смотрел теперь прямо на Никольского. — Не потому. А потому, что мы мужчины, а она — женщина. Вот почему.

— Она просила вас проводить ее через площадь? — чувствуя, что говорит не то, спросил Никольский. «Ну и забираемся мы», — подумал он.

— Это не меняет дела, товарищ капитан третьего ранга.

— Ладно, — раздраженно сказал Никольский. — Последний вопрос. Другие курсанты могли своих девушек оставить, а вы — нет?

— Это их дело, — ответил третьекурсник. — Это их девушки и их дело.

— А у вас что, особенное что-нибудь? — спросил Никольский, желая даже, чтобы этот парень, который начал ему нравиться, ответил ему сейчас резко: «Ей-богу, прощу», — подумал Никольский.

Но парень остался спокоен.

— Да, особенная, — сказал он. — Она... Ей трудней, чем другим.

«Вот тебе и раз, — подумал Никольский. — Вот тебе и раз».

— Где же вы целый час бродили? — чтобы что-то сказать, спросил он.

— Цепи там... Нас всюду задерживали...

Никольский сидел неподвижно. Он просидел так несколько минут, представляя себе, как парень идет с нею под руку, ведет ее через площадь, набитую ожидающими общей команды войсками. Офицеры. Цепи линейных. Батальоны. Парень с некрасивой беременной женщиной просит пропустить их... Ее нужно проводить к трамваю.

Никольский посмотрел на курсанта. Парень был, пожалуй, красив. Никакой неполноценности в его лице не было. Никольский, во всяком случае, не находил.

Никольский сидел; курсант стоял.

Тикали большие часы — в каждом училище у дежурного стоят огромные часы с гирями. А рядом на стене — электрические с прыгающей стрелкой.

— Ну вот что... — сказал Никольский. И опять тикали часы, и где-то вдали, в длинных низких переходах, примыкающих к дежурке, прошуршали шаги дневального.

— Ну вот что... Идите спать. Передадите своему дежурному, чтобы ждал моего звонка.

— Есть, — ответил курсант.

— Идите, — сказал Никольский. — Подождите! — вдруг крикнул он вдогонку парню, представив себе, как тот косноязычный старшина примется сейчас выяснять все сначала. — Передадите дежурному, что все обстоятельства мною выяснены...

— Есть, — ответил курсант.

Никольский остался в дежурке один.

Ну, конечно, это было давно. Конечно, прошло уже десять, нет, пятнадцать лет. «А если пройдет тридцать? — подумал Никольский. — Или сто? Изменится ли что-то?»

Ему было тогда шестнадцать лет, и он учился в нахимовском.

2

Их привезли в Москву на подготовку к параду и на парад. Стояла весна, сначала ранняя, потом всеохватывающая, стремительная, городская, как трамвайный звон.

За месяц до этого он влюбился. И хотя это было не впервые, но впервые от скрытности, от особых у каждого мальчишки первых влюбленностей — неразделенных, тайных и грызущих — он перешел к письмам, свиданиям и могучему нетерпению, вообразил себя мужчиной, и гордость в нем по этому поводу сидела необыкновенная.

В Москве он через день получал от Лены письма, а в этот раз их не было уже три дня.

Он лежал на койке в казарме и не мог дожждаться завтрашней почты. Но надо было прожить конец дня и весь вечер, когда уже письма не приходят, и завтра еще — до тех пор, пока их снова могут принести.

— Вовк, а Вовк!

Над ним стояли трое его приятелей.

— Пошли в городишко, Вовк! — сказали они.

И они все пошли в город. Никольский пошел потому, что надо было куда-то деть этот день и этот вечер, и потому, что парни его позвали, и потому, что вечером в клубе не было никакого фильма.

Их уволили часов в пять, и еще на казарменной территории они сели в голубенький грузовой «форд», и «форд» повез их к метро.

Всюду были лужи, и грязь, и весенние запахи, сырой теплый ветер катился над кузовом. Пленные немцы на Хорошевском шоссе с малярных люлек красили одинаковые двухэтажные дома. Асфальт уже просыхал.

«Форд» довез их до «Белорусской» и укатил обратно.

В метро они стали решать, куда податься. Была половина шестого.

Один хотел в кино, другой — на футбол.

— В интернат, — сказал кто-то.

— А что там делать?

— Дурак, — сказали тому, кто спросил, остальные. — Дрогнули, парни. — И они поехали в интернат.

Это была странная экспедиция. Они знали об интернате только потому, что их туда один раз привозили на вечер неделю назад. Была какая-то самодеятельность, а потом под перекрестными взглядами воспитательниц и офицеров в зале начались танцы. Интернатских парней было мало, и девочки их за существа мужского пола не считали.

Танцы начались тогда с полонеза.

Был па-де-катр и па-де-патинер, только что переименованный в «конькобежцев». Был миньон и па-зефир. Не было только экосеза.

И тут парни стали исчезать.

Они исчезали не все сразу, а по одному, потом так же возвращались, и тогда на смену им в дверях скрывались другие.

Володя тоже вышел из зала. Из небольшого, школьного типа коридора в стороны отходили двери. Одна из дверей вела на темную лестницу. Он прошел мимо. И в это время с лестницы его позвали.

— Эй, — сказали ему. — Иди сюда.

Он вышел на темную площадку и в полутьме увидел тощую девчонку.

— Ну? — сказала тощая так, словно они оба пробежали по пять километров, чтобы здесь встретиться. — Ну? Кого тебе сюда позвать?

— Как? — спросил Володя. — Что вы имеете в виду? Девчонка с жалостью на него посмотрела.

— Не понимает! — сказала она. — Не понимает! У нас в пятом классе соображают лучше. Кого тебе сюда позвать? Кто тебе нравится?

— Ты, — сказал он с усмешкой побирающегося миллионера. В кармане у него лежало письмо, полученное три дня назад, а завтра он должен был получить следующее.

— Нет, — не сразу и другим голосом сказала девчонка. Она машинально сняла очки и стала протирать стекла крылышком передника. — Зачем вы так шутите?

Его глаза привыкли к тусклому свету, и, когда она подняла лицо, он увидел красную дужку у ней на переносице.

— Не обижайся, — сказал он и взял ее за плечо. Оно было цыплячьим, а вся девчонка — маленькая и съезжавшаяся.

На лестнице кто-то шелохнулся. Он посмотрел в

глубь темноты. Маршем выше на фоне окна он увидел две головы — одна голова была стриженной, как у него.

— Не обижайся, — сказал он съжившейся девчонке и вышел в коридор.

В зале он за весь вечер протанцевал только один дамский вальс. На него, как торпеды, с двух сторон двинулись две девчонки, впрочем, быть может, поначалу они направлялись и не к нему, а он привлек их уже потом, как движущаяся цель. Но дело кончилось тем, что, убегая от одной, он попался другой. У нее были очень тонкие и, наверно, длинные руки, потому что когда она положила одну из них ему на плечо, то дело плечом не ограничилось, а ее ладонь он ощутил где-то повыше лопаток, там, где начинается шея.

Они протанцевали несколько кругов, и тут в зал вошла его знакомая. Партнерша вращалась вокруг него, и каждые два такта из трех он чувствовал себя привязанным за шею. Она его пригласила и поэтому сама с ним разговаривала.

— Вы знаете, — сказала она, — у нас похожие порядки: вас только в воскресенье отпускают, и нас тоже только в воскресенье...

— А вас на гауптвахту не могут посадить, — сказал он, хотя их тоже не сажали.

— У нас зато другие наказания есть.

— Другие у нас тоже есть, — сказал он. — А что это за девочка?

— Которая? А, эта! Это Катька Попова. Ее мать один раз приезжала. Черная вся, и тоже в очках, как Катька. Она круглый год в разъездах. Работа такая.

— А отец?

— Не знаю. Не приезжал.

— А ваши родители? — спросил он и посмотрел на нее впервые. У нее были серые глаза, откинутае лицо и руки вовсе не такие длинные. Просто она хорошо его держала.

— Мои? Не знаю...

Видно было, что она прекрасно знает. И задай еще вопрос — ответит. Ей даже хотелось чем-то похвастаться.

— А эта... Катя Попова, какая она?

— Катька-то? У нас, если кому-нибудь страшно по темному коридору идти, всегда ее зовут, чтобы проводила...

Вальс кончался.

— А мой папа — атташе, — серые глаза туповато-радостно смотрели на Володю.

— Торговый?

— Нет, что вы! — хотела обидеться она. Но времени уже не было. — Военный.

«А у меня Лена есть», — подумал Володя.

Они ехали в интернат.

Выяснилось, что у одного из них есть целая лента билетов на «Укрощение строптивой» в какой-то Дворец культуры.

Говорили, что спектакль неважный, на такие спектакли офицеры старались не ходить. Эти билеты брала дезинфекторша Фелицата, которая приехала с училищем в Москву, наверно, специально ради театров. Ей было все равно, что смотреть.

Они стояли перед подъездом интерната. Дверь, естественно, была заперта.

Они постучались.

Их пустили в эти тяжелые двери не сразу. Володя вообще не знал, почему их пустили, быть может, визит был уж слишком неожиданным, или они вели себя так, что привлекали внимание улицы... Одним словом, они очутились в комнате посетителей.

Володя знал только одно имя — Кати Поповой. Через нее он собирался вызвать ту — с серыми глазами. Парни называли еще троих девочек.

— Здравствуй, — сказала Катя. — Ты, оказывается, узнал мою фамилию, — она подошла совсем близко, почти уткнулась очками ему в плечо. — Молодец, — тихо сказала она. — Спасибо.

«Как зовут, ту, с которой я танцевал?» — хотел спросить Володя и вдруг увидел, что та — с серыми глазами, стройная, у нее папа атташе — вошла в комнату и идет вовсе не к нему.

— Что же ты молчишь? — спросила Катя и посмотрела на него снизу вверх. — Ты плечо испачкал, — сказала она и стала отряхивать ему бушлат.

— Ничего, ничего, не надо, — сказал он. Слишком уж все у нее было быстро. Он смотрел на сероглазую, но был уже в некотором роде собственностью Кати. И вдруг сказал отчетливо противоположное тому, что хотел сказать:

— Пойдем в театр?
— Когда?
— Сегодня. Есть билеты.
— Нас не отпустят.
— Жаль, — лицемерно сказал он.
— Конечно, не отпустят, — радостно заговорила Катя. — Это еще лучше. Конечно, пойдем!
— Как?
— Через окно, — сказала Катя. — А ты будешь стоять внизу!

— Это не Большой театр, — сказал Володя с надеждой, что хоть это поможет. — Спектакль, говорят, не очень-то...

— Все равно! — быстро сказала Катя, подвинулась к нему совсем вплотную и стала шептать на ухо. Ему пришлось к ней склониться. «Во—сценка!» — подумал он.

— В переулке, — шептала Катя. — За углом нашего интерната... Отсчитай четырнадцатое окно по первому этажу...

— Может, ты не станешь все же прыгать? — громко сказал Володя, не слушая больше ее шепота.

— Тсс-с! — сказала Катя. — Тихо! Сейчас воспитательница придет.

Так оно и было. Воспитательница пришла и сказала, что девочкам надо идти что-то там делать.

Зал был как наполовину выеденный подсолнух: пустые места лежали рядами. Играл какой-то четвертый или четырнадцатый состав, и от настоящего спектакля остались только две деревянные лошадки, на которых герой и героиня изображали переломный момент в воспитании строптивой.

Шеренгами сидели солдаты-связисты, у них, наверно, был культпоход. От них деловито и упруго пахло казармой и общим одеколоном. Островками синели воротнички. Женщин в зале было человек восемь. Ряда через три впереди сидела дезинфекторша Фелицата. Кругом нее образовалась мертвая зона. Легкий запах карболки доносился даже до Володи.

Где-то сзади, может быть, в партере, а может, и на балконе, сидели парни. Кроме Кати, никто из девочек прыгать в окно не стал.

Если бы Володя знал, что прыгнет она одна, он, конечно, не подошел бы к четырнадцатому окну. Но необратимое свершилось.

Катя выпала из окна прямо ему в руки, и сцена эта, видимо, произвела на парней сильное впечатление. А другие девчонки стояли на подоконнике, показывали хо-рошенькие ножки и из окон не падали.

Разговор был коротким. Они смеялись сверху. Парни делали вид, что смеются внизу. Но так как им надо было по-настоящему посмеяться, то они это и сделали по дороге, когда пустили Володю с Катей вперед, а сами шли метрах в тридцати сзади.

Когда ехали в метро, Володя сидел отвернувшись.

В театре все парни предпочли исчезнуть еще в гардеробе.

— Биноклик дамочке, а то ничего не увидят! Номерочек, прошу вас...

— Повесьте на разные, — сказал Володя.

— Зачем на разные? — спросила Катя.

— Ты знаешь... мы все-таки военные... Тревога вдруг...

— А-а, — с уважением сказала Катя. — Это — затемнение, прожекторы. Хочу быть женщиной!

Досиживали второе действие. Зажегся свет.

— Посиди, — сказал Володя. — А я сейчас приду.

— Хорошо, — сказала Катя и вынула руку из его локтя. — Приходи скорей. Я тебя буду ждать.

Он встал и, задевая защитные коленки связистов, двинулся между рядами.

— Зачем ты бинокль берешь? — спросила вдогонку Катя. На нее посмотрели. Володя сделал вид, что не слышит.

В гардеробе он отдал бинокль, получил за него свой номерок и стал одеваться. Рядом с Володей одевался плотный сержант и одна из восьми женщин. На мундире у сержанта были привинчены БГТО, ГТО первой и ГТО второй ступени.

— Третье действие в другом театре? — спросил гардеробщик.

— У нас свой театр, — сказал сержант и подмигнул гардеробщику. Женщина ткнула сержанта в бок. Сержант захохотал и положил на барьер монетку.

— Держи, отец! — сказал он.

— Будьте наркомздравы! — крикнул гардеробщик и доверительно сообщил Володе: — Декорации бы в их театре сменить пора.

— До свиданья, — сказал Володя.

— Будьте наркомздравы!

Володя Никольский вышел из дверей театра. Среди легковых машин на стоянке отдыхал голубенький «форд». Но Володя поехал на троллейбусе.

Был серый ветреный вечер. Кое-где уже повесили флаги, и они трещали по ветру в своих подсвечниках. Ветер был влажный, как на море.

Володя приехал на окраину и пошел к казармам через сырые железнодорожные пути.

Туман полз вдоль путей, и особенно визгливо и тревожно кричали у заборов казарм зеленые дрезины. Прессуя белый ватный пар, древние маневровые «овечки» осторожно двигали по путям черные цистерны. Лязгало железо, ненужно свистя и громыхая, носился туда и обратно свирепый и тупой, похожий на быка паровоз.

Володя прошел через проходную около глухих ворот, задвинутых с той стороны тяжелым длинным бруском. В проходной, когда он сдавал свою увольнительную, на уровне его глаз опять блеснули значки. Он поднял глаза. Перед ним, как царь-колокол, стоял старшина-сверхсрочник.

— Проходи, — сказал старшина и отодвинул свою слоновью ногу от турникета. Володя прошел на территорию.

Никого не было на песчаных дорожках, никого не было у казарм. В гулком зале казармы, позванивая дудкой, бродил осоловевший дневальный.

Володя разделся, бессознательно высыпал мелочь в тумбочку, сунул носовой платок под подушку, бессознательно сложил квадратиком форму на тумбочке и еще бессознательнее лег. Лег. Бессознательно, наверно, бессознательнее всего устроился поудобней и закрыл глаза.

Очнулся он от того, что минуту пролежал без движения. Он, наверно, застонал или крикнул, потому что дневальный вдруг быстро пошел к нему и остановился у койки. А Володя, обрывая пуговицы, тянул на себя упиравшуюся форму. Шнурки ботинок — завет боевой тревоги — он зашнуровал и завязал, а остальное застегивал и опраправлял на бегу к проходной.

— Старшина, — сказал он. — Мне нужно...

— Ты ж не туда бежишь, — усмехнулся царь-колокол и уперся ногой в вертушку турникета. — Ты ж бежишь в другую сторону...

— Старшина, — сказал Володя с отчаянием, — пропустите меня...

Товарняк, которому не было в обе стороны конца, медленно полз вдоль забора. От вагона к вагону полязгивали буфера.

— Старшина... — сказал Володя. — Старшина...

— Не «старшина», а «товарищ старшина».

— Товарищ старшина, — сказал Володя. Но он уже знал, что тот не пустит его.

— Марш в казарму! — сказал старшина.

И тогда Володя бросился на турникет. Откинув всем телом ногу старшины, он проскочил через проходную и услышал, как старшина захохотал сзади дверью и почти сразу выскочил вслед.

Тихо полз мимо состав.

— Стой! — крикнул старшина.

И Володя бросился под состав. Он прыгнул вслед за проползшими мимо колесами длинной платформы, растянулся плашмя и только почувствовав, что лежит на сырых шпалах, понял, что сделал.

Но он уже это сделал.

Не помнил уже, зачем, но знал, что должен оказать-ся по ту сторону путей и куда-то бежать.

Он лежал под составом, а старшина сидел на корточках около рельсов. Над Володей, полязгивая, медленно шли буфера и оси. Володя подвинулся к самому рельсу.

— Не смей! — заорал старшина. — Приказываю лежать!

Прямо перед Володей одна за другой шли нижние кромки колес — единственное в составе движущееся назад, как говорил на уроке физик. Но тогда Володя об этом не думал. Он подвинулся к самому рельсу, привстал, как ящерица, и, пропустив пару ползущих рядом колес, перевалился через рельс.

Он побежал через пути, отряхиваясь на ходу. Не помнил, как ехал к театру, но когда подбежал к его дверям, двери были закрыты, и с улицы было видно, как пожилая уборщица, беззвучно шевеля губами, гасила в вестибюле последние лампы.

Володю не выгнали из училища, хотя того, что он сделал, для этого хватало.

3

Помощник уже давно пришел с поверки караула. Никольский сидел у телефона. Потом он заскрипел креслом и встал. Думая, что сейчас дежурный отпустит его спать, старший лейтенант встал тоже и вопросительно посмотрел на него.

Но Никольский сел снова. Сел, зажмурился и машинально снял фуражку.

А это дурацкое письмо, которое он послал Кате месяца через два? «Прости, не мог тебя предупредить — меня прямо в антракте послали с пакетом в казарму...» Написал и отправил, и получилось еще хуже — напомнил о себе...

Ответа не было. Он, конечно, знал, что не будет, но все-таки ждал, ждал долго... А Лена? Он и лица ее сейчас не помнил. Помнил, что звали Леной, — и все.

Нет, это надо было додуматься — после всего, что сделал, написать: «Прости, не мог предупредить...» Животное жестокое. Идиот мрачный.

— Как вы сказали? — спросил помощник.

Никольский открыл глаза.

— Я?

— Галлюцинации, — пробормотал помощник. — Прошу простить...

— Идите спать, — сказал Никольский. — Избавляйтесь.

Мир под условным названием «Аня» вторглся в четкий мир службы. «Только встань на этот путь, только встань, — думал Никольский. — Распусти слюни, и каждый пьяный матрос, протрезвев, докажет тебе, что у него умерла троюродная бабушка и напиться было необходимо. Прости одного — и на следующий раз принимай трех. Можешь не сомневаться — у каждого будет причина... Эсминец тогда тебе. Как бы не так!..»

«А если не врет? — подумал Никольский. — Если правда вел ее сквозь войска?» Он не сомневался, что так это и было.

И вдруг перед глазами встал малыш — это уже было совсем ни к чему. При чем здесь был он? Но он был при чем-то, так же как и Катя Попова, и третьекурсник в мятой бескозырке. «Другая опера», — говорил себе Никольский, но он говорил себе так потому, что знал — да, это одно, все это чем-то связано.

«А если бы у меня была дочь?» — подумал Никольский, и все объединилось и пошло на него, он представил себе крохотное женское существо, вызванное к жизни без всякой просьбы с его стороны... «Она будет красива», — подумал Никольский, но это было скорей об Ане. Об Ане, а не о дочери.

А если нет?

«А если нет?» — повторил он про себя.

Если нет — значит, нет. И отстаньте все. Неизвестно, куда можно так забраться.

Был третий час ночи. Старший офицер строевого отдела капитан третьего ранга Никольский сидел один в комнате дежурного.

— Хотел бы, да ничего не выйдет, — сказал он кому-то. — Тут ведь надо только раз.

Слова прозвучали чужими и странно отдались в комнате.

«Надо хоть два часа поспать, — подумал Никольский, и это было концом сомнений. Все решено. Училище, в котором старший офицер строевого отдела сомневается, наказать ли нарушителя порядка, — это не училище, а детский сад. — Это пожар на барахолке, — добавил еще про себя Никольский. — Все. Об этом хватит».

Он встал и прошелся по дежурке. От нечего делать взял в ящике стола толстую новую книгу для записей и стал нумеровать страницы.

«3, — писал он. — 4, 5, 6...»

Вот так же нумерованы камеры на гауптвахте. «4, 5, 6...» Никольский вспомнил каменные галереи, проволочные сетки над перилами верхних этажей...

«Суток пятнадцать, — подумал он об опоздавшем. — Строевые занятия без ремней».

«56, — писал он, — 58, 59...»

И левой рукой взял телефонную трубку.

«78, 79...»

— Второй факультет мне. Дежурного.

Минуты две никто не подходил.

— Проснулись, старшина? — сразу спросил Никольский.

— Никак нет...

— Заметно. Так вот что... — даже сейчас еще Никольский не знал, что скажет дальше. — Вот что... Скворцова этого... отметить как прибывшего вовремя. Доложите командиру роты, что курсант Скворцов выполнял мое приказание. Дошло до вас?

И будто старшина был в чем-то виноват, Никольский бросил трубку.

Потом встал, прошел через вестибюль и, повернув большой старинный ключ, открыл подъезд.

На площади гремел уставший оркестр. Вдоль проезда вытянулся застывший луч прожектора, и по сиреневым деревьям сада, колыхаясь в такт маршу, качались зубчатые тени еле видных отсюда шеренг.

Никольский снял фуражку и повесил ее на чугунную пику ограды.

Стояла ночь.

Бухал оркестр, легкий ветер тихо летел по проезду.



Дождливый май

РАССКАЗ

Я уже давно решил, что она не придет, написал письма, прочел главу из худо двигающейся сквозь меня книжки и погасил свет.

Наискосок через улицу стоял высокий, совсем новый дом — многие окна еще светились, и моя веранда, завешенная легкими занавесками, играла рассеянными неровными бликами.

Потом окна одно за другим стали потухать, на веранде наступил полумрак, и я вспомнил, что надо, пожалуй, перезарядить аппарат. Уже с год я им пользовался (Ирина наверняка сказала бы «где-то с год»), но никак не мог к нему приноровиться.

Потом я открыл дверь и вышел на крыльцо. Ночь была холодной. Море никак не могло нагреться, с гор, цепляясь за уступы, круглые сутки ползли, добираясь до самого побережья, облака, и днем весь пляж со страхом наблюдал, как оседают, постепенно заслоняя солнце, бескрайние, все густеющие пласты облачного тумана. Через два дня на третий шел дождь.

Так куда же она девалась? — думал я. Вообще говоря, уверенности, что она придет, быть у меня и не могло, никакого «ах, милый» между нами так и не возникло, и все наши, уж во всяком случае ее, поступки насколько не объясняли того, что у нас происходило.

Но где ее носит, думал я, где же ее все-таки носит? Меня начинало бесить, что я ее жду.

На вокзальной башне запели часы. Я снял веранду совсем рядом с вокзалом — в той части Сочи, где еще остались кое-где заросшие зеленью старые извилистые дворики.

На крыльце становилось холодно. Ждать дольше никакого смысла не было. Я вошел к себе, закрыл дверь на ключ и лег.

Видимо, я успел заснуть.

Она постучала в стекло веранды резко, даже слишком резко — это было ее отличительной чертой: делать с особенно уверенным видом те вещи, в правильности которых она уверена не была.

Я вскочил и повернул ключ.

Она вошла, как вошла бы днем, и я подумал, что хозяйка, как все хозяйки, конечно, в курсе дел, но будить ее каждый раз стуком каблуков совершенно не обязательно.

— Ты один? — спросила Ирина. Она спросила это рассеянно, для того, чтобы что-то сказать, перегнувшись через меня — выключатель был над кроватью — и включила свет.

— Что ты хочешь? — спросил я.

Ирина ответила не сразу. Она качнулась на каблуках (хотя, кажется, совершенно не была пьяна) и рассеянно посмотрела кругом. Около моей кровати стояла на полу полная окурков пепельница. Осыпался большой букет сирени. Хозяйскую гордость — замок с лебедями — я завесил сегодня газетой.

— Ну вот, на день тебя оставила, — с равнодушным упреком сказала Ирина. Мне казалось, что она сама с собой играет в какую-то игру, которая ей уже неинтересна, но перестать почему-то не может. Она нагнулась, взяла в руки пепельницу и вдруг села. — Ой, знаешь... Что-то со мной делается...

— Что с тобой делается? — спросил я.

Но она только покрутила головой. Снова встала, содрала с лебедей газету, высыпала в нее окурки и принялась аккуратно складывать мои книги. По-моему, она делала все это бессознательно.

— Ира! — Я окликнул ее, как на улице или в лесу, хотя она двигалась на расстоянии вытянутой руки от меня.

Она присела было на кровать, но тут же вскочила — полные губы, сумасшедшие глаза, бессознательно навещающие порядок руки.

— Перестань суетиться, — сказал я. Но она меня будто не слышала, и моя берлога начинала приобретать вид, который она имела до тех пор, пока я в ней не поселился. Понятия о порядке у Иры и у моей хозяйки, без сомнения, были одни.

— Ты хочешь, чтобы окружающие от тебя зависели, — сказал я. — Тогда тебе легче дышится.

— Опять ты смеешься? — спросила она.

«Опять» — потому что я сказал ей это позавчера, когда у нее в номере застал двух девиц с пляжа, — она им обещала проткнуть уши, хотели они или нет, было не очень ясно, но она их убедила, и когда я зашел, они сидели на подоконнике с нитками, продетыми сквозь мочки.

— Все, — сказал я. — Прекрати, пожалуйста, этот аврал. У меня еще никогда не было так чисто. Да еще ночью. Я потушу свет. Хорошо?

— Туши, — сказала Ирина.

Она села на постель, откинувшись спиной на мои колени, и прямо передо мной на фоне светлой занавески возник ее темный профиль.

На вокзальной башне снова запели часы.

Эти странные звуки — смесь какого-то сказочного пения и хрустального звона, издаваемые будто самими знаками Зодиака, рассеянными по черному кругу часов, — тревожили меня все время. Звон цимбал и стеклянных подвесок, далекий и вместе с тем отчетливо слышимый — сомнений быть не могло: он лился из стекла и хрусталя, переходил неожиданно и вместе с тем плавно в многоголосый хорал — торжественная, сказочная и печальная мелодия повисала в воздухе; трепетала над площадью и башней, напоминала о чем-то, куда-то зазывала и манила или нет, пожалуй, обещала что-то впереди, а когда она затихала, то ты оставался с ощущением, что прошлого не вернешь, а будущее не настигнешь. Каким-то волшебством для меня прикинулись в то лето эти звуки.

Ведь говорят же, что к тридцати годам человек вдруг бывает иногда совершенно один.

— Сколько это бьет? — спросила Ирина. Звон замер. Било три четверти первого.

— Надо было мне уйти с пляжа вместе с тобой, — сказала она. — Тогда бы ничего не случилось... Почему ты никогда не можешь подождать? Почему ты не можешь сказать, что уходишь?

— Плащ снимать будешь? — спросил я.

Ира медленно встала, повела плечами — еле заметное движение, и легкий темный ее плащ мягко скользнул на стул. На черных плечах Ирины лежали матовые блики. Платье у нее было светлое, открытое.

— Я, наверное, слишком стучу, — она наклонилась, снимая туфли, а потом снова села на постель, поджав ноги и привалившись к моим коленям.

— Слушай, — сказала она.

Я протянул к ней руку:

— Это другое платье, — сказала она. — Ты меня не слушаешь.

«Тогда тебе надо было бы разговаривать со мной в другое время» — подумал я.

— Ты отвлекаешь меня, — сказала она и повернулась так, чтобы мне было удобней. — Ну ты можешь меня выслушать?

— А ты не можешь помолчать?

— Опять ты все бросаешь на пол, — как-то отстраненно сказала Ирина.

Влажный холодный ветер колыхал занавеску. Была полутьма и невысокий потолок, ночные звуки деревянного дома и раскрытого окна, запах холодной весны и едва ощутимый — Ирининых духов.

Какой-то полуночник в третьем этаже напротив включил у себя яркий свет, и на нашей веранде из темноты снова проступили предметы. Зацепившись за спинку стула, к полу свисало платье Ирины. Белое в ярких крупных цветах.

— Я полюбила, — сказала Ирина.

Мне как раз хотелось над чем-нибудь пошутить. Уж очень у нас как-то серьезно шло. Без улыбки. Но я так и не нашелся.

— Я пропала, — слабо сказала Ирина. — Не надо мне было сюда приезжать, — голос у нее был какой-то нехороший. — Я влюбилась. Уже думала — с этим кончено. Не будет больше. Но так сильно в первый раз.

— Погоди, — сказал я. — Ну погоди же. Я ведь тебя оставил сегодня днем. Половины суток не прошло.

— Вот я и говорю, — сокрушенно пробормотала Ира. — Представляешь — я сутки назад еще не знала, что он есть на свете! Как снег на голову.

На пляже за несколько дней до того мы случайно оказались метрах в трех друг от друга.

Звездой, расходящейся от изголовья ее топчана, лежало пять парней. О каждом из них, хотя я ее и не просил, она мне потом рассказала. Томный Ножреван. Застенчиво-нахальный Сержик. Два волейболиста, проходящие здесь спортивные сборы. Детина зоолог, неопрятностью головы напоминавший огромную куклу с ободренным париком.

Я пытался читать. Но подстилки у меня не было, и рейки лежака впивались, словно подо мной был не топчан, а борона. Я осторожно лег на обгоревшую спину и закрыл глаза.

До меня доносился их разговор.

— И зачем, дорогая, ты на юг приехала?

— Загорать, — отвечала она. — Загорать. И купаться.

— Гы! Купаться, — сказал тот же голос. — Послушай, дорогая, в начале мая у нас не купаются.

— У меня муж есть, — вдруг невпопад сказала Ирина.

— Это хорошо, дорогая, что он есть. Это замечательно. — Несколько человек сразу засмеялись. — А где он?

— В Петрозаводске.

— У-у, — сказал тот же голос. Это был Ножреван. — Петрозаводск! В школе проходил. О-ой, как далеко!

Ирина не ответила. Ножреван что-то лениво и горланно бросил Сержу, и они, видимо, заспорили, Серж, мне почудилось, не хотел принимать какое-то пари. Потом Ножреван что-то еще более лениво сказал и засмеялся.

— Мамадзагле, — сказал Серж.

— Что вы ему сказали? — спросила Ирина. Вот она постоянно делала такие ошибки — если не хотела с ними иметь дела, так нечего было и спрашивать.

— Я сказал ему, что он сын собаки, — засмеялся Серж.

— Перестаньте! — нервно сказала Ира.

Я приоткрыл глаза. Ножреван молча положил свою руку Ирине на плечо. Она пыталась от этой руки избавиться.

Рейки лежака немилосердно драли мне спину. Если бы этой девушке было действительно противно, она бы встала и ушла. Однажды я закрутил руку человеку, таскавшему женщину за волосы, а она меня за это исцарапала. Наверное, тут все старые знакомые. Хорошие старые знакомые. Просто у них такой стиль разговора. Как бы театр.

— Моей дочке пять лет, — сказала Ира.

— Ах, еще и дочка? И похожа? — спросил зоолог. Ему было около тридцати, но он уже с трудом поворачивал шею. Ирина затравленно на него посмотрела.

— Давай, дорогая, сыграем в шестьдесят шесть.

— Я не умею.

— Ничего, в дурака сыграем.

Она отказывалась. Она говорила, что не хочет играть. Но играть почему-то стала.

Серж и один из волейболистов сидели без карт у нее за спиной. Их помощь заключалась в том, чтобы через нее тянуться к картам, прижимаясь при этом к ней плечами.

Я встал и вышел на широкую набережную, вдоль которой стояли киоски. На асфальте человек десять играло в волейбол. В кругу была только одна девчонка. Но ей почти не давали мяча. Парни были серьезные — не орали, и пас был чистый и строго персональный, наверняка разрядники. Я молча встал в круг.

— Эй, приятель, — сказал один. — У нас только свои.

На нашу сторону круга шел высокий мяч. Мой сосед справа подался вперед и присел... А мне тоже надо было вмазать по этому мячу. Не могу передать, до чего это было важно и до чего нужно.

Сосед быстро глянул на меня, а потом мы оба выпрыгнули на мяч, и, почувствовав ребрами его плечо, я вложился в удар, рука глубоко вошла в желтую тугую кожу, мяч чавкнул, и, чтобы не упасть от столкновения, мы, сцепившись, опустились с соседом на асфальт.

Парень, который сказал, что у них только свои, сидел на корточках скрючившись. Вообще я не имел в виду этого, так вышло более или менее случайно. Девчонка, ухмыляясь, смотрела в сторону.

— Ничего себе, — сказал один. — Ты, прохожий, скажи нам, чем тебя кормят?

— Сырое мясо любишь? — спросил другой.

— Извини, — сказал я.

— Да ладно, — хмуро сказал сидящий на асфальте. — Вставай сюда, а то в море забьешь.

Я оказался рядом с девчонкой. Напротив стояло четверо крепких парней. На несколько минут я забыл об Ирине.

А потом я пришел к своему лежаку и лег. Все было по-прежнему.

Над побережьем стояла жара. Облака наползали медленно, скоро они должны были закрыть солнце, но сейчас оно жгло, как летом. И чего ради, думал я. На кой это мне черт?

Я не собирался о ней думать. Я оделся и пошел сдавать свой лежак.

На набережной, чуть подальше к порту, двое броне-тов обкатывали в железной бочке привинченный к краю

подвесной лодочный мотор. Бочка гремела, из нее летели выхлопной дым и белые языки взболтанной воды. Стояла жара. Было глупо, что солнце так надсаживает-ся именно сейчас, потому что, судя по облакам, часа через два должен был пойти холодный дождь.

Я дошел до рыбного ресторана.

Фантастические рыбы сияли цветным кафелем на стенах.

Меню было как поэма. Треска по-польски. Котлеты из судака. Уха из стерляди.

Нет, это было уже слишком — заказывать в одиночку стерляжью уху.

Даже в рыбном ресторане это редкость. Все равно как найти белый гриб диаметром пятьсот тридцать миллиметров. Почему пятьсот тридцать? Но эта цифра четко стояла в памяти. Что-то очень значительное. Какой-то военно-морской калибр. Ну и лад с ним, подумал я. И с калибром, и с Баренцевым морем, и со всем Севером. Я ведь в отпуске.

И я стал представлять, будто она сидит со мной здесь. Эта статуэтка, конечно, знала, что надо есть, чтобы быть такой, и я не собирался ее учить. Но о чем бы я с ней говорил, если ее устраивает, что около нее вьются всякие подонки? А почему их соседство с ней так меня бесит? Может быть, просто потому, что я не в их числе? И они сами по себе вовсе не такие поганые люди? Да я никак ревную? — подумал я. Надо было отвлечься.

За соседним столиком сидела пожилая пара. Оба энергично уговаривали друг друга, что все очень хорошо.

— Ты знаешь, я, пожалуй, возьму кашу, — сказал он воинственно. Она тряхнула головой.

— Правильно, — сказала она. — Это для тебя полезно! А я вот каши брать не буду.

Настал его черед соглашаться. Он дернул головой и многозначительно нахмурился. Тресковая уха опять вызвала у них небольшую демонстрацию единства.

Официантка вопросительно остановилась у моего столика.

— Все, — сказал я.

Не мог я пировать на глазах у той пары.

Официантка презрительно звякнула графинчиком.

— Знаешь что? — донеслось с соседнего столика. — Я давно не ел клюквенного киселя. Возьму-ка я его!

— Правильно! — сказала она.

Когда я вышел из ресторана, жара уже спала. С моря дул сильный ветер, надвигался дождь. Я направился к набережной. Еще слабый, но все набирающий силы ко-сой накат шел на берег. У грузового мола расширялось по морю коричневое пятно. Легкие этажерки аэроариев были пусты, только на бетонных мостках стояло несколько мрачных фигур с удочками. Каркасы пляжных грибов, как наклонные радарные тарелки, раскачивались на ветру. Я пошел прибрежными улицами под тополями и платанами.

И были какие-то редкие сказочные деревья, серо-голубые, как лежалая в горячем песке кость, и странные на ощупь. Я их где-то уже видел и даже вспомнил где: они, конечно, росли в театре на сцене. Они стояли тогда на сцене, редкие синие деревья с гладкими причудливыми стволами, их было много, а потом из-за них появились сказочные женские существа в бархате верхом на тонконогих лошадях, и выехал принц — между такими деревьями и должны были двигаться принцы.

На кой же черт мне этот лес? — пытался вспомнить я. Я, наверное, был здорово не в себе. И был высокий мост, и мутно-белесая Сочинка шумела, ломаясь на своих искусственных порогах, и был вокзал, и какие-то уходящие в обе стороны поезда, и легкий дождь, а потом дождь припустил, и мне было все едино — идет он или нет, я все еще не вошел в меридиан, и моя веранда оказалась недалеко, я довольно легко ее обнаружил среди совершенно незнакомых домов, и все пытался вспомнить, как и зачем я здесь. Я начал снимать рубаху, не отстегивая запонок, и левая рука вынулась легко, а правая с распухшей от волейбола кистью не проходила в манжету.

Я заснул с мыслью, что вот я засыпаю, и странно, проспю я и день и два, никто мной не поинтересуется, разве что хозяйка придет заменить в вазе сирень.

Может быть, поэтому часа через два я снова был на ногах, на улице и со сбитым представлением о времени. Во рту было сухо.

Сочи, наверное, город, меньше всякого другого приспособленный для дождя: небо становится темнее построек, и все приобретает вид нереальный и жалкий.

Я снова бродил под дождем. Около бани сквозь щели люка поднимались из асфальта клубы пара, листья магнолии казались снизу сухими, а сверху напоминали множество маленьких блестящих черепаш; прозрачными стенами светилось кафе.

Дождь был не так уж силен, полчаса будешь бродить и не намокнешь. На углу торговала газировщица. Она стояла под клеенчатым колпаком.

— Воды, пожалуйста, — сказал я.

Газировщица, продолжая болтать с толстой теткой в капюшоне, не глядя поставила стакан на вертушку и повернула ручку. Вода так брызнула мне в лицо, что я отдернул голову.

— Что, молодой человек, водички боитесь? — спросила газировщица.

— А вы не можете посмотреть, когда ставите стакан?

— Ишь ты, сахарный, — сказала тетка в капюшоне, — от чистой воды растает! Интеллигенция!

Странный выдался день. Странный потому, что было противно, а не смешно. Я не знал, зачем я здесь, что делаю в этом городе. Может быть, поэтому я остановился около доски, на которой пестрели бумажки.

Объявления были смешные.

Кроме того, что кто-то предлагал поменять комнату в Магадане на квартиру в Сочи, еще требовались изготовители веников в лесу, продавалось три улья пчел, увеличитель «Ленинград» и «охотничья собака на медведя».

Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся. Рядом со мной стояла Ирина. Она была одна и тоже смотрела на доску объявлений.

— Простите, — сказал я.

Она пожала плечом, но по взгляду, который она на меня бросила, видно было, что она что-то припоминает.

Она была в темном легком плаще, стройная, как утром, и, по-моему, ей некуда было идти. Она опять мельком на меня глянула. И опять не вспомнила. Мне очень захотелось ей помочь.

— Вы могли меня видеть на пляже, — сказал я. — Я вас тоже видел. У вас пятилетняя дочка. И вас зовут Ириной.

— Откуда вы знаете про дочку? — спросила она. — Ах да, я кому-то это говорила. Значит, вы подслушивали?

— Конечно, — сказал я.

— Ну и что же вы еще подслушали?

— Что вам очень нравится нравиться.

— Да? — сказала она и в первый раз посмотрела на меня внимательно. — Я, пожалуй, вас теперь вспомнила. Вы ушли где-то около часу.

— В тринадцать десять, — сказал я.

— А вчера вы во сколько ушли?

— Вчера был дождь.

— А завтра? Будет?

— Будет, — сказал я. — Смотрите, какое небо.

Наверно, у нее не было никаких планов. Какие планы у приехавших к морю — и хотя я не распоряжался погодой, на лице у нее застыло выражение чуть не мольбы. Солнце, только чтобы было солнце.

— Послезавтра оно будет, — сказал я с уверенностью профессионального предсказателя. — И ваши друзья соберутся снова. И вам снова будет весело.

— Послушайте, — сказала она. — Вот вы все, оказывается, знаете заранее. С вами, наверное, ужасно скучно?

— Да, — ответил я. — Только это не все сразу замечают.

— У вас какой-то странный вид, — сказала она. — Вы что-нибудь забыли?

— Забыл. Не могу вспомнить, любите ли вы танцевать?

— Танцевать? — спросила Ирина удивленно. — Вы и это угадали!

Угадывать тут было нечего, просто иначе быть не могло. Для чего же тогда природа изготавляет время от времени таких девушек? Ведь не для того же, чтобы они в одиночку собирали бруснику?

Весь Бостонский оркестр сидел в этом ресторане. Американцы гастролировали в Сочи второй день; днем у них был концерт, а вечерний отменили из-за дождя. Вместо концерта в открытом театре пустили под дождем «Развод по-итальянски». А все скрипки и кларнеты отправились в ресторан.

Я понятия не имел, как она танцует, когда спрашивал, любит ли она танцевать, но скоро понял, почему ей так польстила моя проницательность. Попал я, оказывается, в точку.

Ресторанный оркестр играл без перерыва.

Ирина лишь раз прошла через зал — сказала мне, что ей надо к зеркалу, на обратном пути ее уже перехватили. Это был какой-то типовой бронежилет. Он увел ее танцевать подальше от нашего столика. Впрочем, кажется, этот был даже не очень нахален. Но лиха беда начало. Поговорить нам так и не удавалось. Вскоре Ирину

стали приглашать американцы. За кого они принимали при этом меня, затрудняюсь объяснить. Наверно, какой-нибудь спецтермин у них по этому поводу существует. Но мне сейчас надо было понимать лишь простые словосочетания, например: «Мэй ай?» — может ли он. Остальное додумывай. «Йес», — отвечал я. Отчего бы и нет? И я прятался за свою как бы иронию, а Ирина шла танцевать.

На нее смотрели со всех столиков.

Какими-то диагональными движениями скользили в папиросном дыму плечи Ирины. Безошибочно, свободно и диагонально скользили ноги.

Затирание носком невидимого окурка.

Собирание невидимого хлопка.

Умещение бедер мускусом.

Как пальмовые листья на ветру, вибрировала мелодия.

На Ирину смотрел весь зал.

Оркестр играл для нее. Ух ты, думал я, вот ты, оказывается, какая.

Американцы были рослые молодцы, и лица у них были приятные.

— Почему вы не танцуете? — спросила меня Ирина. Я не успел ответить. К нашему столику уже шел очередной.

— Мэй ай? — сказал он.

После этого танца Ирина вернулась с приколотым к платью значком.

— Англичанин, — сообщила она.

Рассыпаясь на трепещущие такты, над столиками неслась музыка. Плыл табачный дым. Американцы то враз начинали говорить, то замолкали. Значок был какого-то фордовского филиала в Ливерпуле.

— Почему вы спросили меня о дочке? — вдруг вспомнила она.

Наверно, ей пора было остановиться.

— Почему вы спросили меня о дочке? — повторила Ирина.

Я ответил, что, по-моему, ей в тот момент это больше всего требовалось. Она сказала, что я прав и что, пожалуй, надо уходить.

Когда мы проходили между столиками американцев, они приветливо к нам оборачивались.

Я еще раньше ей сказал, все скамейки мокрые, а если и не мокрые, то мажутся краской. И она мне ответила: наплевать, ототрем ацетоном.

Опять зашуршало по листьям, и я взглянул на часы. Но стрелок было не различить.

— Ну что, пойдем? — спросила Ирина. Дождь некоторое время лишь капал, не усиливаясь, а потом все же припустил, и мы встали со скамейки.

Ирина жила в гостинице на Приморском бульваре, и с вокзала туда ходили автобусы, хотя теперь для них было уже поздновато. Мы прошли мимо базара и поднялись вверх по старой улице, где между молодыми деревьями торчали из асфальта неровно спиленные остатки старых тополей. Один из трухлявых тополей спилили только сегодня, и он лежал вдоль переуллка, перерогородив зелеными ломкими сучьями всю проезжую часть.

Я дал Ире руку, и она оперлась о нее, а дождь все усиливался и усиливался, и запрокинутые ветки поваленного тополя дрожали и шуршали от стекавшей по ним воды. Я чувствовал, как намокает на лопатках пиджак. Плечи еще оставались сухими. У меня были с собой документы, а моя веранда находилась в трех шагах, и я попросил Ирину подождать под деревом. Она мне ничего не ответила, но когда я оглянулся, то увидел, что она идет следом и смотрит себе под ноги.

Поднимаясь на крыльцо первым, я ощутил, как по спине уже течет вода и брюки липнут к ногам.

Я вынул из кармана документы и сунул их под подушку.

На улице хлестал дождь. Мы, не зажигая света, стояли в узком проходе, треть веранды занимало мое скрипучее ложе. С ее плаща текло на пол. С моего пиджака — вовнутрь, под рубашку.

Шумел дождь.

Можно было попытаться поговорить о дочке. Или о том, что сейчас все выльется, а завтра будет солнце. Или о том, как она танцует. Или о чем-нибудь из детства. Тему, в общем, можно было отыскать.

Мы стояли и молчали. Потом она медленно сняла плащ, а я взял его и зачем-то стал вытряхивать на крыльце.

Но обратно на веранду было не попасть — она встала в дверях, и я, сделав шаг, почувствовал ее густые мокрые волосы подбородком.

— Это ничего не означает, — сказала она. — Это так.

Шумел дождь, и ей было далеко идти, да и зачем,

сказала она. Это не означает ничего. У кого, спросил я. У всех цивилизованных людей, сказала она. Я, наверно, нецивилизованный, сказал я. Конечно, нецивилизованный, сказала она. Цивилизованные, те танцевать умеют. Ну тогда ты самая цивилизованная из всех, кого я знаю, сказал я.

Она уже лежала на одеяле и под волосы подложила мое полотенце, в полутьме — огня мы так и не зажигали — я видел казавшиеся совершенно черными волосы вокруг головы и темное лицо.

Я сказал, что хочу посидеть и послушать дождь, хотя лучше уж было еще сто раз повторить слово «цивилизованный» или «нецивилизованный» — это и то было бы естественней. Я не хотел зажигать огня. Тогда бы я совсем не знал, как себя вести. Но она лежала на моей постели; и ее черное лицо, которое я, даже отвернувшись, видел перед собой, и то, как она положила мне на грудь голову, нет, не будем так говорить — просто прислонила ко мне свою голову, уже не давали мне думать ни о чем другом.

А дождь лил все сильнее, и с деревянных перил лети брызги, от которых мокрым и тяжелым стал низ дверной занавески.

Я скинул пиджак и сел на единственный стул у двери, глядя на улицу. Ничего не было видно, только дождь шумел, это был шум крыши, и перил, и луж, и множества движущихся листьев. И, заглушая шум дождя, все сильнее стучало в висках. Я сидел у двери, не заслоняя ее собой всю, на тот случай, если бы Ира захотела уйти, но я уже знал, что она не уйдет, и все силы мои уходили на то, чтобы сидеть вот так и смотреть в темноту на дождь. Мне почему-то казалось, что чем дольше я просижу, тем будет лучше. И я ждал, что она что-нибудь скажет.

— Ты же замерз, — наконец сказала она. — У тебя плечи трясутся.

По-моему, она избегала называть меня по имени.

Изредка по ночной улице проносилась машина, и шум ее быстро поглощался зеленью. Кто-то прошел под окнами, постоял у крыльца, снова двинулся в глубину двора, раздался плеск водопроводной струи, и шаркающие шаги, удаляясь, затихли. В холодном воздухе тихо трепетали пальмовые листья. На открытом окне пузырилась занавеска.

— Ну ладно, — сказал я. — Так что же все-таки случилось?

Ира вздохнула. Темная рука ее с сухой прохладной кожей поползла по моему плечу.

— Они сегодня весь день бродили по пляжу, — сказала она.

— Кто они?

— Ну эти... Американцы. Оркестр. И пока ты был рядом, никто не подходил... А потом сразу... Человек шесть с аппаратами... И все просили разрешения меня снимать... Слушай, я правда красивая?

Я представил себе, как, должно быть, ей трудно не потерять голову только от того, что стоит ей остаться одной, и сразу начинается эта охота.

— Один говорил немного по-русски, а я смеялась. Сколько меня на пляже ни снимали, я ни одного фото пляжного своего никогда не видела.

— Ни одного снимка.

— Не придирайся, не все ли равно... Им нравилось, что я смеюсь, они всю щелкали... Скажи, я правда красивая?

— Правда, — сказал я.

— Нет, я серьезно. Мне это теперь так важно... А от тебя ведь никогда слова приятного не услышишь... А потом один из них — он стоял в стороне, и не снимал, и не улыбался — подошел и что-то им резко сказал. Так, знаешь, даже зло. Я думала, он про меня, и посмотрела на него; он, знаешь, такой высокий и словно рассеянный, плечи у него... Ну как у тебя. Он им что-то сказал, они все засмеялись еще громче, а потом вдруг замолчали и стали ему что-то говорить так насмешливо вроде, а потом уже и рассерженно. Но он им ничего не отвечал и только взял одного, того, что немного говорил по-русски, и сказал ему что-то, и на меня смотрит. И этот мне говорит: это мой друг, его имя Стивен, он просит меня представить его вам. А потом переводчик, его Джоном зовут, ушел, и Стивен ко мне сел, на топчан. На самый краешек, будто боится... Слушай, я совсем с ума сошла... Это твоя рука?

Я зачем-то поспешил подтвердить.

— Вот видишь, а мне кажется, что его... Он просидел возле меня часа три... Ты чего это трясешься? — вдруг спросила она. — Нет, что это с тобой? Ты что, обиделся, что ли?

Описывать свои ощущения в этот момент я вовсе не собираюсь. Они были не из приятных.

— Да что это с тобой? — всполошилась Ирина. — Тебе плохо, что ли? Ну скажи мне!

«За каким лешим ее сюда принесло, — думал я, — и ей еще что-то от меня надо».

— Я тебя очень прошу, — сказала она. — Ну перестань же. Тебя всего колотит. Это я виновата?

— Хватит, хватит, — сказал я. — Пусти-ка, я встану.

Я встал, и так было лучше. А то пошел какой-то перебор. Твоя рука, его рука. Хорошие дела я себе завел. Дублер.

Я подошел к двери и повернул ключ.

— Уходи, — сказал я.

Ирина минуту лежала на двигаясь.

Потом из-под простыни показались ее ноги, тесно сжатые вместе. Она, не глядя, стала искать ими туфли и села на кровать, прижимая к себе простыню.

— За что? — спросила она.

— А ты не понимаешь?

Прошла минута. Две. Может быть, больше.

— Нет, — сказала она. — Я не понимаю.

«Кем нужно быть? — думал я. — Где расти, что читать, о чем думать?»

— А что я такого сделала? — спросила Ирина. — Что-нибудь плохое, да? Я тебя обидела?

Ничего, решительно ничего она не понимала. Она путала слова, обозначая то, что с ней происходит, и они означали другое, безнадежно иное. Вовсе не обозначенный словами был их смысл. Какой, я и сам не знал.

По ее ошарашенному, испуганному голосу было видно: она вообще перестала что бы то ни было понимать.

— Я думала, — прошептала она, протягивая руку к платью, — ты мне друг, тебе все можно сказать.

Как нас быстро и верно можно купить. В первый раз, в десятый, в двадцать пятый. Ты ведь мне друг? Правда, ты мне друг? Я сделал шаг к двери и снова закрыл ее.

— Ложись, — сказал я. — Ты никуда не пойдешь.

Ирина ничего не ответила. Она сидела на кровати, по-прежнему прижимая к себе край простыни, бессознательно, теперь-то я уж был в этом уверен, абсолютно бессознательно прижимая простыню к себе так, что глаз от нее было не оторвать.

Как странно, думал я. В себе самом, мне казалось, я еще недавно понимал все. А теперь все смешалось, и я чувствовал, что как там ни обстоят дела, а в этой исто-

рии мне придется участвовать. Как там ни крути. Ирке, пожалуй, без меня тут не вылезти. Сегодняшним разговором это не кончится.

— Как же вы говорили? — с натугой спросил я. — Ты же двух слов по-английски не знаешь?

— Он по-русски тоже, — будто бы даже радостно сказала Ирина. — Ну прямо-таки ни словечка.

— Так как же?

— Я в школе проходила французский. А у него бабушка из Брюсселя, это Голландия, что ли?

— Окрестности, — сказал я.

— Что? Какие окрестности? Слушай, я никогда не думала, что могу влюбиться в американца.

— А во француза? Или в индуса? Разница-то какая?

— Что? — спросила она. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Послушай, что мне делать?

— Пока, во всяком случае, ничего.

— Но я действительно влюбилась. Мне страшно, но во мне все поет. Он сказал, что увезет меня...

— Так, — сказал я. — Прости мне один грубый вопрос. Кто твой муж?

— Как кто?

— Ну профессия его?

— Майор, — сказала Ирина.

— Майор — это не профессия, — сказал я. — А живете вы в Петрозаводске?

— Нет, — ответила она и замаялась. — Это я на пляже так говорила. Мы живем там... Намного дальше...

— Ракеты? — спросил я.

— Ну тебе-то я, наверно, могу ответить, — нехотя сказала Ирина. — Ты же сам имеешь отношение...

— Не надо, — сказал я. — Даже мне не надо. Однако мне не ясно, что ты отвечала ему?

— А он и не спрашивал.

Тут я, кажется, расхохотался, так она была простодушна. Вот уж воистину святая простота.

— Ну и дальше?

— Завтра мы с ним встретимся на пляже. В десять часов. Я ему сказала, что найду переводчика. Ты пойдешь со мной?

Вопрос этот — вообще-то простой вопрос — для меня был совсем не прост. Я бы должен был ей сразу ответить, что не пойду. Но я почему-то медлил. Мне начало казаться, что я за нее перед кем-то отвечаю. Только это был не майор.

Она лежала рядом, и почему-то все ближе прижималась ко мне, и все лопотала о том, как они со Стивеном провели сегодня день, это, наверно, и есть настоящее, потому что он не сделал ничего, из чего бы она поняла, что она нужна ему только так, он даже ни разу не поцеловал ее в губы, а только в глаза (хорошо, что она ничего не делала сегодня с ресницами), и все говорил, что придет и увезет ее с собой и покажет ей Огайо, и Иллинойс, и Пенсильванию, и почему-то Северную Дакоту. Они бродили по темному берегу, останавливались под навесами аэрариев, и он целовал ей глаза, она не понимала того, что пытается сказать ему она, она тоже не понимала его, они бродили по хрустящей гальке и снова стояли под трепещущим от ветра навесом, и он прижимал к себе ее руку и целовал поднятые к нему глаза. А потом они зашли в ресторан, и сидевшие там американцы кольцом окружили их со Стивеном — она танцевала и не могла дождаться, когда же они снова выйдут в дождь и темноту, и они вышли и снова под мокрыми кипарисами и тополями бродили, бродили, бродили до часу ночи. И она расплакалась, и Стивен, сажая ее в автобус, спрашивал, может ли он ее проводить — очевидно, он спрашивал именно это, но она покачала головой, и он остался, только молча, не говоря ни слова, не делая никаких жестов, спрашивал, почему она плачет. И завтра в десять, завтра в десять... У нее было лицо, как у маленькой девочки, которой вместо тряпочных матрешек подарили дорогую фарфоровую куклу, какой у нее прежде никогда не бывало.

Я начал с того, что извинился за свой английский.

— Май инглиш из тэррибл, — сказал я. А чтобы Ирина не смотрела на меня так жалко, я ей стал переводить: — Мой язык ужасен. За такой язык может быть только стыдно.

— Ноу, — ответил Стивен. — Ноу, ю хэв э драй Ландэн спэл...

Ну еще бы. Мало того, что я говорю хорошо, так у меня еще и сухой лондонский выговор. Ведь я, без сомнения, бывал в Англии?

— Нет, — сказал я. — Ноу. Нигде я не бывал.

И тут мне стало обидно. Обидно за то, что я нигде не был. И этот парень не первый. Мне и учительница твердила, что у меня хорошее произношение. «Это тебе пригодится», — говорила она.

Мне и майора стало жалко. Тоже ведь, бедняга, учил. Не английский, так какой-нибудь другой. Майор сразу стал для меня каким-то своим. Приятный, наверное, человек. Дома в пижаме ходит. В полосочку. Фантастику читает. А тем временем Ирина добивалась, чтобы я перевел сразу несколько фраз. Что-то не очень связное. Интонации и жесты. Переведи их!

Я в общем что-то переводил и старался, как мог, улучшить фразы и обороты; от моего акцента и от того, как смотрела на Стивена Ирина, он вздрагивал и глядел удивленно. Он, видимо, открывал в ней новые земли.

Потом заговорил он. Я понимал не все слова.

— Повторите, пожалуйста, — говорил я. — Еще раз. Уанс мо.

Я со скрипом припоминал школьные фразы.

Стивен терпеливо повторял.

Он придет и затем увезет ее. Он покажет ей весь Огайо. И Чикаго. И там много еще всего. Весь вчерашний букет.

По-русски он не понимал ни слова.

— Огайо, — сказал я и загнул один палец. — Пенсильвания, — я загнул другой. — Уот воз зе фед, ай фогот? Я забыл, что было на третье?

— Дакота, — сказал он и даже не покраснел. Только наморщил лоб, вспоминая. Розовые замки и пунктуальность. Сочетаньице нам с Ирой досталось.

Он как будто ничего не соображал. Очень просто. Все очень просто.

Я переводил, и мне было не по себе от того, что я делаю. Ну она еще ладно, то есть она не умела иначе. Но он-то, он. Мне уж наплевать было — американец он или кто там еще. Ему было за тридцать. А у нее ведь не было защиты от его слов. У таких, как она, этой защиты никогда нет.

— Переведи ему, что я согласна, — сказала она, — я сделаю, как он скажет.

Стоп, стоп, подумал я.

Все шло кувыркком — я не мог понять Стивена; он был старше меня, я его не понимал, но что будет с Ириной, я видел: она потеряла голову и летела, как бабочка на свечу. Мне мерещились цепь объяснений, скандалов, инфаркты стариков — его мать, ее мать — весь этот сонм людей, находившийся в каком-то устойчивом или неустойчивом, но равновесии, а теперь все

должно было прийти в движение и начать рушиться одно за другим.

— Ю маст синьк оф хё, — сказал я Стивену. — Вы должны думать о ней.

Он посмотрел на меня серьезно, вежливо и рассеянно, стараясь войти и в мое положение. В мое — тоже.

Ну как же, сказал он. Он об этом думает.

Больше мне здесь нечего было делать. Я взял свой лежак и пошел его сдавать. С парапета я посмотрел на них. Ирина лежала лицом вниз. Стивен сидел на краешке лежака. Они не двигались.

Я прошел мимо гостиницы «Приморская» и свернул на главную улицу. По наклонной трассе неслись, перегоняя друг друга, автобусы и мотоциклы.

Да, ее оглушило. И я понимал чем. Мне казалось, что я понимаю.

Тем, как он с ней обращался. И экзотикой.

Экзотикой, так ее и разэтак.

Незнакомые названия. Незнакомый язык. Манеры. Аромат неведомого. Все было, а такого не было. Скрипка. Кливленд. Бостон. Огайо. Она и слова-то эти не все слышала.

Аромат неведомого. Аромат экзотики. Все то, чего не могли ей дать ни ее майор, ни я. А каждому слову Стивена она могла придать любой смысл, которого не хватало в ее жизни.

В кассах Аэрофлота мне сообщили, что самолет на Ленинград летит в пятнадцать двадцать из Адлера. Посадка на автобус в два часа.

За деньгами пришлось идти на мою веранду. Когда я шел обратно к пляжу, было около двенадцати, и жара неожиданно спала. Волнистые темные облачка, на Севере я видел такие только ночью, вокруг луны, подобрались со всех сторон к солнцу и загородили его. Но пляж не расходился. Все упорно ждали солнца.

Я подошел к ним. Все было, как час назад, когда я их оставил. Они так и не сдвинулись с места. Только понемногу вяли от того, что им надо столько сказать, а сделать это невозможно. Теперь я говорил только с ним, не переводя Ирине.

— Стивен, — сказал я. — Она должна уехать.

Он глядел на меня. Красивый он был мужчина. И о плечах Ирина сказала правильно — скрипача он напоминал мало. Если бы я был на ее месте, я бы, на-

верно, мог ее понять. Но я был на своем. Хотя трудно назвать свое место своим, если ты вмешиваешься в чужие дела.

Он смотрел на меня, и я видел, что ему досадно, почти больно. Ничего, подумал я. Вытерпишь. Это, во всяком случае, недолго.

— Вы не приедете больше, — сказал я по-английски. — А если и приедете, то вовсе не для того, чтобы ее увезти. Мы не экспортируем хорошеньких девушек.

Я говорил специально так, чтобы его обидеть. А ни о майоре, ни о ее дочке ему и знать было не нужно. И он, видимо, что-то понял. Он вообще быстро соображал и, надо ему отдать должное, как надо.

— Что ты ему сказал? — спросила Ирина. — Что?

— Она должна уехать, — повторил я.

Он все еще не мог ответить. И смотрел то на нее, то на меня.

Ее ли это желание, хотел бы он узнать?

— Не притворяйтесь дураком, — я боялся, что он меня не поймет, и выбирал слова, смысл которых был мне совершенно ясен: «фуул» — «дурак». — Не она сейчас решает. Мы с вами. Вы решаете.

— О чем вы говорите с ним? Я не могу так. Переведи мне!

— Сейчас, — сказал я. — Сейчас я тебе все переведу. Подожди еще минуту.

— К чему такая спешка? — сказал Стивен и поежился. Он подумал и добавил, что уверен, что можно придумать что-нибудь иное...

— Одно из двух: вы либо ребенок, либо животное, — сказал я.

Стивен слегка вскинулся. Видно было, что он не привык такое слышать.

— Вы так полагаете? — спросил он.

— Да, — ответил я, отчетливо понимая, что сейчас могу получить по роже. Если парень чего-то стоит. Но он стоил еще больше, поэтому и тут сдержался. Я ему мог только завидовать.

Ирина уже не смотрела на нас, снова улегшись лицом вниз. Она сорвалась с якорей, но тело ее оставалось здесь, вскинутые руки, длинные гладкие ноги — все невольно покорялось солнцу и теплу, шуршащему рядом морю и влекущему, непонятному голосу Стивена. Ирина лежала неподвижно и вниз лицом, но это был и танец, и песня, и призыв. И пальцы ее чуть заметно гладили доски.

Прошло несколько минут.

— Должно быть, вы правы, — медленно сказал Стивен. Трудно сказал.

И она, услышав его голос, повернула к нему лицо.

— О чем вы говорите? — крикнула она.

— Я пойду сдать твой топчан. В три часа ты улетаешь.

— Перестань, перестань, — сказала она. — Я серьезно. О чем вы говорили?

Я вынул из бумажника билет.

— Хау мач? — спросил Стивен.

— Восемнадцать рублей, — сказал я. — Это ваша половина.

— Вы что, бешеные? — сказала Ирина. — Я никуда не поеду..

Слава богу, в его глазах сверкнула все же какая-то смешинка, когда наши руки коснулись. И слава богу, он ее так спрятал, что я бы не мог поклясться, что видел. Нет, он вообще-то кое-что понимал.

Ирина заплакала. Она плакала, лежа ничком, а я сидел на камне сбоку, лежак был на ножках, и я видел, как слеза ее, капнув меж досок, оставила на белесом камне темный мокрый след. Стивен сидел с другой стороны.

Мы сидели с двух сторон бронзовой плачущей женщины и говорили с ним ни о чем, я прекрасно знал, чего ему сейчас хотелось бы больше всего, но я так и не убрался, и весь народ с пляжа не убрался, так что уж, извините, мистер Стивен, так мы с вами и поступили.

И я сидел, и он сидел тоже. Я думал, когда же это кончится, уже было половина первого, потом без четверти час.

А потом он, слава богу, понял, что меня не пересидишь и что не нужно ни телефонов, ни адресов, и чем скорее он уйдет, тем лучше.

Когда я провожал ее на аэродром, на остановке автобуса к нам подбежал запыхавшийся посыльный из гостиницы и спросил ее по фамилии.

— Вот вам просили передать.

Она развернула бумагу. В целлофановом пакете пропеллерным диском переливалась пластинка.

— Прочти, — сказала мне Ирина.

— Второй концерт Рахманинова, — сказал я. — Исполняет...

Она снова заплакала. Такой, плачущей, я и втокнул ее в автобус.

Мы ехали в автобусе, и я писал в записной книжке Ирины адрес моей матери в Ленинграде. Ира твердила мне, что она не поедет, она останется, я не имею права...

А автобус все ехал. Мы неслись по солнечным улицам, потом по солнечному шоссе, справа все время была пустота, а дальше, внизу, — море и кипарисы, и белые, ненастоящие домики, и слева косыми желтыми пластами громоздились обросшие скалы.

— Ира, — сказал я. — Ириша. Перестань, все будет хорошо.

Она посмотрела на меня непонимающе.

— Да, — сказала она, — он обещал. Конечно, он придет. Но ведь я не дала ему никакого адреса. Надо, чтобы он знал, как меня разыскать. Ведь он уже скоро придет.

— Хорошо, Ира, — сказал я. — Хорошо. Ладно.

Она посмотрела на меня. Выражения ее глаз я не понял.

— Да, — сказала она. — Найди его. — И откинулась в кресло.

Все для нее было как в книге — странное знакомство, страсть, страдание и дорога, но почему-то в роли кондуктора и контролера на этой дороге случился я. Почему я? Зачем? Зачем я вмешался, что делаю? Может быть, мне не надо было, может быть, я просто не имел права вмешиваться, и пусть бы она сломала себе голову, ведь в том иногда — кто будет спорить? — и состоит предназначение некоторых прелестных женщин.

Мы взвесили на весах ее чемодан и вышли на летное поле.

У меня от ветра завернулся воротник плаща, и плачущая Ирина встала на цыпочки и поправила мне его. Меня что-то кольнуло, ее жест опять вывел меня из уверенности, что я прав — она убираала на моей веранде, а ей наверняка было не до того, но она тогда думала не только о себе, а сейчас она плачет, и ей еще труднее, еще непонятнее жить, и она поправляет мне воротник...

А я-то, я... Я не думал ни секунды о том, что может с ней случиться, до тех пор, пока она была со мной, — мысли о майоре меня не посещали, но вот появился Стивен, и все пошло по-иному.

- Хочешь остаться? — спросил я.
- Да! — крикнула она. — Да! Хочу...
- Ты не останешься.
- Насильно отпратишь?

И я отправил ее почти насильно. Я смотрел на уходящий по взлетной дорожке Ил и как пилот проверяет элероны и хвостовое, а потом самолет взял разбег, плавно поднялся над взлетной полосой и, развернувшись, пошел наискось от берега ко мне домой.

День снова стал серым. В этот чертов день погода менялась каждый час. Я вышел из автобуса на Приморском — не знаю до сих пор, так ли это называется, — это там, где стоит маленькая мортира-памятник.

Далеко внизу море пенилось у полосы гальки. В появляющихся на волноломе барашках кувыркало толстенького человечка. Отсюда было видно, что волна безбожно валяет его по плоской каменной ступеньке. На берегу около того места, где крутило человечка, стояли люди.

Понемногу начало моросить. И как-то все было в один ряд — и моросящий дождь, и Ирина, и этот человечек, которого бьет мелкими волнами о плоский камень.

И все это кончалось ничем. Моросил дождь, и вниз по цементным желобам неслись мутные ручейки, но так же стояли берега, и кипарисы, и подстриженные кусты — дождь не мог ничего ни смыть, ни разрушить; человечка било о камни, а через полчаса он будет мазать йодом локти и колени, а завтра снова полезет на волнолом... И все сегодня будет таким. Никчемным.

Потом я дал телеграмму матери и пошел домой, взял книгу — у меня их было много, собирался прочесть их за отпуск и не прочел ни одной, взял самую толстую и стал читать.

Я читал и ждал телеграммы из Ленинграда, но она могла прийти и завтра, а я тем временем думал об Ирине, о Стивене, о всякой разности, которая не относилась прямо к Ирине, хотя все было о том же. Я разрешил себе думать наивно, и потому мне стало не по себе за майора, который был где-то там в лесах.

Мне было жаль, что в отпуске я не могу съездить в Пенсильванию и Огайо, и Ирина не может, и ее майор, а ведь это было бы так хорошо, потому что в названиях мест, где ты еще не был — даже в самих названиях, — сидит черт.

Я понимал, что это наивно, но мне в тот день нравилось рушить экзотику. Потому что потом полнее чувствуешь то, что есть кругом.

И книга мне помогала. Я думал о ее героях — жителях южных штатов, это было интересно, но представить себе, что я мог бы прожить всю жизнь среди них, я не мог. Мир становился невыносимо чужим. Как, наверно, патагонцу после книг нашего Лескова.

Книга нравилась мне, и какое-то время я читал ее с удовлетворением, она помогала мне считать себя правым. А мне это сейчас было очень нужно, потому что чем дальше, тем больше я понимал, что начал действовать, лишь ощутив собственное бессилие.

«Когда ты командуешь, то необходимо принять решение, потом оказывается, что не так уж важно, каким это решение было». Кто же это сказал? Я никак не мог вспомнить. «Когда ты командуешь». А почему это я позволил себе командовать и решать за других людей? Кто мне дал такое право? Кто вообще может такое право дать? Я понимал лишь, что вмешался в чужую жизнь, а может быть, и любовь. Мы, мол, ответственны за тех, кого мы приручили. Так мы любим себе говорить. А ответственны ли? И ответственны за что? В чем вообще состоит ответственность?

Я запутывался все безнадежнее, и успокоения, которого ждал, все не было, и когда я думал, что изменить уже все равно ничего нельзя, я пытался читать и раздумывал о своих делах, что были далеко на Севере, и понимал, что в этом отпуске мне не бывать в Ленинграде, потому что за оставшуюся неделю у Ирины еще ничего не станет на место, и мама моя ее не отпустит, а я бы ни за что не хотел больше вмешиваться в чужой сумбур, потому что мне начинало казаться, что мой собственный разлинованный порядок не очень многого стоит.



Декабрь

ПОВЕСТЬ

Вперед, вперед!

Поздним летом трава в городе вырастала сама, кусты приходилось оберегать, а деревца — все до одного — стояли на счету, и, хотя ни одно из них не выросло выше трех метров и походили они больше на куски жже-

ного кабеля; чем на растение, жители ими гордились. Город стоял на широте Баффиновой Земли, центра Гренландии и птичьих базаров. Бесконечной длины железная колея уходила сквозь тундру прямо на юг, а под серыми скалами берегов в Гольфстриме гуляли сельдь и треска, ползали по водорослям морские звезды, сонно полоскались сивые зубатки, и двенадцать месяцев в году Гольфстрим уносил под вечные льды мазутные пятна от бортов рыболовных траулеров.

Осенью на город опускалась Ночь. И быть может, будь другие города, основное жилье человека, где-то поближе — город в конце концов не выдержал бы своего одиночества и сполз южнее, но отступать было некуда — южнее на сотни километров лежала ледяная необитаемая тундра, а стабильный температурный ноль взамен минус сорока исходил именно от моря, и город льнул к берегам, к морю, которое штормило, никогда не бывало теплым, но никогда за историю человечества и не замерзало.

Приезжих давили месяцы темноты. А местные (были уже и местные, горожане в третьем поколении) свыклись и не обращали на полярную ночь внимания, и жили, забывая о ней сами, и плодили четвертое поколение горожан, которые рождались, не зная того, под особым знаком, потому что весь город — и мужчины и женщины его — жили под знаком Гольфстрима.

Женя Морозов, матрос первого класса, торопился к отходу своего траулера. И самое-то время было остановиться с сигаретой... Но на косогоре былолюдно, спускаясь тропинкой между сугробами, он толкал народ, его толкали, — какая уж тут сигарета?

Бежали, понятно, не одни моряки — и девчонки с консервного, и морозильные цеха в полном составе, и цеха посолки — вся комбинатская смена катилась под фонарями по притоптанному снегу, и Женя вдруг подумал, что каждого из них кто-нибудь да провожает. А то — так даже и работать бегут вместе. И от зависти на душе у него стало мутно.

Их пароход еще стоял, но буксир для него уже лез сквозь толчею у причала, пробираясь.

— Кого ждем, боцман? — спросил Женя.

— Раз опаздываешь — выходи блоки таскать, — сказал боцман. Это он каждому говорил.

— Обижаешь ведь, а я тебя не извиню, — ответил Женя и под козырьком полубака, где уже навешали сеток с ветчиной и апельсинами, прошел в нижний коридор. Внизу было почти тихо — все, кто хотел шуметь, ушли наверх.

Консервщик лежал в своем пенале, и пиджак его висел на плечиках. Сквозь железные очки консервщик смотрел на цифирки в блокноте — считал, верно, банки с печенью. Те, что запаял, или те, что еще запаяет.

У Буратины на койке лежал чемоданчик, а на койке Жени спал какой-то гад, прямо в ватнике, и шапка лежала на лице.

— Дядя Костя, — сказал Женя. — Ты чего же смотришь?

— Я тебе не дядя, — сказал консервщик.

Он у них баптистом был, одним, может, на весь тресковый флот.

— Сапоги хоть бы снял с него...

— Сами разбирайтесь, — сказал дядя Костя. — Вроде тебя, такой же.

— Ладно. Потомки нас рассудят.

Траулер дернуло, заскребло по борту, наверно, буксир выдрал их на чистую воду.

— Хотя ты сегодня как будто ничего, — сказал консервщик, глядя на Женю поверх очков.

— Это тебя глаза подводят.

Койка была занята. Женя взялся за незнакомое плечо и попытался повернуть тело к себе. Не тут-то было. Спящий замычал и так отпихнулся, что Женя чуть не влетел в объятия дяди Кости.

— Понял? — сказал тот.

Женя опять взял парня за руку и дернул. Койка так и затрещала. Тот повернулся, матрац под ним встал горбом. Глаза гостя были закрыты, а рот уже открылся.

— В жабры тебя... — сказал он внятно, и рука его скребанула по воздуху.

— Егор! — сказал Женя. — Егор... Это ты?

Гость так и не открыл глаз.

— В жабры тебя, — сказал он и повалился на простыни.

— Знакомый? — спросил консервщик.

— Этот-то? — Женя еще не видел Егора таким. — Нет, незнакомый.

Если ты проплавал с кем-нибудь десяток рейсов в одной каюте, а он тебя после этого не узнает — знакомый он тебе или нет?

— Дела, — сказал консервщик. — Это что, он каждый раз так?

Женя переоделся, влез в сапоги и пошел на палубу. Буксир уже выволок траулер из толчеи и вел его по заливу.

Сунув руки в карманы, Женя стоял у борта. Город на склоне вовсю жег огни. Огни были яркими, но они ничего не освещали, и город стоял черным. Тумана уже совсем не было.

— Пришел всё же, — сказал боцман. — Мне на отходе только настоящие моряки помогают.

— Егора видел? — спросил Женя.

Боцман тогда тоже плавал с ними, хоть и не все рейсы.

— Видел. Только что ему Север-то теперь? Полярка лопнула, стаж разорванный. Стоило уродоваться.

— А ничего не знаешь? Почему он...

— У меня свои дела есть, — сказал боцман. — В Угольной наставника ждем.

Ползла мимо черная вода. Уползали назад огни.

— Кабак на палубе... Поможешь?

Боцман стоял под стрелой и держал у живота блок килограммов на сорок — торопился все принаготовить до волны.

Потом они полезли с боцманом на надстройку — на левом борту заедало рулевой трос. Ролик заело прямо под спасательной шлюпкой, они отвалили шлюпку на балках, она повисла над водой, и с буксира им что-то крикнули.

— Ключом надо... — сказал боцман. — Русским.

Женя принес кувалду. Ролик закусало, постукивать кувалдой внаклонку было неудобно, Женя менялся с боцманом местами, и, когда стоял, отдыхая, и голова переставала звенеть от прилившей крови, он все продолжал думать о Егоре.

Они прошли мимо стапелей ремонтного завода, и Женя подумал, что, наверно, где-то здесь еще валяется киль их «Зеленодольска», если и тот не разобрали на позвонки. Он вспомнил, как однажды на «Зеленодольске» их обычный, на треску настроенный трал сгреб на банке у Медвежьего сразу тонны полторы синего палтуса и они, вся команда, когда увидели эту гору неудобной для обработки рыбы, заматерились, а Егор один обрадовался — расценки на палтуса были самые высокие.

«Женя, — говорил он тогда. — Ты их, псов, не слушай — на своей жизни сам заклепки ставишь. Они тебе будут петь — мужиком будь, корешом в доску... И прочее. А потому стой с ними у каждого ларька. Ты меня послушай, я знаю, что говорю. Ты размахнись как следует, хорошо размахнись... И не смотри, кем он тебе приходится или во что одет. Размахнись — и не глядя...» — «А ты? — спрашивал Женя. — Сам-то?» — «Сколько раз. Мне подлеца ударить не противно. Так ты ж видишь: меня бичи по другой стороне обходят!»

Егор был тогда как заговоренный — ни шрама, ни царапинки не получил за все рейсы, а ходил и ничего не боялся, — блок как-то сорвался со стрелы и застрял в палубе, выбив у Егора из рук лопату, в другой раз соскочил с лебедки стальной конец и хлестнул по надстройке, у которой стоял Егор. Переборку словно драли два дня зубилом, иллюминатор в осколки, а Егор только головой дернул — будто пыль стряхнул.

«Баба, — говорит, — молится, видно...»

И никому рта раскрыть не дал — так посмотрел.

Звякала в руках боцмана кувалда, поскрипывали тали, на которых висела шлюпка, да иногда сзади, из черной глубины залива, как голос другой планеты, по сопкам проносился стеклянный визг сирен.

Траулер бодренько двигался по заливу. Обычно они часа полтора перед отходом не могли зажечь бортовых огней и сутки еще не работали умывальники, а сейчас все у них работало; правда, шли они еще не сами, но это уж так положено — до Угольной буксир и должен был их дотянуть, пока команда понемногу становится командой.

В Угольной стояли часов пять. Небо чуть посветлело, но даже до серых сумерек дело не дошло, все кругом опять стало быстро гаснуть, и серый снег вокруг курганов антрацита на глазах почернел и пропал. По длинному хоботу конвейера в бункера летел с грохотом мелкий уголь.

В Угольную приезжали попрощаться. Вот и сейчас по берегу бродило несколько пар, и даже в каюте у них сидела, распустив вокруг шеи оренбургский платок, молчаливая дяди Костина старуха.

Женя никого не ждал. Никто не мог прийти — ни Людмила, ни мать... Ему даже смешно стало на минуту, когда он представил себе, как его провожает мать. И Вера тоже не могла прийти...

Но ему вдруг страшно захотелось, чтобы пришла

именно она, — может, хоть таким образом, увидев ее среди угля, грязных, ободранных бортов и рыбьей вони, выйдя к ней в ватнике и сапогах, он бы понял наконец, зачем все то, что у них длится и никак не может кончиться... И тут он опять запутался.

...Это было в поезде, которым он ехал на Север из отпуска. На самолет уже не хватало. В поезде встретился знакомый, он потащил Женю с собой, и они вместе просидели весь день в ресторане. А когда Женя пришел в свое купе, верхний попутчик уже спал, а внизу сидела девушка. Был в фотожурнале такой портрет — назывался он «Славянка». Такое может получиться, если художник должен изобразить в одном цвете и губы, и щеки, и ресницы... «Славянка» была серебряной. Из темного серебра и из светлого.

У девушки в купе тоже все было тонким, переливчатым, только глаза оказались неожиданно темными. Женя шагнул из купе назад и задвинул дверь. Часа два он стоял у окна на ветру. Вернулся в купе. Серебристая девушка спала. Он залез к себе наверх, а когда проснулся, не увидел ее. Поезд шел за Петро-заводском. Начиналась тундра. Шаровое небо висело над сугробами, и деревья были как из черной проволоки.

В ресторане он увидел девушку только издали — все места около нее были заняты. Они встретились глазами, и лицо ее при этом осталось как было, — она его не узнала. Он сел к ней спиной, но повсюду были зеркала; он не переставал ее видеть, и шум его вчерашних приятелей шел мимо него. Потом она прошла рядом, ей вдогонку зацокали языками. Кто она? Зачем едет на Север?

В ресторане Женя не пил. Когда он вернулся в купе, там никого не было. Ему сразу стало скучно, нехорошо. Потом она пришла и села у окна, напротив. Он, не заговаривая, посмотрел на нее. Она улыбнулась одними глазами и не отвела взгляда, пока он не покраснел.

Часа через два была длинная остановка. Женя прошелся вдоль поезда до самого тепловоза, повернул и пошел обратно. Девушка из купе шла ему навстречу. Когда они поравнялись, она вдруг остановилась и сказала: «Я вот шла вам навстречу и думала — смогу я заговорить первая или нет...». Женя молчал. «Вы очень вовремя молчите...». И ему опять нечего было ответить.

Вечером, когда, собираясь переодеться, Вера попросила его выйти из купе, он ушел в тамбур и, прислонившись лбом к стеклу, стал сочинять стихи.

«Мы с тобою шли навстречу ночи, замедляя быстрые шаги. Я не говорил тебе: „Короче“, ты — не говорила: „Не беги“». Все было не так. Но ведь стихи и всегда о том, чего нет. Он пошел в ресторан, попросил у буфетчицы бумажную салфетку и карандаш.

«Воздух белый ночи-северянки, смех твой — как журчанье-перезвон, я забыл, что это полустанок, я тобою был заворожен...» Если бы кто-нибудь из его знакомых стал плести такое — «заворожен», «журчанье»... Не было у Жени таких знакомых. И вдруг он пожалел, что их нет. Рядом спала девушка из дефицитного металла, он еще ничего не знал о ней, и из-за этого в нем рождались небылицы.

Поезд шел, останавливался, снова шел, а Женя, просыпаясь и засыпая, сидел, подобрав ноги, как нищий на базаре. Она проснулась и спросила его, почему он не спит. Он хотел ей сказать что-то, но запнулся, а тут зашевелились верхние соседи, и по коридору, стуча в двери, прошла проводница. Ехать оставалось полчаса.

А потом у них началась эта странная игра.

Несколько месяцев подряд, как только он оказывался на берегу, он шел к тому институту, где работала Вера и где, постояв немного, он мог увидеть ее в окне. Он махал ей рукой, и она махала ему, хотя он уже знал, что этот жест ничего не означает. Если он дождется Веры, то, быть может, она сразу же уйдет и они не скажут друг другу и десятка слов. Но так бывало не всегда.

Он уже перестал краснеть, встречая ее, и не путался в словах, если она заговаривала с ним. Вера сначала как будто проверяла его, как острие на ногте. Вот идут через улицу. Темнеет. Холодно. Фонари цепочками. Мимо катится троллейбус. Он смотрит на Веру. А она при этом открывает губы. Троллейбус проходит, только сухой снег взметнется вслед, снова становится тихо и очень холодно. Они все стоят посередине улицы.

«Здорово я сейчас вас поцеловала?» — говорит Вера. «Ну пойдемте», — говорит он. И кладет ей руку на плечо. «Вы никогда раньше до меня не дотрагивались... — и поднимает на него глаза. — Дайте вашу руку. Где ваша рука?» — «Зачем это вам? Я лучше буду смотреть

на вас издали». — «Поднимите воротник, — говорит Вера. — И не валяйте дурака. Ведь я вас только что поцеловала...»

И каждый раз он верил в то, что это не только слова. Началось все осенью, и шло всю зиму, и потом весну, и было во время той конференции, что шла у нее в институте, в начале следующего года. Он уже до того потерял ощущение, что же делать следует, а чего не нужно, что пришел на эту их конференцию, и, слушая доклады, хотя они и были о рыбе и о том, как ее лучше ловить, сидел невдалеке от Веры, и поворачивая голову, всякий раз видел через несколько кресел ее серебристый профиль. Потом конференция кончилась, захлопали сиденья кресел, и Жене показалось, что на него все смотрят, хотя на него никто и не смотрел. Даже Вера.

А потом толпа у двери пошла на убыль, вдруг стало тихо, и они остались с ней вдвоем в большом прокуренном зале. Вера была в узком черном платье. И даже со стоячим воротником. Оттенок военной строгости в платье очень ее красил.

Она подошла к стеклянному шкафу и, внимательно глядя в темное стекло, тронула пальцами волосы на висках, улыбулась Жене и подошла к нему вплотную.

«Вы на меня посмотрели только три раза», — сказал он. — «Два». — «Нет, три». — «Третий был не ваш». — «Мой». — «Отберу все, если будете спорить».

И вдруг тоска, уже давно, тогда, охватывала его. Может быть, он уже тогда понимал, что оба кривляются?

«Ну ладно. — Вера будто нечаянно касалась своими пальцами его плеча. — Я их вам подарила». — «Давно?» — «Давно-давно, сто лет — сто лет...»

Он слышал в себе гулкие удары, как в пустой цистерне. А глаз от Веры ему было не оторвать.

«Ну, Женя. Же-еня! — Вера тоже тяжело дышала. — Не делайте глупостей больше, чем ну-ужно! Ну я вас о-очень прошу! О-чень! Я ведь так тоже могу потерять голову. А лу-учше оставить хоть одну на троих! Ну, Же-е-енечка!»

«На троих». У Веры тогда был еще Игорь. Она этого не скрывала.

Женя видел его только раз. И то на соседнем парохе, с которым они расходились борт о борт. У Игоря было ужасно молодое лицо и такие плечи, словно ему под куртку засунули две подушки.

«Вера, — говорил Женя, — я ведь вас...» — «Замолчите! Не смейте! — кричала Вера. — Я вас ни капли не люблю. У нас с вами совсем другое». — «А что? Что у нас?» — «Вот так сразу и скажи... Может быть, я сама не знаю». — «Я тоже». — «Безнадежных положений не бывает. Вам ведь надо меня добиться? И только. Верно ведь я понимаю?» Она снова начинала его взвинчивать. «Я поймаю вас на улице». — «Ай, как нехорошо, — смеялась Вера. — А вдруг Игорь тоже будет на берегу? Вас доставят в больницу в очень тяжелом состоянии...» — «Зачем вам этот Игорь?»

Каким идиотом он, наверно, ей казался...

«Женечка, вы еще ребенок!» — «Нет, серьезно?» — «А я серьезно и говорю. Для очень многого». — «Ну все же». — «Же-е-ня!»

Они уже стояли на улице. Она повернулась и пошла. Она знала, что Женя за ней идет.

«Вы еще лягушонок. Нет, скорее щенок. Но у вас лапы крупные. Из вас со временем может выйти толк. А может и не выйти...» — «Я ведь не обижаюсь». — «Еще не хватало. Иначе бы я с вами и дела не имела». — «Вы и не имеете». — «Не говорите гадостей. Вы еще щенок». — «Да нет, мы ровесники». — «Хо-хо. Сказанул. Мы были когда-то ровесниками. В далеком, подкрашенном детстве. Но вот уже лет десять, как я значительно старше вас. И вы меня никогда не догоните». — «Где же мои ровесницы?» — «У вас их еще нет. Сейчас нет. Они у вас были когда-то и еще появятся. А сейчас вы просто щенок. У вас нет ровесниц». — «А ваш Игорь моего возраста?» — «Он зато на голову выше». — «Но он моего возраста?» — «Нет, он младше». — «А как же с ним?» — «С ним все иначе. С ним у меня привычка». — «Давно?» — «Давно. Так давно, что даже не верится...»

Пароход взял уголь, встал на рейд, и тогда к ним подошел пограничный катер. По трансляции крикнули, чтобы все шли в салон. Они столпились в салоне, и помощник отдал ефрейтору с зелеными погонями стопку паспортов.

Шинель у ефрейтора была мягкая, пальчики длинные и розовые, и лицо очень розовое, чисто промытое и без ресниц. Может, ефрейтор их спалил как-нибудь, а новые еще не выросли.

Кого ефрейтор называл, все оказывались тут, только один кочегар подал голос за своего кореша. Ефрейтор замолк, а потом, не повышая голоса, еще раз повто-

рил фамилию, и тогда кочегар промолчал. Ефрейтор отложил паспорт в сторону, поднял глаза и посмотрел не спеша на кочегара. Больше уже никто за отсутствующих не вякал.

— Водиллов, — сказал ефрейтор.

Все молчали.

Егор

— Водиллов, — повторил ефрейтор.

Все молчали.

— Жень, — сказал боцман. — Сходил бы за Егором...

Егор все еще спал. Женя взял его за плечо и повернул.

— А-а... — сказал Егор. — Женька... Морозов... Свиделись, значит... — и вдруг заплакал.

Женя припер спиной дверь каюты.

— Это куда ж я попал? — спросил Егор. — На поисковый, что ли?

— На поисковый, — сказал Женя.

Егор взял простыню пятерней, потер лицо и встал. Когда они вышли на палубу, он остановился у борта, так прямо и вцепился в планшир. Наверно, его мутило.

— Живей нельзя? — сказал второй пограничник, который остался на катере. Егор на него даже не посмотрел.

Минут через десять катер пограничников отошел. С мостика скомандовали выбирать цепь, и по воде стало видно, что пароход подтягивается к якорю. Женя стоял на палубе, поближе к надстройке, чтобы сверху было не видно и от вида бездельника не нервничало бы в капе начальство, а пароход тем временем развернулся, они обогнали двух жидкачей и небольшой ледокол, что стояли на рейде, и пошли на выход из залива.

Боцман все бегал по палубе: будущая рыба его не касалась, его дело было обеспечить отход и приход, и сейчас он прибирал, крепил и рассовывал по кладовкам все, что могло на волне улететь за борт.

— Степан, — окликнул Женя. — У выхода стоять будем?

— По сводке вроде незачем, — сказал боцман. — В море тихо. Наставник на борту. Лады. А ты чего все у борта торчишь? Приберусь, приходи с Егором.

— Егор-то зачем?

Боцман не ответил.

Женя пошел в салон.

Там уже навесили экран и, пока замполит не разобрал новые картины, крутили старую корабельную бобину, которую им, всей команде, никогда не надоело крутить. Это было их общее творчество. Из каждой ленты они вырезали по несколько особенно понравившихся им метров пленки и приклеивали к своей. Женя пришел, когда были две минуты хоккея. Этот кусок приклеили только в прошлом рейсе. Потом был ураган, диктор объяснял, что ураган этот страшной силы и потому сметает жилища бедняков. По улицам валялись расплюснутые машины. Диктор за кадром сказал, что стихийные бедствия приносят прибыль предпринимателям, а дальше была музыка и цветной парень без предисловий выкручивал руки цветной девушке. Лежали они под копной сена, и небо над ними было синим, почти фиолетовым. Только они успели поцеловаться, как чуть не по головам у них понеслись черно-белые мотоциклисты с суровыми подбородками, опять парочка, только уже нецветная, целовалась, всю свою минуту они промолчали, и музыка им была ни к чему...

— Морозов! — крикнул боцман. — На выход! — и сам встал у двери.

Женя встал.

— Бокс посмотрим и пойдем, — сказал Степан.

Женя подвинул боцмана в дверях, чтобы пройти, и вышел на палубу. Было холодно, темно и спокойно. Ветер существовал только от хода. Шли заливом. Погода стояла точно такая, как в тот вечер, когда «Зеленодольск», так же, выходя из залива, где-то здесь сел на скалу. Сто раз ходили, сто раз стояли где придется, а на сто первый впилились со всего хода и прополосовали днище так, что о ремонте уже речь не шла, тем более что «Зеленодольск» должны были резать на переплавку лет за пять до того.

Потом начался отлив, и у киля стало трещать и скрипеть, и, как посаженный на кол, «Зеленодольск» медленно пропускал каменный зуб сквозь себя. Опасности не было никакой, потому что в заливе стоял штиль, и вельботы тихонько поплескивали, уже спущенные у бортов, и команда вся, включая кэпа, тихонько сидела на палубе и смотрела, как идут мимо огни из залива на выход.

Им предстояло неожиданно возвратиться — возвратиться, когда не прошло еще и двух суток. Ключик в скважину. Здравстье... Все притихли. К полуночи снять их пришел буксир.

Отправились — кто в Дом моряка, кто по домам. Женя помнил, как уверенным крепким крабом полез по крутой тропинке Егор, бочком, бочком, но напрямик — и исчез в переулке за бревенчатыми, низкими домами.

Может, зависть к Егору и толкнула его тогда? Может, не заметь он, как спешит домой Егор, Женя пошел бы себе спокойненько в Дом моряка, куда отправилась половина команды? Но Егор собирался на глазах Жени. Лицо Егора горело, сияло, он сбросил в сетку яблоки, уже взятые из корабельной лавочки себе на рейс, бросил в чемоданчик запасную рубашу, сигареты и свой шерочный нож и заткнул все сверху меховой старой шапкой, которую надевал на вахты. Потом огляделся, сгреб рукой казенные вещи и понес их к боцману.

«А прощаться с пароходом разве не придется?» — спросил боцман.

Егор бросил сапоги и ватник на пол перед боцманом и вышел, ничего не сказав.

И никто не посмел вякнуть на Егора, да он бы и не обратил никакого внимания ни на чьи слова, и вот так — в одной руке сетка с яблоками, в другой чемоданчик — побежал вверх по снежному склону. А Женя тогда страшно взволновался. Была в Егоре уверенность, стержень какой-то, который Женя искал, мучился и для себя не мог никак найти. А Егор говорил что хотел, делал что считал нужным, и все замолкали, когда заговаривал Егор. И не пил. И от этого вопроса, который Женя немо задавал спине Егора, уходящего от него по снежному бугру, он и пошел той ночью к Людмиле.

Она говорила, что всегда его ждет. Ждет, когда бы он ни пришел... Но может, это потому, что она знает, когда они в порту? А если сейчас, ночью, когда раньше чем через три недели он не должен появиться? А вдруг не откроет? И какой у нее будет голос за дверь? Он-то знал лишь один ее голосок — ясный и не замутненный страхом. А если он станет испуганным? У Жени потемнело на минуту в глазах, но только на минуту... Он усмехнулся, потому что понял — Егора-то в нем как раз и нет, Егор бы усмехаться не стал...

А тем временем он уже подходил к ее дому и нащупывал в кармане ключ, что Людмила дала перед отходом. Вот дом, вот лестница. Вот дверь. Ну так что ж ты, братец, Евгений Морозов, подлыми опытами занимаешься?

Фонарь с улицы давал блики в комнату. Людмила спала, как спят дети — в детском сне обязательно участвуют ладошки — пирожком, калачиком, под щечку... Она обняла его, так как следует и не проснувшись. Так обнимают дети — легонько сопя, прижимая до боли, смеясь во сне, ничего другого не желая знать...

А потом он лежал около нее и не знал, спит ли она, и знал, что следующую ночь уже здесь не будет спать, потому что... Потому что ему не взять того, что хочет отдать ему Людмила. Нечего ему с этим грузом делать... И еще он не знал, что сказать утром, когда будет уходить. А ведь он так добивался не то что права на нее, а знакомства, взгляда Людмилы, и с каждой их встречей она была лишь добрее с ним, лишь преданней ему. И ясней. И никакой не оставалось тайны...

Траулер шел на выход из залива.

— Ну чего время тянем? — сказал боцман, останавливаясь около Жени.

— Радиста позвать? — спросил Женя. Он не знал, как сейчас говорить с Егором. Что можно у него спрашивать, а чего нельзя. Радист же, Аркадий, тоже плавал тогда с ними на «Зеленодольске». Женя помнил, что Егор уходил к нему между вахтами. Говорить им было не о чем, Егор просто сидел, слушал писк рации — может быть, под этот писк ему лучше думалось о доме.

— Зови, если хочешь, — сказал боцман. — Мне что...

Любить Аркадия боцману было не за что — тот видел его, конечно, насквозь.

Аркадий сидел и читал. Рация у него была выключена, и на столе перед ней, как всегда, лежали листки. Женя в эти листки по привычке заглянул, кто там телеграммы собирается отсылать, но почерк на всех был один и тот же — Аркадия почерк. Женя одну строчку прочел: «Как можно доверять тому, кто не умеет краснеть?»

— Что скажем, молодой человек? — спросил Аркадий. Они были ровесниками, но Аркадий говорил с Женей, как с маленьким. Женю, однако, это не раздражало — может быть, потому, что Аркадий улыбался.

— Телеграмму отбить, — сказал Женя, а сам все читал: «Делакруа, оказывается, был сыном Талейрана. Ты это знала? Я, например, не знал...»

— Вы, может быть, спросите, сэр, — сказал Аркадий, — можно ли читать, что там написано?

— Секреты?

— А у вас не бывает секретов?

— Я не сложный, — сказал Женя. — Мне ни к чему.

— Телеграмму-то куда?

— Это еще не сегодня.

— Понятно. Инкубационный период.

Женя не ответил.

— Не сегодня... — повторил Аркадий. — А сегодня что?

— К боцману зовут.

— Неужто сам?

Женя кивнул.

— Ну допустим... А что такое?

— Егор вернулся, — сказал Женя.

— И мы сейчас сообща расскажем ему, как надо жить, — сказал Аркадий. — И он начнет жить по-новому, потому что мы ему расскажем. — Он сунул руку в рундук, вытащил оттуда что-то, и они пошли.

У боцмана было уже закрыто. Постучали. Степан выглянул и впустил их.

— Здоров, Егор! — сказал Аркадий.

Егор поглядел на него.

— Соскучился? — спросил Аркадий.

Егор все сидел и жмурился. Здесь было от чего зажмуриться. Над головой сиял громадный плафон, над зеркалом горела лампочка для бритья, над диваном светился колпачок для чтения, хотя Степан никогда не читал. Настольную лампу с гнущейся ногой и синий ночник боцман не зажег, хотя, видно, ему и хотелось.

— Красота-то какая дивная... — озираясь на огни, сказал Аркадий. — Давно я у тебя, боцманюга, не был.

— Ты ведь у нас занятой...

— Хитрый ты — как муха, боцман!

А Егор все молчал.

— Ну так что, земля? — спросил Аркадий и обнял Егора за плечи. — Погостил на берегу?

Егор руку с себя не стряхнул, но все сидел, ни на кого не глядя, пока боцман создавал на столе пейзаж. Видно, ворочалась в Егоре какая-то мысль и он никак с ней не мог сладить. Степан сказал «со свиданьем», и Егор скривился. Жене стало не по себе, а Аркадий, который, сколько Женя его знал, надо всем, в том числе и над собой, лишь посмеивался, снова обнял Егора за плечи. Но чтобы Егор не думал, что на него смотрят или ждут чего-нибудь, он опять взялся за боцмана.

— Степан, — сказал Аркадий. — Ты хоть очки бы темные носил в каюте, что ли? Глаза ведь испортишь...

Но Степан повеселел, подковырки Аркадия теперь на нем не висли.

— Сейчас покажу что-то, — сказал он хитро. Он открыл рундук, и в рундуке щелкнул выключатель. Из рундука засияло.

— Ты шпана, боцман, — сказал Аркадий. — Люстры на палубе еле светят, в компасе картушку не видно, а он энергию на себя тянет...

Боцман тащил из рундука что-то тяжелое. Остановился.

— На пароходе кому хорошо должно быть? — спросил он.

Что ему на такое ответишь?

— Тому, кто на нем долго служит. Постоянному кадру. Матрос в отпуск ушел, у бабы проспал, с кэпом сцепился, на вахту не вышел — и нет его... Зачем пароходу о нем заботиться? — Говоря это, Степан хитренько поглядывал на них с Егором. — А боцман — душа парохода. Если боцману хорошо — так и пароходу хорошо...

Тут даже Аркадий ничего не сказал, а боцман вытащил тем временем из рундука модель их траулера. Она была в полметра длиной и еще не доделана. Но на рострах, около трубы, уже стояли три выключателя. Аркадий протянул руку и щелкнул одним из них. У маленького РТ зажглись бортовые огни и на мачте малюсенький топовый. Лампочка была как грифелек от карандаша. Боцман заметил, что они уставились на эту лампочку.

— В госпитале достал, — сказал он. — Кишки таки-ми лампочками светят... Когда проверяют на медицину...

— На медицину... — сказал Аркадий. — Степан, а ты сам-то давно проверялся? У тебя ведь по мозжечку таракан ползает...

А Егор все сидел молча, долго сидел.

— Ну вот... — наконец произнес он. — Жизнь всю эту в тетерю ее... Море, говорит, не то, воздух ей не тот, ты уж, говорит, Егорушка, давай! — Тут Егор захрустел ртом. — Давай, говорит, Егорушка, уедем отсюда, с Севера...

— Мужик ты, Егор, или дерьмо? — вдруг заорал Аркадий, и, наверно, вовремя, потому что Егор уже хотел было встать. Егор снова сел и говорить стал опять бессвязно, то роняя голову на руки, то вскакивая, и все время кому-то грозя.

Жену Егора Женя видел несколько раз, когда она приходила встречать и провожать пароход, и было ему смотреть на них завидно, потому что Егор весь светился и она все держалась за его руку. Лицо у нее было странное — раз на раз не приходилось: то уродиной покажется, то красавицей... Женя знал, что они на отъезд копят — на домик с садиком.

— Ну так что у тебя там стряслось-то? — прямо спросил Аркадий и улыбнулся. — Ты, конечно, земля, можешь за пазухой все держать, но нам не все равно, что с тобой делается...

— Баба меня бросила, — вдруг сказал Егор. И замолк. Было на то похоже, что словами он это в первый раз сказал. Сказал и прислушался. Видно, весь обмер. И когда так говорят — уже не посоветуешь «плюнь» и не скажешь «ей же хуже».

— Так, — сказал Аркадий. — Так... А ты вспомни, земля, может, ты ее сам бросил?

Все у них сегодня шло с замедлением. Скажут слово, полчаса сидят.

— Нет, — сказал Егор. — Не я ее, а она меня. Потому что, говорит, ждать нам стало нечего...

И больше разговор не пошел. Сидели молча. И Женя посмотрел на Аркадия и Степана и вдруг увидел, прямо почувствовал, что все хотели бы что-нибудь для Егора сделать, а сделать ничего не могут. И Егор поднял на них глаза и тоже понял, что они ему не в помощь. И тут он стал багровым, и глаза его будто поплыли по воде.

— Жалеть? — захрипел он. — Да? Собрались... Пригласили... Жалеть, да? Чтобы на ваших глазах, да?

Он двинул снизу стол, но стол был привинчен ножками, он хрустнул, но не подался. Они навалились Егору на плечи, он дернул головой, захрипел и вдруг почти тихим голосом сказал:

— Не буду. Уйдите к...

Они отпустили его, и он, почти не качаясь, вышел из каюты.

— Парни, — сказал Аркадий. — Смотреть надо. Мог бы и не говорить.

Они все шли заливом. Гольфстрим был еще далеко, а здесь висели стабильные десять мороза, море парило, и над туманом, наверно, играло сияние, потому что сопки, даже дальние, можно было различить и даже пятна на склонах, где смело снег. Сопки, сопки и сопки...

И Женя подумал, что если ты, как Егор лет десять подряд, только и думал, как уехать отсюда и больше уже никогда не возвращаться, — то каково эти сопки увидеть снова...

У Егора в его прошлой жизни прицел был один. Егор перепробовал все суда трескового флота — несколько раз его хотели посылать на курсы тралмейстеров, а по рыбообработке вообще Егору не было равных. Но на курсах теряешь время, да и не собирался Егор плавать даже месяц лишний. Он колотил деньгу, а жена с дочками ждала на берегу. Вот сколотит, они снимутся все вместе и уедут к югу. К теплу, зелени, длинному лету. Навсегда. И не оглянутся. Стоит ради этого несколько лет поуродоваться? Даже Женя вслед за Егором думал, что стоит...

Где-то на парохоме, за спиной Жени, стоящего у борта, бродил сегодняшний Егор. А мимо шли сопки, сопки и сопки...

И вдруг Жене вспомнился этот фильм, который как-то смотрел на берегу. Как они там катятся в обнимку на снегу — в оранжевых дубленках с белым мехом, катятся медленно, склон пологий, и видно, что совсем не мерзнут, и у нее волосы в снегу, и на лице у обоих снег.

А потом сидят в ресторане вчетвером — она и он, и их дети — его сын от первой, которая погибла, потому что слишком его любила, и ее дочь от того парня, который все время играл в «жить не жить» и доигрался... Они сидят за столом, смотрят на детей и не торопятся, хотя зрителям уже как будто ясно, что будет дальше. А дальше у них существует только их любовь, и любви этой ничего не мешает. И этот мужичок — хоть он по фильму примерно ровесник Жени, кажется ему взрослым, а Женя сам себе — пацаном, потому что тот как взрослый совсем не думает о тех вещах, на которых Женя когда-нибудь, наверно, вывихнет мозги. Тому нужна та женщина — так он и думает о ней — о ней, и больше ни о чем. Он не ломает себе голову, во что одеться и на чем к ней приехать. И где им остаться одним, если подойдет такое время.

А она ходила в это время по берегу моря, ей и надо было быть сейчас именно там, хотя потом когда-нибудь они поселятся в обычной квартире и жизнь начнет пилить их, как и всех она пилит. А пока что женщина бродила на легком ветру...

Жене хотелось поговорить об этом фильме с кем-

нибудь, и он пошел к Аркадию, но тот уже спал и перед рацией на столике лежал листок, только опять это была не радиограмма, и почерком Аркадия было написано: «Вам кажется, что я недостаточно смешон?»

Дядя Костя и Юра в каюте уже спали, Егора не было. Наверно, в каюту он и не заходил.

Юра спал над дядей Костей. Этот рейс у него был вторым, и Юра немного пообвыкся. Те, кто идут во второй рейс, потом идут и в двадцатый. Юру только что отпустили из армии, служил он в какой-то стрелковой роте здесь же, в Заполярье, а сам был с Украины. На пароходе его сразу же прозвали Буратиной, потому что он двигался, как деревянный, и лицо у него было весь рейс, как оберточная бумага, засиженная мухами. Его хоть и укачивало до зелени и до судорог, но на вахту Юра весь рейс вылезал раньше других и только первые две вахты стоял на подаче, а потом потребовал головуруб и две недели калечил им треску. Руки у него были еще неловкие, но через месячишко-другой пойдет. А когда пойдет, то уж на Полтавщине или на Черниговщине — откуда он там? — его больше не ждите. Даже теперь, когда он спал, по лицу его было видно, что он не тоскует и не изобретает, как бы дать драла с парохода. А грусть такая, у салаг особенно, видна сразу.

И еще у этого Буратины была одна морская черта. Он все время говорил «мы» и не говорил «я». Приятель его, тоже салага, кричит из другой каюты:

«Юрк, ленту пойдем смотреть?»

А Буратино оглянется на всех и говорит:

«Ну как, моряки, пойдем или останемся?»

Понятно, что по первому делу ему за такое чуть пошнее не давали. Но за первыми рейсами ведь другие будут, а моряки очень даже падки на такое братство. Потому что хоть раз в году, во сне или наяву, тебе примерещится, как ты плывешь на спасательном плотике или даже без плотика в очень холодной воде. И если тебе такое примерещилось, ты ищешь глазами кругом. «Ну что, Женя, — скажет Буратино, он же Юра. — Поплывем или здесь вместе побарахтаемся?»

Юра сейчас спал, как и надо спать на пароходе, упаковавшись плотно, а месяц назад, после первой вахты, когда он подал на рыбодел две тонны трески по две штучки за наклон, то до койки добрался, залезть на нее залез, но упасть набок — его уже не хватило. Он заснул на четвереньках, или, как говорил у них старпом, в «коленно-локтевом положении». Потом его

стало возить по койке и пристукивать макушкой по переборке. Но он так и не проснулся. Пожалуй, из него кое-что должно было получиться. Может быть, на смену Жене...

Мать

Мария Васильевна Морозова, мать Жени, порывистая, не замечавшая своей седины женщина, проснулась в этот день, как всегда, рано.

Проснувшись и еще не понимая со сна, выпалась ли, здорова ли и отступила ли вчерашняя усталость, Мария Васильевна сразу и не глядя на часы поднялась, но вдруг вспомнила, что сегодня воскресенье.

Тогда она снова опустилась в теплую еще кровать и вдруг почувствовала, что не выпалась, и в сухом жару голова, и не проветрено в комнате, и вообще непонятно, зачем ей сегодня вставать чуть свет. И от всех этих справедливых соображений Марии Васильевне стало так тошно, что, не думая больше ни о своем нездоровье, ни о ненужности вставания, она сразу вскочила.

Мария Васильевна давно уже боялась воскресений. Она давно знала для себя, что это выходные дни, а не рабочие насылают на нее и болезни, и усталость, и тоску. Другие люди, почти все, кого встречала ежедневно Мария Васильевна, выходных дней ждали, в пятницу вечером уже радовались тому, что два дня предстоят свободных, Марию же Васильевну эти дни мучили.

Смысл жизни Марии Васильевны заключался в том, чтобы, однажды открыв силу, которая помогла ей выйти из горя и отчаяния, служить этой силе не колеблясь.

Двадцати четырех лет, когда один ее сын был грудным, а другой двухлетним, Мария Васильевна получила известие о гибели мужа.

Что отделяло Марию — молодую, нигде еще не работавшую, лишь рожавшую и кормившую детей, радостную и эгоистичную в своей радости, от Марии Васильевны, работницы с серым неподвижным лицом, появившуюся через полгода на комбинате?

Она жила, но думала, что не хочет жить, она виделась с людьми, но их деятельный, полувоенный уклад заставлял ее еще больше тосковать. Она не знала еще, что в ней хранится нерастроченный запас жизни. Многие тогда не думали или почти не думали о себе. Мария Васильевна тоже не думала. Но когда стала думать

о других — пришло ей такое время, — к мыслям о себе, о собственном благополучии, доме, семье, о том, что же с ней самой в конце концов будет, она не пришла. Собственная жизнь, как причина для того, чтобы зарабатывать, устраивать что-то еще не устроенное, подлаживать и выбирать, перестала Марию Васильевну интересовать.

Но конечно, время шло — что-то меняло, что-то перемывало. Суровость первых лет после гибели мужа у Марии Васильевны прошла, и народ кругом менялся, и общительный, не угрюмый вовсе характер Марии Васильевны проступал, конечно, сквозь все, к чему она прикасалась. И уже чуть не двадцать лет была она с короткими перерывами председателем комбинатского завкома.

Сейчас среди тех дел, что обступали Марию Васильевну со всех сторон, было одно, которое хоть и требовало немедленного решения, но которое Мария Васильевна оставляла напоследок. О нем, об этом деле, хотелось подумать, поприкинуть, как бы вмешалось в него поменьше казенного. Это дело вот уже несколько дней над Марией Васильевной висело, хотя — расскажи его суть — вовсе не могло показаться ни спешным, ни даже первоочередным. Она же по своему давнему опыту знала, что успеваешь сделать лишь то, за что принимаешься немедленно...

А дело было в том, чтобы помочь Коле Волкову, парню, живущему в комбинатском общежитии. Хотя Колю Волкова как-то парнем было и не назвать. Слишком грубое, общее это слово, как бы намек на кепку с пуговкой или на прилипший к губе окурочок, хоть по молодости и терпимое, но с оттенком нахальства, этакое «не тронь меня». А Коля Волков — какой же он парень — юноша он, молодой человек...

Нашла она Колю, когда одна, без комиссии, обходила общежития. Общежития у комбината были большие, размещались по нижним этажам нескольких домов, и когда Мария Васильевна шла от дома к дому, все думала о том, как бы это сделать, чтобы не было в общежитиях фанерных ящиков с висячими замками, что закрывают на день телевизоры, и почему, в какую комнату ни придешь, — везде на столе обглоданные селедочные хвосты? Еду, сколько ни запрещай, все равно в общежитие несут, а раз так — почему бы не завести на профсоюзные деньги хоть немного посуды.

У Марии Васильевны всегда портилось настроение, когда она ходила по общежитиям. В женских было еще

куда ни шло — ощущалось сразу, что хоть и временное, недолгое здесь жилье, а уже слегка обогретое — картинки, абажурчик, свой полотенца, ну хоть что-то напоминающее дом, и, кроме того, в женских общежитиях встречала Мария Васильевна ту порывистую доброту, которой так была сильна сама. Вот влюбилась какая-нибудь девчушка, торопится на свидание. Так если сама по себе не дрянь и к другим не завистлива, то прямо праздник в комнате — и туфельки модные достанут, и сумочку в цвет подберут, иди, мол, покажи ему себя, радуйся. И все — не за что-нибудь, а безоглядно — рады видеть чужое счастье. И плачут вместе, если и сумочка не помогла...

Но вот приходила Мария Васильевна в общежитие мужское, и будто поддувать ей начинало ветром в самое сердце. Ну, прежде всего, парни чуть не все ходили неумытые. Утром, перед работой, они все же кое-как приводили себя в порядок, а уж после работы те, кому еще не пришло время ходить на свидания, слонялись из комнаты в комнату — волосы нечесаны, рукава расстегнуты, озираясь, играли в засаленные, неразборчивые карты и качались на стульях. Мария Васильевна уже несколько раз поднимала на ноги завком. Добилась, чтобы строже установили дежурства, заменили как-то к Дню рыбака всю мебель, застлали свеженькие одеяла. Но прошло недели три — и опять в комнатах воспитателей стали копиться обломанные ножки стульев, а из оставленного без присмотра телевизора кто-то выдрал все лампы. Зачем?!

Пожилой, угрюмый посольщик как-то в коридоре взял Марию Васильевну за рукав.

— Дело есть, — сказал он. — Выйдем-ка, Васильевна. Ты не поможешь — никто не поможет.

Они вышли на улицу и остановились недалеко от дома. Темнело. Сквозь незанавешенные окна нижнего этажа видела Мария Васильевна, как под лампочкой без абажура несколько парней то начинали бороться посреди комнаты, то бегали, отбрасывая стулья, то вдруг заваливались на кровати...

— Паренек в нашей комнате живет, — сказал старый рабочий. — Коля Волков. Такое, значит, дело, Васильевна. Если еще поживет год — сломается. Приглядишься к нему. Сам-то не скажет. Да может, и не знает, что по-другому сделан... На прошлой неделе разодрались тут двое, вон, у дома четырнадцать, бич с комбинатским схлестнулся, носы друг дружке поразбивали —

руками просто помахать захотелось. Так вот, Колька-то увидел, как они по мордам ездят, а потом весь вечер лежит на койке и вздрагивает. Я у него спрашиваю — чего, говорю, с тобой? А он даже ответить не может — губы так и плывут. Как же, говорит, это они по лицу-то? Надо же, думаю. Ну наши-то жеребцы погоготали, а потом заснули. Спят. А я, значит, спать плохо стал теперь. К звонку видно, да и свое теребит — тоже ведь не с радости в общаге живу. Не сплю. И слышу: Колька-то тоже не спит, а все вздрагивает — будто судорогой его бьет. Я бы сказал ему что, да что я скажу? Драк-то еще навидится, да и самого, гляди, невзначай в нос ткнут...

Пошли в общежитие. Коля сидел на своей койке и читал. В комнате, когда вошла Мария Васильевна, все замолчали, уставились на нее, кто-то, впоказную кряхтя, приподнялся с койки, кто-то незаметно шмыгнул из комнаты. Коля же — Мария Васильевна отличила его сразу — поднял глаза и снова опустил их в книгу. Был он не здесь. Далеко где-то.

Мария Васильевна все стояла, не уходила, и парни, поглазев на нее, снова занялись кто чем, и снова загалдели, лишь поглядывая на нее — что же председатель завкома скажет? Но Мария Васильевна молчала, и парни осмелели:

— А чего это в раздевалке шкафчиков не хватает на всех? А путевки когда на лето придут? А почему в столовке у рукомойника полотенца всегда мокрые?

Не занимали этих парней ни полотенца, ни отдельные шкафчики, и не было еще случая, чтобы такому удалось всучить даже бесплатную путевку. Мария Васильевна знала по опыту, что, если так кричат, — ответы не нужны. Это что-то вроде приветствия.

Коля Волков читал, не поднимая глаз, только иногда, если слишком близко над ухом орали, лицо его застывало от напряжения — видно, перечитывал строку. И, глядя на него, почувствовала Мария Васильевна прилив той силы, смешанной с болью и желанием защитить, который, она знала, уже будет кипеть в ней, пока Колю не пристроит. Близким ли человек ей был, далеким ли — разницы не существовало. Даже, может быть, чем внезапней врывался в ее жизнь — тем острее было это могучее желание помочь, но нужно ей было одно — чтобы сигнал какой-то подал сам человек: «Помоги! Твоя помощь нужна!»

Коля такого сигнала не подавал, сидел себе, опустив глаза в книгу, и Марии Васильевне до боли захотелось, чтобы и он спросил ее о чем-нибудь. И она подошла к его койке вплотную.

— Ну а тебе ничего не надо? Всем ты доволен? — спросила она.

Коля поднял темные глаза и встал — руки за спину.

— Ничего, — сказал он. — Мне? Для меня? Нет, мне ничего не нужно... — и вдруг затрещал сцепленными сзади пальцами, будто хотел одной рукой оторвать пальцы на другой.

— Что это ты?

— Я?

— Что у тебя с суставами?

— А... это? Привычка. Извините.

— Он у нас музыкант, — сказали из угла. — Ван Клиберна. Ночью как начнет костями хрестать...

В комнате засмеялись.

Коля опустил глаза и опять хрустнул пальцами.

Это и был для Марии Васильевны сигнал.

— Вот, — сказали из угла. — На бис работает!

На следующий день Мария Васильевна опять пришла в общежитие. И опять видела Колю Волкова: он сидел и читал книгу, словно сутки не сходил с места. И опять общежитие гудело своей бесцельной вечерней суетой, и в общем шуме опять показался Марии Васильевне этот семнадцатилетний задумчивый мальчик одиноким и неприкаянным, как под дождем на мосту, и опять, не зная, как помочь и что придумать, она кружила около общежитий, кружила, надеясь, что придумает что-нибудь. Не может не придумать. Такого еще не бывало.

Так прошла неделя.

Узнала Мария Васильевна о Коле, что с отцом у них (мать умерла, а отец, оказывается, существовал) произошла ссора, из-за которой Коля и уехал из дому. Хотел он будто бы после музыкальной школы поступить по классу рояля в консерваторию, но экзаменов не смог сдать, а отец — крупный инженер — этому даже обрадовался, потому что хотел Колю направить по своим стопам в технический вуз. Коля, однако, идти наотрез отказался, отец тоже встал на дыбы, и Коля ушел из дому. Была еще какая-то неясность дальше, потому что Коля не сразу попал к ним в город, а странствовал несколько месяцев без всякого руля, но об этих месяцах Мария Васильевна толком ничего не узнала.

А сейчас Коля стоял перед нею, и бросилось ей в глаза, что слаб он для такой жизни. Отцу поперек пошел, из дома убежал, скитаться силы нашлись, а сейчас кончались они... И если не упредить — пойдет парень на износ...

Но что для него можно было сделать? Как оживить мальчишку, как поддержать его? Что ему нужно — он-то говорит, что ничего...

«Пианино!» — вдруг подумала Мария Васильевна. А что, если на первое время отселить его из общежития и чтобы всегда был под рукой инструмент? Может, это сейчас поможет?

Она снова посмотрела на Колю. Неухоженный, нелепый немного — одежда одновременно и великовата и коротковата, — опять он задел ей душу. Да неужто она не найдет, чем поддержать такого? Это пожилому иной раз трудно помочь, потому что зачерствел уж очень — душа не готова принять чужое тепло, а Коле-то еще восемнадцати нет! Неужто она, у которой столько знакомых на комбинате, не найдет Коле отдельную комнату, не достанет ему инструмент? Не такие дела удавались.

Только надо было перевести Колю на другую работу, чтобы побольше получал — даром ни у кого жить не захочет, а за комнату — плати. Значит, надо ловить начальника кадров и говорить с ним. Хочешь не хочешь, а надо.

Пришло ей-такое решение вечером в четверг. В пятницу Никофорова, начальника кадров, она так и не нашла. Будто знал, что она его ищет. А может быть, и правда знал. А в субботу повстречался он ей на улице, но разговора не вышло.

«Ничего, — сказала себе Мария Васильевна. — Добьемся».

Текло распроклятое воскресенье.

«Но ведь должно же оно когда-то кончиться?» — думала Мария Васильевна.

О чем помнишь в море

Женя шел тогда домой. Улицы у них многие бредут с сопки на сопку, для машин прорублены в склонах пологие скаты, а для пешеходов — деревянные лестницы и перила. А тут девочка чемодан наверх по лестнице тянет. Девочка тоненькая, а чемоданище с деревянными накладками.

— Здравсьте, — говорит Женя. — Меня с вокзала при-
слали, снизу. Помочь.

Молчит. Чемодан поставила на ступеньки. А сама розовенькая вся. Тут станешь розовенькой — этакий сундук. Шарфик на шейке сбился, а шейка так вся и ходит. И вся как надувной шарик.

— Давайте, — говорит Женя, — вместе понесем, если вы бонтесь, что я с вашим чемоданом убегу.

А она все молчит, только посмотрела на него и отвернулась. Отдышалась немного, ручку чемодана рукавичкой обмотала и снова берется.

— Да что же, — говорит Женя, — вы себя мучаете... Это же не по силам вашим... Это, — говорит, — потом, как бы это вам сказать... скажется. Вредно, — говорит, — вам.

Она как покраснеет. Остановилась. Отвернулась и тихо говорит:

— Идите лучше. Ну зачем вы ко мне привязались?

Только видит Женя: нет у нее больше сил. Не может она дальше этот сундук тащить. И тогда Женя сел на него и говорит:

— Либо я его понесу дальше, либо милиция. Нельзя вам.

А она отдышалась уже немного, у них, у женщин, как-то быстро это происходит.

— Сейчас, — говорит, — будет милиция... — и по сторонам оглядывается. А голосок, хоть и прыгает, но твердый.

«Ладно, — думает Женя, — посмотрим». Веселый он был в тот день, и слова сами складывались.

— Хотите, — говорит, — я вам стихи пока читаю?..

— Это ваше дело, — говорит она, — только вам не долго читать, потому что милиционер вон уже идет.

— Хорошо, — говорит Женя, — я успею.

И стал ей что-то нежное-нежное, есенинское как будто, читать. Целое стихотворение прочесть успел.

— Товарищ милиционер, — говорит она. — Вот гражданин на моем чемодане сидит. Согнать его можете?

— Можем, — говорит милиционер. — Ну-ка, друг, приподними корму! Да быстро!

— Нет, сержант, — говорит Женя. — Не могу. Я себе обет такой дал — не вставать.

— Насчет обеда твоего, — говорит милиционер, — мне все ясно. Наобедался ты здорово. А все же, — говорит, — встать придется. Если ужинать не хочешь в другом месте.

— А что, — говорит Женя, — у вас четырехразовое питание?

— Ну хватит! — и за рукав.

— Сержант, — говорит Женя, — поверь, дорогой, нет здесь никакой уголовщины. А упрямство этой незнакомки...

— Вставай, вставай, — говорит милиционер. — «Незнакомка»... Девушка она, а не «незнакомка». Слова-то выбирать надо. Ну вставай.

— Нет, — говорит Женя, — не встану.

Считал он себя вполне правым.

— Придется, — говорит милиционер, — встать, и штраф еще впаем, если не пятнадцать суток.

И за рукав Женю дергает, а тот понемногу отфыркивается.

Потом милиционер на «вы» перешел:

— Ладно, — говорит, — не хотите по-хорошему, так я сейчас за машиной схожу.

И пошел.

— А я, — говорит Женя девушке, — вам пока стишки читаю.

И опять что-то нежное-нежное припомнил. Много он их в море выучил. А она оглядывается уже нетерпеливо. Только милиционер за домом скрылся, она и говорит:

— Да хватит вам дурить! Уходите вы, ради бога, а то ведь вас сейчас и действительно заберут!

— Ну уж нет, — говорит, — не уйду.

В общем, пока они препирались, милиция приехала. Трое идут.

— Вставай, — говорит. — Грузиться будем.

— Только, — говорит Женя, — с чемоданом. Вы попробуйте, — говорит, — тяжесть какая!

— А тебе что за дело, какой у гражданки чемодан! Не твой же он!

— У нее, — говорит Женя, — потом последствия могут быть. Вот какое дело, мужики.

Один из них рот открыл было, чтобы сказать, что и это не его дело, но потом посмотрел на нее, на ее шарфик и грубо так Женю с чемоданчика сковырнул. Взялся за ручку и говорит:

— Ничего себе, девушка. Кирпичи, что ли?

— Да нет, — говорит. — Книги...

Стоят.

— А ну вас, — говорит старший из них. — Дел у нас, видно, нет, чтобы мы тут еще вами занимались. Садитесь.

тесь, девушка, в машину, довезем уж вас вместе с чемоданом. Где живете-то?

Она сказала.

— Ого, — говорят. — Это вы туда собирались дотащить сама?

— И донесла бы, — говорит. — А что такого?

— Знаю этот дом, — говорит другой милиционер. — Пятиэтажный, верно?

— Верно. Вот на пятом и живу.

Тут старший на Женю милостиво посмотрел и говорит:

— И вы тоже садитесь — пятый этаж все же. Хорошо попросите, может, девушка и разрешит донести.

Они только молча друг на друга посмотрели, и Женя сел вслед за ней в «раковую шейку».

А сейчас Женя лежал в койке своего поискового РТ и думал, что в милостивом разрешении милиционера донести ее чемодан до верхнего этажа было, как ни смейся, ни хохочи теперь, то разрешение Людмиле познакомиться с ним, Женей, которое она ни от кого, пока они толклись около чемодана одни, получить не могла.

— А как же? — часто он слышал от нее потом. — Разве это можно? Разве разрешают?

— Да тебя кто так перепугал на всю жизнь? Да за чем обо всем спрашивать?

— А как же? Почему ты думаешь, что это можно?

Можно ли надеть брюки на работу? Можно ли отправлять рыбу в посылках? Можно ли ходить за грибами в сопки за старую колючую проволоку?

И после того, как они в первый раз поцеловались, он увидел на ее лице этот вопрос: «Можно ли?»

— Можно, — грубо сказал Женя. — Да можно, черт побери.

— А что ты кричишь? — спросила она. — Я и сама это знаю.

И потом, через минуту, добавила:

— Если мы целуемся, то мы любим друг друга. Ведь так?

— Или наоборот.

— Как это? Ну да... Правда.

Слова для нее означали именно то, что они означали. Его с самого начала смешило это, и вместе с тем он вдруг ощутил, как от этой тоненькой девушки веет каменной надежностью. Бывало, подвалит РТ к причалу, и уже по какой-то внутренней погоде на судне веселы все и чуть не нежны друг к другу, — и тогда день

и другой после прихода Женя не кажет носа к Людмиле, а то вдруг входят в порт, как в дождливый вечер, народ молча расходится поодиночке, и тоска берега — оборванного чего-то, что так и не связать никогда им, бродягам, — лежит у всех на душе. И стоит Женя, взлезши на косогор. Куда? К Людмиле.

— Женька! Вот и ты. Нет, нет. В ванную сначала. Рыбой-то от тебя несет. Да нет же, родной. Потом. Ну потом, — все по порядку. Вымойся, а я тебе ужин сделаю...

Все по порядку. И от безмятежного порядка ее души располагаются по порядку вокруг нее и предметы, которые можно потрогать — салфетки, стулья, книги. И те, которые нельзя потрогать, а можно лишь ощутить — любовь, время, и то, что написано в книгах.

Людмила много читала. Чемоданище-то их «знакомственный» действительно был набит книгами. Прочтет книжку и птичку поставит в записной книжечке. И цитаток штук пять выпишет, если понравилась книжка. Да не для того, чтобы перед кем-нибудь блеснуть, нет, этого у Людмилы не водится, скорее сто раз промолчит, но так, для себя. Вот, мол, читала, а эти мысли основные. Запомним. Может, в жизни и обопремся. К людям живым тоже ведь не со всяким вопросом придешь. Это-то понятно. А тут классики. И в блокноте сказано: «Умри, а не давай поцелуя без любви...»

— Люда, кто это тебя так разлиновал? — орал Женя.

— Никто меня не разлиновывал. Только, Женюшка, я иначе жить не умею. Какой в жизни смысл, если в ней нет порядка? Не умею я иначе жить. А я тебе такая не нужна?

Скажи ей, какая она тебе нужна... И вообще, что тебе нужно...

А характер у нее такой и остался — надрываться будет, а ни у кого ничего не попросит и за помощью не пойдет. А у самой силенок... Жене стало жарко, душно. Вот ведь не видятся больше, а верно, душой прирос...

Хлопнула дверь. В каюту вошел Егор и полез на свою койку. Под койкой гроыхала якорная цепь, и в кладовой за переборкой ездило по палубе ведро или шайка.

— Ну как, Егор? — спросил Женя.

Егор не ответил, а только заворочался наверху, и Жене на лицо посыпалась ржавчина с его сетки.

А пароход начинало пошлепывать в скулу, и ветер, наверно, крепчал. Они выходили из залива.

Бросать трал вставляла третья вахта. Сквозь сон Женя слышал, как в первый раз загудела лебедка. Их вахту подняли в семь тридцать. На палубе был ящик рыбы. Третья вахта ставила рыбодел — стол для разделки. Должны они были сделать это еще до трала, а сейчас, не теряя времени, шкерить, но с третьей вахтой связываться — лишь терять самого себя. Сползлись в одну смену. То у них на вахте люстра взорвется, то траловую доску за ваер закрутят, то заболит кто-нибудь, и им давай человека из другой вахты. Как-то Женя у них работал. Так думал, что внутри у него все скиснет. Женя с салагой, наверно, быстрее вдвоем с той рыбой управлялись бы, чем те вчетвером. И когда ваер по роликам пошел и лебедка заработала, то никто из этой публики уже через ваер не перешагнет. И не приказывай — техника безопасности. Гордость флота, в общем. Золотой фонд.

В первое утро рейса ухи не бывает. Они пожевали кое-что из сухих запасов — лавочку еще тоже не запустили — и пошли надевать роканы. Салага был парень рослый и не худой: из армии стручком не уйдешь. Как старпом их говорит: «Там овсянки столько съешь — лошадям в глаза смотреть совестно». А роканы у них были все одного размера. Пока салага эту клеенку через сапоги да штаны натягивал, можно было обхохотаться. А снимать еще хуже. В первый рейс несколько раз из-за этого салага харч принимал прямо на палубе — в салон-то в рокане нельзя. И в каюту нельзя. Даже спать умудрился, не снимая рокана, — в корме, где тросы и линии держат. Но потом понял, что не выход. И теперь потел и кряхтел, но переодевался чуть не быстрее всех. Раз-два — и уже ляпочки на плечах. И стоит — лицо как сырая бумага. Ждет.

На вахту они вышли, когда из колокольчика на капе пискнуло четыре раза. Третья вахта уже и роканы снимала, для виду только шлялись у фока, и сразу их будто ветром сдуло.

Егор встал со шкерочным ножом на первом подхвате. Саша — четвертый их — за Егором, а салага вылез с головорубом.

— Головоруб-то отдал бы Жене, — сказал Саша. — А то опять рыбкин с нас не слезет.

Рыбмастер услышал из трюма и сразу заорал, чтобы салагу заменили. А Женя посмотрел на салагу — тот вцепился в головоруб, будто невеста в букет, и смотрел на Женю. Женя вроде его понимал: уж хочешь стать

рыбаком — так учись. Все равно, пока тонн тридцать не изведешь, от махры на жабрах не избавишься и рыб-мастер будет из трюма возникать. И в этом рейсе, и в следующем, и через год — пока ласточкин хвост на отрубе не будет чистым. А до тех пор будешь салагой, сколько бы это ни длилось.

— Ладно, — сказал Женья. — Стой себе.

А рыбмастер уже снизу орал, чтобы кидали рыбу. Наверняка ведь и соли еще не приготовили, и сидел покуривая, но уж так заведено у них всех — сам сиди, но на других ори, что тянут, — иначе орать будут на тебя.

Женья влез через доски в загородку — рыбы было чуть выше колена — и посмотрел на ребят. Саша дотягивал сигарету, держал окурок уже серединой губ, чтобы сразу выплюнуть, как ему кинут рыбку, салага воткнул голову в рыбодел и обтягивал на левой перчатку. Егор стоял, держа руку с ножом на столе, и смотрел мимо. Капюшон рокана он не натянул, стоял в шапке с подвязанными за шею ушками, и щеки у него были старые. Может, им не нужно было смотреть на Егора, потому что жил человек, мечтал, выколачивал из этой самой рыбы свою мечту — и вот домечтался... Опять ночь шесть месяцев, и опять на Севере, откуда он с женой все мечтал уехать. Тут Жене вспомнился листок, который он прочел как-то у Аркадия. «Человек, — было написано на том листке, — должен опасаться мест, не освещенных ни солнцем Зис, ни луной Нуна. Так говорят индейцы». Женья посмотрел вверх. Под люстрой летел мелкий снег, а кругом было совсем темно.

— Заснули, родимые?!

Рыбмастер заорал так, будто он не стоял в пяти метрах под ними, а сидел под рыбоделом. Женья взял две рыбины и бросил их на стол. Саша плюнул в сторону окурков, а салага в это время уже хрястнул голововорубом. Когда Женья разогнулся второй раз, то Егор уже столкнул ошкеренную рыбку в трюм. Женья навалил салаге сотню штук и остановился. Саша стоял с сухим ножом и смотрел, как шкерит Егор. Такой работы они еще не видели. У Егора будто и не было года перерыва. Он делал два движения рукой, и рыба летела в трюм. А на столе росла горка печени и кишки уже летели под рыбодел. После каждой рыбины Егор упирал нож в стол. Ему даже ждать приходилось. Рубить под Егора салага не успевал. Саша стоял без дела.

Женя подал уже центнера два. Саша стоял. Прошло полчаса. Саша стоял. Женя посмотрел на салагу. Лицо того под капюшоном было в рыбьей крови. Он и Женю умудрялся обработать. Когда Женя разгибался — в лицо ему летела слякоть с головоруба.

Салага сек головы, уже не понимая, что и как — только бы успеть. Женя перестал подавать. Салага хрястнул еще несколько раз и усталился на Женю.

— Замотали салагу, — сказал Саша.

Егор ничего не сказал. Он опять смотрел мимо всех. Передых ему был не нужен.

— Давай-ка в ящик, Юра, — сказал Женя.

Салага спорить не стал. Он сошел в ящик и сразу стал наваливать рыбу на край стола — уже понимал, с кем имеет дело. Головоруб взял Егор. А Женя с Сашей встали на шкерку. Саша теперь захотел стоять под Егором. Женя был не против, знал, что обоим будет нескучно.

И Егор начал сечь. Салага подал штук сто и понял, наверно, что ему не угнаться. Он метался у рыбодола, как в самодеятельности, когда изображают матросский танец. Женя с Сашей стучали ножичками... Пол-ящика уже не было. Егор воткнул головоруб в стол.

— А если вот так, — сказал он.

Сашу он поставил в ящик. Жене дал головоруб. Сам встал за Женей. А салаге велел подкидывать рыбу из дальнего края ящика поближе.

Давно так Женя не работал! Саша подавал хорошо — брюхом налево, треска была полумертвая, мерная, и стала уже засыпать... Рыбмастер заорал снизу. Теперь, оказывается, его закидали — не успевал укладывать. Они приостановились и стали шкерить зубатку. Зубаток в ящике было штук пятнадцать, и одна громадная, сивая, килограммов, наверное, на сорок. Егор распластал ее по боку, отшкерил и, как студень, спихнул в трюм. Шлепнулось там что-то в два приема, а потом рыбмастер прямо завыл — наверно, зубатка накрыла его, как одеялом.

— Все, — сказал Егор.

Юра лопатой перекидывал в утиль скатов, пеногороз и морских ершей. Ящик был пуст, и только одна розовая звезда лежала в углу.

— Перекур, — сказал Егор. За эти полтора часа он стал старшим вахты. Они отошли под козырек полубака и закурили. Время до трала было их временем.

Женя сел на бочку, которую выставил для печени

консервщик, и ему отсюда была видна та розовая звезда, которую Юра оставил в ящике.

Консервщик тоже вылез из своей выгородки; видно, управился уже — запустил партию. Он сел рядом с Женей, на ту же бочку. Так и сидели, немного прислонившись плечами, а лиц друг друга не видели.

— Хоть подсел, — сказал Женя. — А то чего-то неласковый ты в этом рейсе, дядя Костя.

— А кому это нужно, чтобы я был ласковым?

— Может быть, и мне.

Дядя Костя помолчал, искоса на Женю глянул. Качало. В пустой ящик светила люстра.

— Сколько лет уже плаваешь? — спросил дядя Костя.

— Да уж шестой.

— Что, надумал уходить?

— Не знаю, — сказал Женя. — А вообще похоже на то.

— Не ошибись, смотри...

— Да уж я смотрю.

— Все ж пять лет... — сказал консервщик. — Такое дело.

— Видишь звездочку, дядя Костя?

— В ящике-то? Вижу.

— И ничего?

— А что должно быть-то?

— Ну, без отвращения на нее смотришь?

— Звезда как звезда, — сказал дядя Костя и даже плечом пожал. — Мне иные хари куда как хуже...

Помолчали. Траулер качало, и чайки вылезали из темноты в луч прожектора.

— Родители-то живы? — спросил дядя Костя.

— Отец в войну погиб.

— Здесь?

— На Рыбачьем, — сказал Женя. — Мать не разыскала.

— А сколько вас у нее?

— Двое было. Братишка еще маленьким умер.

— Да... — сказал консервщик. — Хлебнула она, видать, с тобой.

— До войны-то она не работала, — сказал Женя. — В войну только и пошла.

— Попробуй не пойди.

— На целые дни меня одного дома оставляла, — сказал Женя. — Потом, когда учиться уже стал, я ее по неделям не видел. Я в школе — она на комбинате. Супу

только наварит — я и не жду... А все ж иногда прибежит в школу, с уроков меня вытянет и начинает кричать — где это я вечерами шляюсь? Ну я и рассержусь на нее, и надуюсь.

— То-то умник, — сказал дядя Костя. — Она небось тебе всякую конфетку берегла.

— В завком ее выбрали, дядя Костя, а ты какие-то конфетки вспоминаешь. У меня это слово «завком» с детства в печени.

— Дурак ты, Женя, — помолчав, сказал консерщик. — Ну что я тебе еще скажу? Дурак. Я ведь давно к комбинату отношению имею, Марью-то Васильну сколько лет наблюдаю, да не знал только, что ты ее сын. Мать-то твоя, может, единственный человек такой... А ты про нее как-то так... Легко очень. Сблизил, наверно, увидеть не можешь.

— Да знаю я, что ты, дядя Костя, скажешь. Знаю. А ты представь себе, что я-то тоже ее ждал, когда она обо мне вспомнит. И дома своего у меня не было. Стены были, а дома не было.

— А теперь? — спросил консерщик.

Женя не ответил. Что теперь? Он когда-то даже думал идти в институт, ему говорили, что надо учиться дальше, надо рисовать, но никто носом не ткнул. В армии отслужил, вернулся... Куда деваться? А у них в городе — если колобок не знает, куда ему катиться, так его самого с косогора в порт покатит.

Ему сегодня все вспоминалось, как в первый раз они шли заливом. Было лето, вода была светлой, небо светлым, теплым, на судне не спали только в руле и в машине. Он сидел на баке, ветерок отдувал в сторону рыбью гниль, и прямо перед ним на палубе сверкала замечательная розовая звезда, заваливавшаяся с прошлого рейса. Он слышал, что их надо чистить, прежде чем сушить, но, когда распорол ее, из нее пахло так, что Женю тут же вывернуло. А когда пошла волна, то выворачивало еще двое суток подряд. Он думал тогда, что не увидит снова берега — его уже желчью рвало.

— Дядя Костя, видишь звездочку?

— В который раз будешь спрашивать?

— А ты ее никогда не нюхал?

— Знаешь, — сказал дядя Костя, — у меня на это и времени-то никогда не было...

— А что ж ты сейчас его тратишь? — спросил Женя.

— Так то, может, специально на тебя.

Помолчали. Невдалеке на палубе маячила спина Егора.

— Как приятель-то твой? — негромко спросил консерщик. Он откуда-то уже все знал об Егоре.

— Да ничего, — сказал Женя. — Работает... И здорово. Как раньше.

— Это по привычке. Перестанет скоро.

— Не каркай, дядя Костя.

— А что мне каркать. Увидишь. И он увидит. Не для чего ему хорошо работать. У него просто руки еще работают. По привычке. А заговори с ним — даже ты... Не о чем вам говорить.

— А ты все знаешь наперед?

— Я-то? Так я, Женя, тридцать лет в море хожу. И таких, как твой Егор, ого-го сколько видел. Сломанный человек. Одна сейчас от него польза — чтобы ты глядел.

Женя молчал.

— Ты ж с него пример брать думал...

— Я?

— Не я же, — сказал консерщик.

Егор не двигаясь стоял все на том же месте, и Женя, не видя его лица, знал, какое оно сейчас. Темное и пустое.

Да возьми его к себе!

Проклятое воскресенье все не кончалось. На этот раз оно тянулось так долго, что Мария Васильевна днем улеглась было спать, но заснуть, конечно, так и не смогла. Уж больно было непривычно.

Хозяйство дома она давно и напрочно забросила. Даже пуговицы, даже нитки, если они надобились, приходилось подолгу искать. Посуда, хоть и стояла в буфете, оказывалась какой-то несвежей, серой, в тарелки неведомо откуда натряслась древесная труха — жучок, что ли, точил доски? — и обе комнаты, хоть Мария Васильевна здесь и ночевала, имели тускловатый, запущенный вид. Иногда Мария Васильевна вытирала пыль, но пыль словно сразу же садилась туда, откуда ее только что стерли.

В квартире жили еще две семьи — Соловьевы и Тропинкины. Соловьевых было четверо. Сам Соловьев, мастер с комбината: «Марь Васильна, ну, где ж сынок-то? Оставили меня одного, среди баб. Затрудненья имею...» Была средняя Соловьяха: «Здра-асьте, Марь-

юшка Васильевна! Не видно вас что-то... Похудели по президиумам...» Тринадцатилетняя Любка Соловьева иногда говорила тоном матери. Бабка вылизывала соловьевские комнаты.

Тропинкиных было двое — он плавал помощником на траулере, Зоя Тропинкина не работала. Вставала она поздно, уходила надолго, иногда среди ночи Марию Васильевну будила входная дверь — это возвращалась Зоя.

— Вот у вас были дети, — говорила Зоя Марии Васильевне. — А для чего? Где они, дети-то ваши? Где Евгений? Много радости он вам приносит?

Мария Васильевна сжималась.

— Он от вас в море ушел. У вас тут свои интересы, у него там — теперь тоже свои... Живешь-то сколько раз? Один, самое большее, да и то случайно.

— Как это случайно?

— А так. Кто угодно мог родиться. А родились вы и я.

— Ну и что?

— А ничего. Просто удачно. Это ощущать надо.

Зоя, наверное, и ощущала. Мария Васильевна уж на что была от такой стороны жизни далека, да и то иногда заглядывалась на нежный цвет бархатных Зонных скул, на ее горячие, жестокие глаза. Рядом с Зоей всегда ощущался какой-то ветерок, доходил он даже до Марии Васильевны.

— Дети нужны тем, кто не знает, что с собой делать, — говорила Зоя. — Вот вы, Мария Васильевна, не знали когда-то. Сейчас бы небось не завели. Разве что для воскресений...

Зоя и это видела, что Марии Васильевне некуда податься.

Марии Васильевне, которой ничего не стоило легко и быстро устроить митинг, собрание, за недолгие минуты подготовиться к горячей и длинной речи перед сотнями людей, здесь, дома, ничто не удавалось... Вот открыла шкаф и увидела знакомые полки со знакомой одеждой. Мария Васильевна колыхнула рукой висевшее на вешалках — господи, и зачем теперь все это? А это еще что за ящик, что тут может лежать? В ящике тоже была одежда. Но Мария Васильевна уже не помнила — чья. Все мужское — рубашки, брюки, даже галстуки... Вынула, посмотрела. Крепкое, еще не заношенное... Кому? Кому бы? У кого из одиноких работниц сыновья подрастают? Коля Волков! — подумала она. Вот кому

подойдет. Вынула брюки, подержала на вытянутых руках перед собой. Должно подойти.

Воскресенье копчалось. За окнами было темно, только в открытую форточку (потому что нещадно грели батареи) слышался скрип утоптанного по тротуару снега.

Мария Васильевна посмотрела на часы. Было начало десятого. Она вспомнила, что за весь день ничего не ела. Все не хотелось одной — думала, кто-нибудь зайдет. Ну и проклятое же выдалось воскресенье. Мария Васильевна открыла холодильник. Лампочка зажглась и осветила его пустое белое нутро с заиндеветой морозилкой. В морозилке лежала пачкапельменей. Пошла на кухню, сварила пельмени, поела. Зои не было дома. Соловьевы сидели у себя. В своих комнатах было опять все то же — ощущение, что зря идет время. И жаль его, времени. Шить что-нибудь? Убирать? Но если самой себе в глаза заглянуть — то зачем? Для кого? Мария Васильевна обвела глазами комнату. Нет, лучше этого не делать... Что было, то было. А сегодня другое время и другие дела. Коля Волков, например. Коля Волков — вот сегодняшнее дело. Надо выручать мальчика. Пока не поздно.

Понедельник все же наступил.

Мария Васильевна шла по цехам. Цеха встречали ее густыми рыбными запахами. Ползли, монотонно поскрипывая, ленты конвейеров, ехали тележки с ящиками консервов; распространяя на многие метры могучее тепло, утробно гудели автоклавы, и всюду здесь — и рядом, на переходных галереях цехов и за конвейерами, и в нижних этажах, и там, на дворах, и у причалов, откуда шла перегрузка рыбы, — всюду были люди: мужчины, женщины, приближающиеся к старости, и нестарые, отцы и матери семейств, и совсем еще молодые юноши и девчонки, о труде, жизни и зарплате которых Мария Васильевна должна была заботиться. И не только должна, а просто не могла без этого жить.

— Марусь!

Мария Васильевна оглянулась. Звала Катя — Катерина Ивановна, нормировщица консервного цеха. Толстая, добродушная, сто лет знакомая, да что знакомая — Михаил когда-то еще ухаживал за обеими. Обнялись, хоть и каждый день видятся. Ну не то чтобы обнялись, а так — щекой к щеке. Жизнь-то вся рядом.

— Что невеселая, Марусь?

Вот кому можно рассказать, вот кто поймет, хотя, все у Кати по-другому — и муж дома, и дети вместе с семьей живут, и все равно — взглянут Мария Васильевна с Катей друг другу в глаза, и объяснять ничего не надо.

— Ой, Катюш...

И рассказала о Коле.

Катя все в глаза Марии Васильевне смотрела. Люди мимо бегали, кричали, бутылки с молоком под мышками несли, ползли конвейеры блестящих банок.

— А ты возьми-ка его к себе, — вдруг сказала Катя. — Возьми. Пусть у тебя поживет. Все равно ведь не успокоишься.

— Это к моим-то соседям?

— А не спрашивай.

— Думаешь, можно, Катюша?

— Эх, ты, — усмехнулась Катерина Ивановна. — А еще предзавкома.

Обрастаем, Николай Ефимович!

— Первая! — крикнули из капа. — Роканы на задах протрете!

За лебедкой уже копошился тралмейстер.

— Ну что, бичи!.. — начал Юра и осекся, посмотрев на Егора. Видно, тот его давил. Егор встал, и они все встали за ним.

Ну и темень же сегодня была! На капе зажгли правый прожектор — они тянули правый трал, — прожектор освещал палубу и немного выплескивался за борт. Если в луч попадала льдина, она вспыхивала сахарной белизной и сразу же пропадала. И гляди ей вслед или не гляди — сегодня ничего не было видно. Только висела у борта в луче прожектора чайка, странная, непонятная человеку птица. За сотни, иногда за тысячу миль от берегов в мороз и в буран да еще в кромешной темноте носит ее над морем сутками и неделями. И вот идет пароход — с огнями, теплом, насквозь пропахший рыбой, — неужели рядом с ним хуже, чем вот так болтаться, как она это делает? Но нет — встретит пароход, повисит, повисит около борта, крикнет, перевернется через крыло — и нет ее, ушла сама по себе...

Мокрый ваер шел по роликам, дрожал. Потом лебедка заработала совсем тихо, из-за борта показалась траловая доска, салага полез на борт ее крепить, из-за

борта появились все сразу и звякнули донные ролики— бобинцы, Фома потряхнул их лебедкой, и, когда пароход качнуло на левый борт, перевалил все ожерелье через планшир. Бобинцы грохнули, отскочил салага, и вот уже лебедка тянет к стреле ухо трала, с трала хлещет вода.

— Строрик! Строрик! — орет Фома, и трал кусок за куском ложится на палубу. Мешок с рыбой ползет вверх, вползает в световое пятно прожектора, во все стороны выжимаются из него хвосты, головы, бока рыб. Рты разинуты, рыбы головы хрустят о планшир.

— Вирай! Вирай! — орет Фома. Тысячекилограммовый мешок с рыбой переваливается из-за борта и летит на стопорные вожжи.

— Вирай!

Рыба хлещет на палубу.

Только сейчас Женя заметил, как пароход бросает. Рыбу сразу стало возить в ящике, да она еще плясала к тому же, — ну прямо не ящик, а сковородка, которую вертят с боку на бок.

Ветер задувал им в левую скулу, и чайка опять висела у борта вполоборота к пароходу. Она была как фарфоровая, только без блеску, чистая невозможно, и Женя вспомнил сейчас, как однажды на пляже в Черном море чаек стало прибывать к берегу. На танкере в бухте лопнула труба, выхлестнула сотню тонн солярки, чайки кинулись на запах и стали садиться в этот компот. Их прибывало к берегу весь день — с разинутыми клювами, полными черной дряни, со склеенными перьями...

Пароход бросало.

— Трал к борту! — крикнули из капа. Фома стал крепить бобинцы по-штормовому, а вахта пошла за ножами.

В этот раз треска была крупной. Они бросили в трюм десятка два, рыбмастер заорал, чтобы погодили, вылез из трюма, посмотрел в ящик и сказал, что надо сделать запас на свежье — уж больно хороша рыба, — неизвестно, когда такая еще будет. Он сам влез в ящик и стал вытаскивать самую крупную и подрезать ей жабры, пока еще не заснула.

Саша резал головы, Егор вырубал хребтинки, а Женя с Юрой мыли освежеванное. Это только так называется — мыли. Тебе кидают рыбину, как пласт, и ты должен капроновой щеткой с водой снять у нее с брюшины черную пленку. Если чуть схватит морозцем,

пленку уже не снимешь. А за Егором поспей. Вскоре Юра стал засекаться. Другой бы на его месте пошел гнать халтуру — недочищать, недомывать, — ну, тогда быть бы вою. Рыбмастер специально ему, салаге, произнес речь:

— Это кликфикс. Высший сорт филе. Понял? Мы его англичанам готовим. Там филе как мясо идет. Понял?

— Не понял, — сказал Юра. — Как это, как мясо?

— В ту же цену, зеленъ... Доехало?

— Вас понял, — сказал Юра. Так в рупор с плавбаз отвечают. Только было ему не до шуток. Женя смотрел на него — то ли руки у салаги окоченели от воды, хоть они и мыли кликфикс в перчатках, то ли парня сегодня уже загоняли, но Юра все медленнее двигал руками. И работка-то — пленку щеткой отдирать. Это не трал тянуть. Но только Женя хотел Юру незаметным образом оттеснить, чтобы передохнул, как в колокольчике шелкнуло и оттуда сказали:

— Матрос Морозов — в руль!

По его, значит, душу. А раз матросу в руль — значит, штормоваться. Малый ход и носом к волне. Может, полвахты, а может — и несколько суток. Это уж как решит товарищ Гольфстрим. Женя посмотрел на Юру: извини, мол, салага, власть не моя, повесил рокан в сушилку и пошел в кап.

В капе было все начальство. Наставник, кэп и старпом глядели в стекла, на руле стоял помощник. Женя встал у него за плечом.

— Семьдесят восемь, — сказал помощник. — Курс сдал.

— Принял, — сказал Женя.

— Повтори! Повтори, как положено! — громко сказал помощник и посмотрел в сторону наставника.

— Семьдесят восемь, — сказал Женя.

— Да, одерживай справа. Ветер и волна с разных сторон еще идут.

Будто Женя у него же на этом самом месте вахт полтора года не принимал уже. Знаток экипажа. За спинами у кэпа и наставника покрутился и говорит:

— Разрешите сдать вахту?

Ему не ответили, и он полез вниз по трапу.

Аркадий Жене как-то излагал, что, по его мнению, все люди уже родятся по должностям. И главное тут — себя угадать и не суетиться. По Аркадию выходило, что ты еще в школу не пошел, а уже видно — кэпом тебе

быть, боцманом или бичом. Насчет боцмана Женя сразу же с Аркадием был согласен — боцманом, точно, надо родиться. А здесь, в капе, взглянув на помощника, он вдруг понял, кем тот родился и кем умрет. То есть не то чтобы Петю не могли сделать старпомом. Но либо сразу же сняли бы, придравшись по мелкому поводу, либо продвинули бы дальше, но опять на подхват. Потому что, если ты родился с шарниром в поясице, так ведать мыльным довольствием можно и на БМРТ, и на плавбазе, и в министерстве мягкий стул с поручнями тебе отыщут, но парохода, даже самого малого — который есть кусочек страны и все же целая страна, — тебе не видать.

Когда Петя ерзал за спинами у начальства, эти трое и не повернулись. Они стояли, не поворачиваясь, и смотрели, как взлетает из-за борта волна и осыпается под прожекторами.

— Пароход-то наш, Николай Ефимович, трещит, — сказал старпом.

Помолчали.

— Трещит, — сказал кэп.

— На иголки пора...

Пароход и правда трещал. Ему было всего одиннадцать лет — их шведскому угольщику, но это были настоящие одиннадцать лет. Аркадий сосчитал как-то, что получится, если нос к хвосту выложить всю треску, что пароход их от рождения выловил, — цепочка оказалась бы от полюса до полюса. Вот как. Но через несколько месяцев уже их очередь наступала. РТ в прилив подойдет к заводу. На судне будет два человека. Механик даст снизу «крейсерские обороты», а кэп примерится к пологому земляному скату у завода и замрет на руле. А потом под днищем захрустит земля и механика внизу швырнет по отсеку. И все. Пойдет их пароход на дверные задвижки.

Под прожекторами было видно, как лупит под полубак волна, и удар этот не сразу доносился по корпусу. Волны будто бились во что-то мягкое и податливое.

Старпом стоял в ушанке и, если кэп говорил ему что-нибудь, отгибал ухо и слушал. А если говорил наставник, то когда отгибал, а когда и не отгибал. Старпом не любил штормы и не придуривался, что они ему нравятся. В День рыбака, в прошлом году, выступал по радио один из помощников с плавбазы: «Хороший шторм в Баренцевом не променяю на месяц в Сочи». Так и сказал.

Женя тогда тоже стоял на руле. У Аркадия включена была громкоговорящая, и старпом — его вахта была — все слышал. Он надулся весь, как индюк, покраснел и говорит: «Сволочь. Выползок».

Видел Женя потом того любителя штормов. Подбородок этакий квадратный, трубка в зубах и пальчик бинтиком завязан. Оцарапал.

— На румбе? — спросил кэп.

— Семьдесят восемь.

— Приводись к ветру до шестидесяти.

— Есть, — сказал Женя.

— Повтори, — устало сказал кэп.

Женя повторил, и кэп сказал:

— Вот так.

Они штормовались, Женя держал РТ носом к волне и слушал вполуха, что говорит начальство. Наставник был тощий, как мальчишка, и в рубку входил в узеньких этаких брючках, стареньких очень. Они ему до щиколоток не доставали, завязочки кальсон наружу. Правда, что, кроме капа, наставник никуда не показывался — не корчил из себя профсоюзного лидера, и кубрики РТ его не интересовали. Есть кому трал тянуть? Есть. И отлично. А ему бы, старику, только косяков побольше найти. Чем больше косяков разыщет, тем больше пенсия будет. Он о рыбе только и говорил — все остальное из головы выскользнуло. Вот и сейчас он тоже начал:

— Прилову мало берем. Ерши одни.

— А? — сказал кэп.

— Прилов, говорю, дрянь. Палтуса, считай, нет. И пикши нет.

— На банках весь палтус, — сказал кэп. Старпом ухо поднял и опустил.

— Синего-то палтуса сколько уморили, — сказал наставник, — а пикшу, так, считай, и кончили.

— Это когда же, Антон Василич? — спросил кэп.

— Да все тогда... После войны. Капроновых снастей еще не было, снасть пеньковая да гниловатая часто, а рыбы за войну больше стало — вот у Канина Носа на банках, как потянем мешок, так там сразу тонн под десять. К борту подведем, стропом мешок уже наверху перетянут, а из воды приподнять не можем, не то чтобы через борт перевалить. Волной поддаст, рванет — и до свидания, мешок оборвался. А от него по дну гниль ползет вскоре, а мало это или много для морского дна десять тонн — кто ж знает? Кабы такой ме-

шок один уронили, ничего бы, конечно, не было, а то ведь считать устанешь, сколько пообрывали... А план жесткий, время не то, что сейчас — ты рыбу давай, а рот она за тебя раскрывать будет, если понадобится. Ну вот... И палтус там был как корыто — столько лет ни одного такого не вижу.

— Да... — сказал кэп. — Дела.

— Куда с добром. Сначала засорим все дно, а потом посмотреть надо — что же такое наделали, как это наши мешки лежат, точно ли они дно портят? По шее кому-то надо было дать... Батисферу ЭПРОН приволок, стали ее над банкой таскать. И из плавсостава желеющих набирали на эти спуски. Я-то тогда помоложе был, ну и тоже выразил желание.

— Глубоко опускали? — спросил старпом.

— Да метров на двести всего. Мешков этих я, правда, ни одного не увидел, но когда меня опустили, повис я над штабелем бомб.

Старпом ухо своей шапочки повыше поднял.

— Глубинные, что ли? — спросил кэп.

— Да не глубинные, авиационные, и ровненько этик лежат — стабилизаторы в одну сторону, взрыватели — в другую, в мою... Под прожектором я их, как картошку на тарелке, вижу. И висит батисфера над верхом штабеля метрах в двух. Крикнуть в телефон, чтобы подняли, так я знал этих наверху, они сначала дергать начнут да трясти, пока трос на барабан ровно не ляжет, а то и вообще перепутать могут и станут опускать вместо подъема. А батисфера — две тонны. Нет, думаю, лучше уж я тут без крика повишу. И ничего, провисел, но вообще-то мудрено...

— А пикша? — спросил Женя.

Все трое на него оглянулись, и наставник замолчал.

— Старпом, — сказал кэп, — рулевой у нас вахту несет, или я путаю?

Старпом ухо опустил и посмотрел на Женю.

— Ты мне урони, урони пароход, ворона! — сказал он. — Смотри, нос гуляет!

Это уж он гнул, конечно. Нисколько нос не гулял, ползли они точно на ветер. Да старпом и сам знал, что на таком ходу пароход точнее и не удержишь, это с гарантией. А потом, что же это он Женю вороной зовет? За шиворотом у Жени стало мокро, но он все же справился и сказал, не поворачивая головы:

— У меня имя есть — матрос Морозов. Можете меня

с вахты снять, или выговор дать, или премии лишить, а говорить так с собой я вам не разрешаю...

Все трое опять на него уставились, только уже с изумлением.

— Ты, Морозов, на вахте или где? — спросил старпом. — Что это ты себе позволяешь?

— Неважно, — ответил Женя вполне идиотски, но уж очень разнервничался.

Разговор на сем затих — наказывать Женю они как будто не решились. А ему в этом рейсе почему-то не хотелось никому поддаваться. Стукнули тебя по носу — дай сдачи. Кто бы тебя ни стукнул.

— Вы, Антон Василич, про конвой начали говорить...

— Да ладно, — сказал наставник. — В другой раз как-нибудь. Тут ведь если начать вспоминать, так окажется, что мили нет, где бы судно на дне не лежало — до самой Медвежки...

Все трое опять замолчали и уставились в стекло. Волна взлетала перед форштевнем, сыпалась на палубу, и, только когда она вся осыпалась, форштевень начинало вести вверх, они как будто вылетали из воды, и чем выше летели, тем ниже потом должны были провалиться. И, выпрыгнув в пустоту, откуда-то совсем сверху, так что воды под ними уже совсем не было, они начинали падать, а вода все уходила из-под них, из той ямы, куда они падали, и потом било в форштевень, волна разваливалась на два белых гребня, взлетала перед носом, расцветая, как фейерверк, а они все неслись вниз, и вокруг была уже не пена и не брызги, а черный и тяжелый водоворот...

В книгах пишут, что штурвал в штормы вырывает из рук. Как это его будет вырывать, если там червячная передача — не может его рвать. Но иногда колесо будто заклинивало, и Женя ложился на шпаги всем телом.

— А пикша перевелась, — сказал вдруг, обернувшись к Жене, наставник. — Вот так-то, парень. Твои дети, поди, и знать такое слово — «пикша» — не будут.

Нос парохода валился вниз, взлетал, начальство придерживалось руками за штурманский стол и перекладины, а Женя держал к ветру.

Капитан-наставник стоял рядом.

Вот какой он был, старичок с завязочками на щиколотках! Пикшу жалел. Хотел, чтобы Женины дети ее ловили...

Вахта шла к концу. Море впереди было все такое

же — взлетала из-под форштевня волна и над бортом попадала в круг прожектора, да редкий снег лепило на стекла капа.

Если кто-нибудь перебежал по палубе в полубак или обратно, то бежали по правому борту, где горел прожектор, и за каждым вслед, если бежали в корму, старпом высовывал голову из задней двери капа и следил — добежал ли до салона, потому что нет-нет да и хлестало вдоль борта выше лееров.

— Холодает что-то, Николай Ефимыч, — сказал старпом.

Кэп посмотрел и говорит:

— Мерил?

— Щекой вижу.

— А-а... — сказал кэп. — Точный инструмент.

Но погода немного сам полез к двери на роостры и высунулся.

Снег продолжало лепить, но он не стаивал теперь со стекол, и брызги его не смывали. Видеть через стекло было все трудней.

— Стекло-то опусти, — сказал старпом. — Не про-студишься.

Женя опустил стекло. Штормило прямо в нос, ветер так в Женю и уперся. Но сразу стало хорошо видно, и только сейчас он заметил, что весь планшир спереди и нижние снасти полубака у них белые и как бы светятся.

— Обрастаем, Николай Ефимыч, — сказал старпом.

Кэп помолчал и говорит:

— Вижу.

А наставник только ботиночками переступил. Холода он словно не чувствовал в тоненьких своих брючках. Игнорировал силой воли.

— Кувалды, — говорит, — есть на судне?

Эти двое на него сумрачно глянули, но ответить ничего не ответили.

Тралы лежали по бортам, на них ужеросло, и на бобинцах налепило, и на палубе кто-то уже — салага, кажется, — растянулся, когда перебежал до бака. Упал, выругаясь, да еще с капа вдогонку ему пустили, чтобы легче было бежать. Не зевай, мол! Если челюсть сломаешь или за борт тебя швырнет, кто бы ты ни был — ЧП. «Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог», — как говорил старпом.

— Ты зайди ко мне как-нибудь — потолкуем, — сказал наставник и тронул Женю за руку.

— Зайду, — сказал Женя. — А о чем потолкуем?
— Экая ты заноза... Ну все равно заходи. — И ушел из капа.

Берег

В завкоме у Марии Васильевны сидел старый бухгалтер, бывший главбух комбината.

— Я всю жизнь старался не задавать вопросов начальству, — говорил он. — Может быть, поэтому я и не все понимаю... Ну скажите мне, кому может помешать то, что я буду иногда приходить днем, часа на два, на три и помогать своим девочкам? Весь день мне трудно сидеть, у меня, как бы это вам сказать, — старик понизил голос, — даже медицинские противопоказания против долгого сидения, профболезнь как бы, я все больше стою около стола, и два своих законных пенсионных месяца я отработал с великой натугой — уставал очень, но два-три раза в неделю я бы мог заходить им помогать... У них там сейчас новая расценочная сетка, я же вижу, как они зашиваются, а у меня все же опыт чуть не сорокалетний. На машинах счетных я, правда, не так бойко считаю, но ведь там до машин еще полно дела... Так почему, спрашивается, меня не пускают на комбинат им помочь?

— Пойдемте, — сказала Мария Васильевна.

Он засеменил рядом, и она, глянув на него, подумала, что в ней по сравнению с ним еще очень много сил. И оттого, что в нем их так мало, а он тем не менее хочет их отдать, а не сохраняет для себя, Марии Васильевне стало тепло и тяжело на душе.

— Здесь скользко сейчас будет, Афанасий Михайч, — сказала она, — дайте-ка локоток...

Так под руку и пришли они в отдел кадров, прямо в кабинет к Никифорову.

— Что нового? — спросил Никифоров, не здороваясь и тяжело глядя на Марию Васильевну.

— Ты, Никифоров, — сказала она, — взглядом своим меня не пугай. Знаю я, что ты за человек...

— А ну-ка... — сказал Никифоров и встал. — Попрошу вас...

— Ладно, — сказала она. — Не для этого мы сейчас сюда пришли. Так вот, слушай...

И пока толковала о свободном пропуске для главбуха и о пользе от этого для комбината, а Никифоров ей о штатах, пенсионном положении, о невозможности...

выдать пропуск, да еще с тремя красными полосами беспрепятственного прохода человеку, приходящему на комбинат случайно и, смешно сказать, бесплатно, — все смотрели они друг на друга, и в конце концов Никифоров сказал:

— Ну ладно, Васильевна, попытаемся что-нибудь... Но, однако ж, и злопамятная ты какая...

— Ты только, Никифоров, не думай, что мы в последний раз с тобой говорим, — сказала она.

— Вот я и говорю — злопамятная... — сказал он миролюбиво и как бы уже шутя, но она услышала страх в голосе начальника кадров.

— Засиделся ты тут, — сказала она почти грустно и обвела его кабинет глазами. — Наверно, наша вина.

— От имени кого это ты говоришь? — снова взвился Никифоров. — Кто это — мы?

— А ты не знаешь?

И не стала больше на Никифорова смотреть.

— Пойдем, Афанасий Михалыч.

— О ваших странных угрозах я буду говорить с директором, — вдогонку крикнул Никифоров. — Все время стараетесь меня на что-то противозаконное уговорить! И еще держите себя вызывающе!

Она почти радостно на него посмотрела. Ей казалось, что, попадись Никифоров на глаза директору сейчас, тот снимет Никифорова, не задумываясь, сразу же, — уж очень на лице Никифорова светилось все то, чем, по мнению Марии Васильевны, он был.

— Ты о деле не забудь только! — сказала она.

Старого бухгалтера била дрожь.

— Ничего не выйдет, — сказал он.

— Еще как выйдет. А не выйдет — к директору пойдем.

— Какая вы... оказывается. Очень жалею... Очень жалею...

— О чем? — спросила Мария Васильевна.

— Я хотел сказать, что очень рад... Жалею, что раньше мало встречались...

В пункте проката Марии Васильевне выписали пианино. Дело было за грузчиками.

— А что тут выдумывать, — сказала та же Катерина Ивановна. — Иди прямо в мужское общежитие — тебя же все знают — и скажи, что надо помочь. Кстати, послушай, сразу-то в голову не пришло, ты его самого

в первую очередь работать заставь. Покряхтит — не похудеет. Для него ведь морока вся.

— Неловко.

— Ну чего там. Да ты ему пока и не говори. А заодно разглядишь получше, да и он пообвыкнет. Действуй!

И хлопотала же она перед тем днем... Старые картонки, журналы, обувь сношенную — все на помойку, довольно пыль копить! И сразу же на кухню — там тоже идут дела.

— Гостей ждете? — спросила Зоя Тропинкина.

— Да завтра должны тут несколько человек зайти... — Мария Васильевна не могла сказать «знакомых» — еще не знала, кто будет, кроме Коли.

Зоя стояла на одной ножке, обвинив ее другою, кусала белыми зубками красный пластмассовый карандашик и смотрела на Марию Васильевну не то весело, не то с вопросом. Странно как-то, капризно.

— Зачем вам гости, Мария Васильевна?

— Мне бы, Зоинька, тебя не испачкать, — сказала Мария Васильевна, ей было некогда. — Платье-то у тебя вон какое...

— Платье-то? — сказала Зоя и оглядела себя всю. И вдруг совсем без перехода, другим, деревянным каким-то голосом сказала: — Двадцать девять мне скоро, тетя Маруся.

— Совсем молоденькая ты у нас...

Зоя шагнула к Марии Васильевне и обняла ее.

— Ну прямо девочка совсем... — соврала Мария Васильевна, глянув близко в Зоины глаза. Не морщинки еще, но как бы усталость какая-то залегла вокруг Зоиних глаз. И уж очень она подобранная, Зоя, была, тщательная. Все к лицу, все в тон, все в цвет.

— А дальше что? — спросила Зоя. — Дальше? Не знаете?

Она коснулась порывисто и нежно своей щекой Марии Васильевны, а потом, почти оттолкнув Марию Васильевну, повернулась так, что платье облепило ее гибкую фигуру, и вышла из кухни. И ветерок полетел вслед...

Пианино оказалось много тяжелей, чем думали. Когда на сколоченных салазках досках потащили его по лестнице, то кроме трех парней из общежития за гужи взялся еще и Соловьев, шедший в это время с работы.

— Для чего это вам инструмент, Васильевна? —

спросил он, когда бригада, несколько протащив свой груз, набирала духу. — Женька, что ли, жениться надумал? Музыкантшу берет?

Мария Васильевна не отвечала.

Коля особенного рвения не проявлял, только в пункте проката поднял крышку пианино и, посмотрев на марку фабрики, довольно равнодушно крышку опустил. Клавиш не тронул.

И вот втащили, поставили.

— Мойте руки, мальчики, — сказала Мария Васильевна.

На столе стояли маринованные огурчики и помидоры, большой красный балык, шипели в двух сковородах яичницы...

— Давайте, хлопцы, знакомиться, — сказал Иван Соловьев. — Все с комбината?

— Все, — ответили парни.

И тут все посмотрели на Колю, а Коля испуганно глянул на Марию Васильевну, может быть действительно впервые связав все вместе — ее приходы в общежитие, ее вопросы к нему и то, что его первого попросила помочь тащить пианино.

Иван откинулся на спинку стула, расстегнул пиджак.

— Сыграл бы, как — забыл тебя... — сказал он. — Сыграл бы, Коля, а мы б послушали...

Коля obeжал глазами стол и остановился на Марии Васильевне.

«Угадать бы?» — подумала она. Коля сжался, съехал за столом, а Иван положил ему руку на плечо и подталкивал — иди, мол, сыграй, потешь нас, а мы, может, и споем.

— Не надо, наверно, — мягко сказала Мария Васильевна. — Расстроено пианино. На нем играть пока еще нельзя...

Коля метнул ей горячий взгляд, и сердце Марии Васильевны кувыркнулось.

Иван начал рассказывать что-то о своей работе. Мария Васильевна не слушала. В дверь постучали. Над столом пролетел ветерок. Мария Васильевна оглянулась. На пороге стояла Зоя Тропинкина. Она была в узком голубом платье со стоячим воротничком, черные густые волосы лежали на плечах волнами. Зоя ничем не объясняла свой приход. Она просто стояла в дверях. «У вас весело, — как бы говорила она свсим видом, — а я приоделась и пришла. Вы ведь мне рады? Правда,

вы хотели, чтобы я пришла?» Что-то наивное, почти детское было сейчас в лице Зои. «Вы не можете быть не рады, что я пришла, — говорил ее вид. — Я ведь знаю. И вы знаете».

— Входи, Зоенька, — сказала Мария Васильевна. — Ну что ж ты стоишь? Мальчики, дайте стул!

И кто-то вскочил, и оживленно раздвинулись, и сразу иначе стало за столом.

Каждый хотел теперь сказать что-нибудь умное, необычное...

— Подумаешь, угря живого съест! — уже почти кричал черноусый Адик, на подъеме пианино больше всех шумевший. — Угря! Дела-то! Да угря и без спора можно съест! А вот я в Монголии видел — один крысу живую сожрал!

— Мальчики, мальчики!! За столом!

Но ее никто уже не слушал.

— А как крысу — просто так?

— Зачем просто? На спор... За мотоцикл. Рассказать?

Зоя жмурилась и мелко, захлебываясь, смеялась.

«Да пусть говорят о чем угодно, — вдруг подумала умиротворенно Мария Васильевна. — Что это я их одергиваю? Они же за столом сидят». И сказала Ивану:

— Что ж, сосед?

Иван кивнул и сказал:

— За то и люблю, Васильевна, что ты — человек...

— И я, — сказала Зоя. И поцеловала Марию Васильевну в щеку.

— Ну, ну... — сурово сказала Мария Васильевна, и ей стало совсем хорошо.

Коля вдруг встал и подошел к пианино. Никто сначала не обратил на это внимания, даже Мария Васильевна. Коля приставил от стола свой стул, сел, и негромкие, как бы еще не до конца слагающиеся в мелодию звуки пианино вплелись в разговор за столом. Разговор на секунду приостановился, но музыка не стала громче. Коля не оборачивался к столу, только руки его легко и мягко двигались над клавишами.

Старшего вахты — на мостик!

Вахта Жени кончилась. Он спустился вниз и двинулся мимо лебедек к полубаку. Ну и колотун же стоял! Там, в капе, наверху, все же было сухо, и на предделе калилась грелка, а тут ветер с замерзающими на лету

брызгами летел сквозь снасти, и снасти уже не посвистывали, а начинали звенеть, как литые.

В каюте было темно и тепло. Все трое — консервщик, Егор и Буратино — лежали тихо. Он тоже влез в пенал. Его еще потряхивало от холода, пароход носило вверх, вверх и вверх, вниз, вниз и вниз, носило так, что приплюскивало к матрацу и отпускало наверху, и черный подволок то уходил вверх, то вдруг становился совсем над головой, и Женя чувствовал, как отражается от фанерной обшивки его дыхание. На палубе тревожно кричали. Раз кричат — значит охраняют. Только бы не звали наверх.

Женя заснул под крики на палубе. И под крики же и проснулся.

Боцман влез в каюту и, еще не нащарив рукой выключатель, заорал, чтобы все пулей летели наверх, потому что обмерзаем.

Вскочил дядя Костя. На него кулем упал Буратино. Женя спустил ноги и прыгнул вниз.

Егор лежал не шевелясь.

— Егор! — крикнул боцман. — Проснись! Работа появилась!

Егор повел на него глазами и ничего не сказал. Видно, он и не заснул после вахты.

Степан вылез из каюты и стал орать в коридоре и в соседних каютах. По трапу гремели сапоги, наверху слышались то гулкие, то звонкие удары кувалд по обшивке. Сыпался лед.

Женя не знал, сколько удалось поспать. А пароход был уже как ложка, которую тянешь из густого меда. Острые края грибов, поручней, бортов стали круглыми, на палубе выросли горбыли неровного льда. Тралы лежали вдоль бортов, как бугристые киты, их уже прилизало, и ячей не стало видно — все обросло уже пальца на два. Со снастей висели сосульки. РТ тяжело заваливался с борта на борт, хотя волна стала слабеть. Каждый раз он вылезал из водяной ямы будто с кряхтением.

По снастям, планширу, по обшивке надстройки уже стучали ломami, кувалдами, нагелями — осколки льда сыпались к ногам и, когда их охлестывало волной, прирастали зализанными бугорками. Совковые лопаты скользили, ничего не захватывая... С капа включили второй прожектор.

Жене досталась рукоятка от лебедки. Он лупил ею по закруглившемуся, неровному планширу. От всякой

волны нос РТ грузнел, тяжелел, вода поднималась за бортом и, скатывая их роканы, опадала на палубу и скатывалась в шпигаты не вся... Лицо драло ветром.

Он бил железом по льду, норовя добраться до железа же, но удар шел приглушенный, рукоятка оставалась на льду мятые белые ямки, как молоток на парафине. Они раскачивались все длинней, накреняясь все тяжелее. РТ вошел в какой-то свой, не совпадающий с волной и ветром аварийный кач, они валились на сторону, как может повалиться будка с выросшим на крыше деревом, валились, замирали, накренившись, а борта все охлестывало и облизывало, а потом, словно сказав себе: «Ну-ка, попробуем еще разок», траулер выбирался из черных густых волн и со стоном и рычаньем медленно, но, все разгоняясь, вылезал, чтобы еще глубже завалиться...

Они метались в прожекторах, падали, хватали в охапку ледяные снасти, чтобы не улететь за борт, и их возило по этим снастям, как бусы... Где-то сзади орал старпом — Женя оглянулся: старпом в обледенелой фуфайке, без рокана, бил кувалдой по переборкам надстройки, в перерывах между ударами выкрикивая команды... В капе, на рúле, маячила фигура кэпа — видно, только он там и остался.

Один из тралов стали покрывать брезентом, и вскоре брезент с налипшей горой льда полетел за борт...

Жене было не обколотить свой участок планшира. Сил уже не хватало, лед крошился плохо, падал на палубу, а не за борт. Женя ездил от борта к вентиляционному сгибу, а когда РТ заваливался, то Женю несло, как по ледяной горке с трамплином, от гриба к борту и с каждым креном все, бывшее еще только что шероховатым и способным дать зацепиться, становилось все глаже, зализаннее, и схватиться было уже не за что...

Пробежал мимо Степан, жестом сеятеля разбрасывая по палубе песок из шайки. И вовремя — их носило, катало вдоль бортов, и даже роканы уже покрывались ледяной коростой.

— За брезентом! — крикнул Жене Степан.

Пробегая мимо каюты, Женя заскочил взять сухие рукавицы. В каюте было темно. Он зажег свет. В каюте лежал Егор. Он лежал руки за голову, и глаза его были открыты.

— Егор... — сказал Женя.

Он молча смотрел на Женю.

— А для чего? — спросил он.

Степан уже кричал из своей кладовой, чтобы Женя шел скорей.

— Чтобы спастись, — сказал Женя.

— Спастись-то... — сказал Егор и не встал.

Теперь каждую минуту Женя ощущал, что их мало. Они тащили со Степаном брезент, и брезент застревал в дверях, застревал на трапе, на палубе его сразу рвануло из рук и вместе с ними чуть не унесло за борт. Когда брезент положили на трал и по нему покати́лась вода, надо было все время поддерживать полотнище, чтобы не примерзло снизу, и тоже не хватало людей. Может, не зайдя Женя в каюту, он бы об этом и не думал... И не хватало людей, чтобы тронуть лебедку и хоть немного обсыпать с нее лед и обколоть обмерзшие ролики и тросы, и не хватало, когда гору льда со вторым брезентом они стали спихивать за борт...

Но ветер все-таки утихал. Он не рвал уже гребни воды, мачты и тросы перестали утолщаться, только иногда со снастей фока или стрелы ломало ветром сосульку, и она с хрястом дробилась по палубе. Шторм уходил, но под ногами у бортов еще стояла ледяная каша. Они плыли на утюге, и из воды торчала только ручка. Егора на палубе не было.

Потом они осели еще глубже — кэп приказал в пустую топливную цистерну принять воду. Аркадий, который обивал лед рядом с Женей, сказал, что они теряют в плавучести, зато выигрывают в метацентрической высоте. Это было понятно: груз в киле — меньше болтает. Часа полтора они еще обкалывали лед.

Потом они рванули лебедкой трал, он затрещал, но оторвался от палубы.

Потом они кулем бросили трал в Гольфстрим, чтобы оттаял.

Потом откачали за борт воду из топливной цистерны.

Потом втащили обратно обтаявший, но так и не развернувшийся правый трал.

Потом бросили оттаивать левый. Часа через два его можно будет тянуть с рыбой...

Потом... Потом... Потом...

Потом из капа крикнули, что тревоге отбой.

Когда Женя вошел в каюту, там уже стоял дядя Костя. Он молча смотрел на лежащего Егора. Затем отвернулся от него и, не говоря ни слова, стал разуваться. Пришел Буратино, снял ватник, и в каюте сразу запахло солдатами и казармой. Потом все легли. Же-

ня потушил свет, но голову на подушку положить еще не успел.

— Егор! А ты где был? — вдруг спросил Буратино. — Ты где работал?

Егор не ответил. Буратино потянулся и зажег свет. Женя не видел лица Егора. Егор лежал над ним.

— Егор! Где ты работал?

Егор молчал.

— Ты что, так и лежал? — заорал Буратино. — Не вставая?

— Уймись... — хрипло сказал Егор.

— Да, ребятаки, — сказал дядя Костя. — Повезло нам.

— А тебе что, консервная банка? — сказал Егор, и на Женю посыпалась ржавчина с пружин, так он ворохнулся. — Ты для чего здесь горб растишь? Для бабы своей? Для дочек? Дак ты, галоша, здесь банки паяешь, а они там не теряются, ты не бойся...

— Заткнись! — сказал Женя. Вышло хрипло.

Стало тихо.

— Ты кому это? — спросил Егор.

— Тебе.

— Кишка тонка, — как-то удивленно сказал Егор и вдруг заорал: — В жабры, в жабры я вас всех... Понятно? Как синюх отшкерю, поняли? И тебя первого!

Показалось Жене или Егору опять плакал? Егор еще что-то бормотал, но никто ему больше не сказал ни слова, а Женя провалился в сон.

Когда их подняли на вахту, Юра сказал, что не станет работать с Егором. Егор что-то хрипло ответил. Юра к рыбоделу не подошел, а остался под прожектором и сел на ящик.

— Эй, турист! — крикнули с капа. Юра не пошевелился.

Саша, их четвертый, подошел к Юре и спросил что-то. Юра ответил. Саша оглянулся на Егора и сел с Юрой рядом.

— Но! — крикнули из капа. — Эй вы, итальянцы! К рыбоделу!

Открылась дверь консервного отсека, и оттуда вышел дядя Костя. Посмотрел вокруг и подсел к тем двоим. Так они и сидели втроем — двое в оранжевых, сухих еще роканах, третий в сером комбинезоне с клеенчатым фартуком. Сидели, и ругань из капа их будто и не касалась.

Егор стоял, уткнув нож в стол. Он смотрел перед

собой. И Женя подумал, что Егору и сейчас наплевать на всех. Жене захотелось тоже пойти и сесть рядом со всеми. Но что-то его еще удерживало.

— Егор! — сказал он. — Решай что-нибудь, и побыстрей...

Егор молчал.

Траулер шел — трал греб за бортом следующий косяк, а в ящике лежала засыпающая на морозе треска. Вахта не работала.

— Старшего вахты — на мостик! — крикнули из капа.

— Егор! — сказал Женя. — Будет поздно.

Но поздно уже было. Егора перевели от них в третью вахту, да и это только до конца рейса. Это уж было как дважды два.

Куда ни кинь...

Как Мария Васильевна и предвидела, уговорить Колю переселиться было нелегко. Один раз она в конце смены вызвала Колю в завком и под видом делового разговора привела к себе, другой раз, словно уже хорошо познакомились и даже подружились, она встретила его у проходной с пустым рюкзаком и попросила вместе с ней сходить за картошкой. Всякий раз, как Мария Васильевна приводила Колю Волкова в свою квартиру, Коля видел Зою. Это случалось само собой.

И Коля вдруг останавливался. Ничего связного сказать он не мог. Поздороваться не выходило. Марии Васильевне казалось, что Коля вообще робок с девушками, никакого особого смысла в его оторопи при виде Зои она не видела.

И тут вдруг пришлось ей поехать в командировку. Мария Васильевна уезжала меньше чем на неделю и думала, что отъезд ее все упростит, улучшит. Начавший приживаться Коля поживет пока один в ее комнатах, попривыкнет, освоится, будет играть, когда захочет, а уж она, вернувшись, устроит его поуютней. А с общежитием ему пока рвать окончательно не надо — ни к чему, если хочет, пусть пока ночь там, ночь здесь... Мария Васильевна, отдавая ключ Коле, даже ждала немного, что он откажется, что придется его уговаривать, что придется придумывать для Коли в ее доме дела и хитрить, но Коля взял ключ сразу. Покраснел, побелел и взял. И опять Мария Васильевна не придавала

значения тому, что Коля волновался. Мало ли может быть причин?

И лишь когда приехала из командировки, почувствовала неладное. Тяжелый, уверенный нрав Тропинкина она знала. Знала и Соловьевых, всех троих женщин... До сих пор квартира жила в равновесии — Зоя мало бывала на кухне, а Мария Васильевна и подавно.

Коля все вечера сидел дома. Он то играл, то смотрел в книжку, но, как стало казаться Марии Васильевне, не читал и страницы не переворачивал. Время от времени, в надежде встретить Зою, он шел на кухню.

— Жилец-то ваш все водичку пьет, — прищурившись, говорила Валя Соловьева. — От рыбки, видать?

Коля, глянув на Зою, выпивал стакан воды и возвращался в комнату.

— Странного какого взяли, — говорила Соловьяха. — А вы как, Марь Васильевна, его прописывать будете?

— Да надо, наверно... Потом...

— А временно или, может, постоянно?

— Не знаю еще...

— Женьку, значит, выпишете?

— Ну что вы к Марии Васильевне пристаёте? Не решила она еще, — говорила Зоя.

— Я ж не у тебя спрашиваю, — сощурившись, говорила Валя. — Не ты ж его прописывать-то собираешься? Он ведь у Марии Васильевны пока живет? Вот я и хочу узнать... Мы ж жильцы, правда? От нас ведь тоже согласие требуется? Так я, Мария Васильевна, понимаю, или, может, теперь иначе как-то?

— Не знаю, не знаю... — говорила Мария Васильевна.

Наверно, она тут мешала. А ее как раз стало тянуть домой, потому, может, что какая ни есть, а дома текла теперь жизнь... Или годы шли к старости?

С Колей творилось неладное. Выходя на кухню, он словно глох, спрашивать у него здесь что-нибудь было бесполезно. Валя смотрела на Колю липкими, радостными глазами.

— Коль? — спрашивала она. — А у тебя девчонка на комбинате есть? Ну хоть какая, завалящая самая? Заведи! А то узнают, что нет, так тебя сразу тридцатилетние бабы в оборот возьмут! Пошел бы потанцевать куда! Чего все дома сидишь?

Мария Васильевна взглядывала на Соловьяху, но сказать было нечего — пожалуй, Валя искренне желала

Коле добра. Она бы, может, и сыну своему тоже такое сказала...

Зоя была лет на десять старше Коли. Смуглая ее кожа — Мария Васильевна это знала — была горячая на ощупь. Зоя стояла у окна кухни, смотрела на темную улицу, и тонкие голые руки ее в локтях прогибались в ту сторону, куда гнуться были не должны.

«Что делать?» — думала Мария Васильевна. Никто о помощи ее не просил, Мария Васильевна всюду мешала.

Старик в синих носочках

Вахта шла за вахтой. Егора они встречали лишь на пересменке, он спал в каюте, когда их не было, и уходил еще до того, как они приходили.

Шли восьмые сутки рейса, оставалось до берега еще больше двух недель.

Погода менялась через каждые несколько часов. То теплело и талый ветер разгонял волну, и тогда они убрали тралы, разворачиваясь носом к ветру, то опять начинало холодать, и опять смены засыпали и просыпались под тревожные крики палубной вахты. Женя плавал шестой год, но такого рейса еще не видел. Рыбы брали мало, зато через каждые три-четыре трала штормовались. И опять Женя стоял на руле, слушая, как перебрасываются полуфразой в полчаса кэп и старший помощник. Наставник, после того как они оледеневали, в рубку больше не входил. То ли все же простудился, то ли забарахлило сердце. Женя видел, каким тот орудовал ломом, а сам-то был как птичка. Наставнику теперь юноша с камбуза носил обеды в каюту, но так же и уносил все обратно, почти не тронутое. А чай наставнику заваривал сам кэп — это на пароходе было известно. Жене и хотелось бы посмотреть на старика, да только как это сделать — он не знал, не ровесники они были, да и не ровня. А увидеть его Жене хотелось. Старик качнул в нем какой-то маятник, часы какие-то, уже словно готовые к работе, только ждавшие, чтобы их качнули; и теперь, стоя на руле и вглядываясь то в тусклое пятно компасной картушки, то в темноту перед форштевнем, Женя слышал в себе ход этого механизма, который медленно мотал с валика на валик длинную ленту...

Женя Морозов был у Аркадия, когда наставнику пришла телеграмма.

— Давай отнесу, — сказал Женя.

За дверные ручки радиорубки и каюты наставника можно было взяться одновременно — только встать поперек коридора.

— Телеграмма вам, — сказал Женя.

— А, — сказал наставник, — это ты? Сердитый Морозов?

— Как себя чувствуете?

Выходило неловко.

— Да как? Обыкновенно.

— А говорят, вы заболели?

— Ничего, — сказал наставник. — Я — скрипучее дерево.

Он взял телеграмму и пробежал ее глазами.

— Ответ будете давать?

— Буду. Как там тралы?

— Да ничего. Больших мешков не тянем.

— А рыба какая?

— Примерно вот... — Женя показал, какую тянут треску.

— Сантиметров сорок?

— Полуметровой мало, — сказал Женя. — Да вы больны. Что вам сейчас о рыбе думать.

— Много ты понимаешь, Морозов. Больны, здоровы... Сядь-ка. Не вахта у тебя сейчас? Ну так и сядь.

— Вам утомляться ни к чему.

— Умные все, — сказал наставник. — Говорят тебе — сядь. Скажи-ка ты мне, пожалуйста, Морозова, председатель завкома на комбинате, не родственница тебе? Мария Васильевна?

— А что она вам сделала? — насторожился Женя. — Что это вы ее вспомнили?

— Эх, парень, — тихо сказал наставник. — Я ведь Марию Васильевну лет двадцать знаю, если не двадцать пять. Сын, что ли?

— Сын.

— То-то. Сиди.

Помолчали.

— Отца-то в войну потерял? — осторожно спросил старик.

— Здесь, на Севере, — сказал Женя. — На Рыбачьем.

— Бывал в тех местах?

— Мимо ходили, а не бывал..

— Да, — сказал старик. — Это, пожалуй, тебе надо посмотреть. Особые места. Горбыли базальтовые. И

ущелья. И до сих пор еще пулеметные гнезда из камня стоят...

— Может, вы вместе с моим отцом там воевали?

— Очень может быть. Там наших северян легло... Без счету.

— А скажите, Антон Василич, — сказал Женя и остановился, — вы вот десанты отбивали, сами в десантах участвовали... Меня интересует... Ну, понимаете, вопрос такой общий, обычный даже наверно...

— Какая разница? — сказал старик. — Общий, не общий, раз интересует тебя, так и спрашивай. Мы же вдвоем.

— Как бояться перестают люди? — спросил Женя. — Допустим, десант, атака, лезут на тебя толпой. А у вас недостаточно сил, чтобы отбиться, и вы это знаете...

Качало. Легонько звеня, ездил в стакане ложечка.

— Книжки есть, — сказал старик и улыбнулся. — Фильмы.

— Нет, вы о себе. О том, как у вас это было. Как перестали бояться.

— А я и не перестал. Я всю войну и смерти боялся, и боли боялся...

— Но ведь воевали?

— Воевал.

— И в атаку ходили?

— В атаку-то? Ну, если в десанте был, как ты думаешь, ходил я в атаку или не ходил?

— Я о том и говорю... Значит, преодолевали свой страх?

— Ну первый раз это не в атаке, пожалуй, было...

Кто-то, приглушенно топая, пробежал мимо каюты, хлопнула дверь капа, там стали ругаться, дверь снова хлопнула, и те же шаги проследовали обратно.

— Расскажите, — попросил Женя.

— Ну тогда уж сначала. Не торопись?

Старик взял стакан с холодным чаем, поболтал его и поставил обратно на столик.

— Было это летом сорок второго, здесь, на Севере... Ты о ленд-лизе слыхал?

— Нет.

— Ну так назывались планы помощи, которую союзники нам оказывали во время войны. Ленд-лиз.

— Слышал, — сказал Женя. — Слово только из голловы выскочило.

— Ну вот. По этим планам полагалось большое количество всякого военного оборудования доставлять к нам в Мурманск и Архангельск конвоями кораблей, а немцы, конечно, эти конвой сторожили. Подводные лодки у немцев здесь так и назывались даже в официальных отчетах — «Полярная волчья стая». Ты если расспрашивать начнешь, так о том, сколько здесь судов на дно легло, тебе порасскажут, — народ, что участвовал в этих перегонах, еще есть. Ну так вот. Конвой, значит, собираем. В Рейкьявике, в Исландии. Собираемся чуть не месяц. То грузы еще не готовы, то военные корабли не в сборе, то погода не та. Ну ничего, вышли наконец. Впереди крейсера дорогу смотрят, по бокам английские эсминцы, с крейсеров иногда «харрикейн» поднимется и над конвоем пролетит — в общем, чувствуем себя под защитой. А конвой громадный — хвостина в несколько миль, да еще мили полторы в ширину. Сухогрузы, танкеры, пассажирские теплоходы торговых компаний, и экипажи набраны по всему свету — одни в Панаме, другие в Австралии, негров много, индейцы даже есть. Ну и наших два судна в конвое, советских... Все. Идем. Забираем к северу, к самой кромке льдов, чтобы от подводных лодок уйти. Трое суток идем, пятеро. Потерь пока нет, если не считать, что один американец сел на камни еще около Исландии. Корабли охранения поблизости, погода тихая, полярный день всюю горит — солнце кругами ходит. Курорт. О том разгроме, который нам впереди светил, никто, понятно, не подозревает. Но нервность какая-то уже начинается. Нам в бинокль видно — в танках, которые повсюду к палубам принайтовлены, везде люки открыты, и орудия ходят вверх-вниз. Пломбы, значит, посрывали. Мы тоже — чуть не в касках спим... А на следующий день была бомбежка, когда треть конвоя потонула. В том числе и наш транспорт. Вот тут-то, собственно, и произошло то, о чем я тебе хочу рассказать. После этого налета конвой разметало — крейсера еще раньше удрали, эсминцы за ними, а транспорта — кто куда... Кто в Мурманск решил прорваться, кто — в Архангельск, кто — к Маточкину Шару, а один англичанин к кромке вечных льдов даже пристал и южный борт себе белилами выкрасил. А мы — в шлюпке. Представь себе получше — каково в этих широтах остаться в шлюпке. Весла, одежда — кто в чем за борт прыгнул — вот и все. Только на горизонте другая шлюпка идет, не знаем, с какого транспорта. Мне в красках переда-

вать эту картинку как-то уже теперь трудно, много лет прошло, но ты все же попытайся... А через несколько часов всплывает между нами и той шлюпкой подводная лодка. Сначала идут к той шлюпке. Мили три, наверно, между нами. Слышим, через некоторое время пулеметы ударили. Потом выстрел из пушки, еще один. Мы легли за борта, чтобы пониже торчать над морем, — вдруг не заметит, но какое там. К нам идет. А у нас в шлюпке офицер-артиллерист был, такой лет под пятьдесят, старик, тогда так мне казалось. Он пушки принимал в Рейкьявике. Вроде военпреда. Он и говорит: «Все равно ничего такого уж героического сделать нам не придется, оружия никакого у нас нет. Я думаю, что нам мало что осталось, но кое-что все же осталось. Мы можем, например, на них внимания не обращать. Так ведь?» Вылезли мы все наверх, на банки, сели, а этот наш артиллерист и говорит: «Я тут у кого-то ножичек видел хороший — дайте мне его, хлопцы... Надо русский обычай вспомнить». Дали ему ножичек. Он его раскрыл, попробовал на ногте. «Хорошо, — говорит, — наточен, а все равно драть будет, неприятно...» Зачерпнул в шлюпочный ковшик-лейку воды из-за борта и приладил ковшик перед собой на банку. «Слава богу, штиль, — говорит, — побриться хоть можно. А вы мне советуйте — иначе я все равно виски неровно подбрею...» Лодка же идет к нам. Кто-то обмылок под решетками нашел, раскисший, а все же обмылок. «Спасибо, — говорит наш артиллерист, — только вода соленая — все равно мылиться не будет, да и зеркало не очень-то хорошее». И все о такой белиберде, а нам жить осталось, все чувствуем, минут десять. Подходит лодка. У пулемета в каске сидит, рукава закатаны, один, другой стоит рядом, в рубке. Кричит что-то нам. «Не вставать! — говорит наш артиллерист. — И не отвечать! И не глядеть на них — ничего приятного не увидите. Может, кто хочет их отматерить? Но только чтобы как следует. Нет желающих?» Мы молчим. Немцы опять что-то кричат. «Вот добреюсь, — говорит артиллерист, — что-нибудь сообразим... Сволочь какое. Сами не знают, чего хотят...» Понимает, наверно, а мы не понимаем, что там орут. Стрелять в нас они почему-то не стали, просто протаранили, шлюпка перевернулась, и мы все снова в воде. Часа три бултыхались, пока снова ее перевернули и воду вычерпали. Но знал бы ты, какое торжество мы все испытывали! Кочене-ем, уродуемся, продукты на дно ушли, раненый на спа-

сательном жилете без сознания плавает, а у нас праздник... Мне, во всяком случае, после этого дня жить легче стало. Я ведь тоже вместе со всеми молчал. И знал уже, что и под чужим дулом можно себя сохранить, а расстреляют или не расстреляют — дело, конечно, не маленькое, но все равно — не самое первое. Есть и поважней.

— А как вы потом спаслись? — спросил Женя.

— Ну там еще долгая история, через сутки нас транспорт английский подобрал, потом и его потопили; может, та самая лодка. Одиннадцать суток до Новой Земли на веслах шли. Нас потом Мазурук с Новой Земли снимал. Слышал о таком?

— Глухо.

— Да. Глухо, — повторил старик. — А ведь он одним из первых Героя получил. И кто мог подумать тогда, что пройдет двадцать пять лет, и на Баренцевом море знать о Мазуруке не будут? Он ведь даже жив еще. Ну а у вас, конечно, свои герои будут. Только неужто всех наших вы забудете?

— Мы до седых волос в мальчишках что-то ходим, — сказал Женя. — У вас как-то сразу этот этап проходили — комбаты двадцатилетние, полковники в двадцать пять, а мы что? Что мне делать, если не ставит передо мной жизнь тех вопросов, которые перед вами ставила?

— Не ставит, говоришь? — сказал старик и посмотрел в угол каюты, словно видел там что-то, чего не видел и не мог увидеть Женя. — Ну раз не ставит, то и говорить, конечно, не о чем. А только как же — что такое жизнь? Это ведь и ты сам? Верно? Легко живешь? Да не сказать, наверно, чтоб легко. Вот и смотри. Что годно для твоей жизни, а что — негодно. Тем, может, настоящий человек от ненастоящего и отличается, что его не собьешь на то, чего делать нельзя. А понять, что нельзя, — это в человеческих силах...

Обижает, моряк Морозов...

Морозов стоял на руле, был декабрь, и их штормило в темноте уже которые сутки.

Внизу, под капом, Юра стоял в рыбе, которую они перерабатывали на муку, и рубил ей головы — тренировался, вместо того чтобы смотреть ленту или спать.

К концу вахты они снова стали обмерзать. И снова отяжелел нос, и борта отяжелели, и стали толстыми

снасти. Была дана общая команда: всем наверх. Егора на палубе Женя не видел. Мысль о Егоре сидела в Жене, как заноза, вычеркивая Егора из своей жизни, Женя вычеркивал и еще что-то, и он еще не знал — хочет ли того сам...

И дядя Костя, показалось Жене, тоже искал глазами Егора. Сейчас, обкалывая лед, он говорил Юре:

— Это не те волны. «Медведь», он идет поперек всех или вдоль или наискось — ему разницы нет. И ветру может поперек пойти. Если на «медведя» попадешь, так не перепутаешь — я вот два раза на нем катался... Вельботы и прожекторы, хоть крепи, хоть просто так на палубу положь — все равно ничего не оставит. А то и без мачт...

Женя побежал вниз. В каюте было темно. Женя зажег свет и увидел спину Егора — тот лежал, отвернувшись к переборке.

— Кончай дурить, Егор! — сказал Женя. — Ну кончай же!

Егор не поворачивался, но по тому, как он повел головой, Женя понял, что Егор не спит. Он взял Егора за плечо, не схватил, не дернул, а просто руку положил, почти ласково...

— А ну, не трогай! — крикнул Егор. — Не трогай... Дерьмо!

Руку Женя не убрал. Его только шибануло в пот. Егор, это тот Егор, с которым он, Женя...

— Егор, — сказал он, — не надо. Мы же врагами становимся — разве ты не видишь? Мы разве не плавали с тобой четыре года?

Он потянул Егора за плечо... Егор рванулся на койке, и его красное, напрягшееся лицо повернулось и оказалось вровень с лицом Жени. Волосы Егора были почему-то мокрыми...

— Слезай! — сказал Женя и дернул Егора за руку. — Ну, слезай. Ты сам не знаешь, что делаешь! Пойдем на палубу...

Шкерочный нож Егора был заткнут за рейку на переборке. Егор схватил его не глядя, привычно поведя рукой сзади себя, и под низким плафоном матово блеснуло широкое, скругленное с одной стороны голубоватое лезвие.

— Ты сумасшедший... — сказал Женя. Он не сдвинулся с места, только ноги стали как чугунные тумбы. Над ножом были глаза Егора, побелевшие, бессмысленные, пот каплей выжался на переносице.

— Нет меня, понял! Нет меня! И без твоей собачьей заботы проживу!

— Значит, собачьей... — сказал Женя. Он шагнул к двери, но пароход качнуло, и он чуть не налетел лицом на торчащий все еще в проходе нож.

На палубе лениво колотили по льду.

— Отбой ледовой тревоги! — сказали из капа: видимо, ветер переменился.

Женя не мог сразу сейчас прийти в каюту. Он отсиделся в салоне, а когда пришел в каюту, Егора на койке уже не было. Женя еще не успел раздеться, когда пришел Аркадий.

— Слушай, Женьк, — сказал он. — Егор сейчас у кэпа был. Пересадите, говорит, на встречный, чтобы в Мурманск уйти.

— А идет встречный?

— Идет. Часа через два разойдемся.

— Ну, а что кэп?

— Отказал.

— А ты думал, — сказал дядя Костя; он все слышал. — Что это за павлин, ваш Егор, чтобы для него в шторм шлюпки спускать.

— Допекли вы его, — сказал Аркадий. — Пообвыкся бы...

— Вот и хорошо, что не пообвыкся! — опять завел дядя Костя. — И взял бы его к себе, раз жалешь...

Тут они все оглянулись.

Егор стоял в дверях. Он ничего не сказал. Только отодвинул Аркадия, взял со своей койки рукавицы и вылез из каюты. И не посмотрел даже ни на кого.

— Вот так, — сказал Аркадий. И говорить было больше нечего.

Дня через два пошла рыба, как давно уже не шла. Они гребли ее трал за тралом, Аркадий давал радиogramмы оповещения, и за ними по Баренцеву вытянулся десяток на два миль хвост своих и норвежцев. Несколько дней у них работала вахта с подвахтой.

Треска шла так густо, что в ее косяках запутывались даже мелкие акулы. Они выловили их несколько штук — метровых, свирепых катранов, а одну, наверно выкинутую шутниками с соседнего траулера — выпотрошенную, но еще более свирепую, и она, уже пойманная во второй раз, еще успела отхватить хвосты несколькими рыбинам, когда оказалась с ними рядом в ящике.

Через две недели они уходили из Гольфстрима, как

с широкого шоссе автомобиль сворачивает на свой проселок.

Развалили на щиты рыбодел, принайтовили траловые доски и бобинцы, Степан струей из брандспойта гонял по палубе рыбы головы и требуху. Впереди, на юге, светлело небо. Стало заметно морозить — они подходили к берегам.

Женя стоял на палубе. Где-то здесь, рядом, на Териберке, кажется, ему говорили, существует трехслойное озеро. Слой пресный, слой морской, а ниже — все в сероводороде. И дно — будто кладбище заблудившихся рыб: попадет не в свой слой, надышится не тем, а потом валится на дно и больше уже не всплывает. Вот какое смешное озеро, — ходи по его берегу и думай.

У Жени на камбузе, в «тараканьем» отсеке, — так и звали этот рундук — лежала голова акулы-катрана. Тараканы чистили ее уже около недели, и череп стал совсем беленький, словно из неглазированного фарфора, но еще немного пахивал рыбой, и теперь эти ребята — черные, жирные и трудолюбивые неимоверно — работали внутри. Когда череп стал совсем звонкий и чистый, Женя отнес его капитану-наставнику. Наставник все еще лежал, но был в праздничных синеньких носочках и глазки у него поблескивали. А тогда с Егором пересаживаться на встречный он не захотел.

— Пепельницу сделаю, — сказал он. — Спасибо, дружище.

Пепельница была бы дрянной, но Женя ему этого не сказал, да наставник и сам это знал — только ему хотелось Жене поприятней ответить. А зубы на акульей черепушке отливали даже голубым — до чего были острые.

— Сувенир, — сказал наставник, — так сказать, знак внимания... Послушай, а может, зайдешь когда на берег?

— Может быть, — сказал Женя. — А вспомните?

— Обижаешь, моряк Морозов, — задумчиво сказал наставник. — Заходи. А то, может, на Рыбачий вместе съездим.

На палубе Степан все крепил и рассовывал по кладовым. Никто не спал, и по чистой, слегка подмерзающей палубе бегал народ с полотенцами через плечо, и в душ стояла очередь. По всем каютам жужжали бритвы.

В пятнадцать с минутами они встали к причалу, а через два часа Женя сидел с Верой в кафе «Снежин-

ка». Ну и твердая же все-таки земля! Не пошатнется, не вздрогнет! Стоит себе и стоит. Они смотрели друг другу в глаза. А Вера была все такая же — серебряная, тоненькая, только в глазах ее Жене чудился то упрек, то испуг, то усталость.

— Ну что? — спросил он. — Как наши общие дела?

— Превосходно, — сказала она. — Я ведь все вижу... Только не надо ничего объяснять.

Молчать они не умели. Кажется, впервые за три года, что они были знакомы, ему было жаль Веру. А говорить было нечего.

— Так вот что... — сказал он.

— Женья, не надо меня жалеть... Хотя нет, отчего же? Пожалейте меня! Может, хоть так у нас что-нибудь выйдет.

И опять куций, однозначный смысл ее иносказаний повис над их разговором.

Может быть, она уже и не шутила. Только казалась Жене она сейчас уже почти сумасшедшей. Маньячкой.

— Передразнили, Верочка, — сказал он. — Было, да прошло... Все прошло.

— Знаю. Но мне не хотелось, чтобы у нас было все так, как у всех.

Тихо было в кафе. Народ сидел, а шуму еще не создавали. Предвечерний час.

— Да уж, — сказал Женья. — И вышло — как ни у кого...

— Женья... — она посмотрела на него. — Впрочем, что же теперь?

И опять они сидели, только мокрый снег лепило на стекла кафе, и люди ходили неслышно по дорожке между столиками — такие же, наверно, рыбаки, как Женья, которым надо после рейса прислушаться к своей душе.

— А что же вы — мужчина — меня не остановили? — спросила Вера. — На что же вы-то были? Послушайте, Женья, что с вами стало? Вы какой-то другой... Я бы, наверно, сейчас уже не могла с вами так разговаривать.

— Да и я бы не стал, — сказал он. — Мы ведь друг друга чуть не отравили.

Тут раздалась музыка — видно, в автомат бросили монетку. Мужской голос поплыл над ними.

— Женья, — сказала Вера. — Все плохое прошло. Мы ведь не будем больше кривляться? Ну хотите, я вам скажу то, чего не говорила никогда? Я все ждала, когда же вы меня ударите, заорете, встряхнете... Где же

вы были? А сейчас вижу ваши глаза — и это то же самое, как если бы вы меня ударили...

Он молчал. Только жалко ее было, и мстить ей, хоть и было за что, он не хотел.

— Ладно, — сказал он. — Вдруг мы с тобой, Веруша, еще когда-нибудь встретимся? Вас ведь иногда посылают на траулеры? В командировку?

И даже не заметил, как впервые сказал ей «ты».

Матери на комбинате не было. Ее не было и в комбинатском общежитии, и не было в Доме культуры. Он позвонил домой.

— Женюшка... — сказала мать в трубку. — Сынок... Приходи-ка. Я что-то тут запуталась...

Запуталась. А ему-то казалось, что ей всегда все ясно.

Женя пошел пешком мимо комбината. В прожекторах над цехами носились чайки. Чайки орали. Это были не те чайки, что висят у борта в море. Порода, быть может, и одна, а характер совсем другой.

Дальше пошли пустыри, потом снова освещенные улицы — теперь ведь города строятся островами, и тут стоял большой, весь в огнях, магазин, и около него, задрав головы, несколько ребятишек смотрели, как улетает вырвавшийся у кого-то из рук розовый шарик.

Женя прибавил шагу.

Через два дня наступал Новый год.



Вторая „американка“

ПОВЕСТЬ

Разбудил нас вчерашний милиционер. Он стоял около остывшего костра, ворошил палкой рыбы кости и рачьё скорлупу и, покачивая головой, кашлял, как актер в самодеятельности.

— Кто там? — спросила из своей палатки мама.

— Милиция. — И, услышав, что мы все проснулись, добавил:

— С сегодняшнего утра в дельте карантин.

В маминой палатке стало тихо, а потом полог открылся рывком.

— Что такое? — спросила мама. — Почему?

Слово, которое мы слышали, было из прошлого века. Оно было желтое, и прыгучее, и пятнистое. Оно было быстрое и прилипчивое. Раз прозвучав, оно уже сидело везде.

— Холера, — ответил милиционер.

А ведь так все хорошо начиналось.

I

Вы когда-нибудь спорили на «американку»? Если не спорили, то и не советую. Допустим, стоишь с приятелем на автобусной остановке, смеетесь, жизнь прекрасна. И вдруг он говорит:

— Видишь вон ту?

Давно стоим. Вижу. Красная такая, в очках.

— Боюсь я за нее, — вздыхая, говорит приятель.

— Почему?

— Упасть может. Наверно, видит плохо.

Ну да, плохо! Всем бы так! Знай, зыркает из-под очков. Да и с отцом стоит.

— Нет, — вздыхает приятель, — если мы можем человеку помочь, то мимо проходить не должны. Видишь, у нее шнурок развязался?

— Ну развязался, твое какое дело?

— Мое-то ладно... А вот ты пошел бы, завязал.

— Я?!

— Иди, иди, — говорит он. — Ну сделай это для меня. На одно колено встанешь? Так красивей!

— А пошел ты.

— Птицца ты моя, — ласково говорит приятель (мода такая сейчас людей птицами звать), — рыбба ты моя... «Американку» забыл, гад?

А не дай бог спорить со взрослыми. Особенно, если это кто-то близкий. Да и зачем? Заставлять его кукарекать в магазине? «Американку» у дяди Тиграна я выиграл нечаянно.

Проходя по лестнице к школьным мастерским, я увидел двух девятиклассников — они курили около подвала в рукава. Один и говорит:

— Схлопотал в дневник?

А другой выдохнул дым и отвечает:

— Зато я ему бумагу в контакты. Повключает теперь.

Была давняя договоренность, что существуют два человека: Тигран Грантович, мой преподаватель труда,

и дядя Тигран — папин друг детства. И не путать. Школа есть школа, а вне школы — значит, вне. Считать, будто есть два человека.

Сейчас первый из них никак не мог включить токарный станок. Станок гудел, а сверло ни с места. У Тиграна Грантовича стали неодинаковыми глаза. Он схватил табуретку — и к щиту, где предохранители. Целые! Он опять к станку. Щелк! Ни с места. Наши ребята вокруг начали улыбаться. Такого я стерпеть уже не мог. Боком рта говорю:

— Тигран Грантович, я знаю, в чем дело.

— Отойди, — говорит, — и не мешай!

А углы губ у самого книзу поехали. Наверно, первый раз в жизни ему непонятно, что там с техникой. Опять к щиту. Я подвинулся за ним и тихонько так говорю:

— Дядя Тигран, точно знаю!

— Отойди, Беляков!

Вот уже, значит, как. По фамилии. Ну я тоже разолился.

— На «американку», что знаю!

А дядя Тигран спортсмен. Не принять вызов не может. Вижу, незаметно сует ладонь. Заключились.

— Бумажка, — говорю, — в контактах всунута.

Он глянул. Точно. Вынул бумажку. Нажал на кнопку. Пошло сверло.

— Сам, — говорит, — сунул?

— Нет.

— А откуда знаешь?

Продавать девятиклассников я не стал. У них свой муравейник, у нас свой. Знаю, и все. Вот так и выиграл. А куда ее девать, эту «американку»? Месяца два я никак не мог придумать.

Только когда мы летом стали собираться ехать в Астрахань и дядя Тигран заколебался — ехать ли с нами, тут я и вспомнил. Я подумал о том, что у нас в семье в последнее время что-то часто сыплются искры, и хорошо бы, если дядя Тигран был между нами вроде той бумажки в контакторе. А то ведь семейное сверло сверлит меня, не кого-нибудь. Я дяде Тиграну и говорю:

— «Американочка». Поезжайте-ка с нами.

— Да я и так поеду, — говорит. — Без твоей вонючей «американки». Носи ее с собой, да не потеряй.

Я и носил, понимая, что это вроде бумеранга — швырнуть-то можно красиво, только смотри, как бы

себе же по лбу не вышло. Дядя Тигран тоже, видно, очень отчетливо понимал, как мне нелегко, и еще в поезде злорадно спросил:

— Везешь с собой?

— Кого?

— Да «американку» свою.

Ничего, думаю, придумаем что-нибудь.

— Вези, вези, — говорит, — вдруг понадобится.

И накаркал.

А ведь так все отлично начиналось.

II

Рассказы о тех местах я, конечно, сто раз слышал, но думал, что это басни рыболовов. Ну покрупней, ну почаще клюет... Я не верил. И зря.

Еще и палатку не поставили, а сказка уже началась.

Лишь только свалили рюкзаки и взрослые стали озира́ться и спорить, с какой стороны полетит комар, я быстро собрал спиннинг, приладил катушку и зашел по колено в воду. В первый же раз, как я пытался забросить, палец у меня скользнул, катушка, фырча, раскрутилась, и леска петлями вылезла наружу.

— Спиннинг, между прочим, в семье один, — спокойно сказал папа.

Помню отчетливо, что спиннинг этот на день рождения подарили именно мне. Но теперь об этом как-то не вспоминалось.

— Не ошибается лишь тот, кто ничего не предпринимает, — сказал дядя Тигран.

— Точно, — подхватил папа. — Ведь Дмитрий мог просто взять топор и разрубить спиннинг пополам. Но он этого не сделал. Или в костер сунуть. Но он этого не сделал тоже. Мог тройником кого-нибудь из нас за ноздрю поймать. А мы все целы. Ай да Митя! Да здравствуют умелые семиклассники! Твои ученики, Тигран, все такие кретины?

Раз он так разговорился, это означало, что вовсе не так уж ему интересно ставить палатку и полог, и он тоже бы хотел сразу позакидывать. Сказать по правде, из-за этого я больше всего и любил с ним ездить. Ему все время хотелось не того, чем взрослые занимаются в первую очередь, да еще с озабоченными лицами — как бы поест, да где будем спать, да если дождик пойдет,

тогда как, — а действительно интересного: вот на Волгу в дельту приехали рыбу ловить, так чего в первую очередь хочется?

Папа стоял на берегу, держал в руках за два угла днище палатки, дергал его невпопад дядя Тиграну и смотрел на меня не отрываясь. А у меня на катушке висел моток из петель и узлов, и блесна, как кнут, стегала по воде. Тут это и произошло.

В темной воде около блесны вдруг возник небольшой водоворот, вороночка эта пошла наискосок-наискосок, мелькнуло в воде что-то светлое, как зеркало или блюдо, потом резко дернуло, и я вцепился в спиннинг. Конец его круто загнуло вниз, потом приотпустило, снова уже тяжело и в одну сторону потянуло. С берега заорали взрослые.

— Не рви, не рви резко! — кричал папа.

— Мы сейчас! — кричал дядя Тигран.

Слышу, шлепают сзади по воде.

— Дай мне, — кричит папа. — Тебе не удержать!

— Да ну, — говорю, — чего тут держать-то...

— Дай лучше я возьму! — кричит дядя Тигран. — Не выпрямляй, не выпрямляй конец! Сохраняй упругость конструкции! От воды дальше держи!

Дальше! Мне бы вообще устоять...

— Ну дай же! — кричат.

Не даю.

— Тогда, — говорит, — пятайся на берег, а мы тебя будем поддерживать!

И повели, как санитары психа, спиной вперед...

А уж как она на мели стала рваться, эта рыбина! Жилка воду режет, у рыбины то хвост наверх вылетит, то голова, то спина черная с плавником, плавник стоячий, живой, хвост черный, но вроде светится немного, красноватым отливает... А потом уж совсем мелко стало — по щиколотку, рыбина боком носится, чертит воду, шлепает хвостом...

— Ведро! — кричит папа.

— Сачок! — кричит дядя Тигран.

Прижали рыбу на мелководе, схватили.

— Сазан! — говорю.

— На блесну-то?! — говорит папа. — Сазан? Сам ты сазан!

— Плотва, — предположила мама.

— Сама ты... — в пылу сказал папа. Понятно, что сгоряча. К тому же не договорил.

— Ну прямо Макаренко. Не правда ли, дорогой?

Нинка Томашевская тоже никогда не пропустит, если при ней вдруг что-нибудь сорвется с языка. Не мужская черта.

Рыбина оказалась жерехом. Когда мы запихнули ее головой в ведро, то хвост еще на полторы ладони торчал наружу. О палатке, понятное дело, забыли, на рыбину любимую.

— Ну, Митька, — говорит дядя Тигран. — Видал рыболовов, но таких...

— А на него, как на приманку! — говорит папа. — Если человек не моется, знаешь, как вокруг него клюет...

Мама только головой покачала.

А дядя Тигран все смотрел-смотрел на воду, где я только что стоял, и вдруг говорит:

— Необычное место мы нашли. Гидродинамика особая. Смотрите — там, под водой то ли яма, то ли обрыв, а может, и выход подземной речки.

— Еще не чище, — встревожилась мама. — Три тысячи километров ехали, сегодня весь день ищем... Купаться-то как?

— Хорошее место, — сразу сказал папа. — Остаемся.

Но потом тоже на воду стал смотреть.

— Еще три шага, Митрий, — сказал он, рассмотрев, — и мы бы сейчас тебя где-то ниже по течению искали.

— Да что ты говоришь такое! — крикнула мама.

— Вот так, Митрий. Понял?

— Понял, — сказал я.

Тонуть, конечно, не хотелось. А действительно, совсем рядом с тем местом, откуда я закидывал спиннинг, на воде был как бы бугор, а рядом как бы яма. Вода текла здесь не совсем плоско, а по ней что-то крутилось, носилось и убегало вглубь, а другая струя шла из глубины и разбегалась во все стороны. То тут, то там в воде крутились рыбы спины, оставляя маленькие воронки, мелкая рыбка около этих воронок скакала из воды, тут же носились чайки, пикировали, задевая воду клювами и грудью, а потом громко били крыльями, вздымая брызги, и, схватив малька, косо взмывали вверх.

— С точки зрения гидродинамики, — по-школьному глядя на меня, сказал дядя Тигран, — происходит следующее. В быстрой струе больше кислорода, больше мелких водорослей. Малек лезет в эту струю, тут его снизу жерех...

«Так что ты, хоть и без зубов, а хищник», — подумал я, глядя на громадный хвост, который торчал, помахивая,

из ведра. Впрочем, чего врать-то? Хищник, не хищник. Для того и приехали, чтобы рыбу ловить.

Папа с дядей Тиграном, конечно, стали тут же приводить в порядок спиннинг. Обоим хотелось поскорее забросить.

— Зачем нам снасть в пятьдесят метров? — спросил папа.

— Ни к чему, — ответил дядя Тигран. — Такие лапти под ногами ходят. Режем.

— Ясно, — сказала мама. — Как всегда, на первом месте у нас ерунда. А ребенка кормить? А вас самих? Помните, что вчера нам рассказывали? Темнеет уже!

А рассказывали нам, что будто в прошлом году двое студентов, которые были в дельте на практике, заблудились. То ли у них лодку течением унесло, то ли просто отыскать не могли, а в лодке вся одежда. Вот и ночевали в камышах, в одних трусиках. Через сутки их будто нашли уже ненормальными — от комаров.

Я прислушался. Комарики и правда звенели, ноги уже зудило, но до того, чтобы от этого вообразить себя королем Испании, было еще далеко.

На другой стороне нашей протоки стояло одинокое большое дерево, над ним кружилась огромная легкая птица, похожая на утащенный ветром газетный лист, а левее по берегу все стояли кусты, кусты да кусты, у нас же, на нашем берегу, рос небольшой искусственный лесок и бродила меж деревцами наша, своя уже птичка — пестрая с длинным тонким клювиком и на тонких ножках. Птичка останавливалась недалеко от нас, поглядывала одним глазом и подмаргивала, должно быть, ждала, когда с ней заговорят.

Местечко, одним словом, отыскиали клевое. В полном смысле.

III

Проснулся я раньше всех от какого-то звука. Одна половина палатки была уже в солнечных пятнах, и я вспомнил вчерашнюю рыбину.

Звук раздался опять. Будто кто-то маленький — с ладошку — чихнул. Потом брякнула крышка на сковородке. Потом еще раз. В нашей посуде копались!

Я посмотрел на маму. Мама спала, закрыв то место прически, под которым было ухо, уголком одеяла. Одинокая, такая одинокая. И мне вдруг захотелось разбудить ее, растормошить...

Сковородка опять звякнула. Я расстегнул костыльки полога и тихонько выглянул.

У остывшего костра, схватившись лапками за край сковородки, стоял небольшой коричневый зверек. Нырющим движением мордочки он пытался поддеть крышку, но крышка была поменьше, не от этой сковородки, и потому зверьку никак не удавалось ее подцепить.

Поодаль от костра маячила вчерашняя приветливая птичка. Видимо, подходить к зверьку ближе она считала невежливым, но хотела быть в курсе дел.

Зверек все нырял своей маленькой аккуратной голловкой.

— Что, дұрачок, делаешь? — тихо спросил я его.

Он поднял головку и замер. Одной лапкой он опирался на край сковородки, усики, которых я раньше не заметил, встали метелочками, глазки уставились на меня. Я вспомнил, что где-то читал, будто среди животных прямой взгляд в глаза считается враждебным. Я старался смотреть не прямо, — так — вскользь, вбок.

Он постоял, потом тихонько убрал лапку со сковородки и мягкой дугой прыгнул в сторону. Еще два прыжка, после каждого из которых он оглядывался, и я перестал его видеть.

Птичка осуждающе посмотрела на меня, потом внимательно в ту сторону, куда скрылся коричневенький, деловито подошла к сковородке и как бы с сомнением что-то с краешка клюнула — чем, мол, тут угощают? Глаз ее на мгновение подернулся белым — то ли от удовольствия, то ли от отвращения... Что я скажу маме, когда ее разбужу? Пойдем ловить рыбу? Что бы мне такое для нее сделать? Я еще раз глянул кругом, увидел пятнистые от солнца берега, воду, пикирующих чаек и решил, что вот сейчас вылезу и тогда будет легче придумать.

Дядя Тигран и папа спали в марлевой палатке-пологе. Сквозь марлю их было хорошо видно, на марле кое-где сидели комары — наверно, тоже видели папу и дядю Тиграна и размышляли: кто вкусней? Я присел на корточки и сказал, чтобы просыпались. Потом ведь будут говорить, что я их не позвал. Дядя Тигран сразу же открыл свои совершенно круглые глаза, посмотрел на меня очень ясно и ответил бодрым голосом:

— Молодец. Сейчас. Разматывай. Иду.

И закрыл глаза. Лицо у него стало строгим, почти сердитым. Я подождал минуту. Хотя до тех пор он лежал спокойно, тут он вдруг всхрипнул, перевернулся на

другой бок и стал зарываться в спальник, как еж в ли-
стья.

— Дядя Тигр, — сказал я.

— Хрь... хрь... хрь... — свирепо ответила мне та куча,
которая теперь получилась из дяди Тиграна. — Тс-с...
Ссс...

— Пап... — прошептал я. — Пойдем половим?

Папа перестал посвистывать, убрал одну руку из-под
головы и сразу повернулся ко мне спиной. Ничего все
же у него спина была — я примерился, даже ногу поста-
вил, чтобы измерить. От плеча до плеча выходило чуть
повыше моего колена.

Не хотят ловить, как хотят, спиннинг-то по-прежнему
у нас был один. Приведенный вчера в порядок, он стоял,
прислоненный к палатке.

Подводная быстрина с интересной гидродинамикой
была на прежнем месте. Чайки уже вились над ней, по-
крикивая, били крыльями. Вода сначала показалась хо-
лодной, но уже через минуту совсем не ощущалась. По
быстрине ходили водовороты за спинами рыб.

Томашевская, вдруг вспомнил я. Вот сюда бы Тома-
шевскую! Чтобы я ловил таких лаптей, как вчера, и вы-
волакивал бы их на берег к ногам Томашевской... И она
бы не знала, что с ними делать. Чтобы она только и
могла произнести:

— Митенька... Что же? Как же?..

А я бы ей ответил:

— А вот так.

И продолжал бы подтаскивать. А она стояла бы на
берегу и ждала бы, что я укажу ей делать.

— Ну как ловля? — вдруг кто-то спросил с берега.

Я оглянулся. Около наших палаток стоял высокий
смуглый дядька в широкой темной рубаше без рукавов.
Лицо у него было плоское, глаза узкие, и волос на
голове парикмахер оставил чуть-чуть, и то на самом
верху.

Взрослые спали.

— Вы когда приехали? — спросил дядька.

Я ответил.

— Ого, — сказал он, увидав хвост рыбины, торчав-
ший из ведра. — Вижу, ты не шутишь! А знаешь, кто я?

— Кто? — спросил я. До ближайшей деревни было
километра четыре, а сейчас еще рань стояла ужасная,
часов шесть. Откуда такой ранний дядька?

— Председатель поселкового Совета, — сказал он. —
Икрамов Икрам Икрамович.

«Икра в кубе», — подумал я.

— А тебя как зовут? — спросил он.

— Митя Беляков.

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Ого! — сказал он и второй раз отступил на шаг. Мне даже показалось, что он хочет заговорить со мной на «вы». Но он, видно, пересилил себя. — А ты где там живешь? — спросил он хитро. Я ему ответил, что на Мойке.

— А у меня друг в Ленинграде живет, — не дослушав, сказал он. — На Выборовской стороне.

— На Выборгской, наверно.

— Точно, — сказал он, совсем поверив, что я из Ленинграда. — Ну добро пожаловать к нам! Надолго вы сюда?

— Недели на три, если погоду обеспечите, — сказал из-под полога дядя Тигран.

Мы с Икрой Икровичем посмотрели на него. Он сидел на корточках под марлей, и глаза у него были ужасно круглые и серьезные.

— Почему, Митька, не будишь? — спросил он.

— Здра-а-сьте, — сказал я.

— Здра-а-сьте, — ответил дядя Тигран и вылез. — Теплынь, однако... Вы из этой деревни?

— Председатель поселкового Совета Икрамов, — сказал Икра Икрович и подал руку дощечкой дяде Тиграну.

— Мороз-воевода дозором обходит владенья свои... — сказал дядя Тигран.

— Так-так... — неуверенно поддакнул Икра Икрович. Но, по-моему, ему понравилось слово «воевода».

— А как тут вообще?

— Что вообще?

— Ну, погода? — спросил дядя Тигран. Ему все не верилось, что и завтра поутру будет так же тепло. — Рыба? Арбузы?

— Хлеб? — вылезая из палатки, спросила мама. — Помидоры? Постное масло?

— Далеко до заповедника? — спросил из-под полога папа и тоже стал вылезать. — Птичьи перелеты еще не начались? Хотелось бы глянуть...

— Раз вы решили здесь остановиться, на моей, значит, территории, — сказал Икра Икрович, — так я буду теперь вас иметь в виду.

— В чем? — спросил папа.

— Во всем.

— И насчет колбасы? — спросила мама.

— И насчет колбасы. Обеспечим. А твоя мать, — спросил он меня, — когда-нибудь улыбается?

Во-первых, мне не понравилось, как он ее назвал. У меня мама, и при мне все пусть только так ее и называют. А во-вторых, не его дело — улыбается она или нет. У папы, вижу, скулы вылезли, но тут я глянул на дядю Тиграна, и мне стало страшно. Тяжелая складка стояла у дяди Тиграна меж бровей, глаза светились гордо и враждебно. Ему не хватало только стального шелома и кольчуги.

— У наших девушек не принято улыбаться всем без разбору, — мрачно произнес дядя Тигран. — Штаны, как таковые, на них впечатления не производят...

Все замерли. И тут дядя Тигран, чтобы уж сомнений не было, чего добивается, добавил:

— Даже если эти штаны надеты на председателя поселкового Совета.

То есть хамеж пошел в открытую. Икра Икрович сразу вспотел, хоть и стоял в тени. Он уже рот раскрыл, чтобы лишить нас разом колбасы, хорошей погоды и рыбной ловли, но тут вдруг мама звонко рассмеялась и подхватила Икру Икровича под руку.

— Ждем вас вечером пить чай! — сказала она. — Милости просим к нашему огоньку!

Икрамов, не понимая, смотрел на дядю Тиграна.

— Вы что, не поняли? — воскликнула мама. — Он актер! Просто он с утра должен в роли входить! Это вроде зарядки! Тренировка перевоплощений!

— А... — с облегчением вздохнул Икрамов. — Только надо... предупреждать.

— Приезжайте, — сказала, улыбаясь, мама. — Значит, вечером!

Ура! Она улыбалась. Правильно, что я взял дядю Тиграна с нами.

IV

Весь тот день я простоял в воде. Родители на берегу лениво вели спор — полезно это или нет, папа держал оборону, но уже почти готов был сдаться, и тогда дядя Тигран извлек из своего рюкзака длинный кожаный футляр и вынул из футляра что-то напоминающее подзорную трубу. На папиной фразе: «Родине нужны солдаты» — спор временно прекратился, а дядя Тигран прислонил бронзовую шутовину в тени около палатки и

снял с серебряного шарика в нижней ее части замшевый колпачок. Кажется, этот колпачок больше всего маму и убедил. Во всяком случае, когда минут через десять дядя Тигран объявил, что температура воздуха в тени двадцать девять и шестьдесят восемь сотых градуса, то мама ничего не ответила. Да и вообще, они, кажется, не о том и спорили.

— Можно еще и температуру воды измерить, — миролюбиво сказал дядя Тигран и сделал легкое движение своим телескопом-термометром в сторону воды.

— Ни к чему, — обиженно сказала мама дяде Тиграну. — Пусть мокнет, если это так приятно. Но насморк будет на всю зиму (это папе). Небось весь в пиявках (это мне).

Папа с дядей Тигром перемигнулись, и вскоре дядя Тигр уговорил обоих пойти по острову гулять, и все трое ушли, а я все бросал и бросал блесну. Но даже и в половину вчерашнего жереха никто не попадался. Видно, от жары.

И тогда ни с того ни с сего я стал думать о Томашевской. Мы с ней почти всю зиму шестого класса не ссорились, но и разговаривать как-то не выходило. Один раз, правда, уже под самый конец, весной, когда я вечером пошел за хлебом, мы вдруг нечаянно встретились в булочной. Она потрогала вилкой батон и не взяла, а я именно этот батон и взял. Она обернулась, увидела меня и говорит:

— Мить, этот черствый.

Я ничего ей не ответил и понес батон к кассе.

— Мить, — говорит, — ты что, не слышишь?

— А меня, — говорю, — именно за черствым и послали.

Глупость, в общем. Но Томашевская опять на меня как-то странно, как когда-то раньше, посмотрела и волосами тряхнула. Вышли из булочной.

— Куда, — говорю, — идешь? Домой?

— Нет, в мясной магазин.

— А он, наверно, уже закрыт.

— Нет, — говорит, — еще семь минут. Я специально к закрытию.

— Зачем?

— Это для собаки, — говорит, — за костями. Надо к закрытию приходить.

— Что за собака? — С тех пор как мы в пятом классе дворняжку в подвале откармливали, не было у Томашевской собак. — Давно, — говорю, — завела?

— Да с месяц. Нет, во вторник месяц будет... Главное, завела!

— А что, она сама к вам прибежала? Взяли же!

— А смеяться не будешь?

— Над чем?

— Есть над чем, — сказала Томашевская. — Вообще-то у нас дома эта собака называется «голубой пушистый котенок».

— Такая маленькая?

— Ага, — говорит она, — маленькая-маленькая... Полтора килограмма костей за один раз съедает.

— Ничего себе. А еще что она ест?

— Ест? — говорит Томашевская, и то ли всхлипнула, то ли хохотнула. — Кабы просто ела. Половинку круглого за два откуса. Вот как.

— Ничего себе. Но зато пушистая и голубая.

— Ага. Голубая-голубая... Вон как та щетка!

А мимо как раз проезжала машина-швабра. Ее серый стальной ерш выскребал после дождя грязный асфальт.

— При чем же здесь «голубой котенок»? — спросил я.

Тут мне Томашевская все и рассказала. Я то начал хохотать, то мне казалось, что они все трое — и она, и ее мама, и папа — тронутые.

А сейчас я стоял в теплой воде по колено, бросал спиннинг, было 29,68 градуса в тени, и я думал о них, о Нине и ее родителях. И еще об одной тетке и об одной собаке, которых я в глаза не видел.

Я стоял в воде, вдали над камышами лениво кружили большие серые цапли, прошла баржа с ящиками помидоров, потом другая — с горой арбузов, потом солому повезли — солома была золотистая, коричневатая, такого цвета у Томашевской бывают осенью волосы. И я подумал, что этой осенью волосы у Нинки будут не такие, а обычные, как зимой, потому что из-за этой тетки и ее собаки Томашевские никуда не поехали. А я здесь купаюсь, загораю и ловлю крупную рыбу.

Посередине протоки неслась лихая моторка. В ней сидели двое. Увидев наши палатки, повернули к нам. Когда они подошли ближе, я увидел, что один из них в белой фуражке с красным околышком. Причалили. Заглушили мотор.

— А где взрослые? — спросил милиционер.

— Гулять ушли.

— Так, — обдумывая, сказал милиционер. — Гулять. Сколько же вас здесь?

Я ответил. Он записал себе что-то в блокнот.

— Фамилия? — сказал он. Мне это очень напоминало школу, а каникулы людям даются, чтобы от школы отдыхать.

— Зачем вам? — сказал я.

— Это ж милиция, пацан, — ласково сказал парень, который правил моторкой — Ми-ли-ци-я. Понял?

Тогда я сказал, что все Ивановы. Милиционер написал четыре раза одно и то же и посмотрел мне в глаза.

— Значит, так, — сказал он. — До особых распоряжений с места не трогаться, товарищи Ивановы. Ясно?

— Неясно.

— Объясняю, — сказал он, глядя уже мимо, видно, я совсем перестал ему нравиться. — С места без распоряжения тронетесь — штрафанем. Вопросы есть?

Они оттолкнулись от мели и понеслись дальше со своим блокнотиком.

Наверно, у них сегодня какая-нибудь перепись населения проводилась или ловили браконьера.

И опять я вспомнил Томашевскую. Вот было бы хорошо поехать вместе куда-нибудь. Сюда, например. Нинка бы в зоне видимости цветы собирала, а я бы рыбу ловил. И все выволакивал бы на берег, выволакивал. Как вчера. Так нет, осталась в городе с собакой.

V

Началось все с того, что одна приятельница Нинкиной мамы погладила в трамвае чужого пса.

За это женщина, которая пса везла, проехала с приятельницей Нинкиной мамы пять лишних остановок, а напоследок спросила ее телефон. Звали тетку, которая везла собаку, Дина Мироновна.

Произошло это года два назад, и все два года Дина Мироновна звонила по полученному телефону и предлагала собак. Приятельница Нинкиной мамы и не предполагала, что в городе столько собак, которые бы хотели у нее поселиться. Всякий раз она отвечала Дине Мироновне, что мечтает когда-нибудь с ней встретиться и как следует, по-настоящему, обсудить собачьи проблемы. Возможно, она даже вступит в общество, но сейчас это невозможно, потому что у мужа срочная работа. Дина Мироновна вперемешку с собаками предлагала и кошек, упоминались даже сямские, но та все ссыла-

лась на мужа. И тут как-то Нинина мама сказала своей приятельнице, что хотела бы завести пушистого голубого котенка. Голубого в том смысле, чтобы был совсем беленький.

— Ничего нет проще, — сказала приятельница и сбросила пепел с сигареты, — вот тебе телефон. Эта дама достанет тебе любого. Синего. Зеленого. В горошек.

Нинина мама позвонила Дине Мионовне. Она еще не знала, что делает.

— Котенка? — сказала Дина Мионовна. — Беленького? Пушистого? Чтобы с клубочком играл? Господи, душечка, как вы мне нравитесь! Записываю ваш телефон...

Дня через два Дина Мионовна появилась у Томашевских. Глаза ее, как говорила Нина, пылали, на пальто спереди и сзади были пятна уличной грязи в форме звериных следов. Похоже было, что Дина Мионовна нашла его где-то на глинистом берегу у водопоя. Нинин отец потом сказал, что, когда Дина Мионовна вошла в прихожую, псиной запахла даже книга, которую он читал в другой комнате.

Дина Мионовна стояла в прихожей и озиралась.

— А потолки у вас высокие! — сказала она.

Нинина мама предложила снять пальто и пройти в комнату. Дина Мионовна пальто сняла, но на общую вешалку его не повесила, а потянулась к клемме электрического счетчика. Отец Нины увидел это из комнаты и выскочил в переднюю, чтобы предупредить, что клеммы у них голые. Но Дину Мионовну уже тряхнуло. Однако похоже было, что электрического тока она не боится. Резиновые сапоги (в тех же узорах, что и пальто) Дина Мионовна ссучила с ног и поставила у порога. Надеть на ноги что-нибудь вместо сапог она категорически отказалась.

Так они и стояли вчетвером — Дина Мионовна в рубчатых чулках, Николай Сергеевич, который чувствовал себя виноватым, что гостью хватануло током, Нинкина мама, которая не знала, что ей делать, и украдкой смотрела на ноги Дины Мионовны, и Нинка. Нинка еще не успела ничего подумать.

— Оказывается, в квартире дети есть, — недовольно сказала Дина Мионовна. — Или, девочка, ты любишь животных?

— Больше всех нас, — ответила Нинина мама. — Стоит ей увидеть собаку...

— Превосходно, — сказала Дина Мироновна и опять зачем-то посмотрела на потолок. — А лестница у вас хорошая, — добавила она. — Прямо во двор... И кусты есть.

Проходить из прихожей она так и не стала, только, перегибаясь через порог, заглянула в обе комнаты и в кухню.

— Ну что ж, — сказала она, — комнаты светлые, кухня большая...

Николай Сергеевич морщил лоб, Нинкина мама все приглашала пройти от дверей и сесть.

— Нет, нет, — заторопилась Дина Мироновна. — Меня там ждут. Но на днях мы обязательно, обязательно, обязательно...

Николай Сергеевич уже стоял у счетчика, заслоня его спиной. Когда Дина Мироновна стала спускаться по лестнице, снизу раздался гулкий, хриплый лай.

Нина и ее родители выглянули из окон. Через некоторое время из их подъезда выпрыгнул огромный кудлатый пес на брезентовом ремне. Дверь за псом захлопнуло пружиной. Пес присел, скребанул когтями по асфальту, и из подъезда выбросилась Дина Мироновна. Она была обвита ремнем — видно, пес скакал около нее кругами. Не обращая внимания на машины, пес наискосок пересек улицу и затащил Дину Мироновну в какую-то щель между домами.

— Ты у нее при случае спроси, — задумчиво сказал Николай Сергеевич, — как она относится к водным лыжам? Специфика движения совершенно та же.

— Чем она тебе не понравилась? — спросила Нинкина мама. — Очень добрая женщина. Заметил, как глаза горят? Просто очень добрая.

— Более чем, — сказал Нинин папа. — Боюсь, что мы видим ее не в последний раз.

Дина Мироновна теперь звонила Томашевским как старая знакомая. Поиски голубого котенка шли полным ходом. Нашелся один почти совсем беленький, во всяком случае, что-то у него белое было — то ли нос, то ли хвост, но он не был пушистым. Нет, она понимала, что нужен именно пушистый, но знаете, сколько от пушистого по квартире шерсти? Кроме того, пушистого всегда легче пристронть, в то время как такому бедняге грозит усыпление. Нет, она, конечно, оповестит знакомых и поднимет их на ноги, но вообще-то нелегко, потому что, не

зная матери этого котенка, можно подумать, что он совсем обыкновенный. Да, в общем, серо-черный... Нет, что-то белое у него есть. Но вообще-то, только это секрет, лишь для Нининой мамы, котенок не один, а их четверо. Да и все, как назло, если не знать матери, конечно, кажутся совершенно обычными... Но белого, пушистого ищут.

Потом последовало сообщение, что совсем было выследили почти ручную пушистую кошку в одном подвале, и в том подвале Дина Мироновна и еще две кошатницы уже побывали. У одной кошатницы был фонарик, так что они почти точно теперь знают, где эту кошку можно поймать. Собственно, кошка уже была у них в руках, но завязать в мешок ее не успели, она прорвала мешок и удрала.

Нинина мама хотела спросить, зачем ловить взрослую дикую кошку, но Дина Мироновна не дала вставить ни слова.

Еще через день Дина Мироновна сообщила, что теперь уже не в подвале, а на чердаке одного старого дома на Васильевском обнаружен скрывающийся пушистый котенок и завтра вечером его поедут ловить.

— А кто поедет? — спросила Нинина мама.

— Ну, тут люди, — замялась Дина Мироновна, — которым не безразличны страдания животных...

— Может быть, я могу помочь? — спросила Нинина мама.

Она чувствовала себя неловко, потому что из-за нее какие-то незнакомые люди, может быть пожилые, собирались ехать на Васильевский и сообща носиться по чердаку.

— Нет-нет, не беспокойтесь! — сказала горячо Дина Мироновна. — Вполне достаточно того, что вы хотите облегчить судьбу хотя бы одного животного! Общество не может ничего требовать, но мы счастливы, когда находим людей с добрым сердцем!

Нинина мама страдала у телефона.

Следующий раз Дина Мироновна говорила голосом торжествующим. Того котенка поймать не удалось, он ушел от них по карнизу на другой чердак, но она нашла женщину, от кошки которой одного котенка уже отправили в Бельгию. Не хочет ли Нинина мама, чтобы у ее будущей кошки была заграничная родня?

Что отвечала мама, Нина точно не знала, разговор был без нее. Но около телефона на обоях появилось протертое до дырки место — это мама терла пальцем во

время разговора. И тогда Дина Мироновна попросила Нинину маму поддержать у себя в квартире одну очень милую собачку.

— Она уже фактически пристроена, — сказала Дина Мироновна. — Так что самое большее — денька на два, на три.

Так у Томашевских поселился Тарзан.

Тарзан оказался тем самым псом, которого Дина Мироновна привязала в первый раз в подъезде.

VI

И волосы у нее осенью будут зимними, думал я.

По протоке опять плыли баржи, прошла, пустив за собой небольшие волны, «Ракета», и весь горизонт над голым противоположным берегом затянуло маленькими белыми облачками.

Мы еще суток не жили у протоки. Огромная рыба, выпотрошенная к обеду, лежала в тени, укрытая от мух полиэтиленом, в моем распоряжении были и спиннинг и река, и я еще не обследовал ни вправо, ни влево ни кусочка берега.

— Вот дура... — сказал я, не зная даже точно, про кого это говорю. И стало на душе как-то кисло, потому что я чувствовал неправду, которую, наверно, и все чувствовали, но не мог этой неправды объяснить, и взрослые не могли — иначе бы они послали к черту эту собачью тетку.

Но ведь не посылали же? Нинка...

Вот я о ней тут вспоминаю, а она? Ну хоть разок? Не может же быть, чтобы ни разу не вспомнила?

Потом пришли взрослые. Я увидел их издали — они шли со стороны сухой высокой травы, и одежды на всех троих было граммов сто в общей сложности, а то, может, и пятьдесят.

Мама от жары подколола волосы вверх и от того стала еще моложе. И печальней.

— Ну как? — крикнул дядя Тигран. — А у нас вот что...

Мама несла в руках что-то напоминающее клубок из серой ваты. Это, как выяснили, было гнездо птицы ремез. Все остальные дни мы, отходя от палаток, что-нибудь да приносили — то какого-то цапучего хищного птенца, то змеиную шкурку, то живую черепаху, то рака, у которого сохранилась лишь одна клешня, зато уж эта клешня была с мою ладонь.

— Милиция приезжала, — сказал я.

— Что такое? — встревожилась мама. — Опять что-нибудь натворил?

— Да нет. Приехали и уехали. Самый мирный разговор.

Я им не сказал, что теперь они все Ивановы. «Избыточная информация большинству людей вредна», — сказал как-то папа. Некоторые из его мыслей я считал почти своими — должен я быть на него немного похожим или нет?

Вечером к нам в гости приехал Икра Икрович. Подрулил он к нам не сразу, а как бы приглядываясь, можно ли? Вдруг у нас, допустим, родительское собрание или спевка, и он помешает? Икра Икрович подрулил сначала к берегу метрах в двухстах от нас и спустил на берег двоих ребят — мальчика и девочку. Девчонка, наверно, училась классе в шестом — до седьмого не дотягивала, а в пятых такая малышня бывает, что на них и смотреть не хочется. На эту девочку смотреть хотелось. Сойдя с лодки, они сразу же стали ловить руками мальков, из чего я заключил, что они только и ждут, чтобы я их позвал, потому что для их возраста ловить мальков занятие не очень умное.

Икра Икрович же пошлепал тихонько на своей моторке совсем у берега, будто по своим делам и будто нас не замечая. Наши ему замахали руками, и тогда он их увидел и пристал. Он, конечно, знал, что так и будет, потому что у него в лодке оказался целый ужин на десятерых, и еще он потом проговорился, что его жена печет пироги и привезет их, чтобы были горячие, прямо нам к чаю.

Солнце уже клонилось, и жара совсем спала, противоположный берег потемнел, и вода стала синей. Над протокой уже не было ни ветерка, и если плескало где-то далеко в камышах, Икра Икрович поднимал палец и говорил:

— Щука утят берет.

Девчонка точно оказалась шестиклассницей. С ее братом я говорил только для виду, потому что когда я его спросил, какую рыбу тут ловят на спиннинг, он презрительно сощурился, хотя глаза у него и так были узкие, и сказал, что так рыбу вообще никто не ловит, а ловят сеткой.

— Хочешь закинуть? — спросил я.

Он сразу схватил спиннинг, и я стал ему объяснять, как забрасывать. Он кивал.

— Понял? — спросил я.

— А чего не понять...

Он отошел в воду, размахнулся и... сделал из лески такую бороду, что даже дядя Тигран всхлипнул.

— Я ж тебе объяснял! — крикнул я. — Ты, что, русских слов не понимаешь?

— Митя! — сказал папа. — Это гости.

— Да он...

— Митя!

— Но ведь я ему только что...

Вдруг в дело вступила девчонка:

— Вот он всегда так! Ему объясняют, объясняют, он слушает, слушает, а ничего не слышит... Тебе объясняют, объясняют...

— Ладно, — сказал я. — Вчера я тоже запутал. Ничего.

— Да он всегда так! Он ничего не поймет, а сразу же...

Чем больше она распалялась, тем меньше злился я.

— Вот всегда! Всегда он так! — прокричала она ему прямо в лицо и вдруг всхлипнула. Повернулась и ушла, плача, в кусты. Ее брат заморгал, осторожно положил спиннинг на песок и побежал за ней. А она ревела уже по-настоящему где-то в кустах.

— Чего это она? — спросил я. Совсем я не понимал, что произошло.

— Так его любит, — глядя на костер, тихо сказал Икра Икрович, — так любит, что даже ненавидит. Я боюсь, когда-нибудь она ему глаза выцарапает...

Ну глаза-то ему не так легко выцарапать, подумал я. Но вообще ничего себе — заревела оттого, что я на него прикрикнул! Вот бы меня так какая-нибудь девчонка любила. Правда, тут сестра... Я подумал, подумал и двинулся тихонько к тем кустам, где они разбирались.

— Вот именно, — сказал папа. Я оглянулся. Он смотрел мне в спину. И мама тоже. Как всегда, думают, что я ничего не понимаю. Вообще я заметил, что если меня надо воспитывать, то это их ужасно сближает. Может, у них со мной просто мало трудностей? Прибавить?!

VII

Темнело все быстрее. Я еще вчера заметил, что здесь от того, как село солнце, до полной темноты проходит времени, может, вдвое меньше, чем в Ленинграде, а тут, пока мы втроем побродили по островку, уже появи-

лись звезды, и — камыши, наш лесок, заросли кустов на другом конце острова — все слилось в одно темное пятно. В сером воздухе кувыркалась прямо перед нами какая-то мягкая, зигзагами порхнувшая тень.

— Летучая мышь, — сказал Вовка Икрамов. — Пойдем раков искать!

На берегу у воды еще кое-что можно было разглядеть, но все предметы оказывались не тем, за что их принимаешь издали. Корова оказалась кустом, лодка — корягой, сидящий на корточках дядька — камнем.

— Ведро у вас есть? — спросил Вовка.

— Целых два.

— А еще и дырявенькое есть? — тонким голоском пропищала Ира.

Нет, с ними все же можно было говорить.

Мы побежали наперегонки к костру и чем ближе подбегали, тем хотелось бежать быстрее.

Взрослые сидели у костра.

— В октябре почему не приехали? — говорил Икра Икрович дяде Тиграну, будто ждал его уже несколько лет, а не увидел впервые сегодня утром. — В октябре сазан, знаешь, какой? Поросянок! Хрюкает, мясо розовое....

Маму этот разговор не очень интересовал. Как только мы появились, она сразу принялась нас всех одевать в мои рубашки.

— Никто и не говорит, что холодно, — сказала она, — а комары как налетят...

Вовка и Ира (у них были, как я понял, какие-то свои имена, но здесь они откликались на русские) посмотрели на отца — можно ли им надеть мои рубашки. Икра Икрович кивнул.

Моя клетчатая рубашка на Ире, когда она надела ее поверх платья, стала казаться курткой. Да и ворот у рубашки был на ладонь шире. Какие все же эти девочки цыплята!

Мы взяли ведро и фонарик и побежали к отмели. Она была немного в стороне.

Раки уже вовсю ползли на берег. Сначала мы собирали всех и минут за двадцать набрали полное ведро, потом решили, что мелочь надо отпустить, и вывалили ведро на песок. Раки выставляли вверх клешни, шуршали друг о друга, перевернутые на спину, трясли хвостами. Куча стала расползаться во все стороны — некоторые явно направлялись в лесок. Мы их собирали и относили в воду.

— Ползайте пока что, — сказал Вовка. — Мы за вами еще придем.

— А давайте что-нибудь рассказывать, — предложила Ира.

Мы сели под деревцами на берегу. Рассказывать было нечего.

— А давайте про то, как кто в первый раз испугался, — сказала Ира. Было темно и тихо, только раки шуршали в ведре.

Вовка засопел и подвинулся к сестре.

— А если никогда? — спросил он и вздрогнул.

— Если никогда, так чего вздрагивать? — спросила она и вздрогнула тоже.

— А ты чего?

— Я — потому что ты первый.

— Ты и рассказывай, раз придумала, — сказал Вовка. — А мы уж после тебя...

— Ладно, — сказала Ира. — Главное, что вы оба тоже его заметили...

— Кого?! — спросил сразу же Вовка, и даже через Иру, она села между нами, было слышно, как он еще сильнее вздрогнул. Да и мне как-то не по себе стало.

— Ну, он не обязательно гоняется или мешает, — сказала Ира шепотом. — Он только следит...

— Кто? — тоже почему-то шепотом спросил я.

— А его нельзя называть.

— Тогда уж не отцепится... — поддакнул шепотом Вовка. — Как назовешь, считай, пропал.

Какой-то «Бежин луг» начинался. Страшно совсем не было, только не по себе.

— В городах его и не бывает, — зашептала Ирка. — Откуда там ему быть — поселиться-то где? В самой Астрахани тоже он не будет жить, а вот тут, в зарослях...

Будто дождавшись ее слов, в тихих камышах вдруг что-то ворохнулось, а потом с легким, но ясно слышным шуршаньем и плеском стало пробираться сквозь траву к берегу.

— Да о чем вы говорите?

— А о том, — ответил Вовка, — что наверняка уже нас обошел и, когда к костру пойдем, цепляться начнет.

— Идите вы к черту! — громко сказал я. — И не страшно вовсе!

— Так играть неинтересно, — тихо сказала Ира. — Конечно, не страшно — вон костер между деревьями, а представить-то разве нельзя, что страшно...

— Ладно, — сказал я. — Тогда я вам сам историю расскажу.

— Расскажи.

— История будет про собаку.

— Знаем про собаку, — сказала Ира. — У нее глаза светились. Это про сыщика.

— Нет, — сказал я. — Про собаку другую. Она и сейчас живет.

— Ну давай, — уstraиваясь поудобней, сказала Ира. — Если сейчас живет, так, значит, не очень страшно. А правда, зачем о страшном рассказывать, давайте лучше об интересном.

— Если бы не было этой собаки, — сказал я, — то сейчас бы с нами тут, может быть, была бы одна девочка...

Я остановился. Рассказывать им о Томашевской? Оказывается, я еще ни разу никому о ней не рассказывал, мама только немного догадывалась, но это не в счет. И хотелось рассказать, и одновременно не хотелось.

— Она из Ленинграда? — спросила Ира.

— Да.

— Ты с ней вместе учишься?

— Угу.

— Ну чего ж ты не рассказываешь?

Но мне расхотелось. Они были хорошие ребята, но еще не до конца свои — как это я в первый же раз с ними начну откровенничать? Вот пусть приходят к нам почаще...

— Давайте наперегонки до костра? — предложил я. — Идет?

Вовка сразу встал.

— На сук глазом не напорись, — сказал он, подтягивая трусики, — по берегу бежим.

— А она красивая? — спросила Ира.

— Ага, — ответил я. — Одно ухо вверх, другое — вниз, один глаз на вас, другой — на Кавказ, лает хрипло.

— А танцует хорошо? — спросила Ира.

— Ну, побежали! — сказал я. Не мог я почему-то сейчас о Томашевской ни слова сказать. Ну просто ни полслова. Особенно после того, как Ира стала меня спрашивать. Как Томашевская танцует? Нормально. Уж этому-то ее учить не надо. А красивая ли она?

Мы неслись вдоль воды. Если бы Нинка была с нами, она бы, конечно, отстала, потому что ей бы волосы ме-

шали. Как она их сушит? Висит вниз головой? Иначе как же столько волос высушить?

Мы бежали в темноте.

VIII

Вовку и Иру Икра Икрович оставил на ночь у нас. Своей жены он так и не дождался и вдруг заторопился, забеспокоился, а Вовка с Ирой хотели еще побыть, и моя мама просила их оставить — нас ей не хватало.

Моторка запыхтела, гулко застучал в тишине мотор, и через минуту на черной воде мы видели уже только тень да красную точку сигареты.

Мама засуетилась, принялась устраивать в палатке постель для Иры. Выглянет, улыбнется.

— А у меня, — говорит, — сегодня дочка будет тут...

Будто бы так, всем вместе говорит. Но мне все кажется, не всем.

Уложили Ирку. А мы сидим у костра, разговариваем. Вовка, правда, помалкивает. Бороду, паразит, все же запутал, ее распутывать два года. Мама папе говорит:

— Пойди сюда.

Он встал. Настороженно как-то.

— Загляни в палатку.

А там, сквозь брезент видно, свечка зажжена.

— Что такое? — спрашивает папа.

— Ну загляни, загляни...

Папа кашлянул, заглянул.

— Хорошо я ее устроила?

Папа ничего не ответил, снова вернулся к костру.

— Пойдем, — говорит, — полог пошире растянем.

Растянули. Мы с Вовкой легли в серединку, взрослые — по бокам.

Скоро Вовка и дядя Тигран заснули.

Я не слышал никаких звуков из палатки, но знал почему-то, что мама не спит. И папа — тоже. Вот как странно. Я его сын и живу бок о бок с ним тринадцать лет, и хочу знать, что думает он, потому что мне всегда интересно, что бы он ни говорил, а ему, кажется, интересно, что говорю я, и он тоже хочет как будто знать, что происходит во мне, а вот лежим рядом и молчим, и каждый думает о своем.

Над пологом стояли звезды, марля ничуть не мешала на них смотреть, только чуть-чуть подвинув голову, можно было добиться, чтобы звезда была или поярче, или потусклей — видно, лучик звезды заслоняла ниточка в марле.

То, что я не рассказал ребятам Икрамовым, опять всплыло у меня в памяти. С Нинкой мы разговаривали месяца два назад, но я, кажется, не только запомнил, а как бы видел все связанное с их Тарзаном, потому что как-то это совпадало с тем, о чем я думал. Вот если человек, думал я, не только говорит, что хочет сделать добро, но и думает так, и будто бы так же и поступает, а для других выходят сплошные неприятности, то как тут разобратся?

Гулять с Тарзаном мог один Нинин отец. Пытались и другие, но пальто Нининой мамы после первого же раза пришлось отправить в чистку, а саму Нинку Тарзан таскал по окрестным кварталам как шарик-раскидай.

Оказалось, что любимое занятие Тарзана — стоять в комнате на столе. Приходишь, а он стоит. Может быть, такая собачья мания величия, сказал Нинин папа. Иногда, не сходя со стола, Тарзан чесался. Если Томашевские были при этом на кухне, то они всегда узнавали, что Тарзан уже на столе и уже чешется, потому что на кухне начинало дребезжать в холодильнике. Расчесываясь, Тарзан заднюю ногу задирал свечой. Это почему-то особенно не нравилось Нининой маме.

Дина Мироновна теперь приходила к Томашевским как своя. Привязав очередную шавку в подъезде, она звонила у их дверей и, еще не входя, радостно сообщала, что пришла повидаться с Тарзиком. Очень жалко Томашевских, добавляла она, потому что Тарзик скоро от них уедет. В руке Дина Мироновна обычно несла фарш, завернутый в газету. То ли мясники жалели для Дины Мироновны бумаги, то ли ей самой нравилось прохладное ощущение под ногтями, но всегда один или два пальца у нее были внутри фарша.

— Лакомство из общества, — сияя, шептала она.

— Да что вы, право, — в смятении говорила Нинина мама, — ну что же мы, по-вашему, его не кормим?

Нинина мама училась когда-то в хореографическом училище, и там, кроме танца, им преподавали, как следует разговаривать с людьми старше себя.

— Ах, какая вы душка, и как я счастлива, что вас нашла, — говорила Дина Мироновна, сцарапывая фарш с газеты в Тарзанью миску.

— Вот здесь... здесь можно вымыть руки, — открывая кран, говорила Нинина мама.

— Ах, душечка, право, ни к чему лишние хлопоты, — отвечала со счастливым выражением лица Дина Миро-

новна и облизывала пальцы. Нинина мама украдкой отворачивалась и закрывала глаза.

Тем временем запертый в комнате Тарзан уже окончательно догадывался, кто пришел, и начинал ломать дверь. С косяков падала известка. Сложность заключалась в том, чтобы Дина Мионовна успела положить фарш в миску до тех пор, пока Тарзан за дверью не затих. В первый раз этого еще не знали, и из-под двери комнаты в прихожую потекла дымящаяся лужа.

— Мой отзывчивый! — сказала Дина Мионовна. — Это он от счастья!

Выпускать Тарзана раньше, чем Дина Мионовна избавится от фарша, было нельзя, потому что встреча их отчасти напоминала монгольскую борьбу. Упершись лбами друг в друга, они кружили по прихожей. Дине Мионовне для этого почти не приходилось приседать. Однажды Тарзан оказался висящим у нее вокруг шеи, как чернобурка. Часть фарша при этом оказалась у Дины Мионовны в волосах, часть прилипла к зеркалу.

— Есть такая картина, — задумчиво сказал после ухода Дины Мионовны Нинин папа, — бой русских с кабардинцами. Тебе не кажется, что нам следовало бы поднять в прихожей лампу повыше?

— Я понимаю, что она кажется тебе немного не того.... — сказала Нинина мама, — но с другой стороны — энтузиастка? Да. Бессребреница? Да. Добрый человек? Несомненно...

Уходя на работу, Нинин папа ставил на свой письменный стол два перевернутых вверх ногами стула. Нинина мама ставила перевернутые стулья на кровать — Тарзан взял обыкновение закапывать под подушками вчерашние кости. Квартира напоминала кафе во время ночной уборки.

О белом котенке Дина Мионовна на время замолчала. Зато она теперь сообщала Томашевским о том, как продвигаются поиски хозяев для Тарзана.

— Помилуйте, — в первый раз услышав о поисках, сказал Нинин папа, — я, видимо, чего-то недопонял. Мне казалось, что хозяева уже есть!

— Все, все хорошо, Николай Сергеевич, — убежденно сказала Дина Мионовна. — Вы, главное, не волнуйтесь. Не волнуйтесь — и все, все будет хорошо! Тарзану у вас великолепно, пес крепнет, веселеет...

— Простите, — перебил Николай Сергеевич. — Я, если это возможно, хотел бы узнать о хозяевах. Тут проблемы чисто практические...

— Коля! — укоризненно сказала Нинина мама и добавила: — Он, знаете ли, так последнее время устает...

— Вы, главное, не волнуйтесь, Николай Сергеевич, — улыбаясь, сказала Дина Мионовна. — Мы с вашей женой все, все решим. Вы и знать не будете!

— О чем? — спросил Николай Сергеевич.

— О хозяевах. О Тарзане. Главное, не беспокойте себя... А хозяева найдутся. Не сегодня, так завтра, не завтра... — Тут на Дину Мионовну прыгнул Тарзан, и ее лицо скрылось в его шерсти.

— Желательно, чтобы это было не послезавтра, — сказал Николай Сергеевич.

— Собака столько перенесла, — вынимая лицо из шерсти Тарзана, сказала Дина Мионовна. — Пес в вашем доме просто душой отдыхает!

Николай Сергеевич уперся указательным пальцем в переносицу и некоторое время стоял так, качаясь.

— Иди работай, — мягко сказала Нинина мама. — Мы всё сами решим.

— А я и знать ничего не буду? — спросил Николай Сергеевич.

— Вот именно, — радостно сказала Дина Мионовна. — А жена ваша, скажу я вам, это клад. Золотой человек. Таких больше нет.

— Боюсь, что вы правы, — сказал Николай Сергеевич.

IX

Разбудил нас вчерашний милиционер. Он стоял около костра и ненатурально кашлял, пока не понял, что мы все проснулись.

— Что за шутки, товарищи Ивановы, — сказал он недовольно. — Откуда у вас прибавление? Это чьи? Икрамовы, что ли? А вы здесь как? Отец где?

— Какие Ивановы? — спросил папа.

И тут милиционер объявил, что в дельте вводится холерный карантин. Все замолкли.

— Еще и это, — сказала мама, вдруг улыбнувшись, и добавила: — Вы, конечно, шутите?

— Меня за такие шутки с работы уволят, — ответил милиционер. — Значит, вот как, товарищи Ивановы, будем поступать...

— Да какие Ивановы... — с досадой сказал папа и подозрительно на меня посмотрел.

Мама глядела на меня, впившись глазами. Руки она держала у горла.

— Прошу не перебивать, — сказал милиционер. — Значит, так. С места не двигаться, как я вчера уже вашему сыну и сообщил.

Теперь уже на меня подозрительно смотрел и дядя Тигран. А мама все будто не дышала.

— Не купаться. Воду из реки не пить. Рыбу не ловить. Раков... — Милиционер глянул под ноги. — Насчет раков не объявлено... Но тоже, раз речной продукт, нельзя. Овощей, фруктов не есть. С населением не общаться.

— Спать можно? — спросил дядя Тигран. — Разговаривать с самим собой?

— Дело серьезное, — прервал милиционер. — Не острите, товарищ Иванов.

— Хм, — сказал дядя Тигран. — Сержант, послушайте, а как же с водой?

— На все вопросы ответы будут позже, — пояснил милиционер. — Может быть, привезем вам воду в бидоне. Или вас самих отвезем в медицинские учреждения. Но пока что правила общие. Значит, главное, с места не двигаться!

— А нам как, дядя Женя? — спросил Вовка.

— На обратном пути захвачу, — сказал милиционер. — Я сейчас в другую сторону — оповещать таких же вот...

— Ивановых, — сказал дядя Тигран.

И милицейская моторка отвалила.

— Вот это врезались, — сказал папа. — Рыбку, видите ли... Заповедничек!

И он шмякнул кулаком по подушке.

Х

Икра Икрович приехал за своими детьми сам. Лишь причалив, он окликнул их и загнал к себе в лодку, словно все приятельство сразу кончилось и он боялся, как бы мы не оставили его детей у себя заложниками.

— Потому вчера пирогов и не привезла, — сказал он, пятясь к воде. — На все лодки запрет. Кутерьма...

Мы обступили Икрамова. Обступили, хоть и не подошли вплотную, и в этом была та же опасливость, которая сразу проявилась и у него. Мы, конечно, хотели услышать об эпидемии — о заболевших, умерших, о том, откуда движется болезнь, но восточное, медное лицо Икрамова, его узкие глаза и бесстрастные широкие скулы тоже были для нас уже как бы флажком границы, за которой — восточная, древняя, желтая — начинала хозяйничать болезнь.

И слова, вопросы, фразы, которые мы произносили, имели уже не только тот смысл, который в них по словарю можно было бы определить, но каждый — и взрослые и я — пытался заглянуть за прямой смысл ответов Икрамова; как за ширму, потому что и взрослым и мне вдруг стало ясно, что Икрамов говорит не все, и приятельство наше с ним кончилось в тот момент, когда раздалось слово «холера». И никто не виноват. Это слово стало сразу сильнее Вовкиной жажды еще раз запутать наш спиннинг, сильнее маминого желания укладывать в своей палатке девочку и расчесывать ей на ночь волосики, сильнее папиных и дяди Тиграновых попыток не показывать своих опасений, а делать все так, будто ничего не случилось.

Случилось. Наш маленький палаточный лагерь уже был на военном положении. Мы еще делали вид, что живем законами мирного времени, но это был лишь вид.

Мы стояли полукругом около Икрамова. За его спиной была вода и лодка с притихшими детьми.

— Ну а в двух словах — что все-таки происходит? — спросил папа.

Лицо Икрамова стало еще бесстрастней, и он, еле разжимая губы, сказал:

— Да так... Зафиксировано определенное число случаев заболеваний. Принимаются решительные меры.

— Кто-нибудь уже умер? — спросила мама.

Икрамов будто не услышал вопроса.

— Ответить уж, конечно, нельзя? — свирепея, спросил дядя Тигран.

— Не нельзя! — тоже взорвался Икрамов. — А не нужно! Мы власть на местах и способствовать распространению нежелательной информации не можем! К тому же информация эта непроверенная...

— Бу-бу-бу... — перебил дядя Тигран. — Человеческими словами можешь сказать?

— Не могу, — вдруг так же мгновенно, как и дядя Тигран, успокаиваясь, ответил Икрамов. — Не могу... Сам не знаю.

Но видно было, что кое-что знает. Замолчали.

— Ладно... А в твоих селах? — спросил дядя Тигран. — У тебя-то самого случаев заболеваний уже есть?

— Было первое разъяснение, — не отвечая дяде Тиграну, сказал Икрамов. — Желаящие уехать должны быть подвергнуты предварительной обсервации на месте. На шесть суток.

— А многим надо отъезжать?

— Да есть...

— Ну примерно? Сколько человек?

Икрамов замялся.

— Сто, двести? — спросил папа. — Примерно?

— Примерно шесть, — окинув нас оценивающим взглядом, ответил Икрамов. — Но, — он заглянул в бумажку, — в соответствии с инструкцией обсерватор создадим...

— Значит, кроме нас, еще примерно двое? — спросил дядя Тигр.

Икрамов нехотя кивнул.

— А потом мы сразу сможем уехать?

— Можете, — сказал Икрамов. — В Астрахань.

— В Астрахань? А там уже нет карантина?

— Как же нет? Самый-то карантин именно в Астрахани.

— Ничего не понимаю, — сказал папа. — Для того чтобы нам отсюда попасть в закарантиненную Астрахань, мы должны здесь у вас просидеть шесть суток в изоляторе...

— Значит, так, — сказал Икрамов. — Объясняю. Нам приказано создать обсерватор, и мы его создадим. Специально для вас.

— Хорошие дела, — сказал дядя Тигран, и наши мужчины переглянулись.

Если бы Икра знал их так, как знал я, он, наверно, почесал бы в затылке, когда они переглянулись. Это означало, что они начинают думать сообща. Но он их знал еще плохо.

XI

Спрашивать у родителей сейчас — можно ли мне ловить — было бы глупо. Махать спиннингом у них перед носом, когда только что в одну сторону отъехал милиционер, а в другую Икрамов, нет, не такой я дурак. Мама сразу бы запретила, а папа рассердился бы, что не хочется запрещать, а запрещать надо, и рассердившись, тоже бы запретил.

Гулять же я мог где угодно. Спиннинг я трогать не стал, а тихонько взял удочки-донки и банку с мальками и тихо смылся за рачью отмель. Там, за камышами, была еще одна отмель, и там наш островок тесно подходил к другому, следующему. Разделяла их лишь узкая, почти стоячая протока. Над протокой висел деревянный мостик в две доски.

Еще вчера, когда мы бродили здесь с ребяташками Икрамовыми, я присмотрел место, откуда, наверно, хорошо ловить на донку. А сегодня после запретов ловить оно показалось мне еще более удобным.

Маленькая пологая отмель, словно кто-то пролизал языком, а камыши с обеих сторон высокие, густые... Как моторку услышу, нырну в них.

Только я закинул — моторка действительно застучала совсем вблизи, и милиция проплыла в сторону наших палаток. Меня не заметили.

С донкой ловля особая — закинул и жди. Колокольчиков я не вешал. От мостика вилась по другой стороне нашего островка тропка, тропка была хоженная, да и сам мостик, судя по жерди, что служила перилами, был при деле — жердь блестела, словно ее полировали.

Я уже собрался идти проверять свои снасти, когда доски мостика скрипнули, и я увидел, как на нашу сторону переходит молодой дядька. Тоже несет удочки и тоже ведро с мальками. И прямо к моей отмели. Улыбаться он начал издали.

— Здорово, нарушитель, — сказал он. — Значит, установка такая: мотор слышим — ты вот сюда, я вот сюда!

И показал рукой, куда спрячемся. Единство душ, подумал я.

— Чего там с холерой-то? — закуривая, спросил он. — Болтают, а? Как ты думаешь?

Я пожал плечом.

— Или серьезно? — выдыхая дым, сказал он. — Ну не дай бог... Хватай, хватай вон ту!

Одна из моих донок трясла гибкую палку, к которой была привязана. Судак не такая рыба, как все. Можно подумать, что его и нет на крючке, когда ты нешь, так он сам бежит к берегу.

— Эх! — с удовольствием сказал мой новый знакомый, когда судак величиной с мою руку сам вылетел на мелководье. — Ну-ка дай глянуть!

За час на четыре удочки мы натягали с Денисом (так его звали) судаков пятнадцать. Клали их под кустик, в тень.

— Мне больше не надо, — сказал я.

— Лови, лови!

— Да не нужно больше. Не съедим.

— От ленинградцы! — то ли с жалостью, то ли с презрением воскликнул Денис. Он уже рассказал мне,

что сам он водитель такси, живет в Москве. — Лови, говорят! Волга богатая. Сейчас мы ее реализуем! Условлено! — и он оглянулся в сторону мостика.

Мы ловили, пока на мостике не показались трое людей. Первым шел старик в тубетейке, за ним два молодых парня. Старший сын нес две косы, младший — одну. Денис замахал старику. Тот подошел и приподнял тубетейку.

— Мешок есть? — спросил Денис.

Старик мялся.

Но судаки были крупные, новые какие-то, еще холодные. Старик не мог оторвать от них глаз.

— Кило семь, а то и девять, — сказал Денис. — Бери, бери, отец! Сейчас ведь месяца на два всякой ловле хана!

Старик присел на корточки и стал складывать судачков в мешок. Всех сложил; не оставил ни одного.

Ничего я не понимал. Ловил, ловил, думал, маме принесу, а тут весь улов утаскивает какой-то старик. И его сыновья стоят поодаль, словно часовые. Контрабанда какая-то!

Ушли.

— Им же ловить-то сейчас не дают! — будто задыхаясь от восторга, заговорил Денис. — Им же лодки-то все на замок! А на леску тут и ловить никто не умеет! От жизни! На держи!

И он сунул мне скомканную трешку.

— Зачем? — удивился я.

— Как это? Как это? Бери!

— Да не нужно мне!

— Бери, говорят! Ты что подумал — я для себя? Бери!

И запихал мне ее в карман.

— Вы и берите, раз продали, — сказал я и вынул трешку снова.

— А на мороженое? — крикнул он. — На кино? А?!

— Мне дают.

— Ладно. Нет такого пацана, чтобы НЗ не хотел иметь! Бери!

Вот так да. Рыбы нет, зато в кармане, как по щучьему велению, трешка. Если поразмыслить, то, конечно, есть куда истратить. На Томашевскую, например. И потом я же не выпросил, а даже отказывался.

— Ну еще по парочке вытянем — и на сковородку! — сказал Денис. — А то моя Несмеяна дрова там зря изводит.

Неприязнь моя растаяла. Я видел, что Деннис из денег ничего не оставил себе. Ни копейки. Для него эта купля-продажа была вроде игры.

— Ну на счастье! — крикнул он. — Кто первый вытянет!

И серый грузик, за которым трепетала в воздухе насаженная на тройник рыбка, дугой мелькнул в про свете между камышами.

XII

Карантин карантинном, но жить на берегу реки, терпеть африканскую жару, да не купаться... Может быть, и разными путями, но мы с папой пришли к одному выводу... Однако за гражданские права начать биться я не успел. Военные действия начались без меня.

Человек, для которого в семье издавались законы, был, конечно, только один. Не будь меня, каждый из них делал бы тихонько, что считает нужным, такие порядки, кстати, были у нас с папой, когда мы в прошлом году ездили на Байкал, но раз взрослых теперь было трое и, кроме того, имелись низшие слои населения (папины слова), то и необходимо, оказалось, иметь в нашем государстве четкие законы. Появление законов, как известно, вызывается тем, что один хочет того, чего другой ему разрешить не хочет.

В тот день у нас создались трудности с водой. Началось все с питьевого ведра.

Эту воду нам, как и обещал, привез милиционер. Весь бидон он не оставил, а сказал, что дальше по берегу есть еще желающие пить беззаразную воду. Знал я, кто это.

— Кажется, их там примерно двое, — сказал папа. — На двоих и оставим.

Жара в этот день была жуткая. Стоило побыть минут пять на солнце, и глаза начинало есть от пота. Наши деревца почти перестали отбрасывать тень, да и все кругом было белесым, нечетким, дальние берега виднелись еле-еле, и всюду дрожало сухое марево зноя.

Мы без конца прикладывались к ведрам кружками, а кроме того, мама сварила на два дня суп и на три дня компот. Вскоре воды во втором ведре уже оставалось на самом донышке. Мама отнесла это ведро в свою палатку. Мужчины переглянулись.

— Все, — сказала мама. — Хватит.

— Хм, — сказал, глядя в небо, дядя Тигран. — А я как раз хотел, Танюша, попросить у тебя водички по-бриться.

— Мыло разводить? — спросила мама, еще не понимая, что военные действия начались.

— Мыло, — смиренно ответил дядя Тигран, продолжая глядеть в пустоту. Так, наверно, музыкант прислушивается, верную ли взял ноту.

— Вон, целая река.

— А там вибрионов нет? — спросил дядя Тигран.

— У нас остался литр.

— А как же бриться?

— Не знаю. Можешь потерпеть.

— А мыться? — спросил папа.

Мама замолчала. Кажется, она начала понимать, что ее обходят.

Мужчины смотрели в небо.

— Нечего! — сказала мама. — Одному бриться, другому мыться... Ванну не хотите? Литр, понятно вам? Пять стаканов!

— Неважно, — сказал папа. — Раз купаться нельзя, значит, и мыться нельзя. А уж бриться... Выдай Тиграну воды!

Совещание было бурным. Низшие слои населения до обсуждения не допускались, хоть и понимали, что революция им что-нибудь подбросит.

Решение было таким: я могу заходить по подмышки в воду, но лицо ни в коем случае речной водой не мочить и, упаси боже, волосы. Потому что с волос может капнуть на губы, а там и до желудка рукой подать. Насчет чая так — ставим ведро речной воды на костер, и пока половина не выкипит — не трогать. Решили — значит решили. Дров на нашем берегу было много.

А потом прошло дней пять, и нам всем стало невмogu. Когда мы это место отыскиали, то казалось, что лучше его и нет, а теперь, когда нас к нему пришпилили, то захотелось куда-нибудь передвинуться, может, просто из-за запрета. Все одни и те же деревья, и одна и та же птичка с длинным клювом, которая, как шпион, за нами постоянно следит, и нет уже ни буксиров, ни барж, и солнце все жарче и одинаковей, только раз в два дня вместе с милиционером приедет Икрамов и сообщит, что вопрос о нашей обсервации уже почти окончательно в поселковом Совете решен.

— Здорово же ваш поселковый работает, — сказал как-то дядя Тигран. — Целую неделю только разговариваете. А две сотни туристов у вас бы застряли, тогда как?

— Уж это наша забота, — ответил Икрамов и с той минуты стал совсем официальным, будто Ирка с Вовкой у нас и не жили.

— Вы, главное, выполняйте предписание, — вмешался милиционер. — А остальное — наше дело.

— Этак мы вовремя на работу не попадем, — сказал папа.

— Получите справки, что не по своей вине.

Ну такое кого угодно могло устроить, только не папу. Он сам давно уже может на работу приходить или не приходить, как решит, не в этом дело, главное, что он себе план наметил, а теперь ему хотят помешать, да еще велят оправдываться бумажкой. Я подошел к папе и прислонился к нему. Очень иногда приятно к нему прислониться.

Икрамов с милиционером уехали.

Мама сидела на корточках у костра и, когда кто-нибудь из нас ее окликал, вздрагивала и поворачивала голову с заколотыми вверх волосами. Глаза у нее были огромные и испуганные. И сразу глазами ищет меня.

— Гулять! Гулять! — крикнул дядя Тигран. — Объявляется дозорный обход королевства!

И утащил маму и папу с собой. Я не пошел. Жара.

Как уговаривались, заходить в воду можно было только до подмышек, и я так стоял, воображая себя африканским животным, которое плавать не умеет, но без воды жить не может. Правда, я таких зверей не знал, чтобы не умели плавать, но мне-то не разрешалось, и я стоял в воде, внушая себе, что плавать вовсе и не хочется. И не только, мол, не хочется, но и не умею. Внушал, внушал и довнушался. Вода в протоке была мутноватой, и дно, когда стоишь по горло, уже видно худо. На том самом месте, где я поймал жереха, я и оступился.

Оступился я на выдохе и сразу, наверно, глотнул и ртом и носом. Помню только, желтое что-то ворвалось в меня, и чем больше я хотел от него избавиться, оттолкнуть, тем оно все больше в меня влезало и разрывало все изнутри... А сколько это длилось, и не знаю.

Вся жизнь будто пролетает в этот момент — как кино, только мгновенное... Врут. Никакая жизнь передо

мной не летела, только пятна света — яркие, близкие, у самого носа — желтые, красные, зеленые, и боль повсюду, хотя и тела уже не чувствуешь... А потом — все. Это уже без тебя.

Мои ноги кто-то тянул и тряс. Я летел, проваливался. Снова прилетал...

— Давай, давай, чего остановилась?!

Кто-то переворачивал меня, сдавливал, дергал за руки.

— О-ой...

Кажется, это я сказал. А может быть, и не я.

Что-то горькое лилось из меня, выворачивалось... Больно.

— Давай, парень, давай! — хрипел голос надо мной. — Ну-ка еще немного! Ну, давай!

Мелькнуло небо, листья, которые висели надо мной совсем низко, чьи-то длинные волосы скользили по моему лицу.

Около меня на коленях стояла в купальнике девушка из заграничного фильма и, отмахиваясь от собственных волос, двигала моей рукой. Вниз, вверх, вниз, вверх.

— Глядит! — не переставая двигать моей рукой, сказала она по-русски. — Глаза открыл!

Ее волосы скользили по моему лицу. Я чихнул.

— Ну хоть так! — сказал знакомым голосом мужчина. Он, оказывается, двигал второй моей рукой. Это был Денис.

— О-ой...

— Полчаса охаешь, — сказал Денис. — Встал бы лучше на карачки. В тебе еще пол-Волги булькает...

Девушка заглядывала в мои глаза, склонившись совсем низко. Ничего не спрашивала, а все двигала, двигала моей рукой, будто я еще не дышал. И я слушался. Так что выходило, будто она вместе со мной сейчас дышит. Я это чувствовал.

Потом Денис схватил меня за ноги и держал как Буратино, у которого во рту полно золотых монет. Это было не по правилам, но я стерпел. Раз спасли, имеют право.

— Мы вообще-то не для того пришли, — сказал Денис. — Мы к вам, этого... Пристать. Скучно. Слышь, Марья, скучно, говорю, мне с тобой. Так?

Маша счастливо улыбнулась. И кивнула.

— От змея! — сказал Денис. — Еще зубы скалит!

Не видел я еще в жизни такой девушки ни разу. Я и не думал, что такие бывают.

— Так мы придем, — сказал Деннис. — Твой-то примут? Мы вот тут бы построились... Вон под теми кустами!

И, глядя им вслед, я понял, что ничего не понимаю в жизни. Он шел немного впереди, не глядел на нее совсем, а потом уже вдалеке от нашего места то ли подзатыльник ей дал, то ли толкнул. А она покорно брела за ним, а после того, как он ее стукнул, прилепилась, и как и скрылась за камышами прилепленная к его плечу.

Ничего я не понимал.

Наши пришли, и мама сразу воскликнула:

— Что это, что это с ним?

— Что? — спросил папа.

— Сидит, и глаза красные... И бледнувший! У него холера!

— Ну, тихо! — сказал папа. — Тихо! Вставай, братец!

Я встал. Кажется, меня почти не качало.

— Пройдемся-ка.

— Он и ходить не может!

Дениса и Маши давно уже не было видно. Откачали и скрылись.

— Ну, я жду, — сказал папа.

Пришлось ему под честное слово все выложить, хоть мы с Денисом и условились, что ни он, ни я. Но имелась в виду, конечно, мама.

Это уж само собой.

— Правда, ведь ты взрослый человек? — сказал папа.

Я, естественно, молчал. Тонут и взрослые, вот, например, художник Верещагин, но я понимал, что сейчас папа такого ответа не спустит. Тоже потерял объективность. Ну, да все же я его сын. Прощается.

Когда мы пришли обратно к костру, папа сказал только одну фразу:

— Мне перестает нравиться это место.

XIII

— Вон какие-то люди к нам идут, — сказал дядя Тигран. — С рюкзаками. Заразу несут.

Мама вздрогнула и посмотрела на меня.

— Точно, — сказал папа. — Их примерно двое.

Мама повернула голову. Когда они подошли ближе, она начала медленно выпрямляться. Только когда они совсем близко подошли, она подняла руку и машинально поправила волосы.

Этот разговор я услышал поздно-поздно вечером.

— Я не хочу, чтобы они тут жили... — сказала мама. Папа помолчал, а потом сказал:

— Правильно.

— Что ты имеешь в виду? — почти в полный голос спросила мама.

— Очень красивая девушка.

— С тобой вообще можно хоть когда-нибудь разговаривать нормально?

— Как? — спросил папа. — Нормально?

— Я просто не хочу, чтобы они рядом жили.

— Просто не хочу, — сказал папа.

— Я не хочу, чтобы они здесь жили.

— Это, в общем, их дело. Я так думаю.

— Он никогда на ней не женится.

— Возможно, что это тоже их дело.

— Не женится. Верно ведь?

— Ну и дурак, — сказал папа.

— Он никогда, никогда на ней не женится, — уверенно сказала мама. — Голову наотрез. Она что, ослепла?

Папа промолчал.

— Не хочу, чтобы они здесь жили.

— А если он на ней женится?

— Тебе всегда нужно повернуть, чтобы у нас была ссора?

— Да боже упаси, — сказал папа. — Почему это мы должны ссориться, если им вдруг придет в голову пожениться?

— Перестань! Митька спит?

— Вероятно, нет.

— Вот опять, — сказала мама. — Для чего тебе нужно?

Через некоторое время я услышал ее шепот. Разобрать ничего было нельзя.

— Ой-ёй... — сказал папа. — Какой ужас. Я ведь и не знал. Но теперь...

— Перестань, — устало сказала мама. — Ну перестань же паясничать. Это гораздо серьезней...

— Спокойной ночи, дорогая, — сказал папа.

— Ты думаешь только о себе. И о своих планетах...
Я уже совсем засыпал, когда она вдруг ни к селу ни к городу добавила:

— А вовсе не о нас.

Тут бы я, наверно, подал голос, но я уже понимал, что сплю.

Я хотел звать Дениса по имени-отчеству, но он сказал, что тогда утопится. Денис — и все. Водитель московского такси. Можно — Дёни. На французский лад. И вообще он пристал к нашему шалашу именно потому, что здесь я.

— Это старище, — тут он указал на сидящих у костра папу и дядю Тиграна, — наверняка рыбу не ловит, плавать не умеет и зачем сюда приехало — не знает, а зато мы с тобой...

Старище, слушая, улыбалось. Маму Денис своими шутками обходил. Астраханская казачка Маша стояла у молодого деревца, опершись о него поднятой рукой. Гипсовые такие бывают, в парках — девушки с веслами. Волосы время от времени она, раскачав, забрасывала за спину.

— Старики! — говорил Денис изумленно. — Это ж я из-за нее тут! Поедем, говорит, в плавни... А-я-то! Ой, осел! Нам бы здесь Новый год не встретить! Аксакал?! Ты зачем молчишь?

Аксакалом он утвердил папу.

— Моего мужа, между прочим, зовут Александром Петровичем, — сухо сказала мама.

Денис рухнул на колени.

— Татьяна свет Николаевна! — взмолился он. — Мне ведь эта гримза глаза выцапает, а не то я бы всю правду... Эх! Будь что будет! Татьяночка, вы самая...

Он запнулся, глянул на Девушку с веслом. Но весло было с корнями, крепко сидело в земле. Мама почему-то слушала Дениса, не прерывала.

— Самая прекрасная из ныне живущих! — уверенно договорил Денис.

Маша усмехнулась и швырнула волосы за спину. При этом ничего обидного для мамы она как будто не хотела сделать. Просто смеялась над Денисом.

— И нечего, замарашка, головой мотать! — сказал Денис.

Мама, конечно, красивая. Я это знаю. И все кругом знают. Но сейчас... Я испугался. И зря. Все слушали

Дениса, и никого не коробило. Улыбались. Есть такие люди, которым почему-то все можно. Они и врут, а как правду говорят. И Маша на него сквозь волосы с улыбкой смотрела, опять они у нее соскользнули.

Все слушали. Улыбались. Даже мама.

— Мужики! — закричал Денис. — Мы что здесь, остаемся? Я ж от скуки сдохну!

Всем бы глаза спрятать, но опять только улыбнулись. И Маша сквозь свои волосы усмехнулась — мол, мели, Емеля... Но невесело как-то.

И тогда меня дернуло. Я встал и отошел от них.

Эти цветы росли на нашем островке лишь в одном месте. То есть я знал только одно. Там их росло четыре. На высоких стройных хлыстиках. А листья росли рядом, совсем как бы отдельно.

Я отломил у самой земли один цветок. Потом подумал и сломал еще и второй.

Взрослые, конечно, уставились, когда я к ним подошел.

А я все не знал, к кому же сначала.

Бывает же так иногда: все, на что ни посмотришь, веселит. В этот день было как-то легко, ноги легкие, руки легкие. И петь хотелось, хоть и на жаре. Маша тоже ходила недалеко между деревьями и пела. Во всяком случае, казалось, что с той стороны поют.

Может, правда, это цыгане, на другом островке, но едва ли.

И небо в круглых облачках тоже было веселым.

И милиционер с Икрамовым едва сдерживали себя, чтобы не смеяться. Даже на берег не вылезли.

Мамин голос ворковал, хотя и обсуждалось что-то сквородно-ведерно-обеденное.

И дядя Тигран, которого доедало безделье, вдруг начал строить солнечные часы.

И папа шурился, когда на меня смотрел.

И мамин голос был давний-давний. Из моего, наверно, четвертого класса — вот какой голос у нее был.

И конечно, это Маша пела. Не цыгане. Точно.

XIV

Мы сидели мирно у костра, когда из-за деревьев тихо появился тот старик в тюбетейке, который покупал у нас судаков. Той же осторожной, словно крадущейся походкой он направился к нам. Я похолодел. Трешка лежала у меня в кармане между крючками и

грузилами. Мне казалось, что в кармане у меня бенгальский огонь. Он жег ногу, рассыпал искры, дымил...

Денис не видел старика. Он сидел спиной. Тот подошел к костру и приподнял тюбетейку.

— Что, дедушка? — ласково спросил дядя Тигран.

Денис оглянулся. Я ожидал, что он вскочит, испугается, а у него бровь не дрогнула.

— А... — говорит. — Это ты, дед? Ну чего?

— Да рыбки бы... — робко сказал дед. — Не продадите судачков?

И он глянул на Дениса, на меня, на всех. Нога у меня пылала.

— Не, дед, — ответил Денис. — Не ловим. Прекратили.

— А то я бы взял.

— Сами бы взяли, — сказал Денис.

Будто ничего и не было у нас с этим дедом! И тот просто случайно увидел, что у костра сидят люди. Увидел — и подошел. Но Денис-то, Денис! Вот кому в разведчики идти!

Когда старик скрылся, папа, глядя ему вслед, сказал:

— Вообще-то жаль, что пустогопустили...

— По рублику бы за кило! — весело ответил Денис. — Как в аптеке!

— Вот ты шутишь, — откликнулся папа, — а ведь есть паразиты, которые сейчас карантинном воспользуются. У людей горе, а они начнут себе деньгу заколачивать.

Тут Денис стрельнул в меня глазами. Он-то не шутил. Но папа не понял этого. Кажется, впервые такое, чтобы папа не понял того, что понял я.

Я отошел от костра.

Выкидывать ее я не стал. Сейчас не восемнадцатый век, понятно, что неодушевленные предметы сами по себе не виноваты. Я не выкинул ее. Я наколол ее на острый сучок деревца около тропинки. Кто-нибудь пойдет, когда будет светло, может быть, тот же самый старик или его сыновья, и увидит. Как в «Золотом ключике».

— Что ты ерзаешь? — спросила мама, когда я опять сидел у костра. — Что у тебя там?

«Там» у меня ничего не было. Знаете, какое это счастье!

— Ничего! — ответил я.

Мама присела около меня, засучила мне штанину шорт повыше. В том месте, где кожи касался карман, на ноге у меня было багровое ожоговое пятно.

— Это ж надо так умудриться! — воскликнула мама. — Сейчас, что ли? Как это ты через штанину? Или крапиву в кармане носишь? Ну-ка, что у тебя там?

Какое счастье выворачивать наружу карманы, если тебя просят! Я так старался сразу все выгрести, что засадил себе под ноготь крючок. Нет, я не вскрикнул. Я просто отвернулся, взял его зубами, зажмурился и вырвал. Никто ничего не заметил. И чтобы продлить то наслаждение, которое я впервые в жизни испытал от боли, я не показал никому ноготь. Из-под ногтя текла кровь. Чуть позже я налил туда йода. Нет, не запляшу, думал я, и дуть на палец ни за что не буду, вот так и буду стоять и терпеть...

Никто не знал причины, отчего на маму вдруг напал страх.

— Что-то произойдет, — сказала она. — Чувствую... Должно.

— Давай, пифия, — откликнулся папа. — Работай!

— Нет, правда... правда... Этот карантин... Не к добру!

— Пари! — бодрым голосом прервал дядя Тигран. — Готов заключить пари, что ни здесь, ни в Астрахани мы не узнаем ни об одном смертном случае. Слухи будут, сплетни будут, а так, чтобы точно, такого не будет! Пари!

У меня в запасе была «американка», которую я выспорил у него уже давно. Применить, оказалось, ее негде. Мне уже давно хотелось от этой «американки» избавиться. Я, конечно, тоже был уверен, что эпидемии нет, просто перепутал кто-то из врачей, приняли одно за другое — вот и шарахнули на всякий случай карантин по всей области. Но надо было помочь маме выкарабкаться из ее настроения. А уж я-то знаю, как это делать!

— На «американку»! — сказал я дяде Тиграну.

Он изумленно на меня посмотрел.

— Ты не понял? — спросил он. — Я считаю, что карантин — дутый пузырь. Ты ведь тоже так считаешь?

— Нет, я считаю иначе.

Мама посмотрела на меня раздраженно. В ее глазах уже не было такого страха. Так-то лучше. Конечно, она

не могла допустить, чтобы и я боялся. Значит, самой нужно было быстро менять мнение.

— Будут смертные случаи! — сказал я. — Точно, будут!

— Да бог с тобой... — начала мама.

— Парí! — резко повторил дядя Тигран.

— На «американку»! — сказал я.

— На что угодно!

— Значит, у меня будет уже две! — сказал я, уверенный в том, что вскоре не будет ни одной.

— Срок? — спросил дядя Тигран.

— До выезда из Астрахани.

— По рукам! Считай, что нет у тебя и той, что была!

— Это мы еще посмотрим, — сказал я.

— Саш, разбей!

— Портишь парня, — вздохнул папа, но наши руки разбил.

Я был уверен, что дядя Тигран выиграет. Денис был тут же. Он все слушал и все слышал. И, как потом оказалось, все запомнил.

В темноте Денис и папа, несмотря на выработанный закон не купаться, поплыли на другой берег. На другом берегу работали камышовые косилки, и туда буксир из Астрахани в этот день притащил какие-то новые устройства — может быть, это был целый комбайн, и если его запустить в сахарный тростник, так он бы выдавал рафинад пачками сразу.

Мама узнала, что папа и Денис плывут, когда они доплыли уже, наверно, до середины. Кричать вдогонку, чтобы вернулись, было поздно, кроме того, было темно, и она только встала тихо на берегу и оглядывалась на меня да руки сжимала. А позади нее стояла, опершись на деревце и покусывая травинку, Маша. Лицо у Маши в свете костра было безмятежное, как у индейца на военном совете.

Когда папа и Денис вернулись, мама даже забыла свой обычный прием — не разговаривать.

— Тс! — сказал папа. — Ну, тихо, тихо! Можно подумать, что мы для собственного удовольствия...

И чуть позже, уже почти ночью, у нас состоялся военный совет.

— Главным голосом будет Митькин, — сказал папа.

У меня внутри все похолодело. Не оттого, что со мною не советовались никогда, советовались, конечно,

и раньше, но никогда еще папа не говорил об этом так серьезно и точно. «Что Митька решит, то и будет». А дело было таким, что ради него оба и плавали за полкилометра. Мама притихла, и все смотрели на меня.

У меня по затылку пошли мурашки, и кожа под волосами съежилась.

Я ничего не спросил и стал ждать. Уж если они мне доверяют, то и вести себя надо было как взрослому. А не как тогда, когда Денис продавал старику судаков.

— Ну вот, — сказал папа. — Предлагается на обсуждение такой план...

XV

Буксир, что стоял у камышей на другой стороне протоки, под утро должен был идти в Астрахань. Парни с буксира соглашались тайно увезти нас в город.

— Ближе к Астрахани все суда подвергаются контролю, — сказал папа.

Мама вздохнула, вернее, вдохнула в себя воздух, да так и осталась.

— Но спрятать обещали хорошо, — сказал папа.

— Саш... — сказала мама и посмотрела на папу, а потом на меня.

— Да, — ответил он. — Да. Именно. Поэтому я и предлагаю ему разобраться самому. И решить, имеем ли мы право так поступить. Внутреннее право. Чтобы потом глаза не прятать. Два раза сидеть в обсерваторе я не хочу. Есть общее для всех правило, есть медицинская необходимость карантина, есть общий, так сказать, штраф за любопытство к этому краю, но отсиживать дважды...

— Так, может, если у нас отсюда будут справки, то нас в Астрахани не заставят? — робко сказала мама.

— От ленинградцы! За что их люблю! — с каким-то восхищением или с жалостью воскликнул Денис. — От караси-идеалисты! Они до сих пор думают, что жизнь по справкам устроена! Справка есть — значит, все! Да? Да там сейчас с десятью справками, и не с такими, как у нас! От ленинградцы! Связался с вами! От идеалисты! При чем здесь справка? Нас же не в стеклянной бутылке в Астрахань повезут!

— Что же делать? — растерянно спросила мама.

Дядя Тигран сидел и молчал с таким видом, будто его никакие обсуждения не касались. Как решите. Всем нашим друзьям и знакомым известно, что твердый ха-

раक्टर в нашей семье один — и он у мамы. Известно, что маминой волей, мамиными стараниями, маминой неустанной заботой... И есть еще целый раздел вопреки. Например, вопреки тому, что на ней лежит вся тяжесть ведения хозяйства и воспитания сына... Папа смотрел мне в глаза, а я смотрел в глаза ему. Есть вещи, которые мы решаем только с ним.

— Решай задачу, — сказал папа. — Дано: запрет милиции передвигаться. Подготовка в поселке обсерватора именно для нас. Воду привозят, хоть и нерегулярно. Но все же, заметь, возят. Продукты на исходе. Икрамов перестраховщик, но еще не из самых худших. Машины нервы...

— Оставь, пожалуйста. Не вали все в кучу!

— Общий отдых у нас у всех. Моя работа. И последнее — самое важное: если объявлен общий карантин, значит, все же есть реальные случаи заболеваний. Если есть запрет купаться и ловить рыбу — значит, это еще серьезней. А мы живем на берегу. Где гарантии, что мы уже сейчас не нахватили вибрионов? Вот, кажется, и все. Можем мы, учитывая перечисленное, уехать тайно в Астрахань? Или нет?

Так хотелось крикнуть — можем!

— И последнее, — сказал папа. — Ты, Митя, помнишь, сегодня спорил с Тиграном. Помнишь, что ты говорил? Или, может быть, ты решил отказаться от своего мнения?

Папе не хотелось здесь сидеть. Мне не хотелось. Никому не хотелось. И, кроме того, папа из нашего спора с дядей Тиграном все или почти все понял.

— Можешь отменить свои слова, — сказал папа. — Можешь на них настаивать. Как решишь.

— А если я их отменю, ты будешь считать меня трепачом?

Папа усмехнулся. Конечно, будет. Можно было и не спрашивать.

Дядя Тигран ничуть мне решать не помогал. Сидел себе и смотрел в костер круглыми глазами. А Денис и Маша возились около своей палатки. Кажется, снимали с кольев. Собирались отъезжать.

Решали мы долго. Решали, решали и наконец решили.

Сначала я все думал, как бы не показаться перед папой болтуном, но потом разговор повернулся, отъехал,

и уже не хотелось даже для себя сводить все к просто-му — раз так сказал, значит, так и думаю. Тут ведь действительно уж мне дали решать как взрослому, надо было подумать обо всем. Чтобы никому не было никакой поблажки, и в первую очередь нам самим. Я понимал, что это экзамен. На взрослость. На честность. Чтобы, если поймают, то не было бы стыдно. Впрочем, это будет уже не «поймают», а «задержат».

Ночью к нашим палаткам подошла маленькая шлюпка.

— Ну как? — спросил мужской голос из темноты. — Собрались? Через час уходим.

— Нет, — ответил папа. — Мы не собрались. Когда у вас следующий рейс?

— Через четыре дня.

— Вот тогда, если не передумаете.

— А что не сейчас? Ночь темная...

— Нет, — сказал папа. — Мы не успеем собраться.

Но дело было, конечно, не в том. Просто я решил, что мы сами должны себе устроить карантин. Вдруг действительно кто-то из нас уже заболел, но не знает, а мы такого больного возьмем и привезем в Астрахань.

Холерный карантин пять дней. Денис и Маша жили около нас уже два дня. Больше мы ни с кем не общались. Икрамов и милиционер в последний раз даже с лодки не сошли. Пусть же будет еще три дня.

— А вы думайте сами, — сказал папа Денису. — Наше решение на вас не распространяется.

— Еще бы! — сказал Денис. — Еще бы оно распространялось! Эй, баба, развязывай палатку!

— Я действительно вам говорю! Мы одно, а вы можете решать иначе... У нас свои соображения.

— Точно, — сказал Денис. — Мы смоемся, а вас завтра здесь оставят в покое. Так?

Папа не ответил.

— Вбивай второй кол! — в темноту крикнул Денис. — От бабьи грабли! Да не тем концом!

Когда на следующее утро милиционер привез нам воды, я поставил ему ведро, а сам отошел, чтобы не общаться. По-честному так по-честному.

— Чего это ты сторонишься? — спросил милиционер подозрительно.

— А у нас уже обсерватор, — ответил дядя Тигран.

Я испугался, думал, тот сразу догадается, но милиционер только хмыкнул.

— Обсерватор! — насмешливо сказал он. — Кабаре у вас, а не обсерватор!

Мама и Маша в это время натягивали между деревцами какую-то веревочку.

— Отъезжай, друг, отъезжай, — сладко сказал Денис, — мы все же боимся, чтобы ты нас, случаем, не заразил.

— Я при исполнении, — ответил милиционер. — Ко мне холера пристать не смеет.

Три дня мы никого к себе не допускали, все кипятили. В воду я больше не лазил, только обтирался, а лицо мыл кипяченой водой.

На четвертый день пришел буксир, и той же ночью мы на него погрузились. У нашего бывшего костра папа воткнул палку и прицепил к ней записку. Мол, сами уплыли, и винить в том никого не надо. И вообще, мол, спасибо.

— Пап, подпиши: «Шестеро Ивановых».

— Ладно, — сказал он. — Сообразим. — И подписал: «Беляков».

Плыли мы в машинном отделении. Я сидел, прислонившись к папе. Мама села с другой стороны. Но хоть и рядом, да не рядом. Мне все мерещилось, что, даже если они сейчас совсем бок о бок, между ними можно фанерку всунуть, тетрадку. Папиросную бумажку. Что-нибудь, да можно. Очень мне эта папиросная бумажка мешала. Очень.

Я то засыпал, то просыпался. Стучал дизель, и все в машинном отделении дрожало. Переборки, скамейка, на которой мы сидели, трап, поручни. И все было слегка липкое. И душно было. Я заснул, проснулся, и мне показалось, что и руки, и шея, и лоб — все у меня такое же липкое, как поручни. Проснулся я оттого, что дизель замолк. Наверху раздались голоса. Буксир сильно качнулся.

Маша спала, положив голову Денису на плечо.

Я посмотрел на папу. У него было лицо как обычно, только скулы немного вылезли. А мама опять не дышала. Дядя Тигран смотрел в одну точку. Сидел нога на ногу, а пальцы рук сцепил на животе.

Минут пять прошло.

И опять загрохотал дизель.

Потом кто-то открыл люк машинного отделения и сказал:

— Можете дышать. С вас полбанки.

В пять часов утра мы высадились на каком-то старом, заброшенном причале. Буксир тут же отвалил. Мы были в пригороде Астрахани.

XVI

Кинотеатры из-за карантина не работали, мороженое не продавали. У райисполкомов толпились очереди — записываться в обсерватор. Мы записались тоже. Потом нас выкликнули по списку, и мы отправились в обсерватор.

Вот уж где был порядок!

Обсерватор оказался большой новой школой. У входа уже стояли два врача в белом, две медсестры сидели за столиками и записывали, и был еще солдат с очень строгим лицом, и лейтенант с еще более строгим. На лейтенанте была фуражка, а на солдате брезентовая шляпа с дырочками. Как-то сразу становилось понятно, что все это уже не шутки.

Мама, как водится, искала меня глазами, хоть я и был рядом, и взяла на всякий случай за руку. Перед нами было человек, наверно, пятьдесят, и сзади до самого забора школьного участка уже пристроился огромный хвост.

Около нас в очереди стоял матрос или механик, парень лет двадцати. Он все отходил из очереди обратно к забору, там за забором стояла его плюшечка с завивочкой, зареванная, будто на войну провожала. Он сбегал так раза три, а потом стал вдруг расстегивать свой чемодан. Искал, искал, все комом вывалил. Нашел. Книга какая-то. Полистал он, выдрал из этой книги лист, на листе фигурки с флажками. Покуда он закрывал чемодан, я успел рассмотреть, что если одна рука вверх, другая вниз — так это «и». Зачем-то он понес этот листок своей рёве.

Прямо за нами толпилась целая цирковая программа — и гимнасты, и танцовщицы, и несколько клоунов, и веселый бородавчатый старик с двумя собачками за пазухой, и целая кавказская семья или маленький аул — все друг на друга похожи, но разные по величине, так что сразу можно сообразить, кто кому на плечи ползет...

О том, что пищу с собой не брать, объявляли, наверно, сто раз. И все-таки теперь, когда выяснилось, что медсестры осматривают вещи и еду велют выбрасывать, очередь заволновалась. Несли, конечно, еду. Какой-то старик, даже с виду жадный, ходил вдоль очереди и предлагал купить у него плавленные сырки. На копейку дешевле, чем в магазинах. Но очередь была сытая, и все жевали свое. Один толстый мальчишка сидел на рюкзаке и ел большой ложкой варенье из литровой банки. А рядом с ним стояла мать и держала следующую банку наготове.

Наша семья выглядела, слава богу, поприличней. Мама, конечно, на всякий случай взяла для нас по пирожку и по яблоку, но раз нельзя, значит, нельзя. В рюкзаках у нас, кроме килограмма сушеной воблы, ничего съестного не было. А насчет воблы мы, конечно, знали, что отберут. Но с другой стороны — ехать из Астрахани и даже не попытаться?

Морячок, который утешал свою рёву, пришел на место.

— Как дела на Каспии? — спросил Денис.

— В порядке.

— Утешаешь?

Морячок не ответил и отвернулся. А его плакса уже улыбалась. Вот народ, а? Картинку подарил, и уже смеется...

Маша стояла за забором, схватившись за штакетник рукой, отдельно от других провожающих. Она молчала.

Мама все посматривала на нее, а потом вдруг и говорит:

— Все же, Денис, вместо сердца, простите, у вас... вобла.

Почему именно вобла, понятно, нас уже вот-вот должны были проверять.

Денис ничего не ответил, только в затылке почесал и оглянулся.

— Нет, он не женится на ней, — алюминиевым тоном сказал папа. Мама вздрогнула и дико на него посмотрела.

— А при чем здесь это? — спросила она. — Машеньке не стоило бы этого и желать...

Раз меж них стало накаляться, дядя Тигран тут как тут:

— Точно! Жениться на таком полене? Да она себе что-нибудь настоящее найдет!

Зачем они так про него? Папа ведь знал, что, не будь Дениса, меня бы сейчас багром по дну искали.

— Денис, — сказала мама. — Это они нарочно...

Денис опять оглянулся.

— И лопата же ты, такси, — сказал папа. — А, Тигран?

— Лапоть в шашечку. Из столицы нашей Родины города Москвы.

Денис молчал.

— Не надо при детях, — попросил я. — Я могу всё неверно понять. — Тут они на меня посмотрели.

— Все, все рехнулись, — убежденно сказала мама.

Наша очередь подходила. Вещи, всё, кроме того, что было надето на себя, у входа отбирали и клали в камеру хранения. Папа держал в руках две книги — одну для себя, другую — для меня. Но книги при входе отбирали. Денис взял их у папы, подтянул живот и засунул под рубаху.

Не обидчивый он был человек.

Наша очередь подходила. Сзади вдруг захохотали. Мы оглянулись. Циркачи, передавая друг другу литровые банки, хлебали клубничное варенье. Сдался, значит, толстенный. Собачий старик тоже отпил варенья через край. Собачки тянулись лизнуть — видно, с хозяином они все делали сообща.

Воблу нашу обнаружили и отложили. Солдат строго повел глазами, а лейтенант даже не посмотрел. Маме сказали, чтобы она шла в спортзал, а нам троим назвали номер класса.

— Что, больше не увидимся? — спросила мама. Как бы через папиросную бумажку спросила.

— До отъезда, только до отъезда! — строго сказала сестра.

— Только! — сказала мама.

Врач улыбнулся.

— Надейся на беспорядок, — сказал папа, поймав улыбку врача.

— Вот, вот... Это весь ты...

В нашем классе вместо парт стояло восемнадцать коек. Ряд у окон уже весь заняли. Только тот старик, который торговал в очереди сырками, лег подальше от окон в самом углу. Все, кто был в классе, стояли у окон — наблюдали, как трясут чемоданы циркачей. У нас оказалось двое мальчишек — один тот ужасно толстый, наполненный вареньем, другой — постарше меня. Я ему был до виска.

— Меня Игорем зовут, — сказал он. — В шахматы умеешь?

— Немного.

Не хотелось хвастать. Шахматы у него были вроде бумажника. Фигурки там вдевались в прорези, как лепесточки. Я вообще-то не люблю в такие играть, удовольствия не испытываю. Но других не было, сели. Клубничный толстячок тоже подошел, остановился, палец в носу держит. Как говорит папа, чтобы все было на всякий случай по местам.

— Гляди! — сказал Игорь.

Морячок, который стоял в очереди за нами, встал на стул перед окном и, взяв в руки по сложенному белому полотенцу, сигнализировал на волю. Вот, значит, для чего он ей картинку вырвал. Сообразил.

— Можешь прочесть? — спросил Игорь.

— А ты?

— Я-то могу.

— Откуда?

— Долго рассказывать... Знаешь, что он ей написал?

— Что?

— «Люблю»... Вот еще раз. Смотри «эл» — это как коромысло с левого плеча снимаешь. Знаешь, что такое коромысло?

— Ладно, — сказал я. — Ты не задавайся особенно. У тебя на ферзевом фланге Сталинград намечается.

Он подозрительно на меня посмотрел.

— На каком, на каком фланге?

— На этом.

— На ферзевом, говоришь?

— Ладно, — сказал я. — Ты доиграй сначала.

Я боялся, что сейчас подойдет папа и начнет ему подсказывать. Мне-то он в жизни ни разу не подсказал.

Часов в шесть вечера принесли белое эмалированное ведро с белой рисовой кашей и ведро компоту, а потом очень быстро стемнело. Окна оставили раскрытыми, с пустыря, что был за оградой, слышался стрекот кузнечиков, чем-то душно и по-южному пахло, у нас в Ленинграде никогда такого запаха не услышишь. Может, степь? Внизу под окнами по всему школьному участку горели лампочки, и двое часовых в шляпах и гимнастерках с короткими рукавами бродили вокруг школы — туда-сюда, туда-сюда. Никого ни к нам, ни от нас.

Пахла сухая трава, кричали где-то поблизости лягушки, никто не хотел спать. Морячок стоял у окна, да как ударит себя в лоб кулаком.

— Ты чего? — спрашивают. — Забыл что-нибудь?

А он ничего не ответил, только лег животом на подоконник.

На другом окошке примостился Клубничный.

— Солдатик! — кричит. — Эй, солдатик, подойди сюда!

С маленького что возьмешь? Все смеются. Кроме того, толстячок один здесь живет, раздолье — мать отдельно.

— Солдатик, эй, солдатик!

Солдат ходил, ходил под окном, голову не поднимал, а потом этот его допек.

— Ну чего кричишь! — слышим. — Вот я тебя сейчас сдам куда нужно!

А толстячку только того и надо!

— Меня, — кричит, — и так уж сдали! А куда ты меня сдашь?

Все смеются. Солдат даже в школу войти не имеет права, с тех пор как объявили, что обсервация уже началась.

А у третьего окна замер Денис. Стоит и стоит. Он сегодня все молчит.

В самом углу улегся старик. Рядом с ним была койка папы. Потом — моя, потом — дяди Тиграна. Когда потушили свет и все стали засыпать, только тот парень еще лежал животом на окне, старик принялся папе что-то негромко рассказывать. Я не очень этим стариком интересовался, хотя бы за его сырки, но если папа что-то слушает, то и мне сразу надо. Папа слушал.

— Как же выйдет-то, — говорил старик, — что она без меня помрет? Весну вытянула, думали, до осени теперь, в самую-то теплынь...

Слушать его было неинтересно, только жаль. И я стал думать о Ленинграде, о том, что через неделю мы туда приедем, и о том, как там Томашевская.

XVII

Первые клюнувшие на Тарзана хотели увезти его под Киев. Вообще они там и жили, но сейчас гостили в Ленинграде и здесь искали собаку.

— Представляете?! — возмущенно говорила Дина Мироновна. — Под Киев! Как вам нравится? Увезут куда-то к черту на рога — ни навестить, ни проверить... Ах ты мой ласковый... Пампушками кормить... А тебе ведь фаршик, фаршик...

— Значит, на Украине совсем плохи дела? — спросил

Нинин отец. Он говорил теперь с Диной Мироновной, обязательно упираясь указательным пальцем в переносицу. — Своих, так сказать, собак, судя по вашим действиям, там совсем...

— Отчего? — выглянув из Тарзаньей шерсти, ответила Дина Мироновна. Она теперь избегала говорить с Николаем Сергеевичем, а если приходилось, то Дина Мироновна садилась около Тарзана на корточки и пряталась за него, как за щит.

— Ну если такое золото надо из Ленинграда возить, — сказал Николай Сергеевич, — то, вероятно, собачий вопрос...

— Ах, вы ничего, ничего не поняли, — нервно засмеялась Дина Мироновна. — Совсем, совсем ничего... Не они не хотят его у нас брать, а мы, мы не хотим его отдавать!

— Сознаюсь, не понял, — сказал Нинин папа. — Кто это «мы»?

— Представляете, — перебила Дина Мироновна, теперь уже глядя на Нинину маму, — там даже язык не тот. Дюже да гарно. Галушки да пампушки. А собака, можно сказать, выросла в Ленинграде.

— Ваша собака, случаем, Достоевским не интересуется? — спросил, не отрывая пальца от переносицы, Николай Сергеевич. — Или ей ближе блоковские мотивы?

— Коля! — воскликнула Нинина мама.

— Ничего, ничего, — как больному, ласково улыбаясь Николаю Сергеевичу, сказала Дина Мироновна. — Напрасно вы так иронизируете. Ну сами себя представьте на его месте. Вы вот с детства слышите один язык, а вас вдруг взяли да перевезли насильно куда-нибудь... В Африку, например. Много вы там поймете?

— Хм, — сказал Николай Сергеевич. — Мне, знаете ли, как-то ни разу не приходило в голову...

— Вот видите! — ласково сказала Дина Мироновна. — Даже не приходило!

— Я, правда, не закапываю объедков в чужую постель, — сказал Николай Сергеевич, — а что касается луж, которые ваш любимец обожает пускать под дверь...

— Минуточку! — закричала Дина Мироновна. — Минуточку! Это вы зря, зря на него! Он просто от радости. Он же бывает счастлив! Тут уж у него рефлекс... Все отказывает...

— У меня, кажется, тоже. Кстати, об Африке, — сказал, поворачиваясь к жене, Николай Сергеевич. — Предлагают поехать поработать.

— Это серьезно? — спросила Нинина мама.

— И наверно, без семьи? — живо спросила Дина Мироновна, и глаза ее, как в первый приход, скользнули по стенам.

— Кажется, другого способа нет, — нервно улыбаясь, начал Николай Сергеевич.

— Коля! — еще более нервно сказала Нинина мама.

Нинка рассказывала, что вечерами ее папа иногда вдруг поднимал голову от книги и говорил:

— В мешок всех, в мешок...

Семья была в сборе, и Тарзан вваливался в комнату.

— Послушай, — говорил Николай Сергеевич. — Окажется, не Дина Мироновна генерирует этот запах, а он сам. Она лишь умеет как-то удивительно его сохранять. Научилась аккумулировать.

— Я понимаю, дорогой, что тебе трудно, и я вчера самым решительным образом... Но может, мы его, правда, пока вымоем? Действительно, что-то он стал попахивать.

В операции участвовали все.

Первое, что Тарзан сделал, когда его общими усилиями поставили в теплую пену, задумчиво поднял лапу и пожурчал.

— Мой отзывчивый! — тоном Дины Мироновны сказал Николай Сергеевич. — Где-то у меня есть прекрасный широкий ремень с тяжелой пряжкой...

— Ты, кажется, действительно не в себе! — вскрикнула Нинина мама. — А если у животного рефлекс? Чем оно виновато?

— Оно, может быть, и ничем не виновато! — особенно произнося слова, медленно сказал Николай Сергеевич. — Оно...

Оно было счастливо, оно стало прыгать в ванне и чихать от сложно пахнущей пены.

— Иди, иди, — сказала Нинина мама. — Когда сменю воду, я позову тебя помочь...

В этот день они легли позже часа ночи — во второй воде Тарзан совсем разыгрался, а они забыли закрыть ванную на задвижку. Тарзан носился по квартире галопом, оставляя на паркете клочья серой пены.

— Ты не хочешь сам принять ванну? — после того, как Тарзан был закрыт в кухне, спросила Нинина мама.

— Я уж лучше завтра в общую баньку, — сказал Николай Сергеевич. — Как-то надежней. Там все же перед тобой собак не моют...

Через несколько дней Дина Мионовна сообщила, что есть люди в Сиверской, которым нужна именно такая собака.

— Ну наконец, — сказал Николай Сергеевич. — Сам приедут или отвезти? Бросаю все дела...

— Минуточку! Минуточку, Николай Сергеевич! Вы прямо договорить не даете... Они ж его хотят посадить на цепь!

Николай Сергеевич посмотрел на Дину Мионовну внимательно.

— Подробное знакомство с характером вашего любимца... — начал он.

— Минуточку! — вскрикнула Дина Мионовна, пряча лицо в шерсть Тарзана. — Вы меня в последнее время все больше удивляете, Николай Сергеевич! Интеллигентный человек, кандидат наук... Должна вам сказать, что у нас в обществе есть профессор, который много лет работает на кухне, потому что комнаты свои уступил животным! И делает это, заметьте, от души, без натуги... У меня, хоть я и не хотела вам об этом говорить, муж в параличе, правая половина отнялась, и речь нарушена, а постоянно держим четыре-пять собак. Но сажать на цепь! Для чего тогда существует общество?

Дина Мионовна сидела на корточках за Тарзаном, как за укрытием.

— Простите, — сказал Николай Сергеевич, — я, право, не был в курсе ваших семейных трудностей, и я едва ли уполномочен отвечать на общие вопросы, связанные с целями вашего общества, но...

— Тут есть еще один проект, — меняя тон на самый мирный, сказала, вставая, Дина Мионовна. — Есть еще одни желающие, и квартира у них отдельная, и пустырь рядом...

— Ну! — сказал Николай Сергеевич. — Ну так что же?

— Не знаю, как и сказать, — и Дина Мионовна посмотрела на Нинку, которая теперь только молчала, а вечерами кротко шла к закрытию мясного магазина за костями.

— Валяйте! — сказал Николай Сергеевич. — Выкладывайте, что есть!

— Понимаете, я подозреваю, что они ожидают ребенка.

— И что же?

— Как это «что»? Сначала Тарзик да Тарзик, а потом? Собаку в заброс. Может, даже кормить вовремя не будут.

— Так, — сказал Николай Сергеевич. — Так.

Он подошел к зеркалу и, улыбаясь, стал зачесывать волосы от шеи вверх на затылок. Жена смотрела на него с испугом.

— Надо держаться! — вдруг крикнул Николай Сергеевич. — Надо держаться! Во что бы то ни стало!

XVIII

Пока думал о Томашевских, немного продрог. Тут днем жара, а ночи уже совсем прохладные. Особенно если закрываешься одной простыней.

Денис все торчал у окна.

Я вышел из класса, добежал до конца коридора, вернулся. Денис все у окна стоит. Я выглянул тоже. За забором под фонарем стояла Маша. У фонаря крутилась мошкара, бродил туда-сюда часовой с короткими руками.

Все у нас в классе, кроме Дениса да меня, спали.

А за окнами спала Астрахань. Кроме часового и Маши.

Второй день в обсерваторе был не очень скучным. По коридорам школы можно было ходить, хоть сестры и врачи говорили, что это нежелательно. Мы с папой пошли к спортзалу, вызвали маму, поболтали. Она уже не была такая грустная, сказала только, что непривычно, когда подряд шестьдесят коек.

— Организуй микроклимат! — сказал папа.

— Это уж для вас с Тиграном, — ответила она. — Это вы вечно что-нибудь организуете... А у меня...

— Ну, ну, — сказал папа. — Я так и думал, что все хорошо.

Когда мы шли обратно, цирковые балерины делали в коридоре разминку. Они стояли ласточками, держась за подоконники вдоль всего коридора. Одна из ласточек командовала.

Кавказские акробаты были тут же. Они лежали, выгнувшись и захватив руками пятки; чтобы не иссачкать живот, под каждым из них была газета «Астрахань».

ская правда». Акробаты гортанно разговаривали. На тех, кто ходил мимо по коридору, они внимания не обращали.

Мы пришли в класс. В классе моряк учил Дениса флотскому семафору. За забором на выгоревшей траве сидели Маша и бывшая плакса. У них тоже были совместные занятия.

Мы с Игорем вышли в коридор.

— А ты что, один здесь? — спросил я. Что-то никто его не воспитывал, не спрашивал, куда идет.

— С матерью, — ответил он. — Она в спортзале вместе с твоей.

— А вы где живете?

— В Риге. Нас сейчас там отец ждет. Он полгода плавал, а теперь их теплоход опять грузится.

— И снова на полгода? — спросил я.

— Может, и больше. Один раз на восемь месяцев ушел.

— Значит, не увидите?

— Наверно, увидимся. Если точно через четыре дня выедем.

По коридору нам навстречу шел главный врач в белом колпачке. Руки у него были в карманах халата и, кажется, сжаты в кулаки. Около врача вполоборота к нему шел пожилой дядька с огромной головой и что-то выкрикивал.

— Ну, подумайте сами, товарищ режиссер, — говорил главврач. — Ну о чем вы просите? Я даже передавать вашу просьбу никуда не стану. Смысл карантина именно в том, что он обязателен от начала и до конца. И для всех. Без исключения для всех...

— Я ведь не о том... Но вагоны с животными пойдут малой скоростью, и если в программе значится медведь или лев, так сколько жонглеров ни выпускай...

Главврач, кажется, хотел что-то сказать — наверно, то, что режиссер сам вполне сойдет за льва, но лишь усмехнулся.

— Я ведь не о том, чтобы кого-то не подвергать проверке! — горячился режиссер. — Но если лошадей отправят хоть на сутки раньше... У нас жесткие, жесточайшие сроки...

— У нас тоже, — сказал главврач.

— Что за буквализм...

— Перестаньте, — еще более устало сказал главврач. — Мы банку консервов не имеем права пропустить, бан-ку кон-сервов...

— Да бросьте, право, нет здесь больных. Нет!

— Лишь расписавшись в пунктуальном соблюдении, — сказал главный.

— А животные? Их же малой скоростью...

— Вот уж не знаю. Может, и малой.

— Сказали, что для них будет особый обсерватор... Где они сейчас?

— Да, — сказал главный. — Еще бы не особый. Хотя ваших леопардов сюда бы в спортзал...

— Да нет у нас никаких леопардов.

— А лев?

— Это морской лев, — сказал режиссер. — С ним-то, кстати, как? Рыба ж на карантине!

— Не знаю, не знаю, — чуть не с удовольствием сказал главврач.

В конце коридора раздались громкие голоса. Шумели двое поваров в колпаках и фартуках. Между ними шагала крупными мужскими шагами старшая медсестра. Спор их выглядел как номер в самодеятельности. Остановятся повара, повернув колпаки к сестре, покричат, потолкаются и идут дальше посередине коридора. Подойдя к главврачу, все трое оттеснили его к стене.

— Что такое? — спросил главврач.

— Того нельзя, этого нельзя! — закричал один повар и стащил с себя колпак. Голова оказалась неожиданно лысой. — Того нельзя! Этого нельзя! А что можно? Мы ведь не уезжаем! Нам-то что-нибудь можно?

— Что? Что такое? — залезая каблуками на плинтус, спросил главврач. — Что вам всем нужно?

— Почему всего нельзя? — кричал лысый повар. — Выходить нельзя — понятно. Окурки в кашу не кидать — понятно. В настольный теннис не играть — не понятно! Почему запрещаете?

— Я?!

— Вы! Она сказала, что вы!

— Взбесились, — спокойно сказал главврач. — Это не обсерватор. Это сумасшедший дом.

— Она сказала, что вы! — закричал второй повар и ткнул старшую сестру пальцем в белое плечо.

— Вон там стол стоит! — кричал лысый. — А сетку и ракетку она спрятала в белье! Говорит, что вы запретили!

— Замолчите!

— Того нельзя, этого нельзя... Я у плиты восемь часов, мне ноги разминать надо!

— Если всего нельзя...

— Выдайте, — сказал главврач. — Выдайте взрослым людям лопаточки... Скакалочки... Бросалочки... Песочку вам, товарищи, не привезти?

— Вот-вот, — сказал режиссер. — И я вынужден настаивать, чтобы вы немедленно позвонили в горздрав. Желудок морского льва, как вы понимаете, совершенно не приспособлен...

XIX

Мы с Игорем, конечно, сразу же пошли за поварами и стали им помогать ставить стол. Повара принимали помощь, разговаривая через наши головы. Есть такая жлобская манера. Ни спасибо, ни пожалуйста. Я стал подозревать, что мы зря стараемся.

— Мы на мусор, за вами, — сказал Игорь. — На победителя.

Они не ответили, только лысый посмотрел на Игоря, будто перед ним не восьмиклассник был, а червяк.

— На победителя! — довольно бойко сказал Игорь.

— У нас турнир, — неохотно ответил второй повар. — Двадцать четыре партии. На коньяк.

Есть же такие паразиты! Только для себя, а? В парках такие бывают — притащут из дому сетку, повесят на общественный стол и играют весь день только меж собой. А чуть попытаешься очередь у них занять, ответ один:

— У нас турнир.

И счет, конечно, бурчат так, что ничего не разберешь. А что за рожи у людей, если они себя так ведут! Я вообще замечал, что, если человек только сам за себя, он тут же начинает злиться, и рожа у него словно опухает. У папы есть любимая картина, он репродукцию с нее много раз мне показывал. «Корабль дураков» называется. Там точно такие рожи.

На цоканье шарика стал собираться народ.

А играли-то они классно.

Медсестра для порядку поквохтала, чтобы не соби-
рались, но скоро замолчала. Повара уже понемногу раздевались. Лупили они вовсю. Может быть, у них и действительно какой-то старый турнир был задуман — играли мало что хорошо, так еще и сыгранно. Допустим, один специально для публики ляпнет хитрым ударчиком, а другой уже давно стоит в том месте, откуда удар легче всего взять.

— На мусор, это я, конечно, зря, — тихо сказал Игорь. Он, видно, и в теннис играл на уровне шахмат.

Поглядев, как они играют, я тоже не стал бы напирать. Но привести их к общему знаменателю все же стоило. И ход такой в запасе имелся.

— Куда ты? — спросил Игорь.

— Сейчас, — шепнул я. — Мы им козью рожу сделаем.

— Чего-чего?

— Стой здесь, — ответил я. — Я сейчас.

Папа и дядя Тигран оба лежа читали: папа свою книжку, дядя Тигран — мою. Видимо, она ему нравилась. Он не стыдился, если ему что-то нравилось из подросткового. Или даже из женского. Один раз он целую зиму ходил в женских варежках. Полушубок, трех и оранжевые с белым варежки. Мама ему пеняла, а он и говорит:

— А как же в средние века? Шарфы дам на доспехах? Турниры? К тому же я не женат.

— Очень логично!

Сейчас он читал мою книжку и улыбался.

— Дядя Тигр, — сказал я. — Там зна-а-а-ете... Знаете, что?

Он оторвал свои круглые глаза от строчек, строку пальцем прижал, чтобы не убежала. Есть у него такая привычка. А я оттягивал удовольствие.

Для того чтобы понять, как дядя Тигран сейчас поднимется и какие у него вдруг станут движения, надо знать о нем несколько больше, чем то, что он папин друг и мой учитель по труду в школе. И еще надо знать о двух снимках, что висят у дяди Тигра дома над токарным станком. Первый — струя воды, а в струе круглая дырка. И пуля тут же — еще не успела улететь, сантиметра на два улетела. На втором снимке можно разобрать лишь плоскую поверхность в круглых шероховатых сверху пупырышках и на этой поверхности будто прилипшую белую совершенно плоскую лепешечку. Это сверхмгновенный снимок удара ракеткой. Удара дяди Тиграна.

— Дядя Тигран, — сказал я. — Там двое... Наверно, они перворазрядники. — И я сделал рукой движение, будто замахивался ракеткой.

Дядя Тигран заложил книгу пальцем и отвел ее в сторону. Спина у него все еще лежала на одеяле, но голова уже оторвалась от подушки.

— Отчетливей, Митя, — сказал он.

— Они играют в пинг-понг.

— А что ты бормотал о разрядах?

— А вы гляньте.

— У твоего сына галлюцинации, — сказал дядя Тигран. — В этой каталажке не может быть игроков.

Спина дяди Тиграна продолжала лежать на одеяле, но я понимал, что в его теле идет незаметная глазу химическая реакция.

— Придется проверить, — сказал он.

Денис стоял у окна и семафорил по складам на большую землю.

Я подбежал к окну, глянул.

Маша с листочком в руках стояла за забором. Волосы у нее висели по эту сторону. Я махнул ей, она не ответила, так вглядывалась в Дениса. Но времени у меня не оставалось. Дядя Тигран походкой советского разведчика выходил из класса.

XX

Повара уже поснимали майки. С лысого текла вода. Народ охал и ахал.

Цок. Цок. Шмяк. И в ответ — шмяк. И опять — цок. Цок.

Удар — удар — защита — удар.

— Во дают, — говорили в толпе. Все тут были — врачи, сестры, циркачи. Как в кино пришли.

Мы с дядей Тиграном протискивались. Минуты две зрочки дяди Тиграна прыгали вслед мячику. Попрыгали, попрыгали и остановились. Перед одной из подач дядя Тигран в секундном перерыве громким обычным голосом сказал:

— Славяне, я за вами на победителя.

Эти двое будто не слышали. Один не глянул, а другой не повернулся. Как глухие. Волосатик подал, Лысик принял, снова игра пошла. Семь — восемь. Восемь — восемь.

После одного лихого удара Лысого, когда шарик должен был, отскочив, попасть мне примерно в щеку, перед моим носом оказалась рука дяди Тиграна. Будто она всегда была тут. Просто появилась, и все. Без резких движений.

Шарик дядя Тигран держал тремя пальцами. Как сливу. Держал и не торопился вернуть.

— Вынужден напомнить, — сказал он. — Играю с победителем.

— Он играет! — подтягивая брюки на мокром пузе, сказал Лысый. — Спроси его — может, он заодно и поет? Толпа засмеялась.

Не видели, значит, как дядя Тигран поймал мячик. Или не поняли. Правда, что эти двое не могли не понять. Значит, заигрались. Волосатик, однако, оказался хоть и ненамного, но поумней.

— Мы, голуба, на коньяк, — сказал он. — Кидай, кидай сюда, не держи игру!

— Только на коньяк? — разочарованно спросил дядя Тигран.

— Только! — весело ответил Лысый. — Завелись лишние?

— Ах на коньяк! — сказал дядя Тигран. — Чего ж вы молчали?

— Чего мы молчали! — крикнул, развеселившись, Лысый. — Мы тебе должны были телеграмму прислать?

— А-а... — сказал дядя Тигран. — Ну это другое дело. А что за коньяк? Восемь двенадцать?

Он все еще не выпускал шарика из пальцев.

— Разные есть, — сказал глумливо Лысый. — Для тебя можно восемь двенадцать. По бедности.

— А за шестнадцать сорок? — спросил дядя Тигран.

— На ящик хочешь? — крикнул, хохоча, Лысый.

— На ящик? — сказал дядя Тигран.

— Не держи игру, трепач! — крикнули из толпы циркачей. — Мешаешь!

Лицо у дяди Тиграна потухло.

— А просто сыграть? — спросил он. — Для удовольствия?

— Это уж где-нибудь у вас, — сказал Лысый. — В Москве. А тут у нас время — деньги.

— Жаль! — сказал дядя Тигран и кинул им мячик.

Волосатик тут же подал, пошла игра.

Меня потряхивало. Может быть, я один из всех, кто тут был, понимал, что вместо кино уже начался театр, и сейчас антракт перед вторым действием.

Повара бурчали свой счет ни на кого не глядя, будто не обращая внимания. Мы, мол, играем, а вы хотите — стойте, хотите — проваливайте. Но, если приглядеться, так видно было, что процентов пятьдесят у них было на публику. «На экспорт», как говорит папа про всякую показуху.

Дядя Тигран чего-то ждал.

Что он задумал? Игорь делал мне вопросительные глаза с другой стороны стола — что ты, мол, трепался?

Дядя Тигран чего-то ждал. Неужто трусит? Игнали-то, конечно, они здорово.

Лысый врезал прямо в нашу сторону. Врезал так, что грудью сам упал на стол. На пробой, так сказать, наверняка. Волосатик прыгнул, но не успел. Шарик должен был попасть в дядю Тиграна.

Раздался гулкий щелчок, и шарик, как камень из рогатки, стрельнул обратно, застряв под брюхом поднимавшегося со стола Лысого.

Толпа замерла. Повара замерли. Дядя Тигран молчал. В руках у него была моя книга.

— А я, пожалуй, все же сыграю, — сказал он. — С победителем.

Лысый открыл рот.

— Закрой, — сказал дядя Тигран. — Береги пар. Ящик коньяку, говоришь?

Толпа качнулась и замерла.

— Подача! — скомандовал дядя Тигран. — Счет 12:11.

— Кто это? Кто? — зашептали в толпе.

— Который это? Вон тот?

Я стоял рядом с дядей Тиграном, и в руках у него была моя книга. Это ею он хлестнул. Как ни говори, а что-то распространялось и на меня. Тем более что это я вытащил его сюда.

— Кто это? Кто? — шептали в толпе.

Игорь стал протискиваться поближе. Видно, тоже хотел постоять рядом.

XXI

Поваров будто облили кипятком, так они начали прыгать и так лупить! Вся их эстрада сразу пропала.

Дядя Тигран стоял, стоял и говорит мне:

— А ведь, может, ты и прав, Митька.

Я кивнул, понимая, что он говорит о разряде, а Игорь в бок меня толкает — о чем, мол?

— Смотри, говорю, лучше!

Счет был 18:17. Потом 18:18. Вдруг мне кто-то руку на плечо кладет. Смотрим, папа.

— Счет, — говорит, — какой?

А уже 21:21.

— Ноздря в ноздю, — говорит дядя Тигран.

И вот уже 22:22. Потом 24:24. Казалось, они специально тянут игру. Особенно тот, у кого сейчас лишнее очко, и он вот-вот выиграет. Два или три мяча уже

были явно поддавковые. Толпа стала пошумливать, поддавки никому не нравились.

26 : 26. Но рано или поздно, а помеха сама игру кончит — сетка, или угол, или еще что-нибудь. Такая уж игра.

28 : 26 победил Лысый. Роняя на паркет капли пота, партнер его отошел от стола.

Перед тем как взяться за ракетку, дядя Тигран вынул из бумажника и отсчитал при всех шестнадцать рублей. Мелочи у него не оказалось, и он взял мелочь у папы. Ни слова не говоря, деньги он сунул под сетку посередине стола.

— Ладно, — сказал Лысый. — Чего там... И пошутить уже нельзя.

— А с тобой, звонарь? — спросил дядя Тигран и, улыбаясь, убрал деньги в карман.

— Давай просто так, — сказал повар.

— Просто так?

— А как еще?

— Звонари, — сказал дядя Тигран и подал длинной подачей с правого угла на правый. Лысый дотянулся. Дядя Тигран дал ему тут же в левый угол. Лысый метнулся, успел. Снова в правый. Снова в левый. Правый, левый. Правый, левый. Дядя Тигран как траву косил — туда-сюда, туда-сюда. Косые, но несильные мячи, косые, но очень точные... Туда-сюда. Туда-сюда. И вдруг два мяча подряд в одно и то же место. Лысый чуть не перевернулся в воздухе. У него уже, видно, в голове засело, что он маятник...

— Не мерзнешь? — спросил дядя Тигран.

Лысый положил ракетку, стал снимать ботинки. Босиком он передвигался явно лучше. Теперь он, согнувшись, караулил, готовый отпрыгнуть, подскокить, рвануться. Мокрый он был от макушки до пяток.

Его приятель, еще тяжело дыша, встал рядом с нами. Нам сразу жарко стало.

— Мастер спорта? — спросил он у папы.

— Э тот? — Папа ткнул в спину дяди Тиграна. — Это-то? Мастер?!

— Ладно, — проямлил Волосатик. — Так бы и сказали сразу. Видно же.

Но видно ему ничего не было, дядя Тигран, еще, можно сказать, и не играл. А Лысый меж тем втягивался. Он теперь брал все мячи. Даже постукивать сам

начал. А дядя Тигран делал шаг назад и отвечал тихонько контрударчиком. В треть силы. Цок-цок-шлеп. Тихонечко так.

— Ого! — говорили крутом. — Во лупит!

Мы с папой помалкивали. Не рассказывать же о той фотографии, где белая лепешечка.

— Кто тут последний? — спросил один парень, подходя.

— Никого, — ответил дядя Тигран. — Вы.

Парень посмотрел, посмотрел и говорит:

— А-а... Ну я ж не знал. Играйте.

В это время дядя Тигран первый раз как следует врзал. Повар метнулся, но с таким же успехом можно прыгнуть в окно за косточкой вишни.

— Господи! — сказала какая-то тетка. — А такой с виду приличный.

Кажется, дядя Тигран начинал разыгрываться. Раньше он давал по углам несильные мячи, просто очень точные, теперь же стегнул. С правого на левый. Лысый прыгнул, хотел достать, но влетел в болельщиков. Толпа отодвинулась. Лысый подобрал мячик, подал. Дядя Тигран побросал, поперекидывал, вывел на удобную для себя позицию и хлестнул слева налево. Опять в толпу.

— И сзади отойдите, — сказал дядя Тигран. — Вон оттуда. Вы трое!

Десять минут назад он мог бы на крик кричать, никто бы и внимания не обратил, а сейчас едва раскрыл рот, и там, куда он указал подбородком, словно метлой вывели.

Вдруг поверх папиной руки еще одна легла. И мне так хорошо-хорошо стало. Я ведь думал, что у них совсем неладно. Ан нет.

— Ну, начали? — спросил дядя Тигран.

— Без форы, что ли? — закричал проигравший повар. — А смысл-то, смысл какой?

— Можно с форой, — согласился дядя Тигран.

— Тогда с форой и с гандикапом! — предложил кто-то.

— Что это? — спросила мама.

Я ей объяснил, что Лысому дадут несколько очков вперед, но сколько именно, не скажут ни ему, ни дяде Тиграну, чтобы играли в полную силу. Счет будут вести условный, а настоящего, кроме судьи, никто знать не будет. Так что игра кончится неожиданно.

Судейская коллегия, которая должна была определить тайную фору, составила тут же. Волосатика в нее

не взяли, ты, мол, заинтересованное лицо. Зато неожиданно захотел участвовать главный врач.

Народу становилось все больше, кажется, уже некуда. Вдоль окон и противоположной стены коридора люди стояли, как во время марафонского кросса. Спина у дяди Тиграна намокла. А партнер все крепчал. Просто молодец оказался Лысик. Некоторые удары дяди Тиграна он уже брал. Правда, это были прямые удары, и, для того чтобы их взять, Лысик отскакивал так далеко от стола, что казалось, будто видишь его в перевернутый бинокль. И конечно, стоило дяде Тиграну дать после этого косой в угол...

Народ прибывал. Здесь была вся медицина, и вся кухня, и цирк, в полном составе, и из спортзала женщины потянулись. И ничего никому не нужно было объяснять — ни правил, ни до скольких будет вестись счет. Когда идет такая игра, она вдруг всем понятна.

Описывать, как дядя Тигран бил и как прыгал и вытягивал мячи Лысый, а некоторые, хоть и прыгал, но вытянуть не мог, не буду. Вот разве что еще только про один удар.

Дядя Тигран применял его только в том случае, если ему кто-нибудь уж слишком сильно надоел, приглашая, например, вступить в спортивное общество. Дядя Тигран в отличие от Дины Мироновны обществ не выносил. Пытались же его заманить первым разрядом.

— Разряд? — спрашивал дядя Тигран. — Какой? Первый?

После этих слов он выводил противника в такое положение, чтобы тот навесил ему повыше над сеткой, и затем бил ребром ракетки. Чаще всего мячик при этом лопался, а если лопался... Королевская выходила плюха.

XXII

Сзади того места, где мы стояли, среди болельщиков раздались возбужденные испуганные голоса.

Через пустое место, очищенное для играющего дяди Тиграна, прошел к главврачу тот морячок, которому семафорили из-за забора. Он шел как слепой. Будто не видел, что играют, не видел стола. Угол стола он задел боком.

— Отпустите! — сказал он, вплотную подходя к врачу. — Отпустите меня, мне нужно...

За моряком шел Денис:

— Что, что такое? — спросил главврач. — Что опять?

Моряк не отвечал, только шумно, словно всхлипнув, выдохнул воздух.

— Сестра у него умерла, — сказал Денис. — Сегодня. Дядя Тигран поймал рукой шарик.

Толпа качнулась, придвинулась к главному врачу.

— Отпустите! — крикнул морячок. — Мне надо... Мы с ней...

Толпа молчала.

Врач смотрел на моряка.

— Обратоно впустить не смогу, — сказал наконец врач.

— Сестра, понял?.. — вдруг заныл моряк. — Сестра же... А тебе все равно... Бесчувственные... На полдня-то можешь?

— Обратоно впустить не смогу, — повторил врач. — Это уголовное дело. Неужели не понимаете?

Толпа стояла вокруг.

— Как он узнал? — обращаясь к Денису, спросил врач.

— Да из-за забора родственники крикнули, — чтобы не объяснять, ответил тот.

Рёва, значит, подумал я. Какая ж она ему родственница?

Часа два в обсерваторе стояла тишина. Всех будто шибануло, народ разбрелся по классам. Куда ни заглянешь — везде сидят или лежат на койках, молчат, угрюмо глядя в окна. А за окнами жара, часовые бродят вокруг школы, да пошумливают вдалеке улицы.

У нас в классе тоже было тихо, морячок больше к окну не подходил, он как лег на свою койку после разговора с врачом, так и лежал лицом вниз. Шея у него то краснела, то бледнела.

И тут заплакал в углу старик. Он сидел на корточках на койке, раскачивался и меж всхлипываниями рассказывал, о чем плачет. Он чувствует, что теперь уже не успеет приехать, будет уже поздно, и старухи ему не видать. И если бы еще вчера он поехал, то успел бы, а теперь не успеет...

Черт знает что началось...

Я кивнул Игорю, и мы вышли в коридор. Толстячок, которому сейчас из-за общего настроения даже солдата дразнить не давали, увязался за нами. Коридор был пустым. Мы дошли до спортзала, вызвали мам, поговорили

немного. Все были испуганы и в то же время будто чего-то ждали.

Делать совсем нечего. Мы пошли обратно. И вдруг видим — идут по коридору два повара. Лысый на ходу снимает колпак и расстегивает пуговицы.

— Смотри! — говорит Игорь.

С другого конца коридора шел дядя Тигран. Он словно услышал по радио приглашение от Лысого. Дядя Тигран шел, твердо ступая с каблука на носок. Сойдясь, они не сказали друг другу ни слова. Лысый снял белую куртку, дядя Тигран засучил рукав.

— Шестнадцать — двенадцать, — сказал Лысый.

Дядя Тигран подал. И тут из всех дверей вдоль длинного коридора, словно того и ждали, высыпали люди. Притом так одновременно, будто на станции метро, когда сразу открываются все двери подошедшего поезда. Не прошло и пяти минут, как вокруг стола собралась прежняя толпа.

Игра вскоре кончилась, и тогда циркачи решили кое-что показать своего. Сначала покувыркались на подстилочках акробатки, потом что-то с победными лицами продемонстрировал кавказский аюл, а под конец вышел бородавчатый старик с собачками, которым нравилось клубничное варенье.

Во время представления циркачей ко мне подошел Денис.

— А ты, оказывается, могучий мужик, — сказал он мне.

— Вы о чем?

— Считаю, что это ты все организовал.

Я, кажется, покраснел от удовольствия. Дядя Тигран, конечно, главное лицо. Потом повара — процентов десять. Ну а моих было немного процентов... пять. Или два. Но все-таки были. И приятно, что Денис это понял.

— Вот что... — Лицо Дениса стало серьезным. — Есть одно дело. Поможешь?

— А что за дело?

— Ты сначала скажи, сможешь?

— Конечно. Если смогу.

— Сможешь, — сказал Денис и оглянулся. — Помнишь, ты спорил с Тиграном на «американку»?

А я и забыл. Кажется, спорил, потому что мне мешала та, которая у меня уже давно была выиграна. Хотел избавиться.

— Ты же выиграл, — сказал Денис.

Точно. Теперь их у меня две. За то, что сестра у мо-

рячка умерла, дядя Тагран должен выполнить любое мое желание.

Кто это меня тогда дернул за язык? Я же не хотел, чтобы кто-нибудь умирал... Я вообще об этом не думал. Пospорил, и все... Чтобы мама встряхнулась. И вот теперь...

— Митька, ты мне друг? — спросил Денис.

Мне от его слов стало тепло. Щекотно в горле. Мировой он все же был парень. Из воды меня вытащил. Если бы не он...

— Ты мне друг? — повторил Денис.

И попросил меня черт знает о чем.

XXIII

Единственная дверь в здании школы, которая на все шесть дней не была заперта и опечатана, это была дверь, что вела на двор школы из кухни.

К этой двери специальный дезинфицированный изнутри фургон привозил нам в дезинфицированных баках и банках пищу. Повара и шофер не должны были друг к другу подходить. Шофер подъезжал, открывал дверцу фургона, а потом кричал поварам, и сам отходил. Повара забирали из фургона пищу, и фургон уезжал.

Ключи от двери, как выяснил Денис, Лысый все время носил при себе.

И если еще более точно, то они лежали у него в кармане куртки.

Куртку Лысый снял во время игры. Все это Денис успел заметить. Более того. Он успел посмотреть ключи от входа и подобрать такие же от одного из классов. Короче, если бы Денис попал на кухню, когда там никого нет, то уж он бы наружу вышел. Только надо было, чтобы это случилось в темное время суток, тогда легче с часовым, и еще в такое время, когда никто не смотрит из окон обсерватора. А это либо ночью, либо... Либо как сегодня во время игры, когда все зеваки в коридоре. Но ночью повара тоже спят в комнате, что около самой кухни.

— Митька, — сказал Денис. — Ты сделаешь это ради меня?

Денис хотел удрать на сутки из обсерватора. Удрать, а потом вернуться.

— Поможешь? — спросил он. — Ну хоть ради Маши!

И когда он так сказал, то я понял, что выхода у меня нет. И еще. Что я, кажется, его ненавижу.

По правилам за едой на кухню ходили дежурные. В этот день ведра с рисовой кашей и компотом нам принесли сами повара.

Дядя Тигран лежал и читал мою книгу.

Когда перед ним остановились Лысый и Волосатик с ведрами еды, то он не выразил никакого удивления.

— А... — сказал он, прижимая строку пальцем. — Это уже вы? Поставьте на стол. Котлеты горячие?

И снова углубился в книгу.

Весь вечер я не знал, куда приткнуться. Вечер прошел, в классе стали ложиться спать, папа, убедившись, что я лежу, заснул, а я все не мог заснуть и только и думал, как же мне быть? У папы не спросишь, дядя Тигран, если догадается, вообще может ударить, мама... Нет, маме тоже нельзя было говорить. По многим причинам.

Я вертелся. Простыня попалась какая-то косая — ноги закроешь, плечи голые, плечи закроешь...

Приснилась мне Дина Мироновна. Я ее в жизни не видел, но в сон она вошла, как живая. То есть сначала это был какой-то мужчина, но я сразу узнал, что это Дина Мироновна. И хотелось оглянуться и крикнуть, чтобы кто-нибудь помог, но в чем помогать, даже во сне я не знал. Дина Мироновна была самым добрым человеком из самых добрых, то есть положительным героем, и меня никто не поймет, а если и поймут, то не поддержат, потому что это будет означать, что мы объединились, чтобы бороться против положительного героя. Значит, мы сами отрицательные, а отрицательными никто и никогда быть не хочет. А уж подавно прослыть. Я даже во сне это понимал, и еще понимал, что и во сне закричу, если это будет продолжаться.

Дина Мироновна в моем сне вполне освоилась и чувствовала себя не хуже, чем в квартире у Томашевских. Кстати, была и квартира, и, конечно, Томашевские тут как тут. И конечно, Тарзан. Куда ж ему деться. Дина Мироновна кормила его фаршем и объясняла Томашевским, что его вот-вот заберут, но для этого необходима собачья будка, а чертежей такой будки она никак не может достать.

— Чертежей? — задал вопрос Нинин отец. — А собачьи будки делаются по чертежам?

— Вы прямо как вчера родились, Николай Сергеевич!

— В Публичной библиотеке не спрашивали? — спросил он.

Тут на всех начал напрыгивать Тарзан... Вот он прыгнул на Николая Сергеевича, вот на меня...

— Митька, Митька! — тихо говорил папа и тряс меня за плечо. — Ну, что ты? Что ты? Какой Тарзан? Ты что, братец? Спи...

И опять покатилося, побежало. Сон, еще какой-то сон, и все мутные, неприятные... Уже светало, когда папа разбудил меня во второй раз.

— Есть надо меньше перед сном, — сказал он. — Повернись на бок, не смей больше лежать на спине!

По тому, как утром на меня посмотрел Денис, я понял, что он не только не передумал, а лишь ждет, что я ему скажу. Лучше уж было видеть дурные сны.

XXIV

Значит, я подхожу к дяде Тиграну, прищуриваюсь и говорю ему:

— Дядя Тигран, вы мне должны еще одну «американку». Одна была, а теперь и еще одна. Так что две.

— Как это, как это? — спрашивает он и при этом слегка улыбается, потому что в голове еще не связал. Не вспомнил. А улыбается потому, что он всегда улыбается, когда я с ним заговариваю. Вот и сейчас тоже.

— Теперь две, — говорю я. — Припомните.

Он начинает припоминать. И перестает улыбаться.

Он вспоминает, что, во-первых, со мной действительно спорил. Что, во-вторых, спор был из-за того-то и из-за того-то. И в-третьих, что я выиграл. И каким образом, отчего.

И тогда он посмотрит на меня, и в глазах его, я знаю, знаю это, как будто это уже было, а не будет, что в глазах его мелькнет что-то такое, чего еще никогда не мелькало, если он говорит со мной или думает обо мне. Потому что я ему ближе племянника. Наверно, я ему как сын.

Зачем, для чего я тогда с ним поспорил? Я же не верил сам, что спорю серьезно... И раз уж по глупости поспорил, так хоть бы сейчас не вспоминал... Но я и не вспоминал, мне в голову не пришло... Пришло Денису. И понадобилось. А Денис меня вытащил из воды. И Маша. Спасли меня.

И в голове моей все начинало крутиться сначала. Значит, будет так — я подхожу к дяде Тиграну и говорю:

— Дядя Тигран, вы теперь мне должны еще одну «американку»...

Он прищурится и скажет:

— Еще одну? Это откуда же?

И начнет вспоминать. И вспомнит... И тогда он испуганно оглянется, чтобы только мама и папа не услышали. Уж если я у них такой, то лучше им не знать. Не знать, что из-за смерти человека я имею право с другого человека потребовать выполнения своего любого желания...

Нет! Не хочу!! Я ведь не хотел, я не знал, что так будет, я и думать не думал... Просто мама была очень грустная, очень чего-то боялась, вот я и решил вышибить клин клином!

— Слушай, Митька, — сказал Денис. — Ну чего ты? Чего, говорю, в кефир превратился? Это ж как игра. Как фильм. С тебя-то взятки гладки... Ты ему прикажи устроить игру, и все. Я тебя, что, на преступление толкаю? На шухере стоять беру? Так чего ты замондражил? И потом — тоже мне операция... Вот я вернусь, расскажу тебе об одном деле. Это иной коленкор. А здесь... Когда темнеет-то? В восемь? Значит, так. Надо, чтобы они начали играть около девяти. И завтра в такое же время еще одну игру. Понял? А койку мою несколько раз сомни да поправь — вот и все дела...

Не хотел я с ним говорить. Не хотел я видеть его. Не хотел я его слушать.

— Вас хватятся, — сказал я.

— Да кому я нужен. Анализы взяли. Градусники просто так носят... Что, не заметил? Кто есть, тому сунут, мало ли, вышел. А наши из нашего класса не будут же шуметь. Кому какое дело? Может, я руки мою? Или, может, около спортзала дежурю?

Лучше бы он не говорил про спортзал. После того известия о сестре морячка мама приходила уже раз три. Вызовет меня, ответит в сторону и, краснея и бледнея, говорит:

— Я, конечно, перестраховщица и трусиха... Но ты будь от него подальше, ладно? Вдруг... Что это, что это я говорю?.. Но все же! Я очень, очень за тебя боюсь... Сделай это для меня. Обещаешь? Я, конечно, знаю, что ничего не будет, но для моего спокойствия. Ладно?

А я? Что, что я собираюсь сделать?

К середине дня я извелся так, что у меня уже голова кружилась. Мучительно хотелось рассказать папе. Он бы сразу все решил. Это неважно, что рассердился бы... Теперь мне казалось это совсем не страшным. Рассказать — не рассказать? Рассказать. Нет, я не мог этого сделать. Как только я представлял себе, что рассказываю кому-нибудь из взрослых, мне мерещилось сразу лицо Дениса. Будто он плюнуть собирается.

В — А... — скажет Денис. — Ну так и думал. Расколотся.

Нет, я не мог его выдать. Что-то меня держало. Он ведь мне доверился. Наверно, он бы мог и другое что-нибудь придумать, а вот решил, что я ему помогу, и доверился.

Нет, выдать его я не мог.

Я все надеялся, что что-нибудь произойдет... Ну не знаю что. Допустим, Маша из-за забора ему просигналит, чтобы не приходил. Или вдруг я заболею и потеряю сознание, что тогда с меня возьмешь? Или с самим Денисом что-нибудь случится.

Я поплелся обратно в класс.

То, что мне предстояло... Лучше об этом было не думать. Но как же это, не думать! Только об этом я и думал.

Во-первых, его, конечно, хватятся. Это-то уж дважды два. В классе народ друг к другу попривык, свои клички появились. Например, Дедуля, Клубничкин, Чемпион (это, понятно, про дядю Тиграна со вчерашнего дня), а самого Дениса с легкой папино-тиграновской руки стали звать не иначе как Таксо. Нет, конечно, его бы хватились. Кто-нибудь крикнет: «Таксо? Где Таксо?» И — привет.

Во-вторых... Во-вторых, я боялся. Рёва прибежала к забору и сигналист: так и так, у близких людей в доме смерть от холеры. А откуда Рёва сама узнала? Может быть, по почте или по телефону, а может быть, и оттого, что сама там была... А Маша стоит у забора с ней бок о бок. А Денис именно из-за Маши и собирается убежать. А потом Денис вернется, и все будет шито-крыто, словно обсерватор шесть дней сидит под замком. И вдруг, может быть, уже в поезде... кто-нибудь заболевает. И выясняется, и разматывается... И тогда всех снова обратно в Астрахань на проверку, а главного врача — под суд... А может, заболевшие уже приедут в Москву или Ленинград... И тогда на карантин надо

сажать уже целые миллионы... А у всех работа, а у всех дела, поездки, отпуска — и все к черту... И это из-за меня.

Но меня и еще что-то царапало... Я сам понимал, что в моем рассуждении проскочила какая-то подлость, а я сделал для себя вид, что ее нет. И теперь я знал, что она есть, но не мог понять где. И тогда я лег на койку и стал думать и искать. Папа бы живо нашел. Но к папе сейчас было нельзя.

А может, все же можно?

Он словно понял.

— Мить, — говорит. — Ми-ить!

— Что, пап?

— В общем, ничего. Но ты помнишь, что я поблизости?

— Ты о чем, пап?

Но он уже снова читал. Я знал, что больше он ничего у меня не спросит, а будет ждать — не захочу ли я сам пообщаться.

Хочу — не могу, подумал я.

У окна стоял Денис и сигналил. За забором принимала его сигналы Маша... О чем они сейчас договариваются? Я оглянулся, нет ли Игоря? Еще не хватало, чтобы он был в курсе дела. Пусть уж только Маша... И тут, кажется, я понял, отчего мне было стыдно... Да, понял. Глядя на окна обсерватора, я не думал о самой Маше, а думал только о нас — что будет с нами, если Денис вдруг из города принесет к нам в обсерватор холеру... И тут мне стало страшно за Машу — мы-то через три дня уедем, а она остается.

Почему ж Денис не берет ее с собой? Почему она сама с нами не едет? Но куда бы она поехала? Она ведь сама из Астрахани — куда ей ехать? К нам? Но мы ее не звали.

Днем дядя Тигран как будто вздумал поиграть. Я обрадовался. Если они соберут сейчас толпу, то вечером, может быть, и не будет столько народу, и у Дениса все сорвется. А может, и повара устанут, и тогда тем более. Но повара днем освободиться не смогли.

— Лучше вечером, — сказал Лысый.

— А вечером я не захочу, — капризно сказал дядя Тигран.

Денис мне подмигнул. Мол, он еще сам не знает, чего захочет.

Вот, черт подрал! Что же делать?..

Ужин нам опять принесли сами повара. Они еще потоптались в классе, будто ждали, не скажет ли чего дядя Тигран.

— Спасибо, — сказал дядя Тигран. — Все хорошо.

— Ну как? — спросил Лысый. — Сыграем?

— Не хочу, — ответил дядя Тигран. — Я читаю.

Было шесть часов.

Темнело только в восемь.

Денис с Машей уже обо всем пересемафорились. За забором ее видно не было. Денис поглядывал время от времени на меня. Кажется, он тоже начал вздрагивать. А у меня внутри так все и прыгало.

Сразу после ужина в класс заглянула мама. Мы с папой вышли.

Мама глянула на меня и сразу спросила:

— Митя, у тебя ничего не болит?

— Нет.

— Что-то ты мне не нравишься. Глаза блестят, и вообще какой-то слишком румяный...

— Это от безделья, — сказал папа. — Он уже во сне лаёт. Буквы забыл.

Мог бы так и не говорить, знал ведь, что мою книжку читает дядя Тигран. Просто я сейчас боялся на дядю Тиграна смотреть. Мне все казалось, что он может отгадать. А я ведь уже десять раз сам с собой разыграл, как подхожу к нему и говорю, что теперь у меня две «американки». С собой я десять раз это разыграл, а наяву-то еще не было. И должно было произойти вот-вот. Только бы хоть без папы. И без мамы, конечно.

— А Денис-то! — вдруг сказала мама. И улыбнулась..

— Что Денис? — вскрикнул я.

— Вот мы все на него навалились, дышать ему последние дни не давали... Вы с Тиграном особенно, а он, знаете, приходил сегодня к нам после обеда, в спортзал, я имею в виду. Всех пересмешил, всех успокоил. И меня тоже. Так что зря мы... Он не только о себе думает. Зря мы... Он гораздо лучше...

— А никто и не говорит, — вставил папа.

— Мама, ты бы шла к себе, — сказал я. Уж о Денисе сейчас слушать ничего я не мог. Особенно какой он добрый.

— Что это ты меня гонишь?

— Я не гоню. Но что ты все время ходишь, и ходишь, и ходишь сюда, будто я маленький какой-то... Неудобно прямо.

— А я, может, и не к тебе вовсе, а к папе.

— Ну да, — уже ничего не соображая, сказал я, — целый месяц ссоритесь, а теперь часа не можешь без него прожить. Так я и поверил...

Сказал — и похолодел.

Не глядя ни на папу, ни на меня, мама повернулась и пошла по коридору. Папа стоял молча. Потом он повернул голову ко мне, и во взгляде его я прочел о себе все, что и должен был прочесть. Он еще секунду подождал, словно убеждаясь, что не ошибся, а потом двинулся вслед за мамой.

Я вернулся в класс и лег на койку.

XXV

— Дядя Тигран, — сказал я. — Вы мне должны еще одну «американку».

И было уже все равно. Я даже испытал какое-то удовольствие. Вот, мол, это не только кажется всем, что я дрянь. А так оно и есть.

Дядя Тигран не переменил позы. Он по-прежнему держал книгу перед собой, но я чувствовал, что он не читает. Я на него не глядел, но знал, что он не читает. Вероятно, он вспоминал, что и как.

Вспомнил, конечно. Сопоставил.

— Да, Митя, — ответил он. — Должен.

Голос у него был ровный, чужой. В этом голосе было все, о чем я думал и чего боялся. И еще тонна этого же. Словно не дядя Тигран мне ответил, а граммпластинка. И в центре этой пластинки написано одно слово: «презрение».

Мою книгу читать он перестал машинально. Не то что, обидевшись, отложил, а как-то глубже, ровнее. И страшнее. Будто все, что связано со мной, вдруг покрыла тень. Наверно, он отложил мою книгу, вовсе о ней не думая, может быть, даже не понимая, почему ее откладывает.

— Когда стемнеет, — не глядя на дядю Тиграна, сказал я, — вы пойдете и вызовете Лысого. И начнете с ним игру. Я скажу, когда вам начать...

Мы оба лежали на койках. Глядели в потолок. Помоему, наш разговор был слышен и Денису. Я не смотрел в его сторону. Мы еще полежали.

— После этого у меня останется еще одна «американка», — сказал я.

— Что-нибудь случилось, Митя? — спросил дядя Тигран.

Не ответив ему, я выбежал из класса.

Чердак в этой школе был почему-то не заперт, может быть, на лето. Я стоял в мягкой чердачной пыли у слухового окна, и вдали сквозь тусклую зелень акаций и американских кленов виднелись улицы Астрахани.

Солнце заходило, скат крыши, в котором было окно, уже попал в тень, чердак медленно остывал от дневной жары.

В белесом небе высоко носились редкие ласточки да иногда ниже их пролетала прямым ходом деловитая сутулая ворона или выше все время меняющая курс глупая чайка...

А может, ничего страшного и нет, думал я. Вон сколько в Астрахани народу. Слухи слухами, а случай-то лишь один. Может, ничего и не будет. Даже наверняка ничего не будет. Даже, можно сказать, стопроцентно. И примета такая есть: если боишься и предугадываешь — ничего не случится. Уж это точно. Плохое подкрадывается неожиданно, из-за угла... Нет, точно ничего не случится. Надо только посильней бояться. Это для гарантии.

Я почувствовал, что боюсь.

Но раз боюсь, значит, хорошо, убеждал я себя. Раз боюсь, значит, ничего не случится. Я боялся все больше и больше и пытался убедить себя, что дела обстоят из-за этого все лучше и лучше.

Зазнобило. Точно заболел.

Меж тем быстро темнело. Двор школы был уже совсем в сумерках. И когда я это заметил, меня прямо затрясло.

Может, спрятаться здесь? На чердаке меня быстро не найдут, а когда найдут, я буду уже без сознания — вон как температура поднимается. Правда, у меня никогда еще не было в жизни, чтобы я, заболев, потерял сознание, и вообще я в жизни только два раза отключался — первый раз год назад, когда зажег в ванной газ и меня о стенку шарахнуло, а второй раз неделю назад, в воде...

Денис, подумал я. Маша.

— Ау! — кто-то негромко сказал у двери чердака. — Митька, ты здесь?

Через черный чердак ко мне пробирался дядя Тигран. Голос у него был почти обычным.

— Нет, — громко ответил я. — Я не здесь.

Мне что-то мешало говорить тихо. Когда мы выходили с чердака, я специально держался поодаль от дяди Тиграна. Шагах в двух. И говорил в полный голос...

— Пора вешать сетку, — сказал я. — И скоро уже пора начинать.

— Не нравишься ты мне, — пробурчал дядя Тигран. — Совсем-совсем не нравишься... А что такое с отцом? Что ты ему наговорил?

Он положил мне руку на плечо, но я выскользнул.

— Проиграли «американку»? — сказал я. — Проиграли. Было условие? Было. И нечего... При чем здесь отец, вы же проиграли, а не он.

— Да я не о том. Но пусть мне вышибут глаз, если ты сегодня нормальный... Что случилось?

И у меня что-то соскочило.

— Что случилось? Что случилось? Да ничего не случилось! — заорал я. — Не скажу, разве не видите, что не скажу?!

Я даже ногами затопал. Мы стояли на гулкой пустой лестнице. Он схватил меня и повернул к себе спиной. Голову мою он прижал и стал щупать лоб.

— Бывает, туда таракан забежит, — бормотал он. — Забежит, и выхода не найти. И все бегаёт, бегаёт... А человек тем временем...

Я отбивался. Он держал. Сразу стало легче. Все ж как-никак военные действия. Я вырвался.

— Я вовсе не шучу! — крикнул я. — Вовсе не шучу! Проиграли — идите вешайте сетку! Нечего было тогда на «американку» заключаться!

XXVI

Как только по столу зацокал шарик, из всех дверей повалил народ.

Главный врач пришел.

И обе медсестры пришли.

И циркачи встали тесной толпой.

И режиссер.

И женщины из спортзала. Без мамы.

И наши все, вплоть до Клубничкина. Без папы.

И еще много, много других... Набирались и набирались. Кто не спал, так в нашем коридоре и прилипали.

Вот что значит моя «американка». Не мог я на это уже больше смотреть.

И я поплелся в класс.

В классе опять плакал Дедуля. Он выбирал моменты, когда поменьше народу. Сейчас были только папа да Денис. Денис стоял у окна и глядел в темноту. Когда я вошел, он вздрогнул.

Он на меня посмотрел, и тогда вздрогнул я.

Мы с ним, конечно, преступниками были. Точно. Что-нибудь другое, может, не точно, а уж тут-то без ошибки. Преступники. Уголовники и мерзавцы...

Ну что же он не уходит, думал я. Все для него сделано. Все подготовлено...

Я повалился на свою койку.

Что за отношения у нас сейчас с папой, я не знал. Да, впрочем, чего не знать, со всеми у меня сейчас отношения одинаковые: когда людей предаешь, какие у тебя могут быть с ними отношения?

Денис стал манить меня пальцем; я делал вид, что не понимаю. Мне почему-то хотелось, чтобы он подошел и начал бы тут извиваться — прямо сказать-то не сможет, а начнет крутить. Вот тут я и понаслаждаюсь, как он вертится. Ну, иди же, думал я, подходи! Что же ты не подходишь?

Потом он все же приблизился и, не двигая губами, сказал:

— Немного рано.

Губами не двигал, и получилось «ненога рана». Папа, кажется, автоматически словил, но что он подумал, не знаю, он пытался Дедулю утешить. Но не удавалось, видно, у Дедули что-то в голове ослабло, и теперь он большую часть дня как бы поскуливал тихонько, а к вечеру совсем раскисал.

И деда вернут, подумал я о поезде. И деда, и нас, и дядю Тиграна, и циркачей. И самого Дениса, заразу этакую. И с ним опять неделю сидеть, и он опять чего-нибудь отчубучит, чтобы нас опять вернули. А там, глядишь, он снова решит... Я где-то читал, что так сходят с ума. Начинает человек говорить себе: «О чем я думаю?» И отвечает: «Я думаю о том, что я сейчас думаю». — «А сейчас?» — «А сейчас я думаю о том, что я думаю о том, что я думаю». Сотню колен наберешь — и с приветом.

Ну что ж он не уходит!

— Пап, — сказал я. — Ну, пап?

Наверно, в голосе моем он что-то такое услышал, что все-таки повернулся.

— Пап, когда совсем не знаешь, что делать, что тогда делать?

Он не стал сейчас из себя корчить педагога. А мне все равно было, слышит Денис или нет. Если и слышит, пускай слышит.

— Если не знаешь, что делать? — повторил я. — Что тогда делать?

— Знать, — ответил папа.

И тогда я вскочил.

Дениса в классе уже не было.

XXVII

Я продрался сквозь толпу, что стояла около играющих, и схватил за руку дядю Тиграна. Он хотел вырвать руку, но увидел, что это я.

— Дядя Тигран... — сказал я. — Дядя Тигран! Вторая «американка»! Больше вы не будете здесь играть! Это моя вторая! Я вам приказываю! Пусть они идут к себе!

И я показал на поваров.

Дядя Тигран смотрел изумленно, толпа не понимала, что происходит. А ей, толпе, и знать не надо.

— Я так хочу!!! — заорал я. — Вы что, не слышите? Пусть они идут к себе!

Ни-кто ни-чего не понимал. Дядя Тигран развел руками и посмотрел на партнеров.

— И чтобы они между собой тоже не играли! — крикнул я.

Толпа зашумела. Кажется, кто-то сказал: «Мальчишка-то того...»

Лицо Дениса я увидел в толпе. По дороге к кухонной лестнице он задержался. Все, что я кричал, он слышал.

Ничего не понимая, толпа расплзлась по этажам. Повара, пожимая плечами и оглядываясь, пошли к себе.

Мне вдруг стало жарко, ноги ослабли. Когда я подходил к классу, уже было холодно, зубы стучали, словно они не мои.

Я еле стащил брюки, так меня уже качало. Ноги были сплошь в гусиной коже.

— Парень болен, — твердо сказал надо мной голос

дяди Тиграна. Папа не ответил. Он в это время накрывал меня вторым одеялом.

Денис сидел у меня в ногах всю ночь. Когда меня отпускал бред, я видел его на фоне окна. И, видя его тут, в обсерваторе, я немного успокаивался, а потом засыпал и снова начинал бредить.

Под утро я так заснул, что не слышал, как завтракали. Проснулся я оттого, что мой лоб щупала узкая прохладная рука.

В классе почти никого не было. Бормотал что-то в углу дед, лежал на своей койке морячок. Надо мной стояла мама.

На табуретке, прижатая тарелкой с завтраком, лежала записка. Я сразу же ее схватил.

«Не кашляй, голуба. Обнимаю. Денис».

— Не хотел тебя будить, — сказала мама.

— А где он?

Мама посмотрела на меня так, словно что-то знала.

— Денис сегодня ушел из обсерваторы, — сказала она.

— Как ушел?!

— Так. Подал заявление главному врачу, и его выпустили.

— К Маше ушел?

— Ну откуда я знаю... — сухо сказала мама. — Наверно.

— И он теперь не вернется к нам?

— Ну сам-то сообрази, — сказала мама. — А теперь я вот что хотела у тебя узнать, что это вчера с тобой случилось?

— Ничего. А зачем Денис...

— Откуда я знаю, — раздраженно ответила мама. — Ну откуда я знаю! Ушел — и все. Он мне вообще не очень-то нравился. Это у вас с ним дружба...

За оставшиеся два дня Денис и Маша несколько раз приходили к забору школы. Когда они пришли накануне нашего отъезда, был вечер. Они постояли за забором и помахали нам. Ни мы, ни они не знали, как еще пообщаться. Дядя Тигран шумно набрал в себя воздух и крикнул:

— Пока! Приезжайте в Питер!

Часовой от неожиданности задрал голову, но кричать не запрещалось. Денис и Маша помахали нам еще

раз руками и пошли по пыльной улице-дороге туда, где пошумливала карантинная Астрахань.

И никто из наших троих — мама тоже была тут — больше ничего не сказал. Только мама задумчиво прислонилась к папиному плечу.

Автобусы въезжали на перрон и останавливались прямо против нужного вагона. Я все высматривал Машу и Дениса. Но так их и не увидел.

В вагоне против меня у окошка сел Дедуля. На столике лежали пачка печенья, вафли, бутылки лимонада и минералки, банки консервов — наши казенные пайки до Саратова.

В Саратове впервые в вагоне открыли-двери.

Мы вышли из-под карантина.

XXVIII

— Ну что? — спросил я у Томашевской. — Как дела? Как ваш Тарзан?

Я был уверен, что его давно уже у них нет. Просто надо же было как-то заговорить, а то у меня дух перехватило, когда я ее увидел.

— Тарзан-то... — сказала она. — Да мы к нему почти привыкли. Но его у нас скоро забирают. Теперь уже точно.

— А почему не забрали до сих пор?

— Понимаешь... — Томашевская вздохнула. — Тут все не так просто. Его заберут, но тем людям он нужен сразу с будкой, а будки у нас нет... Папа хотел плотнику заказать, но Дина Мироновна на него накричала. А теперь она разыскивает чертежи...

— Где? — холодея, спросил я. — Где она их разыскивает?

— Не поверишь! — сказала Томашевская. — Никогда не догадаешься!

Но мне казалось, что я догадываюсь.

— В Публичной библиотеке! — сказала Томашевская торжествующе.

Через десять минут у нас начинался сдвоенный урок литературы. Мы должны были писать сочинение «Как я провел лето».



За Новгородом

РАССКАЗ

Андрей Смирнов, инженер тридцати трех лет, возвращался в Ленинград после мотоциклетной поездки.

Отпуск Смирнову должны были дать осенью, после начальника цеха, но весной пошли, навалились срочные заказы, Смирнов чуть не ночевал в цехе, работа была лихорадочной, нервной, и вдруг в июле у Смирнова пропал сон, аппетита не стало и появилась в руках дрожь.

Освобожденный профорг завода, зеленый желудочник, здоровавшийся левой рукой, повстречал как-то Смирнова в коридоре, отвел его к окну, рассмотрел при свете, как шофер рассматривает спустившее колесо, а к концу дня Смирнову позвонил заместитель директора и сказал, что Смирнов может не появляться на заводе пять дней.

На следующее утро, отправив жену на работу, Смирнов вывел из гаража свой мотоциклет, сунул в коляску запасную канистру и уехал из города без всякой цели.

Ездил он день, ездил два, ездил три.

Где спать и что есть — было ему все равно. Иногда он вдруг съезжал к какой-нибудь копне, валился в нее, засыпал, а проснувшись, еще подолгу лежал не шевелясь.

За все пять дней он, кажется, ни разу не вспомнил о цехе, но в последний, пятый день вдруг заторопился, стал обгонять на шоссе одну машину за другой и уже был уверен, что без него там наворотили такого — не расхлебашь за месяц.

Смирнов был суховатым человеком. Случилось так, что женился он рано, еще в институте, жена его, очень живая, всезнающая блондинка, говорившая на забористом студенческом жаргоне, звала Андрея по фамилии. Вскоре она родила ему дочь; без всякого обсуждения с Андреем поместила ее сначала в необычные ясли, откуда можно было взять ребенка лишь в выходные дни, потом в столь же необычный детский сад, а теперь, насколько Андрей мог понять, подыскивала и школу с интернатом.

Андрей уже не понимал, как это случилось и зачем, что они живут вместе. Просто симпатию они оба когда-то, наверно, приняли за любовь. Андрей помнил, что ему льстило внимание умной, как казалось тогда, и острой

на язык девушки. Он даже принял сначала тон жены, но вечные насмешки друг над другом, которые они как будто бы могли себе позволить, так как считалось, что оба понимают и ценят юмор и, кроме того, знают друг друга больше, чем кто-либо, разъедали все кругом, как брызги кислоты. Теперь язык жены, не многим изменившийся с института, коробил Андрея, раздражал, и никакого остроумия в назывании людей верблюдами и обезьянами он уже не находил. Вовсе не расположенный к язвительности с другими, Андрей ловил себя на том, что испытывает почти удовольствие, заметив на лице жены выражение упрямства или черствости. Тогда он смутно ощущал какую-то свою правоту.

Однако копаться во всем этом невеселом он себе не давал.

Зимой он допоздна работал, летом, приходя с завода, норовил уйти в гараж.

— Опять в свой сарай ползешь? — равнодушно спрашивала жена, словно устав ловить Андрея на преступлениях. — Ты у меня, Смирнов, все-таки редкий крокодил...

Иногда Андрей гулял с дочкой, но дочка была слишком бойкой и смотрела на него в свои семь лет как-то уж очень изучающе, почти издевательски. Осуждая себя — ведь не ребенок же был виноват, — Андрей понимал, что настоящей привязанности у него к дочке тоже нет.

Летел под колеса сухой асфальт. Теплый ветер шелестел в очках. Приближался вечер.

Дорога сделала пологий поворот влево, и над заливаемыми лугами вдали встали башни Новгородского кремля.

Андрей ехал и думал о том, как хорошо, что он все-таки не продал мотоцикл. Он усмехнулся, вспомнив, чего это ему стоило.

Перед мостом через Волховец стояла серая «Волга». Около ее вздернутого капота дежурил, подняв руку, водитель. Андрей наверняка проскочил бы мимо, если бы не лицо парня. Оно мелькнуло рядом, такое растерянное, что Андрей понял: водитель стоит очень давно, а здесь, у моста перед самым Новгородом, никто не останавливается. Да еще дело к вечеру. Андрей проехал мост, развернулся и переехал Волховец обратно.

Парень держал в руке латунный поплавок.

— Бензин набрался, — сказал он, — Ничего не могу сделать.

В поплавке плескалась жидкость. Андрей с трудом нашел трещинку. Вокруг нее было влажное пятнышко.

— Отсасывать пробовал? — спросил Андрей и взял губами латунь. Попадали в рот уже только пары бензина. Сплевывать было нечего.

— Дай теперь я, — сказал парень.

Через несколько минут оба позеленели. Нёбо и гор-
тань саднило. В поплавке продолжало плескаться.

— Закурить сейчас, — сказал Андрей.

— Годится, — сказал парень. — Паяльная лампа нового типа.

Минут через десять поплавок был пуст. Андрей чувствовал, что его сейчас вырвет. Он вынул из багажника спиртовку, с цоколя запасной лампочки щипнул ножом лепесток свинца и достал наждачную бумагу.

— Хлеба нет? — спросил он.

— Печенье.

— Давай.

Оба набили рот печеньем, выплюнули. Снова набили.

— Лучше? — спросил парень.

Стали паять поплавок.

Когда Андрей кончал заправляться у колонки, парень на «Волге» его догнал. На сиденье в машине лежали треугольные пакеты молока.

— Отпивайся, — сказал он.

— Твоя машина? — спросил Андрей.

— Не моя. По доверенности езжу.

— Все равно хорошо, — сказал Андрей.

— Ага.

— Ну, бывай.

— Будь здоров, — сказал парень. — Спасибо.

Андрей стряхнул с куртки капли молока и надел краги.

На шоссе в это время было просто отлично. Воздух еще теплый, и гораздо чище, чем днем; дорога, деревья, дома — все четкое и рельефное в заходящем солнце, ко-
марье в лугах; Андрей открыл рот, чтобы ушел последний дух бензина, щеки наполнились, похолодели. Мелькнул мимо танк на цементном постаменте, проскочил старинный чугунный мостик, и веером развернулись потемневшие в закатном солнце поля. Дорога выпрямилась и стала ровней. Андрей приладилился в седле, поправил каску и дал газ...

На пустой обочине, подняв руку, стояла загорелая девушка в светлом платье.

Он поздно ее заметил, — как же это могло произойти? — и тормоза взвыли. Коляску занесло. Позади кто-то тоже тормозил. Андрей оглянулся. Серую «Волгу» заворачивало поперек дороги.

Девушка сделала шаг и в нерешительности остановилась. Андрей вдруг увидел, что от босоножек до нервных ноздрей она вся невозможно чистенькая. Даже портфель ее блестел, как ириска. Если она сядет в коляску, через двадцать минут этот портфель станет матовым. Девушка колебалась. Чего уж там, подумал Андрей. Он показал ей рукой на «Волгу». Когда она повернула голову к машине, волосы, лежавшие у нее на плечах, даже не шелохнулись.

Какие мягкие, подумал Андрей и, не дожидаясь, пока она сядет в машину, поехал. Он все-таки успел рассмотреть, что глаза у нее серые.

Несколько километров подряд вдоль дороги стояли знаки ограничения скорости. Но только перед постом инспекции Андрей немного сбросил газ. В будке никого не было. За постом ГАИ начиналась свободная дорога.

Андрей ехал и думал о том, как хорошо было бы ехать, если бы она села в коляску. Говорить было ни к чему. А потом в сумерках, в темноте остановиться, фарой шаря по траве, отползти с полкилометра от дороги и развести от комарья небольшой костерок...

Где-то сзади шла вылизанная, как ракушка, «Волга». Даже рукой показал: садись, мол, — подумал Андрей. И хотя все сделал сам, был зол. Может быть, оттого и был. Где они там? Оглядываться не хотелось... Но можно было уже и не оглядываться, а просто повернуть голову. «Волга» обгоняла мотоцикл.

Он посмотрел влево и увидел лицо за стеклом. Серые глаза на загорелом лице улыбались. Девушка отвернулась от стекла и что-то сказала. И опять ее волосы не шелохнулись на плече.

Андрей рассвирепел. Еще обгоняют, подумал он. Мотоцикл всхрапнул, присел на заднем колесе и рванулся вперед. Коляску стало швырять. Задрожал руль.

Но «Волга» висела на хвосте. Андрей чувствовал ее сзади. Потом по изменившемуся звуку собственного мотора понял, что они опять идут рядом. Скосив глаза, он увидел снова бампер автомобиля. Вот проскочили заделанные в доски рельсы, грохнуло что-то в багажнике, вот начался длинный пологий поворот — только бы не подняло коляску, только бы не подняло... Андрей при-

встал и перевесился в сторону поворота. Навстречу шел грузовик. «Волга» отползла назад и задвинулась за спину.

Прошел грузовик, за ним посередине шоссе пронесся междугородный «Икарус», пыль и песок стегнули по очкам, дорога впереди выпрямилась и оказалась чистой. «Волга» вылезла слева и уверенно обогнала Андрея. Метрах в пятидесяти она перешла на правую сторону. Девушка в машине оглядывалась.

Андрей не сбавлял хода. Не то чтобы он хотел их догнать — это было уже невозможно, но обида и злость требовали своего — мотоцикл швыряло, звенел мотор, Андрей обходил одну машину, обходил другую, показалась целая колонна грузовиков. Андрей, не думая, вылез на левую сторону, стал обгонять ее и едва успел проскочить перед встречным самосвалом. Машины тормозили, съезжали на обочину, в кабинах Андрей видел разъяренные лица, но продолжал гнать, резко меняя ряды, пролезая между машин, каждую минуту рискуя столкнуться или быть сбитым.

И вдруг, после очередного обгона, он увидел, что «Волга» впереди замедлила ход, остановилась, мелькнуло из дверцы белое пятнышко, осталось на обочине, а машина пошла дальше.

Девушка стояла, подняв руку. Когда Андрей остановился, она сразу подошла к мотоциклу.

— Что случилось? — спросил он, поднимая очки.

— Ваш друг сказал, что скоро сворачивает...

— Зачем он гнал?

— Не знаю... — сказала она. — Он высадил меня и сказал, чтобы я обязательно остановила вас, потому что вы замечательный водитель...

— Ну да, — сказал Андрей. — Моя фамилия Хейлвуд. Я чемпион мира.

Парень ехал в Ленинград, это Андрей помнил точно. Девушка стояла, глядя на дорогу. Прошла мимо одна машина, другая. Андрей подумал, что какая-нибудь из них наверняка сейчас остановится.

— Довезете? — спросила девушка.

Он отстегнул фартук и стал искать вторые очки.

Дорога здесь была не такая красивая, как та, что шла до Новгорода. Только и разнообразия было, что кусты, которые то отступали далеко в поля, то вставляли стеной сразу же за кюветом; часто шли длинные, при-

выкшие к реву моторов села, где дома не уходили от дороги, а лепились и лепились вдоль — и все эти Радищевы, Эстьяны, Мясные Боры тянулись на километры, и везде равнодушные, оглохшие куры рылись в остывшей пыли обочин, и везде, замирая, когда их обгоняешь, катались на больших велосипедах боком всунувшиеся в них малыши.

Андрей много раз ездил этой дорогой, он привык к ней, ему удавалось уже, проезжая по селу, как бы на секунду задержаться, замереть — услышать то, чего никогда не услышишь на ходу: колокольцы коров, гулкие удары вальков на пруду, далекий стрекот по лугам. И запахи — не выхлопа и асфальта, а деревни и земли — волнами наползали отовсюду: медунницей и мятой доносило с полей, еле слышно, железисто и плесенью пахли болота, пахло хлебом, отдыхом и жильем, пахло крепко, словно едешь за стогом, скошенное недавно сено...

Девушка прямо и спокойно сидела в коляске. Он несколько раз на нее посмотрел, и она каждый раз поворачивала к нему голову и улыбалась под очками. Волосы у нее надо лбом плотно прижало ветром, а за затылком они были как флаг. Ему даже казалось, что он слышит, как их треплет ветер.

— Холодно? — один раз крикнул он. Она не ответила, только мотнула головой, но повыше подняла фартук.

Полчаса назад, когда он ехал еще один, она представлялась созданной для дорожного приключения, а сейчас — вот попались рельсы, ему бы руку ей на плечо, мол, тряхнет, не бойся, но руку он не положил. Он ехал, и им владели обрывки мыслей, а если он видел человека или собаку, он инстинктивно отжимал сцепление и стопой нащупывал тормоз.

Вечер наползал со всех сторон. Машины неслись к Ленинграду и оттуда, шоссе грохотало сутки насквозь, но к вечеру чернее, застывшее становились бегущие по нему грузовики, летевшая раньше под колеса дорога вдруг замедляла свой бег, смущавшие днем мелкие неровности, камешки, масляные пятна постепенно съедали сумерки, и только после, когда тряхнуло, стукнуло под колесом: «Ах, че-ерт...» — обмираешь, но не останавливаясь, не тормозишь, ведь рытвина, чуть не ставшая твоей последней, уже позади. А дорога, чем ближе к темноте, тем все больше медлит и цепенеет, а ты все отворачиваешь ручку, если в силах еще мотор, пока дорога в какой-то час поздних сумерек просто не остановит-

ся, а ты не полетишь, не двигаясь никуда, лишь верхушки деревьев плывут в темном небе, тогда берегись, это час дорожных обманов.

На гравийной засыпке разрытого участка дороги покрышка заднего колеса стала скрести о крыло. Когда метров через двести Андрей остановился, заднее колесо уже полностью спустило. Из покрывки торчал кусок толстой стальной проволоки.

— Все, — сказал Андрей, увидев, в чем дело.

Девушка ждала, что он скажет дальше.

— Надо снимать колесо, — сказал он.

— Это что, очень сложно?

— Долго, — ответил он.

— А его обязательно снимать?

Вот так, думал Андрей. Вот и конец приключения. И нет никаких тайн. Сейчас она расчешет свои удивительные волосы, и ему останется лишь секунд двадцать смотреть в сумерках вслед какой-нибудь «Волге» или «Мерседесу».

— Вам помочь? — спросила она. Она уже вылезла из коляски и достала из портфеля гребень.

Андрей откатил мотоцикл с асфальта, вынул сумку с инструментами и присел около заднего колеса.

— Может быть, все же вам помочь? — робко спросила девушка.

— Нагнитесь, — сказал Андрей.

Она нагнулась, и он поцеловал ее в щеку.

— Уезжайте, — сказал он.

Она не отпрянула, только голос ее стал ниже, когда она снова заговорила.

— Это правда долго? — спросила она.

— Час, не меньше.

По гравийной засыпке в их сторону шло сразу несколько легковых.

Андрей встал и поднял руку.

— Не надо, — сказала девушка. — Не надо. Я еще не троплюсь...

Передняя машина не остановилась, только притормозила, проезжая. В ней был полный экипаж. Во второй машине все заднее сиденье было пустым.

— Что случилось? — спросил водитель.

— Не подвезете? — спросил Андрей.

— Вас?

— Нет, не меня.

— Ее?

— До Ленинграда, — сказал Андрей.

Мужчина вопросительно глянул на женщину рядом. Это была сухая тетка лет сорока.

— Мы будем останавливаться на ночь, — сказала женщина.

— Ты же говорила...

— Что я говорила? Ты что, не видишь — уже темно!

— Извините, — сказал мужчина. — Мы скоро станем на ночь. — Он не спускал глаз с девушки.

— Зачем вы их остановили? — сказала девушка, когда машина отъехала. — Мне еще не надо торопиться. И потом вовсе я не до Ленинграда.

— А куда же?

— До вокзала в Чудове.

— Лучше бы вам уехать, — сказал Андрей.

— Лучше, чем что? — быстро спросила она.

— Чем быть тут. Кстати, как вас зовут?

— Лида. А вас?

Портфель она так и не брала из коляски. Портфель стоял на сиденье. Лида наклонилась к нему, вынула из портфеля книгу и закрыла его опять.

— Вы как-то странно смотрите, — сказала она. — У меня что-нибудь не так?

Она оглядела себя. Андрей рассмеялся.

— Ну что вы смеетесь?

Но не мог же он ей сказать, что все-таки ему не один бес — уедет она сейчас или нет.

— Весело, — откровенно сказал он.

Лида покачала головой и стала ходить вдоль шоссе с книгой, не обращая внимания на комаров.

А комары зверели.

Обе руки у Андрея были уже черными, и он отбивался от комарья локтями, он вскакивал от колеса, пробегал несколько шагов, чтобы отвести их облако, но ничего не помогало. Андрей торопился, инструменты срывались, одежда липла к телу, как плохо отжатые тряпки. В рот лезли комары. Дело подвигалось медленно. Колесо лежало перед ним на асфальте, неопрятное от полустигнутой покрывки, и ему бы только им и заниматься, но вдруг, когда стальная лопатка в очередной раз не ползла под тугой корд, он бросил ее, встал и посмотрел кругом.

Тишина стояла над шоссе. Над темными лугами бродили последние отсветы заката, редко и протяжно вскрикивала вдали незнакомая Андрею одинокая дальняя птица, и осока у дороги стояла неподвижно.

Он стоял, машинально вытирая ветошью руки, и не мог заставить себя снова заняться колесом. Лида ушла далеко. Едва видимое светлое пятнышко ее платья двигалось вдоль дороги.

«Что же она все-таки не уезжает? — думал Андрей. — Ведь время уже совсем к ночи». И, глянув себе под ноги, где еще в совсем распотрошенном виде лежало колесо, Андрей опять сел на корточки. Он взялся за покрышку и, налегая коленями, стал упихивать корд под обод. Инструменты срывались. Слица Андрея текло, внутри него что-то дрожало. Он неистово торопился.

Лида пришла совсем издалека, поглядела на него, ничего не сказав, попыталась сесть неподалеку, но не вытерпела комаров, положила книгу в коляску и снова ушла по обочине.

Ах, успеть бы, ах, успеть, стучало в Андрее. Но к чему он должен был успеть? К ее поезду? Или к тому моменту, когда ей еще не окончательно надоест ждать?

— Суетишься? — презрительно бормотал Андрей. — Задергался. Запрыгал. О господи, она, кажется, встала и идет сюда. За портфелем идет...

Пот капал между спицами и на покрышку. Глаза ело.

Остановились какие-то парни на вишневых «Явах» с калининскими номерами. Мотоцикл Андрея был мощнее, и по дорожной иерархии с водителями «Яв» Андрей должен бы говорить сквозь зубы. Но какая уж тут иерархия...

— Парни, лопатки монтировочные есть? — спросил он. — На пять минут, а?

Лида фыркнула и снова пошла по обочине.

И калининцы бродили вокруг припавшего на переднее колесо механизма, щелкали языком и произносили, ускоряя, слоги «фа-фа-фа», обдумывая разницу в звуках моторов, а потом, когда Андрей надул колесо и, обстукивая, покатил по асфальту, извинились за что-то (те, у кого кубиков в цилиндрах меньше, всегда извиняются) и сказали, что им пора ехать. Андрей попросил, чтобы, встретив девушку на обочине, они передали ей вот эту конфету. Они еще раз извинились и поехали, а он все ждал, когда они затормозят, но прошел грузовик, и он ничего не услышал.

Колесо стояло на месте. Андрей затянул гайку на оси, собрал инструменты и вымыл руки бензином. В багажнике существовало мыло. Он с трудом отыскал его и со-

шел в осоку. На ощупь он почувствовал в пригоршнях ил и мелких букашек.

Лида стояла около мотоцикла и смеялась.

— Я получила ваше письмо, — сказала она. В темноте он с трудом различил в её руке сложенный треугольничком фантик.

И они поехали.

Ухо водителя особенно чутко к шумам машины после ремонта. Андрей не надел сначала каску, чтобы слушать. Но нигде не терло. Звук движения был чистым.

— Застегнитесь плотней, простудитесь! — крикнула Лида. Сама она сидела, завернувшись в его плащ. Андрей зажег фару.

Как быстро наступает в темноте это состояние, когда кажется, что ты ниоткуда не выехал и никуда не приедешь!

Кругом стояли черные кусты и черные деревья, земля потеряла простор, только мелькали лучинки километровых столбов, да иногда асфальт впереди вспыхивал от фар встречных машин. Перед фарой рябила мошकारа.

Андрей не думал ни о том, что было, ни о том, что будет, и только легкий пульс настоящего — ночь, голубоватое, светящееся пятно дороги и девушка, рядом с которой ему сдавливало грудную клетку, — бился редко, почти неслышно, но все же так, что каждый удар этого пульса оставался в Андрее.

У обочины в селах иногда стояли люди. Боковой отсвет фары мгновенно выхватывал из темноты их лица, и в этой мгновенной вспышке и лица их, и фигуры, и застывшая на полпути сигарета — все было островками заснувшего царства, по которому они неслись.

И Лида, кажется, тоже оцепенела. Она замерла в коляске, съежилась под его плащом, стала меньше, моложе и, когда он взглядывал на нее, медленно поднимала лицо в огромных глухих очках.

Они опять переезжали рельсы, плохо заделанные в асфальт. Андрей взял Лиду за плечо, крикнул «держись», но на этот раз ее тряхнуло так, что ветром сразу вырвало полу плаща и он с треском развернулся за коляской. Андрей затормозил, сошел и со всех сторон подоткнул плащ. Когда он это делал, его лицо было очень близко от ее лица.

— Вот тут, — сказал он. — Откиньтесь немного. И здесь. И вот здесь еще.

— Угу, — она была совсем близко. — Спасибо.

— Скоро Чудово, — сказал он, садясь в седло.

— Мой поезд давно ушел.

— А следующий?

Лида не ответила. Они сидели в темноте. Легкий дым догорающего на цилиндрах масла поднимался от его ног. Не услышав ответа, он выключил мотор. Лида подняла руки и сняла с затылка резинку очков.

— Нам надо быстрее ехать? — спросил Андрей.

— Наверно, надо... Хотя я и не знаю...

И бессмысленность его вопроса, после того как он сам же стал тянуть время, и неопределенность ее ответа рассмешили обоих.

— Ну другой, следующий поезд ведь существует? — спросил Андрей. Несмотря на смех, в нем натягивалась и натягивалась какая-то струна.

— Да не знаю я, — тоже неровным, беспокойным голосом ответила Лида. — Не знаю... Ну, что же вы спрашиваете меня одно и то же? Я действительно не знаю...

Андрей наклонился к ней и коснулся ее лица своим. Лида не отстранилась, только чуть-чуть, почти незаметно отвернула лицо.

— Ну, осталась, ну, что из того? — тихо сказала она. — Да идут, наверное, поезда еще... Не может быть, чтобы не шли... Мне просто вообще не хотелось ехать туда, куда я еду...

— А куда это? — поинтересовался Андрей.

— Это неинтересно.

— Поедем тогда в Ленинград? — совсем по-мальчишески сказал Андрей, спохватился, скис, но сразу же в голове его пронеслись какие-то варианты относительно квартир холостых и разведенных приятелей. Понимая, что теперь-то уж говорит не просто глупость, а глупость стыдную, он все же повторил: — А если в Ленинград?

— Ну что вы говорите? — сказала она. — Ну, зачем это говорить? Даже если бы я могла уехать с вами... Ведь сейчас все просто, и через полчаса, когда вы меня довезете, и попрощаться будет просто и просто уехать. А если бы я согласилась? Просто ради приключений...

Лида замолчала. Потом уютно шевельнулась под плащом.

— Я не знаю, как вы меня поняли, — робко добавила она. — У вас выражение лица не такое... В общем, не знаю, опять запуталась... С вами не очень-то легко... А если сам человек все время озабочен, то как же с ним? Вы обиделись?

— Да нет, — сказал Андрей. Он уже замкнулся,

— Обиделись... Из-за того, что я сказала о приключениях. О приключениях с женщинами. Не правда разве?

— Правда, истинная правда, — легко сказал Андрей и рассмеялся.

Наверное, она была права.

— Ну вот видите, — сказала Лида. Голос ее звучал не так, как звучал до того. Смех Андрея как будто ее удивил. Она зорко смотрела на него в темноте.

— Поговорим еще о чем-нибудь, — сказал он. — Кто вы? Чем занимаетесь?

— Я учительница, — опять шевельнувшись под плащом, сказала она. — Веду физику в старших классах. В Валдае.

Давно слышавшийся на дороге рокот перешел в густой гул. Сверкая непривычно расположенными желтыми фарами, пронеслись два длинных финских автобуса.

— Вы замужем? — зажмурившись от летящего вслед автобусам песка, спросил Андрей.

— Была.

— Ну да, — сказал Андрей. — Я так и думал.

Вот откуда и эта ее особенная тщательность одежды и прически, и свободный разговор, а может быть, и то, что вот ведь не Новгород и не Ленинград, а районный Валдай.

— Нет-нет, — отвечая на мысли Андрея, сказала Лида и как будто улыбнулась. — Я не так независима, как вам кажется...

Фара была выключена, и только слабые подфарники давали перед мотоциклом небольшой блеклый полукруг. Кузнечики, маленькие партизаны, обложили шоссе. Они стрекотали под самыми колесами и далеко в полях, трещали в канаве, и один устроился где-то совсем под руками, прямо на фартуке коляски.

Андрею было тридцать три года. О том, что нельзя обнимать девушку, если ты в масле, в грязи и в поту, он все же знал.

— Поехали? — спросил он.

— Поехали, — сказала Лида.

Луч фары вырвал из темноты фиолетовую осоку за кустом и клочья легкого тумана.

Когда они свернули к вокзалу и мотоцикл стало швырять на выбоинах плохого асфальта, обоим стало совсем одиноко. Они миновали шлагбаум, несколько раз

повернули и выехали к самой платформе. Маленький маневровый паровозик смыкал длинный товарный состав, а на путях у платформы стоял тускло освещенный большой старый паровоз. Паровоз шипел, его колеса и кривошипы влажно блестели, машинист что-то зло и весело кричал из своей дверцы, гулками ночными головами ему отвечали дежурные с платформы, и вдоль перрона горели в треть накала белые шары фонарей.

Они сошли с мотоцикла и медленно побрели к зданию вокзала.

— Когда вам в школу? — спросил Андрей. — Первого сентября?

— Нет. Я зимой брала месяц... А сейчас за это как бы на работе. И делать нечего, и уехать не могу. Присматриваю за ремонтом. Послезавтра надо быть на месте.

«Спросить, как ее найти?» — подумал Андрей. Но до Валдая от Ленинграда было километров триста. Или четыреста. «Не поеду ведь», — подумал он. Он посмотрел на Лиду. В тусклом свете фонарей она стала как будто еще моложе и казалась совсем худенькой.

— А родилась я в Ленинграде, — сказала она. — И школу кончила там. И Герценовский.

— Почему же теперь Валдай?

— Муж... — сказала Лида и остановилась.

— Он и сейчас в Валдае?

— И сейчас. Через улицу живем. Наискосок.

— Это, наверно, мучительно!

— Первое время, пожалуй...

— А как он относится к тому, что вы рядом живете?

— Наверно, как все мужчины к своим бывшим женам. Говорит, что я ему безразлична, сам жениться собирается, но несколько раз наговорил мне такого... В общем, ему самому хотелось бы жить, не стесняя себя, но чтобы я ни в коем... Ну жила бы рядом и еще жалела, что он теперь не со мной... Что ж это мы все обо мне да обо мне? Давайте и о вас. Есть у вас дети?

Андрей рассказал о дочке. И о том, что чем дальше, тем все больше они отвыкают друг от друга.

— Вы знаете, я все время чувствую вину. Ведь не она же виновата, что ей со мной неинтересно... Но все, чем я ее хотел бы заинтересовать, ей уже будто известно заранее. В зоопарке она скучает, я ей рассказываю, почему трамвай движется, она меня не слушает, я ей «Лягушку-путешественницу» пересказываю, а она смеется.

«Ты, — говорит, — папа, все врешь». Так и говорит. Раз в неделю я ее вижу. Да и то не каждую неделю.

Андрей замолчал. Говорить дальше значило признаться перед этой девушкой, что жизнь идет наизусть, что он живет уже много лет с чужой, посторонней его душе женщиной, что радость, если и была когда-то, уже давно ушла, а осталась глухая, прижимающая к земле оцепенелость. Долг? Но даже чтобы оправдаться перед собой, он не мог назвать эту оцепенелость долгом. Обязательства перед женой? Но и она как будто, кроме тяжести от того, что существует рядом с ним, ничего не испытывала. Зачем же, для чего же и для кого они живут вместе? Ведь и ребенок их уже не связывает. Ребенок растет чужим. Так почему же? Он был почти уверен, что, скажи он какие-то решительные слова, жена даже обрадовалась бы, наверное, обрадовался бы (или уж, во всяком случае, почувствовал облегчение) и он. Но вот не говорит. И каждый считает, что он-то страдает больше. Месяцы и годы живут в холоде, в оцепенелости, а решительных слов все нет.

До следующего поезда оказалось около часа. И весь этот час теплой июльской ночи они ходили вдоль платформы, то оживляясь в разговоре, то замолкая. Андрей смотрел в темноту под деревьями, что густо росли чуть поодаль, — ему хотелось увести Лиду туда, но дойдя до конца платформы, он сам заворачивал обратно, и Лидка, чуть помедлив, поворачивала и шла рядом с ним.

Прощались невесело. Ни он, ни она не говорили о том, как увидятся в будущем. Он, правда, сказал мельком, что, быть может, как-нибудь будет проезжать Валдай, но она устало и сухо улыбнулась, и он понял, что она не верит ему. Поезд через минуту отходил. Она дала поцеловать себя, губы ее чуть вздрогнули и немного раскрылись. Она подняла руку и провела пальцами по его щеке и подбородку. В этом прикосновении была только печаль.

Поезд ушел. Андрей постоял на платформе, глядя, как уходят красные огни, затем быстрыми шагами пошел к мотоциклу. Он завел его, чтобы грелся мотор, и стал прибирать коляску. Ее очки он положил было отдельно, и они, как перевернутый на спину жук, одиноко, лежали на обшивке. Но тут же ему стало смешно, он кинул их в общий склад барахла в глубине коляски и сел в седло.

В цехе без Смирнова ничего особенного не произошло. В чем-то план перевыполнили, в чем-то слегка отстали. То же самое было бы и при Смирнове. Он привычно, даже с каким-то облегчением впрягся в вереницу цеховых дел. Ощущение пустоты, которое захватило его на вокзале в Чудове, еще держало его некоторое время, но прошло несколько дней, Андрей ощутил бодрость, и бессонницы уже не было. Как-то, встретив Андрея в коридоре, профорг протянул ему для пожатия левую руку.

— Повеселел, вижу, — сказал профорг. — То-то. А то совсем, вижу, скис парень... Просквозился мал-мала?

— Угу, — ответил Андрей.

Через несколько дней он с облегчением подумал, что его совсем отпустило. Но прошло две недели, три, и как-то, идя на завод, он увидел свернувшую за угол знакомую фигурку. Не договорив фразы технологу, с которым шел вместе, он задохнулся и побежал, но, еще не взглянув в лицо, понял, что ошибся. Весь день он не находил себе места. А потом как-то в цехе он отчетливо услышал ее голос. Она стала ему мерещиться. Она шла ему навстречу из глубины коридоров, мелькала в уличной толпе, он смотрел телевизор, и тени экрана складывались в тени ее лица и фигуры. Она приходила к нему по ночам, говорила с ним и его обнимала, а утром он просыпался разбитым.

Конец августа случился дождливым. Как-то в пятницу, возвращаясь домой с завода, Андрей подумал о том, что в Валдае сейчас, наверно, тоже идет дождь, по улицам непролазная грязь и Лида наверняка сидит дома. Он вдруг подумал, что уже завтра утром мог бы увидеть ее, если бы сел на ночной автобус. Эта мысль ударила его, словно током. Это было так захватывающе просто, что в груди у него стало холодно. Но ноги несли его домой, и, поднимаясь по лестнице, он поразился тому, до какой степени делает не то, что бы хотел.

На столе в комнате лежала записка. Жена сообщала, что до понедельника уезжает в загородный профилакторий. «Захочешь набить себе желудок — дерни ручку холодильника» — так кончалась записка.

Андрей машинально открыл холодильник, зачем-то посмотрел в него, захлопнул, взял плащ и вышел на улицу. Такси. Андрей поднял руку.

— На автобусный вокзал, — сказал он водителю. Мотоцикл стоял в ремонте.

Автобус шел всю ночь и прибыл в Валдай рано утром.

В первой же школе сторожиха показала Андрею, где дом, в котором жила Лида.

— Вы кто ж ей будете? — прищурившись, спросила сторожиха.

— Знакомый, — ответил Андрей.

Бабка кивнула, словно узнала все, что надо. Когда, подходя к калитке учительского дома, он оглянулся, ему вслед смотрели уже две старухи.

Конечно, он запутался в дверях. Дом был коммунальным, в нем жило несколько семейств учителей, и пока Андрей наконец постучался в нужную дверь, его уже рассмотрело и расспросило человек пять. Все это были пожилые женщины. Мужчин он не видел. Он проклинал себя за торопливость. Часа два надо было повременить. Дом только еще вставал.

— Кто там? — из-за двери спросила Лида.

— Это я... — сказал Андрей.

— Кто?

Андрей молчал. В прихожую выходили еще двери. Одна из них была приоткрыта.

— Погодите, — растерянно сказал Лидин голос. — Я сейчас открою...

Отодвинулась задвижка. Лида в коротеньком стеганом халатике стояла перед ним. Волосы у нее были собраны в одной руке. В другой она держала гребень.

— Господи... — сказала она. — Это вы... Откуда?

Но, слушая эти растерянные, такие обычные для встречи слова, он смотрел на нее и в глазах ее видел все то, ради чего сюда ехал. Она помнила о нем, она обрадовалась, а все остальное не имело уже значения...

Можно и нужно было, наверно, сначала притворить дверь в прихожую, но оба они забыли об этом. Они не стали шептаться, целоваться украдкой, а смеялись, дурили; держась за руки, как школьники, пошли после завтрака гулять по Валдаю, а вечером закатали на две персоны пир в ресторанчике, который, казалось, сам стесняется того, что он такой захолустный. Им повстречался на улице бывший муж Лиды, но они не свернули с дороги, а, держась за руки, прошли мимо. Андрей с интересом на него глянул, пожалел про себя и даже улыбнулся, а тот, видимо, сбитый с толку их уверенным веселым видом, стоял и смотрел им вслед, как стояли и смотрели им вслед не привыкшие к открытому веселью и счастью валдайские бабки.

В ресторанчике оба почти не пили. Но им было весело. Андрей думал о том, что ведь вот какие скачки — пятница прошла как обычный служебный день, а в субботу он сидит в валдайском ресторанчике, смеется, шутит и словно скинул десять лет...

Был глубокий вечер. Кроме них в зале сидел только забулдыжный старичок, который все прилаживался заснуть, а официантка спать ему не давала. За окнами было совсем темно.

— Ну что же? — спросила Лида и, улыбаясь, посмотрела на него. — Пойдемте?

Андрей ждал этих слов. С самого утра, когда он увидел ее, мысль о том, каким же будет вечер, не оставляла его. Смеясь и шутя весь день, он ощущал иногда дрожь. В конце концов он решил, что пусть все будет так, как оно выйдет. И даже если надо будет садиться снова на ночной автобус, это ничего не меняло. Он видел дом, в котором она живет. Он понимал, какой пойдет звон среди учителей. Он понимал все это... Она смотрела на него с улыбкой. Улыбка эта не ускользала, не пряталась, эта улыбка была для него.

— Пойдемте, — сказала она.

Он пробормотал что-то об автобусе, который уходит через полтора часа.

— Нет, — сказала Лида. — Вам не надо сегодня ехать.

Он приехал в Ленинград утром в понедельник, немного опоздав на работу. Во время обеденного перерыва он вышел на заводской двор, сел в скверике на скамейку, улыбнулся и заснул мертвым сном.

Встретившись вечером с женой, он ждал ее вопросов. К мысли об этих будущих ее вопросах он возвращался всю ночь, что ехал в автобусе. И весь день он тоже думал о них, ждал, взвешивал, обдумывал, пугался и радовался. В том, что это будет их последний разговор, сомнений у него не было. Она спросит, где он был без нее, он ответит, и это будет конец. Но жена ни о чем не спросила.

И, к ужасу своему, Андрей вдруг понял то, чего не мог понять много лет подряд, — жизнь, которой они жили, казалась его жене вполне обычной. Ничего нового — ни праздника, ни горя — она от него не ждала. Пожалуй, раньше он этого не знал. Своим резким ответом он хотел ее освободить тоже, как желал освободиться сам,

а выходило, что она была спокойна, довольна и жизнью с Андреем не тяготилась. Иной жизни она и не представляла.

«Как же теперь? Что же делать?» — думал он, понимая, что пути, которые казались ему свободными, привели в тупик.

В этот вечер он ничего не сказал жене.

И не знал, как жить дальше.

От Лиды стали приходиться письма. Он получал их в отделе «До востребования» на Московском вокзале, садился за покрытый стеклом стол и скребущим пером, каким не пишут теперь даже первоклассники, писал длинные ответы, стараясь шутить и бодриться, но понимал, что это у него выходит плохо.

В октябре Андрею дали отпуск.

— Ты все же у меня странное животное, — сказала жена. — Холод, вода сверху льется, а тебе только бы на своем шарабане бензин жечь...

«Что же она? — подумал Андрей. — Неужто и правда не понимает, куда и зачем я еду. Не может же она не догадываться?»

— Двигай, Смирнов, — сказала, стоя у мотоцикла, жена. — Дыши грязью во имя трудовых успехов...

Показалось Андрею или нет, что в словах этих была грубая, но искренняя ласка? И боль. Впрочем, он мог и ошибиться.

Дождь лил до самого Новгорода.

От Новгорода асфальт был сухим, но над дорогой ходила осенняя хмарь. Километров через тридцать снова полило. Дождь щелкал по каске, хлестал по щекам, за грузовиками висели коричневые хвосты поднятой в воздух грязи.

Он нашел ее в школе. И снова была жгучая неловкость от взглядов и немых вопросов, когда Андрей, серый от грязи и холода, держа в руке каску, появился в дверях учительской.

— Лидия Кирилловна, — позвал он и не узнал своего голоса.

Лидя была в строгом черном костюме, она стояла к нему спиной и, услышав свое имя, повернулась.

— Господи, — сказала она и подняла руки к щекам. — Это вы?

Но опять, несмотря на ее смятение, он понял, что она ждала его и счастлива.

В этот его приезд им было не так свободно, как в предыдущий. Лидя ему ничего еще не рассказала, но он

понял, и когда он отказался у нее остановиться, а поехал искать место в маленькой гостинице, Лида не протестовала. В гостинице мест не оказалось. Он поехал в соседнее село, снял комнатку у опрятной одинокой старухи и две недели подряд то на мотоцикле, то пешком отправлялся к концу уроков в Валдай.

Были то солнечные, то совсем осенние серые дни, и особенно в дождь, когда поневоле вечерами приходилось быть либо у Лиды в доме, населенном учителями, либо в деревне, где об учительнице из Валдая говорили даже у колодцев, оба ощущали особенную близость и особенный свой союз.

Он уехал в Ленинград, даже не дождавшись конца отпуска, потому что будущая жизнь казалась ему решенной. Лида приедет на зимние каникулы в Ленинград, и тогда все должно стать иным.

Андрей думал о том, что сегодня же — оттягивать больше нельзя — сегодня же расскажет жене. Это не может тянуться бесконечно. Не может и не должно. Неужели она опять его ни о чем не спросит?

По обочине лежали прибитые ночным дождем желтые и бурые листья, ровный северный ветер низко гнал сплошную серую хмурь, и непонятно было — разгоняет он это скопище облаков или собирает вместе: темнеть ли начало, или виноваты черные мокрые ели, среди которых идет дорога.



В тундре

РАССКАЗ

Последний маршрут командировки был по островам. Белавин наконец покончил с тундрой, где от партии до партии приходилось передвигаться черт знает как, в иные дни делая пешком километров по тридцать. Эта неналаженность вертолетного сообщения, которая раньше совсем не испортила бы Белавину общего впечатления от командировки, теперь вдруг показалась ему совершенно возмутительной. И потому сегодня, когда он наконец выбрался из тундры с ее накомарниками, спальными мешками, а главное, десятичасовыми мар-

шами по кочкам и каменным осыпям, он почувствовал себя чуть не счастливым.

За все два месяца, что Белавин пробыл уже в командировке, только один день выпал хорошим. Это случилось там, южнее, еще на границе тундры и тайги, откуда начинался его маршрут.

Белавин услышал тогда из-за сопки прерывистый, скулящий вой и вскоре увидел, как, петляя между деревьями и валунами, двое мужчин — рыжий, вечно жарко и остро пахнувший потом проводник и молодой веселый геолог — волокут на двух веревках упирающегося и скалящего зубы медвежонка. Медвежонок был с трехлетнего мальчишку, но тянуть его приходилось со всей силы. Медвежонок орал, упирался, и, когда встряхивал лапами, с когтей его летели клочья дерна.

Белавин побежал навстречу. Увидев еще одного человека, медвежонок забился на веревках. В глазах его стоял ребячий ужас.

— Медведица где? — спросил Белавин.

— Мамка-то? Да с охотничками встренилась! — разгоряченно и весело сказал проводник. — Пластовали мамку-то... А етот — привязанный. Берите, говорят, нам и так хватит. Стрельнем в его. Вместо кина.

— Лицензия на медведицу была?

— А была ли, не была... Отчего ж ей не быть? — вдруг будто что-то вспомнив, сказал проводник. — Небось дело — такую мамку усвоить.

— Зачем взяли от них? — спросил Белавин.

— Зачем взяли-то? — сказал проводник, словно задумываясь или что-то припоминая, и вдруг посмотрел прямо в лицо Белавину. — Взяли, — сказал он. — А ты бы не взял, значит. Не взял бы? Может, ты нам колбасы с городу привез? Кто ты тут будешь — вопросы задавать?

— Кто тут буду? — вдруг наливаясь яростью, спросил Белавин. Что-то из прошлого помогало ему, давало право командовать, будто за спиной у него встала подмога. — А вот увидишь, кто я! Ну-ка, пусти веревку! Да пусти, пусти, что ухватился!

— Но, но... — сказал проводник. — Не фыркай особото. Начальство! Тут ведь утираться-то нечем.

Скулил и дергался на вожжах медвежонок. Геолог переводил глаза с Белавина на проводника.

— Бросай веревку! — сказал Белавин. — Бросай, говорят! Мясники сучьи!

Он не упрашивал их, он приказывал.

— Да ты сдурел? — сотрясаясь от рывков веревки, закричал проводник. — Мяса же у нас сколько дней нет!

Белавин раскрыл складной ножик и, держа его в руке, другой схватился за веревку.

— Ребята! — закричал проводник. — Мужики! Сюда! — Палатки были совсем рядом. — Да ты не трожь, не трожь, говорю! Тут ведь до беды близко!

Перебирая веревку рукой, Белавин подобрался к самому зверю. Это все же был зверь, маленький, но уже очень сильный. «Только не страшный совсем», — подумал Белавин. И полоснул ножом по веревке. Медвежонок шархнулся. Белавин резанул еще раз. Веревка лопнула.

— Скорей! — кричал проводник. — Держите своего психа! Да ты, паскуда, чего делаешь-то?!

Он хотел сгрести Белавина сзади, но тот уже ухватил вторую веревку и, стараясь оставить на медвежонке обрывок как можно короче, перерезал и ее. Медвежонок перевернулся, чуть не завалился на спину, вскочил и боком, вскидывая зад, понесся галопом за камни.

От палаток бежали четверо. Один с ружьем.

— Властью государственного контролера! — закричал Белавин. — Приказываю остановиться! Дайте сюда ружье! Ну!! Что стоите! Ружье дайте! Я вам приказываю!

Его еще продолжало нести. Он шагнул к подбежавшим и выхватил из рук парня ружье.

Теперь два выстрела вверх. Патронов, наверно, впопыхах больше не захватили. А тот, за камнями, от выстрелов, конечно, припустит еще быстрее.

— Если кто-нибудь за медвежонком погонится — отдам под суд!

Никакой он не был государственный контролер. Да и что это за должность такая? И под суд он не мог отдать. И никакой власти не имел. Разве что проверить цифровые данные в донесениях экспедиции. Но люди, бормоча, поплелись к лагерю.

А потом вечером он лежал у себя в палатке и вспоминал.

Это письмо попало к нему уже потом, после войны, когда обоих давно уже не было в живых, и бабушка отдала ему те письма, которые отец носил на себе и которые прислали обратно вслед за похоронкой. Мама писала отцу на фронт о том, что они наконец добрались и какой это медвежий угол. «Тут даже продаются сей-

час живые медвежата, но мы не можем себе такого взять — он ведь тогда не заснет всю зиму и его надо будет кормить, а мы и сами еще не на ногах. Весной же уже будет время его выпускать, а ребята привыкнут, и будут слезы...» Всю ту зиму они ели очистки от картошки, и никто из семьи ни разу не подумал, что можно было купить медвежонка, для того чтобы съесть. Весной мама слегла и больше уже не вставала.

Вечером того дня Белавин сидел у общего костра. Откупоривая консервы, геологи лениво поругивали его. Белавин молчал. Ему было хорошо.

А теперь командировка кончалась и оставался один маршрут — по островам.

Все последние дни Белавин как-то внутренне спешил. Начальники партий сообщали результаты работы, работы многодневной, монотонной и, как оказывалось всякий раз, весьма тщательной. Он должен был проверять верность их докладов — по большей части он так и делал, — но как-то однажды под видом проверки ушел в тундру и провалялся часа четыре на сухом мху, а потом пришел в лагерь с хмурым и озабоченным лицом занятого человека. Но в тот же день, когда он не устал, а лишь притворился уставшим, ему до тошноты невыносимы стали и тундра, и работа; дня два он бездельничал, а потом попробовал внушить себе, что работа его все же нужная, но уже не смог, и уже знал, что это надолго, потому что увидел, как легко без него и без его работы тут обходятся, а до такой степени обманывать себя, чтобы делать с умным видом никому не нужное, он не мог.

Дела не клеились. Как и в городе. Там, на сидячей, спокойной работе, он почувствовал как-то, что коснеет, все меньшего хочет, все меньше и меньше видит, и круг сослуживцев привычен и узок... Белавин взвинтился, все поломал — и вот теперь эта работа — шесть месяцев в году смотри себе на новые лица и новые места. И опять промах.

Ему бы знать, что дело не в работе и не в смене мест, а в том, что к тридцати годам все еще не понять до конца ему, кто же он такой сам по себе... А сейчас его потянуло в Ленинград. Его потянуло настойчиво, упорно, хотя дел, конкретных дел, ради которых нужно было бы поскорее возвращаться, у него и не было. Но перед глазами встала их квартира, где по утрам ран-

ней осенью окна настезь, на прохладной тенистой улице перестук каблучков, бреешься у большого зеркала, рюкзак давно на антресолях и мимо окна с треском крыльев косо поднимаются к сухим крышам вспугнутые улицей голуби...

Машина, что подвезла Белавина к пристани, сразу ушла обратно. Белавин остался один перед бревенчатым причалом. Он взял за ляжку рюкзак и подошел к дощатому ларьку, который только и мог быть билетным. У открытой двери кассы сидела на табуретке женщина в ватнике.

— Здравствуйте, — сказал Белавин. — Когда будет пароход на острова?

Женщина пристально смотрела на море. Потом, будто поняв наконец, что рядом с ней кто-то стоит, перевела взгляд на Белавина. Осмотрела его. И ее взгляд снова ушел вдаль.

— На острова, — повторил Белавин. — Когда будет пароход на острова?

Женщина встала и пошла в ларек. Белавин думал, что она пошла за расписанием. Но тетка и осталась в ларьке.

— Ну, что же вы? — забарабанил он в окошечко. — Я же вас спрашиваю...

Тетка сидела за стеклышком и копала в зубах спичкой. Белавин толкнул окошечко. Оно открылось.

— Бумагу, — сказала тетка.

Минут пять ее глаза ползали по удостоверению.

— Чем работаете? — наконец спросила она.

В другой момент Белавин не пропустил бы такой подачи. Но сейчас, как это часто бывает с людьми у касс, ему казалось, что от этой тетки зависит необычайно многое.

— Там все написано, — смиренно сказал он.

— Утром был, — помолчав, сообщила тетка.

— А следующий?

Женщина смотрела сквозь него. Белавин потерял терпение.

— Расписание-то у вас хоть есть? — закричал он.

— Чего орешь? — сказала тетка. — Иди спать лежи. В течение на месяц шесть рейсов. Уедешь.

— Следующий когда?

— Дни четыре подождешь, — сказала тетка.

Около пристани, под скалами, стояли избы. Лежали поднятые приливом лодки. Море было плоским и тихим. У дороги, по которой он приехал, мерзли белокурый сухой парень и девушка. На ней было темное платье без рукавов. На парне не было пиджака.

От коричневых скал все больше напелзал вечерний холод. Поднимался ветер. Стало моросить.

«Черт знает что», — подумал Белавин. Нет, он все-таки просто одурел, если настолько забыл уроки прошлых командировок. Ведь можно было заранее, еще уезжая в тундру, узнать расписание судов. Четыре дня, подумав только, четверо суток предстоит кантоваться у семи изб и пустого причала!

А он-то, подъезжая сюда, с наслаждением думал об отдельной каюте до островов, о том, как, проснувшись завтра утром, он не будет ползти задом из отсыревшей и звенящей комарами палатки, и перед глазами возникла кают-компания с мягкими зелеными диванами вокруг привинченного стола, зеркала в рамах под красное дерево, и весь этот стиль небольших пассажирских судов захолустных линий — что-то под что-то: клеенка под кожу, красный лак под дорогую облицовку, Нарьян-Мар под Рио-де-Жанейро — все это заранее уже было ему понятно, вызывало симпатию и безусловное снисхождение. То было вчера. А сейчас оказалось, что пароход ушел и будет лишь через четыре дня.

Настроение Белавина шло вниз, как ртуть в термометре.

— Где здесь можно переночевать? — спросил он. Но в кассирше-сторожихе будто снова перевернулись песочные часы, задававшие паузу ответа. Тетка окаменела.

Двое мерзли у дороги. Белавин вынул из рюкзака флотскую плащ-накидку и подошел к ним.

— Держите, — сказал он.

А дождь уже сыпал, уже вовсю шуршал по сразу потемневшим тесовым крышам изб, и смоляные днища перевернутых лодок стали блестящими, как черное стекло.

Парень взял плащ-накидку. Они накрылись с головой.

— Спасибо, — сказала девушка откуда-то изнутри. Голос ее даже в этом одном слове соскочил, так ее трясло.

Потом оба замолчали. Белавину показалось это странным. Он почему-то думал, что они сразу начнут шептаться. Прошла минута, может быть две.

— А вы сами-то как? — спросила девушка и высунула голову наружу. Она была очень молода. У нее густые темные волосы до плеч. Она очень внимательно осмотрела куртку и берет Белавина. Капли текли по ее лицу.

— Надо идти пешком, — сказал парень. — Я тебе с самого начала говорил. Машин может и не быть совсем.

— Если мы теперь пойдем — я не знаю, во что превращусь. Давай еще немного постоим, — она говорила это, все еще выставив голову. Потом, как будто увидев все, что ей было нужно, снова спряталась.

Загомонили где-то неподалеку на камнях птицы. Белавин посмотрел в сторону скал. Ни одна из птиц не взлетела. Смягченный шуршанием дождя птичий крик пошел по скалам все дальше и дальше и совсем смолк.

— Вы откуда? — спросил из-под накидки парень.

Белавин ответил. Две головы высунулись на дождь.

— А сейчас куда? — спросила девушка.

Белавин посмотрел по сторонам. Все те же избы и причал были вокруг. Сторожиха сидела в ларьке.

— Найду что-нибудь, — сказал он. — Переночевать-то пустят?

Хотя он отнюдь не был в этом уверен. Теперь под плащом зашептались. Вернее, шептала девушка. Парень, кажется, молчал. Потом он высунул голову.

— А вы не согласитесь переночевать у нас? — спросил он.

Белавин переступил с ноги на ногу. Высунула голову девушка.

— Четыре километра отсюда, — сказала она. — Но зато двухкомнатная квартира. Газ. Ванна. И, если вам интересно, — она засмеялась, — вид на море.

— Существенно, — сказал Белавин. — А папа-мама? Была короткая пауза.

— Мы одни, — ответил парень.

— А что такое — четыре километра отсюда?

— Это дома гидрологов.

— Горячая вода, — добавила девушка. — Ванна. Не ломайтесь. А то пожалеете...

Девушку трясло от холода. Голос ее прыгал. А ветер все наддавал, и дождь... Дождь тоже.

— Один вопрос, — сказал Белавин. — Магазины где-нибудь существуют?

— В нашем доме, — ответил парень. — Если его еще не закроют.

Намыленная голова Белавина торчала из горячей воды. Он чувствовал, что улыбается под пеной.

Этим ребятам могло сегодня прийти в голову отправиться гулять совсем в другую сторону. Или вообще сидеть дома. Очень даже было бы естественно. Она ведь только вчера к нему приехала. И родители его могли уехать в экспедицию не два дня назад, а неделей позже. Наконец, просто, выходя из дому, эти двое могли захватить с собой плащи и белавинская накидка оказалась бы вроде ни к чему.

Маленькие совпадения, тоненькая их цепочка составила колечко в колечко, и вот — горячая ванна, в коридоре легкие шаги этих милых ребят, которые снуют из кухни в столовую и из столовой в кухню... А там, снаружи, и тундра, и скалы, и дождь, который уж если залядил, то, наверно, сразу на несколько дней. «Ах, как хорошо, — подумал Белавин. — Хорошо, что там дождь, а тут, представьте, его нет. Ах, как хорошо!..» Белавин погрузился целиком в ванну, а когда вынырнул, услышал в квартире тишину. Он понял, что его ждут. «Ах ты, господи, — сказал он про себя. — Да существую ли я? Да наяву ли?»

Было немного чего-то стыдно и так хорошо, дивно так, что он снова нырнул.

Весь вечер они провели за столом. Белавин сидел и улыбался. Он улыбался беспричинно, спохватывался, на минуту лицо его приобретало неестественное и серьезное выражение, а потом углы его губ снова расползлись в улыбке.

«Да что же это со мной?» — с изумлением думал он. И вдруг, как бы независимо от себя самого, начинал говорить — громко, весело и гладко. «Что же это я? Куда меня несет?» — И, сделав над собой усилие, Белавин замолкал и открывал рот уже только для того, чтобы задать вопрос.

Ребята отвечали охотно, но кратко. Они как бы сами понимали, что им вроде не о чем еще рассказывать. Да, Саша четыре года уже бродит летом по тундре в партиях, да, в этом году поступил в институт и на днях должен уехать. А Нина? Поступила туда же. То ли по-

знакомились там, то ли были знакомы и раньше... Наверно, была виновата тундра. Саша отвечал только из вежливости. Нина говорила больше, но — вот странная женская природа — Белавин о ней почти ничего не узнал. Саша сказал две фразы — и вот он весь человек. Костры. Комары. Вертолеты. И на рабочих картах — ни цифирки вранья. И Белавин сам стал рассказывать. Он говорил о двух своих маленьких дочках и немного о жене — рассказывал будто бы сдержанно, а на самом деле нежно, так нежно, как только мог, — это дало ему внутреннюю уверенность, что и весь остальной разговор ведется как нужно, — и цветы (послушайте, откуда здесь цветы?), которые Нина отставила с центра стола в сторону (а она сидела напротив), — все это правильно, как правильно и то, что она смотрела на Белавина не отрываясь.

А то, что у него с женой бывало всякое — и такое, что в общем себе прощал, но ни за что не хотел бы, чтобы узнала жена, и такое, чего себе не прощал и не сможет, наверное, никогда простить, а вот она знает и прощает будто бы, — об этом Белавин не говорил. Он сообщал нечто близкое к правде по фактам, но только по фактам.

«Ложь ли это?» — думал он когда-то раньше. Ложь или не ложь, но иначе он не мог говорить о своем.

— За оазисы! — сказал он. — За ваш! За мой! И за тех, кто их оазисами делает!

Он сначала посмотрел на Нину.

— Были бы путники, — сказала она, и пестрая змейка, как ему показалось, скользнула из ее слов.

Дождь бил по стеклам. И за стеклами было черно.

— Погодка-то! — сказал Белавин Саше.

— Погодка, — ответил Саша.

— Саша, музыку! — сказала Нина.

Саша без выражения посмотрел на нее.

— Ты слышал? — сказала Нина. — Включи!

И сидели еще долго. Тут уж, кажется, говорил один Белавин, и удивляло его даже не то, что вот так, без передышки, не закрывая рта, он говорит уже часа три, а то удовольствие, которое сам испытывает от того, что говорит. Оказалось, есть что порассказать, в основном это касалось того времени, лет шесть — восемь назад, когда Белавин гонялся летними месяцами в Крым, на Кавказ, в Закарпатье и в Прибалтику. По тому, как ребята его слушали, он понял, что поездить они еще совсем не успели. Вполне можно было и не выбирать слов,

и не вспоминать, что каждый раз сам ощущал, впервые увидев, а сообщить кем-то сказанное уже и ходячее — и то слушали бы его до утра. Но в этот вечер ему не хотелось никого повторять, и инстинктивно он стал рассказывать о местах, где был всего по разу, потому что любил первые впечатления и дорожил ими.

Он рассказывал о сливовых рощах под Мукачевом, куда идут утоптаные дорожки среди виноградников. И между обвешанных сливами деревьев стоят дощатые столы человек на пятнадцать каждый, и все друг друга знают, кругом только мадьярская речь, на столах графины мутного разбавленного вина, и степенные цыгане в черных жилетах играют на скрипках Брамса...

— Вы тогда уже были женаты? — вдруг спросила Нина, и Белавин понял, что из его рассказов она вытягивает крючочком интонации и паузы.

«Вы были тогда влюблены?» — хотела она спросить, но в воздухе оказались совсем другие слова, и даже Саша, наверно, понял, потому что он глянул на Белавина, как бы приглашая отмолчаться.

— Нет, — сказал Белавин. — Женаты мы еще не были... — и улыбнулся, потому что вспомнил ручную серую цаплю, что вышагивала тогда по берегу моря, и тонкие женские пальцы, ловко сдающие пасьянсные карты на раскаленную крымскую гальку, игра по гривеннику, солнце жжет, и в плечах, когда распрямляешь их, просидев скорчившись все утро, ощущение ломоты и тяжелой силы.

— У вас нет ее фотографии? — спросила Нина.

Взяв в руки маленький снимок, она ничего не сказала, только еще раз взглянула на Белавина.

— Дай-ка, — сказал Саша. Он с трудом расклеил свой рот.

— Чудная, правда? — сказала Нина. Саша не ответил, но долго смотрел на снимок. Потом положил его на стол.

Белавин говорил еще долго. Знать бы ему получше самого себя. Если он говорил о том, что с ним было неразделимо, так и всем кругом становилось интересно, потому что, рассказывая, он загорался. В этот вечер ему говорилось.

Засыпал он в слегка надушенных, легко крахмальных простынях. В другой комнате было тихо. Белавин подумал, что там, наверно, ждут, когда он заснет. А

ему было так чертовски хорошо, что он охотно продлил бы это замечательное состояние ухода в сон. Но это было как будто нечестно по отношению к другой комнате. Белавин закрыл глаза, потянулся в зашелестевших простынях, улыбнулся и заснул.

Он проснулся ночью. За стеной тихо разговаривали. Он спросит, она коротко ответит. Молчат. Потом он снова что-то тихо спросит. Она то ответит, то промолчит. Лень было тянуться за часами. Белавин снова заснул.

Весь следующий день шел дождь. Он хлестал в тот бок дома, где были окна квартиры, и от постоянно текущей по стеклам воды берег и камни на берегу дрожали, меняя очертания, словно были рисованы на холсте, а холст тряс ветер. Над морем низко висела серая хмарь.

Все трое сидели дома не выходя. Только Нина с Белавиным, как финансовые представители, сошли на несколько минут вниз, в магазин. Наедине они стали сразу друг с другом серьезными. В магазине было пусто. Выбирая консервы и сыр, они оба то вдруг заговаривали, то замолкали. На лестнице Нина стала поправлять туфлю. Белавин поддержал ее за локоть. Стало еще беспокойней.

Оставшуюся часть дня Белавин старался побыть один. Но он и сам понимал, что это ему плохо удастся. Если они с Ниной встречались в коридоре, ему хотелось прикоснуться к ней. Раз или два ему почудилось, что и она хочет того же. Но когда, уверенный, что уж на этот раз он никак не ошибся, он взглянул на нее вопросительно, она ответила ему таким открытым и в своей откровенной невинности почти бессмысленным взглядом, что он даже смутился. «Да что же это я? — подумал он. — Что же это я воображаю?»

Вечером опять долго сидели за столом. И опять на Белавина нашло, и опять он стал рассказывать, и покатил Сашу и Нину на юг, к другому солнцу, к крикливым горячим людям, к белым, посыпанным мелкой пылью городам...

— Саша, музыку! — сказала Нина.

Хотел ли Белавин танцевать? Танцор он был из средних — не то чтобы не умел совсем, но, умея, особенно не блистал, и, когда Нина сказала: «Пойдемте» — и встала около него, он пробовал отшутиться — мол, мне

бы из тундры на корабль, а не на бал. Вышло не смешно, но она не стала его слушать, а просто вытянула за руку из-за стола, а приемник в это время катил упругие неравномерные раскаты «Арагонской хоты», и Белавин совсем не понимал, как связать такую музыку с тем, что ему хочется просто положить этой девочке руку на плечо.

— Саша! Под это нельзя танцевать! Найди...

Саша встал и подошел к приемнику, а они двое стояли и под треск настройки смотрели друг на друга. Возникла мелодия.

На студенческой пирушке, когда кто где разбрелись или спят вперемешку с шубами на хозяйском диване, за шторами ночь и танцует вот уже сколько часов только одна пара, старый приемник обычно бормочет такие аккорды. Их как будто никто не писал, может быть и правда никто не писал, а возникают они на ощупь, экспромтом. Струны, барабан и труба.

— Оставь! — сказала Нина. — Ну, Саша, оставь эту музыку! Неужели не понимаешь...

И они стали танцевать.

Белавин отчетливо почувствовал, как Нина вздрогнула, когда он положил ей руку на талию. Он вздрогнул тоже. Медленно кружась с ней по комнате, он ощущал, что его тянет к этой девушке, ему хочется смотреть в ее лицо, а запах духов, который поднимается от нее, его будоражит. Ему захотелось прижать ее к себе, он и привлек ее, приблизил, глаза ее остановились и расширились, а пальцы ее сжали ему плечо, но не отталкивая его, а напротив, притягивая к себе. Это был какой-то миг.

Саша сидел и курил, глядя в темные стекла.

— Давайте-ка выйдем на балкон, — сквозь музыку сказал Белавин. Он боялся, что ему снова захочется обнять Нину.

Они вышли на балкон и встали у перил — Нина в середине, а они по бокам, — и Белавин почувствовал, как она замирает, хочет и боится смотреть в его сторону.

Луны не было, звезд тоже, и, как бывает вблизи огромной воды, даже если она совсем спокойна, в тишине все казалось, что кругом притаились и ждут неизвестные существа. Не различить было ни берега, ни моря, ни скал, потерялось даже шоссе, и все-таки темнота не была полной — белесоватый, сглаживающий отблеск уходящего северного лета пронизывал тьму, мир

кругом существовал в форме призрачных, размытых теней — неподвижной, бесшумной тенью стоял воздух, тенью, готовой сдвинуться и издать звук, лежало притаившееся море, и чугунная тяжесть скал тоже распространила в этом белесом сумраке свою литую, давящую море тень.

— Пойдемте на берег, — вдруг сказала Нина. Помолчали.

— Ночью по камням только ноги ломать...

Опять помолчали.

— Ну, как хотите... — устало сказала Нина. — Не хотите, так и не надо. — И вдруг, снова загораясь и почти зло, добавила: — Я и не уговариваю.

— Что это с тобой? — не сразу спросил Саша.

И опять Белавин засыпал в свежих полотняных простынях. Из-за стены не доносилось ни звука.

Утром над берегом висел легкий белый туман. Глухо, но оживленно гудели птицами скалы, сквозь туман медленно пробивалось солнце. Белавин стоял полуодетый у окна, курил. До прихода парохода оставалось двое суток.

Завтрак готовили Белавин и Саша. Нина передвигалась по квартире, ни с кем не разговаривая. Когда ее окликали, она отвечала не сразу.

После завтрака Белавин сказал, что пойдет до обеда побродить.

— Смотреть-то тут нечего, — сказал Саша. — Сопки да камни. Тундра.

Солнце прогоняло туман, и сквозь него проступали силуэты скалистого берега.

— Как нечего, — сказал Белавин, он решил, что все равно пойдет. — Нет такого места, чтобы нечего было смотреть.

— И я с вами, — сказала Нина.

Была некоторая пауза.

— Хорошо, — сказал Белавин. — Правильно. Всем троим веселей. Пойдемте.

— А у него есть дело, — сказала Нина. — Ему надо пленку проявлять. Уже надоел мне с этими пленками. Запрется в ванной и шелестит, будто конфеты под одеялом ест. Ну, что ты на меня смотришь?

Саша только молча потрянул головой.

— Пленку можно и вечером проявить, — сказал Белавин. — Смотрите, какая погода.

— Нет уж, — сказала Нина. — Пусть проявляет сейчас. Я его знаю. Только прогулку испортит.

Молчание повисло в комнате.

— Идите, — сказал Саша. — У меня еще и растворы не приготовлены.

— Я же говорила. Он тут до обеда провозится.

— А какая разница, — сказал Белавин. — Пойдем попозже. Еще теплей будет.

— Да нет, — сказал Саша. — У меня и кроме пленки есть дела. Патроны еще надо набить.

— Я же говорила, — сказала Нина. — Не пойдет он. Не будет он просто так гулять.

Белавин посмотрел на Сашу.

— Идите, — сказал Саша. — У меня, правда, есть дела.

Туман совсем растаял. Они забрели далеко в сопки, и сейчас со склона одной из них им снова открылось море — бледное и словно притаившееся внизу. В тундре было тепло.

Они сидели на теплом камне лицом к морю.

Да что там говорить — она ему нравилась. Белавин положил ей руку на плечо. Она застыла, напряглась, вспыхнула и вся подалась вперед. Он провел рукой по ее плечу, почувствовал сквозь тонкую шерстяную ткань узенькую лямку и усмехнулся. Нина выгнулась и судорожно вздохнула. Глаза ее были широко открыты.

Белесое море лежало за сопками, тихо шуршало о берег. Низко над тундрой летали одинокие, обсыхающие от вчерашнего дождя комары.

Он притянул ее к себе. Опушенные веки ее вздрагивали. Она вся тянулась к нему. То, что будет дальше, зависит только от него. Не будет ни сопротивления, ни оглядки. Лицо ее было горячим и нетерпеливым. И таким юным, что усталость навалилась на него.

— Знаешь, сколько мне лет? — сказал он. — Наверно, сто. Или четырехста.

Он погладил ее плечо и встал.

— Море-то, — сказал он. — Море, посмотри, какое оно сегодня...

А она сидела застыв, очень прямая и будто безучастная, и он знал, что она ждет.

Он сел около нее, рядом, но уже не касаясь ее выгнутых плечей, и, посидев немного, взял за руку. Она вся содрогнулась, но он положил ее ладонь на свою и стал спокойно поглаживать, делая вид, что не замеча-

ет, какая нервная сейчас у нее рука. Когда ему показалось, что Нина совсем успокоилась, он встал и они пошли к морю.

Похожее на тусклое олово, море лежало рядом. Оно заползало на берег медлительными плоскими языками, и после них на плотном мелком песке оставались тонкие нежные линии. Лежали сухие морские звезды и пучки седых водорослей. Белавин держал Нину за руку. Она шла доверчивая, тихая и, если он взглядывал на нее, ловила его взгляд и сжимала ему пальцы.

— А как же Саша? — спросил Белавин, тут же подумав, что помянуть Сашу уж совсем незачем.

Нина еще сильнее сжала ему руку.

«Мне надо бы хоть покраснеть», — подумал Белавин. Он-то ведь должен был знать, как это бывает. Он-то ведь знал, что сейчас Саша зачеркнут. И тем безжалостней, чем раньше был ближе.

— Хочу быть с вами, — сказала Нина. — Хочу быть всегда, всегда с вами... — Она говорила тихо, почти шептала, но он уже не слышал, потому что отпустил ее руку, и Нина сразу отстала, и теперь он чувствовал только тихие шаги за своей спиной. Раза два он оглянулся. Нина медленно брела по песку, и волосы ее закрывали лицо.

Когда они вернулись, Саша сидел на кухне. На столе лежали двустволка, шомпол, масляные тряпки.

— Сделал свои дела? — спросил Белавин и подумал, что разговаривает слишком непринужденно.

— Кое-что... — ответил Саша.

Оба прислушивались. Нина, войдя в квартиру, сразу ушла к себе и заперлась.

— Пленки проявил? — спросил Белавин.

— Нет. В тундру ходил.

— С ружьем? Ружье-то зачем?

— Мало ли... — ответил Саша.

Потом сели обедать. Нина рассеянно смотрела, рассеянно вставала и шла зачем-то на кухню. Так же молча возвращалась, ничего не принеся.

— Ты устала, наверно? — спросил Саша.

— Что? — переспросила она. — Ты что-то сказал?

Саша покраснел и посмотрел на Белавина.

Время с трудом ползло к вечеру.

Часов в семь, не сказав куда, Нина вышла из квартиры. Белавин видел из окна, как она побрела по бере-

гу. Остановилась, словно сомневаясь, не вернуться ли, постояла и пошла дальше. Саша из своей комнаты, наоборот, тоже видел ее.

Через час ее еще не было.

Саша на кухне копался в ружьях. Это было уже третье, если не четвертое. Он вынимал их откуда-то одно за другим, разбирал и собирал снова.

— Много приходится пользоваться? — спросил, зайдя в кухню, Белавин.

— В партиях... — ответил Саша.

— Ах да, конечно, — сказал Белавин. — В партиях. Да, да...

Он посмотрел в окно и подумал, что пароход еще только послезавтра.

Темнело. Нины все не было. Сашу это как будто не волновало.

Белавин опять вошел в кухню, остановился.

— Где она бродит? — спросил он.

Саша не ответил. Белавин вышел на балкон.

Ленивые, медленные тени ползли по серому морю. И опять, как все эти дни, до Белавина долетел далекий птичий гомон. Белавин вздрогнул и обернулся. В дверях балкона стоял Саша с масляной тряпкой в руках. Минуту или две оба молчали.

— Хотел попросить вас... — сказал Саша. — Хотел вас попросить...

— Ну конечно, — сказал Белавин. — Конечно... а в чем дело?

Беспрерывно кричали над скалами птицы. Белавин почувствовал спиной перила балкона. «Крепкие ли?» — вдруг подумал он. Рука инстинктивно потянулась назад, потрогать.

— Мы с Ниной... — сказал Саша и замаялся.

— Да, да, конечно... — сказал Белавин, все еще не понимая, что требуется от него.

— Нам осталось всего... — продолжал Саша, — всего несколько дней.

Он запинаясь, слова из него вылезали с трудом.

— Нам бы хотелось остаться... — выдавил он, — остаться... вдвоем.

Белавин почувствовал, как от стыда стал мокрым.

«И правильно, — подумал он. — Заслужил». Он сейчас ненавидел этого парня.

— Ясно, — сказал он. — Все ясно и понятно. Правильно, что прямо сказал.

Через двадцать минут он шел по шоссе. С каждым шагом ему было все свободней и он становился все злей. Густые сумерки висели над морем. Идти было еще километра три. Он придет к причалу, конечно, уже в темноте.

У причала лежат кверху дном лодки — он запомнил их. В конце концов, если пойдет дождь, под одной из них можно переночевать. «„Мы хотели, мы мечтали“, — передразнил Белавин. — Ты еще узнай получше, о чем она мечтала... А вдруг я ее сейчас встречу?»

Но он не встретил ее, и когда он достучался в одну из дверей и уже лежал на полушубках в душной, закупоренной избе, вдруг стал так непереносимо противен себе, что даже застонал и зажмурился, а потом полночи на него накатывалась то испарина, то зуд во всем теле, и испарина эта была — его стыд, и чешущееся тело — стыд тоже, он заснул, забылся было, но тут рядом, над самым ухом, заверещал сверчок. Белавин вздрогнул, и равнодушный, размеренный скрип насекомого вплелся в его гнетущий, без отдыха сон.

Утром он пошел в тундру. Он удалился от берега далеко, далеко обошел дома гидрологов и неожиданно для себя оказался у моря в том месте, где они с Ниной сидели на камне.

«Завтра наконец пароход», — подумал он и увидел, что от моря прямо к нему движется между сопками женская фигурка. Он не пошел ей навстречу. Нина подошла и остановилась в шаге от него.

— Зачем вы сюда пришли? — спросила она.

— Это не специально.

— Вы завтра уезжаете?

— Уезжаю.

— Где вы ночевали? — спросила она. — Почему вы ушли? Он вам что-нибудь сказал?

Белавин встал и, повернув к морю, пошел рядом с ней.

— Саша прав, — сказал он.

— А что он вам сказал?

Белавин обнял ее за плечи и легко тряхнул.

— Решайте-ка свои дела без меня... — сказал он. — Я не хочу вам мешать. И не хотел.

— Это уже от вас не зависит.

— Как повернуть, — сказал он.

— Вы забыли книгу, — сказала Нина. — Когда вы зайдете за ней?

— Наверно, не зайду.

— Просто глупо... Глупо. Нелепо... И я вас хочу еще увидеть.

— Ни к чему это, — сказал он.

— Это же я хочу, а не вы.

— Нина... — сказал Белавин. — Ну, дорогая моя... Ну что мне вам сказать? Вы же знаете все...

— Когда вы зайдете? — спросила Нина.

— Не знаю, — сказал он.

Он бродил по тундре почти весь день, а вечером пошел за книгой.

Открыла ему Нина. За ее спиной, принужденно улыбаясь, стоял Саша. Нина делала лицом какие-то знаки.

— Здравствуй, Нина, — сказал Белавин. — Здравствуй, Саша.

— Здравствуйте, — сказал Саша. — Проходите.

— Я за книгой.

— Ну да, проходите.

У Нины, казалось, выскочат глаза. Белавин не стал смотреть больше ей в лицо и прошел мимо нее в комнату.

— Ты хотела пойти в магазин, — сказал Саша.

«Магазин уже закрыт, — подумал Белавин. — А ну и бес с ними. Возьму книгу и уйду».

Щелкнул замок выходной двери. Белавин слышал, как Саша повернул ключ.

— Погодите минутку, — сказал он из коридора. — Сейчас я к вам приду...

— Хорошо, — сказал Белавин и сел на диван.

Напротив Белавина в зеленом светящемся аквариуме плавали маленькие меченосцы. Тикал будильник. Меченосцы, дернув хвостиками, взлетали кверху, бросались вниз, поднимали со дна песчинки.

— Сейчас, — сказал Саша из другой комнаты. Он вошел в дверь как-то странно, спиной, так же спиной сделал два или три шага в глубь комнаты и резко повернулся к Белавину. Еще прежде чем в полуметре от живота почувствовать двустволку, Белавин увидел немигающие точки зрачков. Откинувшись к спинке дивана, Белавин ударил ногой по ружью, прыгнул в дверь из комнаты и навалился на нее из коридора.

Тело было пустым.

— Отвори, — из-за двери сказал Саша.

Белавин не мог ответить.

— Где у тебя там голова? — спросил Саша, и Белавин потянулся плечами к косяку.

— Убрать хочешь? — спросил Саша.

Белавин молчал. Приходило еще и отчаянье.

— Ничего у нас с ней не было, — сказал он.

— Значит, было... — сказал Саша. — Раз так вско-
чил.

— Не было, — с отчаяньем сказал Белавин.

— Где у тебя там голова, квартирант? — опять спросил Саша.

— Тебе пятнадцать лет дадут...

— Не успеют.

Белавин молчал.

— Ты украл ее у меня.

— Нет, — сказал Белавин. — Да нет же.

— Она нравится тебе?

— Опомнись. Говорю тебе, ничего не было.

— А быстро ты сообразил...

— Не было ничего, — взмолился Белавин.

— Уже неважно. Отнял ее от меня? Она только о тебе и думает.

— Я не виноват.

— А зачем с ней в тундру пошел?

— Я не звал ее, — сказал Белавин.

— Не звал... А сегодня уже виделись?

Белавин молчал. «Неужто рассказала ему?» — подумал он.

— Нет, — сказал он.

Замолчал Саша.

— Открой дверь, — наконец сказал он. — Видел ты ее сегодня или нет?

— Видел... — сказал Белавин. — Случайно... — Он вдруг понял, почему ему так трудно. Защищать было нечего.

— Случайно, — сказал Саша. — А обнимал тоже случайно?

— Не обнимал я ее, — сказал Белавин. Ему вдруг стало почти все равно. Усталость затопила с головой, накрыла его.

— А сейчас зачем пришел?

— За книгой...

— За книгой, — сказал Саша. — Подлец ты. За книгой он пришел.

— Ты мужчина, — сказал Белавин. — Можешь все вернуть.

— Сначала я тебя пришибу, — сказал Саша.

— Зря, — как о постороннем предмете, сказал Белавин. — Подумай, сколько людям будет горе.

— А ты подумал? — спросил Саша. — Ты подумал?

— Жаль, — сказал Белавин.

Вот сейчас в этой двери будет дыра. Рядом была кухня с открытым окном. С моря кричали птицы. Кричали в бесцельной, шумливой и свободной суете.

Сейчас в этой двери будет дыра.

— Открывай дверь, — сказал Саша. — Боишься?

— Боюсь.

— Ну и трус же ты. Трус и подлец.

— Да, я трус, — сказал Белавин. — Мне нечего защищать.

— Не бойся, я не выстрелю.

Белавин молчал.

— Открывай. Ну, открывай же, трус.

Белавин отпустил дверь. Она бесшумно отъехала. Перед ним стоял Саша и держал стволы в сторону.

— Смотрите, — сказал он и разломил двустолку. Патронов в стволах не было.

Белавин почувствовал страшную усталость. «Уже не имеет значения», — подумал он.

— Вот ваша книга. Останетесь ночевать?

Белавин сунул книгу под мышку и, волоча ноги, пошел к двери.

— Я вам открою, — сказал Саша, вынул из кармана ключ и пошел к выходной двери.

На площадке, глядя на них готовыми выпрыгнуть глазами, стояла Нина.

— До свидания, — глухо сказал Белавин и пошел вниз по лестнице.

На следующий день пришел пароход. Подходя к причалу, он дал длинный хозяйский гудок, птицы поднялись, и над скалами долго стояла их шумная стая. По белесой воде, тратя время и лениво маневрируя, пароход подполз к причалу, бревна скрипнули, и с них в воду посыпалась труха. Белавин спустился в каюту и лег на койку.

Через сорок минут отвалили. Сначала тихо и беспорядочно, а потом равномерно и тягуче переборки стало клонить из стороны в сторону, а он все лежал. Была потребность не двигаться. Отлежаться. Говорить поменьше.

Но диванная спинка вдруг напомнила, как он вчера ждал на диване, и отвратительное ощущение огромности собственного тела, в которое уперлись два ствола, сдавило его. Белавин почти задыхался. То ли от качки,

то ли от своих мыслей его начинало мутить. Он встал и вышел на палубу. Берег был уже далеко. На берегу никого не было.

Через три дня после островов он ехал в поезде. Ему на глаза попались стихи. Стихи были в газете, которую читал сосед по купе.

Влюбляешь кого-то в себя, а тебя не пробить.
Влюблять — это подло, когда ты не можешь любить,
Актерствуя лихо, неужто ты стал подлецом?
Надетые лица — неужто вы стали лицом?

«Это про меня, — подумал Белавин. — Хоть я и не хотел, чтобы так было... Ну, может быть, совсем немного хотел...»

— А ведь пора бы, — сказал он вслух.

— Что? — встрепенулся сосед, обрадовавшись, что его молчаливый спутник заговорил.

— Да нет, — сказал Белавин. — Это я так. Как собака во сне.

Когда через неделю он приехал домой, он остановился у дверей, не всовывая ключа, и услышал в квартире неясные звуки детской возни. Он поставил рюкзак у двери и сел на него, слушая эти звуки. А потом жена вдруг открыла дверь, ахнула, он шагнул в прихожую и увидел в зеркале свое лицо — счастливое, загнанное и осунувшееся.



ДЖЭН

РАССКАЗ

Для Джэн хозяйева составляли одно существо. Когда вместе они возвращались домой, она замирала и, слыша еще на лестнице их голоса, скулила тонко и нетерпеливо. Они входили — веселые, с покупками, — и Джэн бросалась к ним навстречу, стонала, визжала и прыгала, а поздоровавшись, неслась в ванную, к своей миске — поджесть остатки пищи. Живот овчарки втягивался.

Шерсть густым воротником вставала на шее. Мгновенный голод доходил почти до тошноты.

Хозяева весело переговаривались в квартире. Они могли порознь ходить и говорить, но счастье Джэн, ее собачье, овчарочье счастье, начиналось тогда, когда хозяин и хозяйка были вместе. И еще в щенячьем возрасте, когда острозубое и пушистое собачье существо радуется только свету, только теплу, только возможности попрыгать и погрызть, уже нападали на нее минуты внимательности и тревоги — она ходила из комнаты в комнату, от него к ней и от нее к нему, и скулила, терлась об их ноги, покусывала и толкала друг к другу. А потом, добившись своего, Джэн ложилась на пороге и закрывала глаза.

— Экую собаку взяли, — задумчиво говорила хозяйка и длинными нежными пальцами выворачивала наизнанку уши Джэн.

В доме, где жила с хозяевами Джэн, был лифт.

В некоторых старых домах Москвы лифты еще можно вызывать сверху. Кабинки в этих лифтах скрипучие, исцарапанные, а теснота такая, что два человека не могут стоять не касаясь. Остается немного места внизу, там, где у людей бывают туфли и колени. Туда можно поместить портфель или таксу, а если попытаться втиснуть овчарку, то выйти из кабины — целая проблема. Бока собаки приходится мять, морду прижимать дверцей, а лапы невозможно не отдавить.

Но Джэн любила ездить в лифте. Когда они втроем — хозяин, хозяйка и Джэн — выходили из квартиры, Джэн сама останавливалась у железной двери на площадке и, опустив к кафелю морду, слушала, как кабинка, шурша и подвывая, ползет снизу. А потом все оказывалось в тесной комнатке, где одновременно можно было ощущать боками обоих хозяев. Джэн виляла бы хвостом, но было негде, и она только задирала морду, прикрывая глаза.

— Собака-моя-собака... — особенным голосом говорила хозяйка.

— Да это же не собака, — голосом тоже особым, специальным голосом для Джэн, говорил хозяин.

У Джэн подкашивались ноги.

Этажи ползли вверх...

Сегодня хозяин не стал вызывать лифт. Он пошел прямо вниз, и Джэн недоуменно посмотрела на хозяй-

ку, которая молча шла сзади в своей белой шубке. Джэн сбилась с ноги и ткнулась мордой в колени хозяина.

— Джэн! — строго сказал он, и собака покорилась его голосу. Но на дворе она снова оглянулась и тихонько взвизгнула. Молча они прошли через двор и через улицу, молча вышли на пустырь, хозяин отстегнул поводок, и на минуту Джэн обо всем забыла.

Раскидав носом ночной легкий снег у куста, она нашла вчерашнюю палку. Палка примерзла. Джэн куснула ее, перехватив в пасти, и почувствовала хруст тонкого льда и горечь коры под клыками. Снег на носу не таял. Джэн еще раз перехватила палку в зубах, как всегда, подбежала к белой шубке и положила то, что принесла, рядом с ней на землю. Но хозяин ничего не сказал Джэн. Джэн подняла голову и посмотрела на них обоих.

— Гулять, — сказал хозяин. И, еще раз взглянув на него, Джэн понеслась по пустырю.

Ах, как много здесь было интересного! Как знакомо и в то же время ново выглядел каждый раз пустырь, сколько известных и неизвестных запахов ждало на нем Джэн! Старые прерывистыми цепочками уходили под снег. Они были холодны, доносились до Джэн чуть слышно, они лишь слегка отвлекали, как развлекать, но не живо интересовали могут прошлогодние газеты. Были и сегодняшние следы. Некоторые из них ей были знакомы. Например, вот эти. Джэн остановилась. Понюхала воздух. Так и есть — белый шпиг не успел далеко уйти. Он тоже увидел Джэн и безмолвно рванул на шлейке. И Джэн побежала к шпицу. Кроме своих хозяев, никто из людей ее не интересовал, и Джэн не обратила никакого внимания на хозяина шпица — кожаного и плоского, как пустой портфель. Джэн подбежала к шпицу и остановилась. Шпиг засуетился, забегал вокруг нее.

«Глупый какой», — сказала бы Джэн, если бы умела говорить. Но говорить она не умела и поэтому только переступила с лапы на лапу и вильнула хвостом.

Еще щенком она играла с этим шпицем. Она подкапывалась тогда к нему, бестолково мотая мягкими ушами, а он чинился и визгливо лаял. Теперь он мог бегать у Джэн под брюхом. По старой памяти она позволяла ему то, чего не позволила бы крупным и сильным собакам.

Присоединилась к ним и еще одна знакомая — воронья и нервная, похожая на маленькую лошаденку. Шпиг и ее обнюхал. Подбирая ножки, лошадка бегала по

снегу и дрожала под замшевой попонкой. Тонкие ноздри ее и огромные глаза были полны истеричного страха.

Джэн с сожалением посмотрела на этих взрослых собак. Посмотрела. И вздрогнула. То, что тревожило ее последние дни, проснулось в ней снова, и она, тихо рыкнув, обернулась к шпицу. Шпиц отскочил в сугроб.

Тревожной рысью, не останавливаясь больше и ничего не обнюхивая, Джэн побежала обратно. Запахи врывались в ее раскрытые ноздри, запахи кричали и звали, некоторые из них были так сильны, что Джэн невольно сбивалась с ноги. Но она ни разу не опустила голову и, глядя на хозяев, бежала к ним. Все другое перестало для нее существовать.

Хозяева стояли так же, как оставила их Джэн, — в нескольких шагах друг от друга.

— Ну, собака, — сказал хозяин. — Нагулялась? Что же так быстро?

И Джэн, всегда с таким нетерпением ждавшая, когда же с ней заговорят, на этот раз ждала других слов — почему только с ней, только с ней, Джэн, говорит хозяин? А хозяйка? Как же хозяйка? Как она живет без его слов? Джэн присела и нетерпеливо, возмущенно тявкнула.

Но хозяин ее не понял.

— Ты что это, собака? — спросил он.

А белая шубка все стояла в стороне, и Джэн своей собачьей душой почувствовала, что хозяйка прощается с чем-то — с пустырем или с теми запахами, которые дороги ей, хозяйке... И Джэн потянула хозяина за уже пристегнутый поводок к белой шубке.

Но хозяин опять не понял.

— Ну что ж! Домой, — сказал он.

Предчувствие отъезда повисло над Джэн. Ее ни разу нигде не оставляли больше чем на несколько часов одну — ни на даче, ни в городе, но из глубин существа озарки поднялся извечный собачий страх — боязнь одиночества. Джэн стала худеть. Своявшаяся зимняя шерсть клочьями лезла со впалых боков. По ночам Джэн будил грохот льда, оттаявшего в водосточных трубах. Джэн просыпалась похолодевшая и, стуча когтями по полу, шла проверить — на месте ли хозяева. Иногда в темноте, подходя к одному или к другому, она чувствовала, что они не спят. Джэн становилось страшно. Вечерами она лежала в коридоре, настороженно лоя

звуки сборов. Но никто не доставал чемоданов. Ни хозяин, ни хозяйка не говорили об отъезде.

Джэн перестала спать в комнате хозяина, на своей подстилке. Все время она лежала на линолеуме в коридоре. Из коридора Джэн ходила проверять, на месте ли оба.

— Что, собака? — спрашивала ее хозяйка, когда Джэн клала голову к ней на колени. — Что ты хочешь сказать мне? — И глаза хозяйки, полные того, чего так страшилась Джэн, смотрели в черные глаза овчарки. Джэн отводила глаза и томилась, переминаясь с лапы на лапу. Ничем резким и сильным нельзя было выразить тот страх, в котором она жила. Ничто, кроме хозяйкиных глаз, не говорило Джэн о неизбежном.

Переваливаясь спиной и оставляя по дороге клочья шерсти, Джэн шла в другую комнату. Хозяин сидел за столом и что-то писал. Он писал и рвал, писал и рвал снова. Воздух в комнате запахом напоминал пепельницу. Джэн заходила за письменный стол с другой стороны и под столом искала мордой колени хозяина. Он продолжал писать.

— Иди, иди, — иногда говорил он. — Не до тебя.

А иногда и ничего не говорил.

Джэн плелась в коридор и ложилась на пахучий зеленый линолеум. Кроме них троих, в квартире больше никто не жил.

Это случилось днем.

Джэн дремала в коридоре, когда услышала в комнате хозяйки щелчок замка на чемодане. Джэн вскочила и кинулась к хозяйке. Дверь была на задвижке. Джэн заскулила и царапнула дверь. Хозяйка не отвечала. Заскрипел шкаф, стукнул ящик стола. В отчаянии, зная, что хозяина нет дома, Джэн все же кинулась в его комнату.

Весеннее солнце косыми пятнами лежало на полу. Качался за окнами кабель антенны. Джэн подбежала к окну и встала передними лапами на подоконник. Она не знала, зачем это делает. Внизу и дальше по пустырю лежал снег и черные пятна земли, шла асфальтовая, уже просохшая дорога, и через весь пустырь над рядами кустов стояли голые низенькие деревья, посаженные в прошлом году.

Хозяйка за стеной собирала чемодан. Джэн кинулась к ее двери и снова заскулила, завизжала.

Хозяйка не открывала долго. В комнате несколько раз все стихало, никакое ухо, кроме уха Джэн, не услы-

шало бы из-за двери ни звука, но Джэн слышала, и, когда хозяйка открыла дверь и встала на пороге с чемоданом, она увидела, что собака стоит неподвижно и ждет.

Хозяйка прошла через коридор, мимо Джэн, и шаги ее были тяжелые. Джэн стояла, не трогаясь с места.

— Ну, Джэн... — сказала хозяйка и больше ничего не сказала. — Ну, Джэн...

Хлопнула дверь. На лестнице шагов не было. Хозяйка стояла за дверью квартиры. И опять через дверь Джэн услышала то, что никто, кроме нее, и не услышал бы. Потом шаги медленно зашаркали по ступенькам. Джэн дослушала их до конца. Шагов больше не было. Ни одного звука от хозяина или хозяйки не доходило больше до Джэн. Когда вернулся хозяин, Джэн не поднялась ему навстречу.

Она встала с пола ночью. Из комнаты хозяина шли звуки. Будто глухо и редко перекликались полужадушенные птицы. Джэн пришла к хозяину, взобралась к нему на диван и легла в ногах.

Джэн старилась быстрее, чем хозяин. Она считала свое время иначе. Ее время шло по другому календарю, и по этому календарю жил белый шпиц — теперь уже совсем старичок, и по этому календарю жила черная собачка, до тех пор, пока она жила. Но что-то давно ее уже не было на пустыре...

Джэн старилась быстрее хозяина. А хозяин внешне почти не изменился, только он не всегда теперь ночевал дома, а если сидел вечером один, то еще больше чертил и писал. Он редко теперь заговаривал с Джэн, и она почему-то боялась, когда он начинал говорить, глядя ей в глаза, и тихо уходила в темную комнату хозяйки. Джэн лежала в темноте и медленно, по-стариковски, думала, карауля то время, когда хозяин будет ложиться спать.

В эти бесконечные вечера и ночи, особенно в эти ночи, которые так длинны для собак, глаза Джэн иногда открывались, чтобы через минуту закрыться снова. О чем думала собака? О хозяйке или о том, что хозяйка должна вернуться, или просто, не понимая почему, Джэн чувствовала внутри ноющую пустоту и эта пустота меньше ныла, когда Джэн лежала в комнате хозяйки?.. Может быть, и так. Мысли овчарки, если это были мысли, совершали один и тот же привычный, тяжелый круг.

Джэн старилась быстрее.

Может быть, она понимала, что она уже стара — не хотелось бегать, лаять, а иногда и ходить, — на пустыре Джэн бродила шагом, как старая волчица, и часто дышала, вывешивая длинный бледный язык.

* * *

Хозяин и Джэн тихо шли по аллее. Те голые тонкие деревца, которые посадили здесь уже на памяти Джэн, стали липами, их уже стригли, стригли еще жалея, но все-таки стригли, а через два месяца должны были они стать круглыми и зелеными. Джэн теперь это уже не удивляло. Наверно, она знала все. В жизни не осталось ничего — ни приятного, ни неприятного. Все было обычным. Хозяин чертил что-то вечером или писал. Иногда он уезжал на несколько дней и тогда отдавал Джэн своему знакомому. Все было обычным, все было таким, как было уже тысячи раз.

И теперь, как уже тысячи раз, хозяин и Джэн шли по аллее.

Джэн не искала знакомых. Запахи не гремели у нее внутри подобно оркестру, они тихим шелестом доносили ей все, что делается вокруг, и Джэн, опустив вниз голову, тихо шла по отпотевшей земле газона, слегка досадуя на лишнюю прогулку, можно было бы, пожалуй, гулять не три раза в день, а два — утром и тогда, когда хозяин приходил домой.

Хозяин шел сзади.

И вдруг Джэн остановилась. Она застыла с поднятой лапой, уши ее встали, и сухой нос вздрогнул.

Вдали по аллее шла женщина. Она шла так же тихо и не спеша, как гуляли хозяин и Джэн, и рядом с ней шел, явно тяготясь этой неспешностью, мальчик.

Джэн медлила только секунду. Бока ее втянулись, уши припали к голове. Она прыгнула через оградку газона и скачками понеслась по аллее. Она прыгнула к женщине на грудь так, что та чуть не упала, она глухо заскулила, и мальчик испуганно шарахнулся от огромной собаки. Джэн кинулась к хозяину обратно, пробежала несколько шагов, вернулась снова, запрыгала около женщины и снова бросилась по аллее...

Хозяин стоял там, откуда рванулась собака.

Он все видел.

Оба стояли неподвижно. И Джэн вдруг затихла. Она остановилась и потянула носом. От мальчика, что стоял

в стороне, странно, полужнакомо пахло. Джэн подошла к нему и обнюхала его.

— Не бойся этой собаки, — сказала женщина.

И услышав ее голос, Джэн крикнула и понеслась к хозяину. На этот раз она добежала до него и закружилась вокруг. Но он стоял и не двигался. Джэн побежала к женщине. Но и женщина стояла на месте. Собака пошла шагом и остановилась посередине.

Она была стара. Она, наверно, знала то, чего не знали эти люди. Для них прошло несколько лет, всего только несколько лет, — из молодого человека он стал мужчиной, и женщина еще была стройна, и пальцы, которыми она гладила Джэн, были гибкими пальцами, — а для Джэн прокатилась вся жизнь...

— Домой, Джэн, — сказал хозяин. Он повернулся и пошел.

Джэн легла на землю и поползла за хозяином по холодной оттаивающей земле.



Это бывает все реже...

РАССКАЗ

Иногда я думаю о тебе, но это бывает все реже.

Я ведь знаю тебя давно. Так давно, что помню, как все окружающее тебя было не таким. Не таким, как сейчас.

Я ведь знаю тебя давно, так давно, что мне кажется — я знал тебя всегда, а ты, вот что удивительно, наверно, даже не помнишь, что я существую.

Дело идет к тридцати.

Хотя по тебе этого не скажешь.

У тебя еще не было того дня, когда женщина просыпается утром в пятнадцать годах от дня вчерашнего. Но я видел тебя недавно и знаю, что этот день идет к тебе. И он тебе особенно страшен.

Ты раздражена, а этого никогда не было с тобой раньше.

На улице ты глядишь себе под ноги. А раньше ты этого не делала.

Ты будто задаешь себе вопрос: «А что же дальше?» И это у тебя впервые.

Боюсь, что тебе на этот вопрос не ответить. А отвечать придется в одиночку. Они тебе не помогут. Им дай бог самим что-нибудь придумать. Что-нибудь такое, что им покажется ответом.

Я бы помог тебе, но ты, видимо, не знаешь, что я существую. И ты идешь по улицам, которые еще недавно я называл про себя «наши», а ресницы твои опущены, и нам уже, пожалуй, не встретиться, потому что дело идет к тридцати, а я и раньше не любил знакомиться на улицах.

В лютеранской церкви, что стоит на Невском, рядом с бывшей школой «Петершуле», теперь устроили плавательный бассейн. Зацементировали подвалы, под сводами повесили прожектора, фасад красят. Сборная преподавателей университета ходит сюда тренироваться. Для представительства в команде два профессора. Один в тринадцатом году плавал через Ла-Манш, другой зимой и летом окунается в Неве на Стрелке Васильевского. У гранитного шара ждет его с мохнатой простыней и тростью испанского камыша седая тихая женщина, а по каменному скату, взмахивая косматыми ушами, носится галопом черный гордон.

Иногда плавать в бассейн по особому абонементу приходит привилегированная посетительница. Тонкая, сероглазая. В высоких особенных сапожках.

Каждый раз после купания она идет на улицу Желябова, к машине, которая давно стоит против Театра эстрады. Пыхтя астмой и краснея шеей, из машины торопится вылезти высокий грузный человек. Сероглазая женщина уже близко, и, когда застрявший в дверях мужчина поднимает к ней лицо, становится видна пестрая бабочка у него под подбородком.

— Прошу вас, Алла, — говорит он. Его слова поспешны, движения предупредительны, а холодность сероглазой женщины — это холодность повелительницы. Но встречаются взгляды — у мужчины твердеют щеки, мешки под глазами ползут вверх, брови поднимаются, и становится ясным, что женщина не сама ходила в бассейн. Ее привезли. Что дверь машины может закрыться.

Женщина стоит на тротуаре. На сиденье машины лежит мохнатый шотландский плед. В заднее стекло улыбается вывернутый ногами вправо плюшевый тигр.

Какое-то мгновение все неподвижно.

Женщина стоит на тротуаре.

Ничего не происходит.

Просто мужчина взялся за дверцу, но открыл ее не сразу.

— Прощу, — говорит он.

Алла садится в машину. Лет пятнадцать назад она училась в женской школе по другую сторону кирхи.

Той зимой после уроков мы часто не сразу расходились по домам.

Мы устраивали перед кирхой настоящие бои, снежки были только началом, потом в ход шли полевые сумки и портфели, а под конец мы просто клубком валялись перед кирхой, мыля друг друга снегом и вырывая с мясом пуговицы.

Темп такой свалки не позволял ей затягиваться. Через полчаса мы гнали своих противников с поля боя или, наоборот, сами отступали, отбиваясь ледяшками, к подворотне у автобусных остановок.

Эти чуть не ежедневные драки начались у нас лет с одиннадцати, — каждую зиму бывало несколько недель особенно воинственных, особенно кровожадных стычек. В младших классах дрались без особого повода, а той зимой, о которой я рассказываю, неожиданно для всех в соседнем здании была обнаружена женская школа, и наши классы, прежде чем распасться, из-за той же женской школы устраивали последние, самые, казалось бы, беспричинные, самые долгие свалки.

А на самом деле дрались за Аллочку Симонову.

Аллочка была классом старше нас, — она кончала восьмой, и было в ней что-то от богини охоты — никогда она не стояла на обеих ступнях сразу и будто не останавливалась, а лишь замедляла движение, только коснувшись носком земли. И движения ее были не резкими, не стремительными, а в каком-то своем, пленительном, чуть замедленном темпе.

Ее одноклассницы хихикали и хохотали. Аллочка смеялась мягко, как молодая женщина, очаровательно подтягивая при этом верхнюю губку, смотрела прямо в глаза открыто и спокойно и не шарахалась в сторону, если мы в одиночку или компанией пытались завести разговор, и одна приветливо здоровалась с нами.

Восьмых классов в женской школе было четыре, и когда они после уроков выскакивали во двор, это напоминало птичий базар.

Аллочка выбегала вместе со всеми, но, странное дело, никогда не попадала в давку, которая поминутно возникала в дверях, а другие девчонки вылетали из школы растрепанные и растерзанные.

Во дворе на Аллочку вешались малыши. Желающих всегда было столько, что некоторым не доставалось даже прислониться к ней. И до самого дома они ее преследовали.

У нас с девчонками был общий химик. Полотняно-серые и обвисяющие, как паруса без ветра, щеки и привычка занимать перемены нравоучениями. Однажды он и Аллочку взял на перемене под руку, сравнивая незнание ею свойств азота с первобытной темнотой, но вдруг, все еще идя рядом, отстранился, будто даже испуганно, посмотрел на нее как-то странно и сказал только:

— Ну, вам-то химия ни к чему... — И ушел, шаркая ревматическими ногами.

А мы, мы были от Аллочки без ума. Может быть, тогда мы и не смогли бы сказать, как это произошло, но по молчаливому общему согласию Аллочка была сразу выделена из всех — ее походка, смех, мягкая, как у балерины, тень на щеках и отсутствие глупого жеманства сразу и надолго пленили нас.

И еще относились мы к ней иначе за то, что она никогда не приходила на свидание с подругами. А парное хождение на свидания, не знаю, как в других школах, а у наших соседей было в порядке вещей. Ждешь одну, а приходят две. Подруга чаще всего выше тебя на голову или на две ниже. В редких случаях с ней не стыдно идти рядом, одно только качество неизменно — подруга не умеет говорить вслух. При знакомстве — руку лодочкой, и всё...

Ты что-то им рассказываешь — весело, хорошо (это тебе так сначала кажется), потом слова начинают падать непонятно как и непонятно зачем. Подруга идет тихо, как полено. Потом идем молча. Потом тебе становится неудобно. Говорить не о чем. Все молчат. И вдруг эта серая уточка начинает хихикать. Потом шепчутся, и твоя девочка говорит: «Правда, Нина?» — серая уточка поддакнет, а тебе уже мерещится, как у нее прорежется голос и она будет завтра кричать на всю школу, как весело вы провели время.

Аллочка всегда приходила на свидания одна, и то, что она сама брала под руку и шла очень близко, маняще и тревожно касаясь при каждом шаге легким и слегка танцующим своим бедром и время от времени,

собранная, легконогая, с высокой, немного худощавой шейкой и так неожиданно появляющимся в улыбке маленьким вторым подбородком, заглядывала в глаза, — все это было захватывающе до мгновенного жаркого пота любопытства — что такое женщина? В седьмом классе из всей женской школы, из всех девушек и женщин на свете для нас существовала только Аллочка.

В тот день драка была тоже за нее. Такие свалки начинались всегда одинаково. Разница была только в декорации, которую мы мысленно строили кругом. Диапазон, в общем, был невелик и сводился к трем вариантам: играли в войну, в гвардейцев-мушкетеров и в сыщиков-уголовников. Кто-то из врагов (а за ним шло еще три-четыре немых свидетеля) подходил на переменке к кому-то из нас и, дернув за плечо, говорил:

— Это ты вчера с Алкой у Казанского шлялся? — Судя по тону, Аллочка была просто деталью, а все дело в том, что у Казанского.

— Шлялся? — изумленно говорил наш. — Выбирайте выражения, сеньор!

— Так это ты, гад? — не сразу говорил враг.

— На что вы намекаете?

— А вот увидишь, на что...

— Пугаешь, начальник!

«Начальник» было модным и быстродействующим.

— Ответишь за «начальника!» — задышался враг и, коротко развернувшись, бил нашего под ребра. Звонкок разгонял всех по классам, а после уроков пятнадцать человек остервенело валялось в снегу.

Мы учились во вторую смену, и, когда выходили на улицу, было уже темно. Сейчас, когда я вспоминаю эти вечерние развлечения, я не могу припомнить, чтобы нас разгоняли дворники или учителя, хотя, конечно, так бывало чаще всего, но в тот день нам никто не мешал, и мы чуть не час с упоением молотили друг друга. В тот раз биты были мы. Кривыми, полукруглыми задворками мы отступили к воротам и, пересчитав, все ли на месте, рассыпались по улице. Враги преследовали нас, вырвавшись из подворотни. Надо было ненадолго скрыться. Я забежал в угловую аптеку.

В аптеке было почти пусто. Тряслась на диванчике страшная старуха, кассирша, рыхлая и усатая, угрюмо пучила из будки толстые очки, тихо переговаривались грустные белые девушки за прилавком, да шаркал от отдела к отделу старичок с неразборчиво написанным рецептом.

И тут я увидел Аллочку.

Она стояла спиной ко мне у большого стекла на темную улицу. Уже совсем стемнело, мимо окна все время поворачивали с Невского автобусы. Аллочка каждый из них провожала поворотом головы, пальцы ее нервно теребили что-то, она, видимо, волновалась; проводив автобус, она снова поворачивала голову немного влево и смотрела на угол улицы под аптекой. Узкая, со сведенными под пальто лопатками, гибкая спина очаровательно круто переходила в бедра, даже толстая материя не могла это скрывать. Аллочка волновалась. Ноги ее прищипывали. Глядя в стекло, она стояла на месте, но казалось, что она мечется от окна к окну, от вагона к вагону, ищет, бежит вдоль состава и не может найти...

Потом она вздрогнула, остановилась, прекратила метаться, опустила голову, посмотрела в пол, на свои ноги, на каменные плиты и вдруг снова в стекло, прижавшись к нему лицом, замахала радостно и выбежала из аптеки.

Она, кажется, должна была бы меня видеть, но не заметила, а если и заметила, то владевшее ею было сильнее настолько, что Аллочка — наша Аллочка, за верность которой мне у кирхи забивали рукавицы в готовый разорваться рот, — не кивнула, не осмелилась, а выскочила на улицу, и только грохот дверей пошел ходить под потолком аптеки.

Я вышел за ней.

Люди бежали под фонарями, шипели и шуршали в тающей грязи автобусы. Аллочка не было.

Я искал ее глазами и побежал по улице Желябова к дому. И тут, в пятидесяти шагах за остановками автобусов, увидел, как в подошедшее к тротуару такси садится пара.

Он был коренаст и невысок, но, очевидно, очень крепок, короткая летная куртка делала его еще более квадратным. Он был, наверно, прямо с рейса, еще в сапогах, с огромными рукавицами под мышкой. Аллочка сразу же отняла их у него и зарылась носом в белый мех, потом засмеялась и потерла мехом его щеку. И в этих движениях — в нежном и быстром прикосновении ее щек, губ к густому белому меху и в том, что, испытывая удовольствие, она должна была поделиться им с другим, — была вся тогдашняя Аллочка — потребность ее к доверчивости, к безоглядному, к тому, чтобы все люди дарили ей самое дорогое...

Летчик снисходительно усмехнулся и открыл дверцу машины. Аллочка, продолжая смеяться, потянула его за руку, затормошила, а, когда уселась в машину, в заднее стекло было видно освещенное в профиль лицо ее, повернутое к нему.

Он стоял у такси, крепкий, все в жизни видевший и испытывший, и медлил сесть.

О чем были его мысли?

Быть может, перед ним шли лица — женские лица, — безразличные, волнующиеся, неистовые...

Или не лица, потому что, как ни странно, они забывались быстрее всего, а что-то каждый раз особое... Не всегда, конечно не всегда, тут он перехватил... Но довольно часто... И тогда он запоминал город, где что-то было особым...

А может быть, он ни о чем не думал.

Он достал портсигар, папиросу, задымил, набирая густой, дорогой дым, спичка осветила теплым домашним светом зажмурившееся лицо, погасла, и снова под фонарями вместо шершавых щек стала видна только гладкая медь подбородка и крутой, как у моряка, козырек. Летчик, собравшись комом и вжав голову, как делал это, наверно, у самолета, втиснулся в такси, хлопнул дверцей, погасло внутри Аллочкино лицо, и, разметая веерами мокрый снег, машина ушла к Конюшенной.

Я повернул назад, дошел до угла, повернул на Невский, — все летело, несло под фонарями, так же скрипела дверь аптеки, так же холодно и пусто полыхала газовым светом реклама Дома торговли, такой же сумрачной стояла подделанная под средневековые кирха.

Снег перед кирхой был изрыт, валялись растоптанные тетрадки, а подделанный под средневековые фонарь светил на пологие ступени и клочья, валяющиеся в снегу.



Двадцать дней на Байкале

ПУТЕВАЯ ПОВЕСТЬ

Владиславу Михайловичу Глинке

I

Мало кто из приезжих попадает на Байкал иным путем, чем через Иркутск и исток Ангары. У истока Ангары стоит Лимнологический институт Академии наук. Это исследовательский центр и проходная Байкала.

Отсюда, от поселка Лиственичное, приезжий народ расползается во все стороны... А на обратном пути снова здесь сходится. Перед отъездом с Байкала люди заходят в музей Лимнологического института. Садятся у столика с книгой отзывов. Пишут. Исписанных книг за последние три года скопилось около полукубометра.

Пишут все — Фидель Кастро, Индира Ганди, поезд «Дружба», А. Поликарпов, пришедший в Лиственичное на 31 244-м километре пешего пути; ударники коммунистического труда, амстердамские туристы...

В кабинет директора Лимнологического института я вошел в тот момент, когда оттуда спиной вперед выбирался обвешанный кинокамерами чех. По лицу чеха было видно, что он чего-то добился. В моем понимании все люди, которые входили к директору, вымогали у него места на экспедиционные катера, и поэтому, увидев блестящего чеха, я почувствовал глухую зависть.

— Прощу, — сказал директор.

Сведения, которые могли бы обрисовать меня директору, делились на два четких разряда — одни надо было выставить возможно более полно, другие не обнаруживать.

Сообщать было нужно: что с самого начала полемики в газетах о комбинатах на Байкале я не пропускаю ни одной статьи, что я из Ленинграда (видите, как издалека!), что у меня напечатано несколько рассказов и что приехал я по командировке комсомольского ЦК, что я готов на любой маршрут и любое судно.

Сведения второго рода таили в себе мели и подводные камни.

Несколько дней еще весной я честно просидел в Публичной библиотеке, выискивая все, что можно бы-

ло, по Байкалу. Но нашел я очень немного. То есть научной литературы о Байкале, наверно, существует достаточно, но неспециалисту, вроде меня, найти нечто содержательное и одновременно не узкоспециальное — целая проблема. Я ее решал, но боюсь, что не решил. Попадались сведения достаточно общеизвестные.

Байкал — это крупнейшее водохранилище пресной воды на Земле. Объем его — двадцать три тысячи миллиардов кубометров, что составляет пятую часть пресной воды всего земного шара. Глубина Байкала больше полутора километров, прозрачность Байкальской воды уступает только прозрачности самых чистых мест Мирового океана. Комаров над озером нет. Прячутся в тайге. Вот почти и всё.

Да, еще конечно об «омулевой бочке» и о Шаманском камне.

Популяризацией знаменитой песни о «славном море» занимаются почти все авторы, которые хотя бы вскользь касаются Байкала, а Шаманский камень — это как притча во языцех: взрыв-то его такая проблема, и взрывать-то его потому-то и потому-то нельзя, и легенды-то о нем такне-то, и то и сё. А что приезжему человеку Шаманский камень? Вот приехал я сюда и долго его высматривал. И не очень видно и не очень интересно. Торчит себе посередине Ангары камешек, — наверно, полметра, не больше. И буйков кругом такого роста и сходного цвета штуки три. Сразу и не увидишь, где в Ангаре этот архизнаменитый камень, а где водный знак... Я рассматривал этот камень, когда шел в институт, и думал о том, что, наверно, прочел лишь о псевдознаменитых байкальских местах.

А теперь я стоял в кабинете директора и ждал, что директор меня, между прочим, о чем-нибудь спросит. Мне было не по себе.

«Омуль, — конспективно думал я. — Нерпа. Хариус. Хек... Нет, хек — это не оттуда... Горячие ключи. Землетрясения. Эпишура байкальская. Рачок макрогектопус...»

Только что я поносил авторов книжек о Байкале, и вот уже сам готов был сколько возможно расписать каждую известную мне мелочь.

Но передо мной у крупной физической карты стоял крепкий, высокий человек... Впрочем, так портрет не нарисуешь. Мало ли высоких, мало ли крепких. Передо мной был человек естественный. Он сморкался, когда это было нужно, смеялся, когда ему было весело. Зна-

ете, так бывает:ходишь в комнату, и вдруг кругом все настоящее,— не смейтесь, это бывает не так часто, особенно когда комната служебная. Чтобы не было в ней ни анодированного алюминия под серебро, ни фанеры под мрамор...

На карте, у которой стоял директор, были не линейные тона административных областей, а коричневые хребты, синяя, густая вода, белые ледники. И в окно смотрелся Байкал. Я забыл о своем намерении и начал с того, что вижу Байкал впервые... Успел я произнести фраз пять.

— Катер «Обручев»,— прервал меня директор.— Выход— первого сентября. Маршрут по всему Байкалу. Двенадцать дней. Запишитесь у ученого секретаря. Скажете, я разрешил.

— Что, прямо сказать, и все?— глупо спросил я.

— Он поверит,— просто сказал директор.

Я подумал, что с таким директором, наверно, работать можно.

И ощущение, которое охватило меня, когда в пять утра я вышел из самолета, рассеялось. А почувствовал я тогда вот что: во всей Сибири у меня нет ни одного знакомого. Ни здесь, в Иркутске, ни в Омске, ни в Хабаровске. Радиус—тысячи четыре километров... А над аэродромом стоял желтоватый рассвет, бледный и очень холодный, и все лица кругом (а люди бродили от багажного барака к кассам, бродили, как бродят на всех вокзалах и аэродромах) показались мне все с азиатчиной—чуть сплюсненные, глаза немного не те, и резче под глазами проявляются скулы. А во всем был виноват желтый отблеск рассвета и то, что в самолете мне не дал ни минуты поспать двенадцатибалльной разговорчивости сосед...

Ученым секретарем оказался молоденький блондин в черной паре.

— Глинка,— сказал я, протягивая ему руку.— По командировке из Ленинграда.

— Скрыбин,— сказал ученый секретарь и тоже протянул руку. Мы поглядели друг на друга, как товарищи по несчастью.

— Да еще и Михаил,— укоризненно сказал Скрыбин, записывая меня в черновик приказа.

Чтобы доставить ученому секретарю удовольствие, я сокрушенно махнул рукой. Расстались мы друзьями. Утреннее ощущение совсем рассеялось. В Сибири у меня появились знакомые.

Я вышел из подъезда института. Байкал был нестерпимо, неприлично синим. Такими синими бывают только швейцарские озера на открытках... Вдоль шоссе вереницей стояли автобусы.

В Иркутске в эти дни шла Декада эстонского искусства. Гостиницы были переполнены. А здесь эстонцев оказалось еще больше. Одни автобусы приезжали, другие отползали с асфальта к ручью. В тайге, метрах в ста от института, кто-то великолепно и тягуче пел...

Пришел автобус с хором мальчиков.

Маленькие эстонцы встали лицом к воде и надели синие фуражечки. Пахнуло духами. Чопорный руководитель вскинул и бросил вниз руки. Мальчики спели куплет «Славного моря», сняли фуражки и поклонились Байкалу. Руководитель подчеркнуто медлительно кивнул. Парнишки загомонили и, оглядываясь на воду, поплелись в музей.

Певцы в тайге замолкли, потом оттуда весело крикнули что-то по-эстонски, а затем снова два великолепных голоса взлетели и понеслись:

Укрой его, тайга глу-у-ха-а-ая,
Бродя-га хочет от-дохнуть...

2

Зачем я приехал на Байкал?

Во-первых, потому что интересно. Байкал — это почти как сказочная страна, куда тянет с самого детства.

Во-вторых, потому что говорят и пишут: от байкальской красоты скоро ничего не останется.

В-третьих, потому что на Байкале накалены страсти.

Поэтому, когда меня спросили, куда я хотел бы поехать в командировку, я и ответил — на Байкал.

Пять лет назад я еще служил в Военном флоте. Моей жене нравился флот. Теперь она рада, что мои рассказы печатают. Некоторые из них ей даже по душе. Когда жена куда-нибудь уезжает, пишу я меньше и хуже. Она тоже не любит, когда я уезжаю, но прямо этого не говорит.

— Как же тебя пошлет ЦК комсомола? — вдруг заявляет она. — Тебе ведь весной было уже тридцать... Какой же ты комсомолец?

В этих словах робкая надежда, что там не знают, что мне — тридцать... Но там — знают.

И вот девятнадцатого августа звонит телефон и торопливый голос предписывает мне немедленно ехать. Даже не ехать, а лететь. К чему теперь такая спешка — ведь с самолета ничего не увидишь? Как это к чему? Разве я сам их не торопил? Ну, быстро, быстро...

Через два дня я уже в Лиственичном.

3

До отхода катера оставалось четыре дня. За эти четыре дня я, наверно, смертельно надоел институту. Уже и не вспомнить, сколько народу я перебеспокоил.

Произнося слова «Ленинград, командировка», я заглядывал человеку в глаза и попервоначально ожидал по меньшей мере удивления. Чего-то вроде ритуала приветствия гейш. «Какое у вас умное, хорошее лицо. Как вы перенесли путешествие?» Но никто не говорил мне о хорошем и умном лице, никто не спрашивал о путешествии.

— Кого вы ищите? — довольно, как мне казалось, невнимательно спрашивали люди, если я хватал их на лестницах и в коридорах за рукава.

— Кто у вас занимается нерпой? Кто главный по рыбе?

— А, — говорили мне. — Пойдемте.

Мы подходили к нужной двери.

— Это к вам. Журналист из Ленинграда, — говорил в комнату мой гид и тут же растворялся.

Вот так я был доставлен в кабинет, где трое парней тонкими ножичками скоблили тюленьи черепа.

— Товарищ нерпой интересуется, — произнес за моей спиной провожатый.

— Пастухов, — сказал тот, кто не скоблил и кого мне назвали главным специалистом по нерпе. Он посмотрел на часы. Я тоже для чего-то посмотрел на свои часы.

— У меня, простите, всего семь минут есть, — сказал Пастухов и посмотрел на меня и на отсутствие в комнате свободных стульев.

Подчиненные Пастухова сидели индифферентно.

— Вы, собственно, с какой целью? — спросил Пастухов и, словно его озарило какое-то подозрение, даже прищурился и переменялся в лице.

Потом, уже позже, я понял, в чем дело. К людям, погруженным в свое занятие, нельзя соваться с общими вопросами. С таким же эффектом марсианин невообра-

зимой внешности, слетев на Землю и застав человека за самым что ни на есть человеческим делом, — скажем, за утренней чисткой зубов, — вдруг бы сказал: «Расскажите мне о человечестве!»

Конечно, человек ему ничего так сразу не расскажет. Надо начинать с другого конца. Например, вот так: «Зачем вы чистите этой белой пылью эти желтые штучки?»

А вот для того-то и потому-то, ответит человек. И после семи минут разговора марсианин может уже писать статью для марсианской своей газеты, столько он всего узнает.

Но называть себя писателем я боялся, а о том, что я, оказывается, журналист, узнал три минуты назад. А пока что мы с Владимиром Дмитриевичем Пастуховым болезненно переминались, как тяжеловесы на слишком маленьком ринге.

— А кого он ест? — вдруг спросил я.

— Не он, а она.

— Ну, хорошо, она. Кого она ест?

— В основном — пелагических бычков.

— А что такое — пелагические?

— Это значит — не донные. В отличие от подкаменщиков.

— Голомянка, что ли? — пугаясь собственной эрудиции, спросил я.

— Во-во...

— Покажите голомянку. Если у вас есть, конечно...

Ноздри Владимира Дмитриевича оскорбленно вздрогнули...

— Как же ее у нас может не быть, — сказал он.

— Покажите...

Наш поезд тронулся и медленно-медленно пошел, пошел, и вот уже появилась выдвинутая из-под стола лишняя табуретка, парни отложили на минуту ножички и вынули из столов снимки, и я уже знаю, что главные лежбища нерпы — близ Ушканьих островов, а охота ведется с марта по июнь...

Ночлег я нашел в трех километрах от института.

Старики хозяева были приезжие, из села, которое ушло под воду из-за Братской плотины.

Старичок терпеливо ждал меня к вечеру, сидя у окна в серой рубашке с белыми пуговками. Когда я приходил, его плоское доброе лицо оживлялось: хозяйка

кормила нас вместе. Сама она ела отдельно, за печкой. Наевшись, икала громко, будто вскрикивала.

— В Ангаре-т тихо, — говорила она. — А на море — мырь такая... Беяши, беляши... Землетрясению не слышали? Давеча печь засуршала, а я как крикну: Манька, вылазь! На премянницу, значит. Думаю, премянница шутки шутит. Однако ничего — обои только в углу трешину дали.

На следующий день снова был у Владимира Дмитриевича. Табуретку дали сразу. Сидел и списывал абзацы приказов и инструкций об охране нерпы. Впрочем, о том, почему это так интересно — списывать инструкции, скажу ниже, когда наш катер придет к Ушканьим островам.

— Вы достали уже спальный мешок? — на второй день спросил меня ученый секретарь, встретившись в коридоре.

— Нет, не достал.

— Напрасно. В Нижне-Ангарске вчера шел снег.

— Да ну, — сказал я и представил себе этот коридор с пальмой в кадке покрытым инеем. Пальме было не холодно — из нее так и торчал во все стороны волосатый войлок.

— А кто у вас самый добрый? — спросил я ученого секретаря. — У кого можно попросить?

— Нет у нас добрых, — ответил мне очень жестко Скрябин и толкнул дверь, рядом с которой мы стояли. За дверью нам открылась или, вернее, открылась бы небольшая комната, если бы не кучка молодых людей, которые кого-то припирали к двери:

— Ты?

— Нет, не я!

— Нет, ты!

— В прошлый раз был я!

— И в этот раз будешь ты!

Парни оторвались от своего захватывающего занятия и посмотрели на нас со Скрябиным. Обстановка показалась мне ясной. Кому-то из них надо было выступить на семинаре или на собрании. Козлик отпущения стоял перед толпой в позе плохого боксера. Ясно было, что ему не отбиться.

— Я уже горел! — еще раз слабо крикнул козлик. Но наш со Скрябиным приход решил дело. Все уже смотрели теперь на нас.

— Товарищи, — мягко, словно он говорил «друзья», произнес Скрябин. — Вот журналисту из Ленинграда нужен спальный мешок. Кто может дать?

Когда у меня бывали на руках казенные вещи — скажем, надувная лодка и слаломные лыжи, то, помнится, я отдавал их обратно очень туго. И сейчас я был готов к тому, что будет долгий, нудный разговор, а в конце концов на катере придется спать под своей курткой из негреющего кожзаменителя.

— Я дам, — вдруг сказал молодой человек с эспаньолкой, который стоял в первом ряду нападающих. И, словно ему стало стыдно, что он не угадал моей нужды раньше, быстро добавил:

— Господи, конечно, я дам!

Так я познакомился с Жераром Александровичем Черняевым-Ги. Есть у Жерара сын — существо от трех до пяти, Максим, семьдесят пять процентов русской общительности и двадцать пять — французской деловитости.

— Папа, — сказал Максим, оказавшись возле, когда мы с Жераром вышли на площадку обговорить ритуал передачи мешка.

— Да, да, — рассеянно сказал Жерар и провел ладонью по шелковистой соломке у Максима на голове.

— Папа.

— Да, да. Сейчас.

— Папа.

— Сейчас. Сейчас.

— Папа, — сказали двадцать пять процентов французской деловитости и стали тереть коленка о коленку. — Ну, папа же!

— А ты попроси маму, — сказал Жерар. В нем заговорила русская кровь.

— Мамы нет. — Максимка уже стоял в полуприседе.

— Ах ты! — сказал Жерар. — Вот ведь приучился! — И мне: — Мы мигом...

— Так на чем мы остановились? — Это уже через пять минут.

— На мальках, — сказал я. — Вот рыбзавод выпускает их в озеро...

Почему-то всё или почти всё в жизни встречаешь тогда, когда об этом уже отмечалось. Все пятнадцать лет учебы я мечтал о преподавателе, который бы умел тактично подсказывать; вот ты отвечаешь и не знаешь

чего-то — обстоятельства более чем обычные, — и вдруг сам преподаватель тебе говорит:

«Вы превосходно отвечаете, но, мне кажется, тут вы повольновались и написали чуть-чуть не то — не бэ равняется це минус дэ, а совсем наоборот. Но я понимаю, что доска неровная и мел слишком плохо пишет — вашей вины здесь нет».

Всю жизнь я мечтал о человеке, который бы меня учил вот так, и, ей-богу, я знал бы, наверно, больше, хотя бы потому, что с охотой сидел бы на уроках. Доктор географических наук Константин Константинович Вотинцев, к которому я пошел после Жёрара, казался таким человеком.

— Это было в газетах, — сказал он. — И вы, конечно, всё это знаете... Район Байкала, особенно Южного Байкала, — это район повышенной сейсмичности. Нас трясет, если можно так выразиться, в месяц по несколько раз... Да не пишите вы. И так запомните.

Видно было, что он-то сам никогда не забудет то, что сейчас мне рассказывает.

В дельте Селенги, совсем недалеко от того места, где сейчас строится громадный комбинат, в 1862 году ушло под воду двести квадратных километров берега. Для геологических масштабов времени сто лет — это не вчерашний день и даже не сегодняшнее утро, это минут десять назад. Территория будущего комбината находится непосредственно на линии сейсмического разлома. На трещине. В заборники комбината будет поступать ничем не замечательная вода Селенги, а отходам, кроме Байкала, деваться некуда.

Подобная картина и с соседним Байкальским комбинатом. Это тоже «трясучее» место, и фундамент главного здания комбината закладывался первоначально прямо на главной трещине. Потом корпус решили перенести на полкилометра в сторону... Я не оговорился. Именно на полкилометра.

Я не мог не записывать. Сидел и писал, хотя Вотинцев уверял меня, что я и так запомню.

Весь Южный Байкал лет через десять — пятнадцать может превратиться в слабительное...

Я переспросил. Нет, Константин Константинович не ошибся.

Прошло двадцать минут. Сорок. Час. А Вотинцев все говорил. Говорил, как бы извиняясь за то, что происходит. Видно было, что он страдает. Улыбается и страдает.

— Что же можно сделать? — спросил я.

— Не строить комбинаты, — ответил Вотинцев. Он даже позволял себе шутить.

Я представил себе, как нанскосок отсюда, километрах в шестидесяти, на стройплощадке Селенгинского комбината, стоит сейчас сплошной рева самосвалов. Идет цемент, земля, щебень...

А Константин Константинович продолжал говорить.

Комбинат будет выпускать упаковочный картон. Под макароны. Под телевизоры. Под обувь. На Селенге перестанут ловиться те шестьдесят процентов байкальского омуля, которые ловятся сейчас. Омуля в Селенге не станет.

Вотинцев волновался. Мне даже казалось, что он где-то перехлестывает. Ведь проблема производства бумаги, картона — государственная проблема огромной важности... Бумаги не хватает.

И все-таки я понимал человека, который чуть не плача рассказывал о строительстве комбинатов. Не только понимал, но и заражался его настроением. Губится сказочное озеро, озеро, которому этот человек отдал свою любовь и многие годы труда...

— Ведь вы подумайте только, — говорил он. — В Байкал пойдет органика — меркаптаны и сероводороды, — это же ядовитая, дурно пахнущая дрянь...

Отстойники не смогут обеспечить полной очистки. Часть своего содержимого они должны будут периодически сливать в Байкал, и из-за циркуляции байкальских вод сначала южную, а потом и другие его части неминуемо охватит отравление. Сейчас Байкал ценен именно как водоем-музей, жизнь в котором существует по всей толще воды — от глубин в полтора километра до поверхности. Но перед нами другой пример — Черное море. Глубины его отравлены сероводородом, и жизни ниже двухсот метров в Черном море нет.

— А отвести отходы от озера? — спросил я.

— Дорого. Будто бы дорого.

— Сколько?

— Двадцать миллионов рублей. Это стоимость трубопровода через хребет Хамар-Дабан. И еще четыре насосных станции. И электроэнергия.

Об этом в газетах тоже писали. Дорого. Но так ли дорого, если пресная вода чем дальше, тем больше дорожает. Проблема пресной воды становится все острее. Оказалось, что люди на Земле стали думать над этой проблемой много позже, чем следовало. Сейчас между

СССР и США идут переговоры о совместном создании грандиозных опреснителей морской воды. Предположительная стоимость одного кубометра опресненной воды — десять центов. Если так, то цена части Байкала, которую загрязнят комбинаты, — около 900 миллиардов долларов. Это в двести раз больше, чем стоит продукция обоих комбинатов за весь срок их амортизации, рассчитанный на шестьдесят лет.

Но, конечно, стакан воды в Сахаре стоит больше, чем бочка на Оке. И пока что Байкал — это не рубли и не доллары, а огромный резервуар, который сейчас еще нет возможности реализовать полностью. Прямого дохода байкальская вода еще не дает. А бумага, на производство которой нужно много пресной воды, необходима...

И сидит передо мной несчастный, влюбленный в Байкал человек, доктор наук, на глазах которого происходит одна из самых больших жестокостей человека.

— Комбинаты сведут по склонам лесá, — говорит он. — Не к чему будет туристам везти с собой цветную пленку. Байкал перестанет пользоваться славой чистейшего и прозрачайшего, и будут в нем жить окунь да щука, которые и в мыльной воде не сразу околеют...

К сентябрю шестьдесят шестого, когда происходит дело, Байкальский комбинат работал уже три месяца, а Селенгинский должны были пустить вот-вот...

Мы с Жераром сидели в его квартире. Жена Жерара уехала в Иркутск по делам, Максим бегал до семи часов на воле, а мы сидели и слушали на скорости сорок пять оборотов французские песенки. Черняевы совсем недавно ездили в Париж.

Уже час, потом полтора я сидел у Жерара и все время думал не о том, но, глядя, как слушает и подпевает Жерар, я не мог ему сказать — выключи. Его лицо — таким я представлял бы себе лицо скифа, кончившего Сорбонну, — играло, пело, то удаляясь, то снова возвращаясь сюда, в эту часть света, на берег Байкала...

Живи Жерар во Франции — в нем наверняка бы временами просыпался русский, как сейчас проснулся француз...

А я думал не о песенках. То, что рассказал мне сегодня Вотинцев, не давало слушать и подпевать.

— Жерар, — сказал я. — А почему все это с Байкалом творится? Ты это понимаешь? Ты восемь лет здесь живешь.

— А-а, — сказал Жерар. Он выключил музыку, и мы вышли из квартиры.

— Разберутся, господи боже мой, — угрюмо сказал Жерар. — Ты статью академиков читал?

Мы спускались по лестнице.

— Читал, — ответил я.

— Ну вот. Эти ребята зря трепаться не будут...

От жилых домов мы спустились вниз, обошли институт и стояли у самого шоссе. По шоссе, лопоча новой резиной, раскачиваясь на роскошных рессорах, прошла к Иркутску «Чайка». Вихрь воздуха, словно боясь не успеть, метнулся вслед великолепному автомобилю. Вместо номеров у «Чайки» спереди и сзади были хромированные бляхи.

— Экономика — баба упрямая, — сказал Жерар. — Как ни крути, а она заставит делать то, что нужно. Максим! — крикнул он. — Максим! Домой!

Было уже очень прохладно. Начало смеркаться. Байкал потемнел, но все так же, несмотря на сгустившийся цвет, казался чистым, чистым, чистым...

Я попрощался с Жераром и пошел по шоссе к своим старикам. На другом берегу Ангары, точнее, на другом углу берега, в порту Байкал, крикнул пароходный гудок, почерневшие горы поглотили его крик, и снова стало холодно и очень тихо.

Я оглянулся. Величие и тишина стояли вокруг, и невозможно было поверить, что в каких-нибудь шестидесяти километрах отсюда в это черное хрустальное море с хрипом и бульканьем вот уже три месяца бьет желтая неровная струя...

4

Байкал. Дело в том, что все слова в превосходных степенях на него уже истрачены.

Великий. Величавый. Величественный.

Громадное озеро, красивейшее, огромное...

Давайте уговоримся: я не буду всего этого повторять. Дайте мне только одно право — называть его морем. Тем более что Байкал на Байкале иначе и не зовут.

Так вот — море было кругом. Оно цвело черным цветом, как пруды цветут зеленью, потому что солнце село, а из-за хребта желто смотрело небо, и по черной воде,

гладкой, как крышка рояля, ножами ходили желтые тени. Мы подходили к берегу у одной из станций Старо-Байкальской дороги. А где-то за несколькими тоннелями — их тут, пробитых в начале века, по штуке в каждом мысу — пыхтел паровозик с тремя старыми вагончиками, и народ — человек пять или восемь — собирался к магазину.

Мы бросили якорь — вы слышали когда-нибудь, как гремит над водой в вечернем холоде железо? — спустили шлюпку и под хрип оседающего на передних лапах цепного кобеля у сторожки сошли на берег. Мы — это кто-то из команды, кто-то из экспедиции и я — шли к магазину, который откроется к приходу поезда. Станция называлась как-то очень трудно — из двух слов и в каждом по букве «ж». Мы шли, балансируя и изгибаясь, по рельсам; колея, ближняя к воде, была блестящей, а та, что шла у склона, заржавела. Вдоль всего берега, словно охраняя неодинаковой высоты телеграфные столбы, тянулась старая изгородь, и все на этой дороге было старым — старые шпалы, старые будки, старые, оставленные людьми, станционные здания. Я зашел в одно из них — это был маленький вокзал — и подивился изобретательности орудовавшего здесь грома. Стекла высоких окон были высажены даже из самых верхних отделений переплетов. Кто-то для этого лазил специально наверх, и лазил чуть не по голой стене: метрах в трех от пола на белой известке отчетливо отпечатались подошвы резиновых сапог. Зачем-то выворочена дверца печи. Надо думать, не за надобностью. Пол был искорежен, но доски не унесены.

На Байкале человек трудно приживается к земле. Трудно, потому что бог знает сколько надо рвать породы, чтобы провести по побережью километр рельсов, потому что ветры здесь поднимают волну, которая выбрасывает на берег камни в человеческую голову. На Байкале человек приживается трудно. Но приживается давно. Поколение за поколением. Природа постоянно вмешивается и рушит выстроенное. На пути от лодки до магазина — всего-то метров триста — мы увидели свежееобломленные камни. Когда переходили железнодорожный мостик через ручей, заметили, что стальные его перила загнуты в сторону и вниз, словно в них на всем ходу вошел грузовик. Ниже мостика стоял пустой домик. В его крыше светилась громадная дыра. Это были следы землетрясения, случившегося три дня назад. С горы сорвался камень.

Здесь, где все надо подновлять, поддерживать — ведь, быть может, всего через несколько лет тут начнут плодиться санатории и курорты и оживет старая Байкальская дорога, — здесь особенно дико было видеть изгаженный, разрушающийся вокзальчик. А что можно было сделать? Ничего. Вот написать об этом вокзальчике. Постоять в бывшем зале ожидания. Я в нем и постоял, и походил.

А магазин уже открылся.

Ах, эти универмаги глухих углов России! Что перед ними универсальность наших столичных многоэтажных магазинов? Тут на одной полке лежат плюшевые кофты, обсыпанные сахаром розовые подушечки, резиновые сапоги, мраморные чернильные приборы, напильники, уцененные бюстики классиков, унылая женская обувь и консервы «Кит в горохе»...

Очередь стоит истово.

Одна хозяйка набирает товары минут пятнадцать. А остальные терпеливо, молча стоят, не спеша обходя глазами полки магазина.

Хозяйка все берет и берет. И подушечки берет, и буханки хлеба, и новую материю, и три карандаша, и тетрадки в косую линейку...

Буханок здесь берут по пять и по восемь. Бабка из конца очереди, прикинув сегодняшний привоз, роняет философски:

— А и все равно хлебушко. Желудку еще полегче — посухарищее однако, — и переступает вслед продвинувшейся очереди коричневыми валенками в красных калошах.

А на крыльце такой разговор:

— Пареня в школу сегодня не пустила. Первый день, а не пустила.

— Ну...

— Сандалию вчера потерял. Думала, собака принесет.

— Ну...

— Что ты нукаешь? Научились все по-городскому. Ну да ну.

— Может, он нарочно. Чтобы в школу не ходить.

— Своих-то у тебя, однако, нет... Да их из школы гоном не выгнать. Ревет сегодня с утра: «Мамка, пусти... Мамка, пусти...»

— А и пустила бы.

— Вам, мужикам, один ферт. За бесштанное дите не стыдно. Да как же я его пушу?

Женщина уходит.

— По здешнему месту и школа — театр, — произносит мужчина. Папираса его ярко, хрустяще разгорается и сразу же затухает.

Из магазина выходят наши. Боцман тащит мешок с продуктами. Мы идем на катер.

Нашему капитану лет сорок пять. Двадцать из них он плавает по Байкалу.

Капитан годами старший на своем маленьком корабле, а реакции его на большую часть кругом происходящего — это реакции юноши. Чего нельзя простить человеку за умение искренне радоваться? И радоваться не благу для себя, а благу для другого? И чего нельзя простить за непрерывное создание комических обстоятельств?

На помощь неистощимой потребности в смехе Сергею Александровичу приходит собственное лицо. Загорелое, морщинистое лицо медленно стареющего моряка. Невозможно не поддаться на очередную «подначку», потому что таким же тоном и с таким же лицом капитан только что рассказывал тебе нечто абсолютно реальное...

Умеет и знает Сергей Александрович много. Не могу себе представить нужного в Сибири ремесла, ему незнакомаго. Срастить ли канаты, вырезать ли фигурную иглу для чинки рыболовной сети или одним топором сделать двухпудовый «колот» по кедровую шишку — все это за минуты, все безошибочными и экономными движениями. Может быть, лишь чуть-чуть демонстрируя свою безошибочность и экономность... Только ведь, когда это не мешает работать, можно и простить.

А еще капитан по совместительству и радист, и не спускается в машину только потому, что бесперебойно, с отличным, успокаивающим звуком лупит наш дизель, и еще капитан — и охотник, и рыбак, и мотоциклист, и... Одним словом, на судне у него вдруг с некоторым разочарованием и успокоенностью думаешь, что от тебя с твоим дипломом инженера корабельной службы ничего-то, ничего не понадобится... Обедай себе да смотри на берега...

Но это все о Сергее Александровиче я узнал после, а первое впечатление о нем у меня было, как о гурмане. Мы пришли тогда из магазина и небольшой группой — там, помнится, была не вся команда — сели в

кают-компании за стол. В нашем меню в тот раз было только два названия. Происходила некоторая суетня подготовки. Жестом остановив всех, капитан обратил глаза на меня, нового на Байкале человека.

— Сначала его надо пробовать, — сказал капитан. — Перед. А то потом и вкуса не разберете. И вот так — со шкурки, со шкурки зубами снимайте...

Я смотрел на движения капитана.

— Угощайтесь, — сказал капитан. — Давайте. — Мы еще около получаса были на «вы». — Ну-ка...

Я старался проделать зубами и руками все те движения, которые до меня проделывал капитан.

— Что-то, вижу, не то. Не дошло. — Капитан внимательно смотрел мне в глаза.

— Вроде запах какой-то, — сказал я не очень уверенно.

— О! — воскликнул капитан. — Дошло, значит. Омулек и должен быть с душком! Ну, вы еще распробуете. Это не сразу. Поплавайте с нами две недельки — и распробуете... Как говорят, тут Деникин, там Юденич, куда хошь, туда и денешь... Придется вам омулька понять!

Первую ночь мы простояли на якоре вблизи станции с трудным названием. Рано утром я вышел наверх. Такой туман я видел впервые. Казалось, ничто в мире не имеет теней. Ровный сумеречный свет лежал на палубе, такой же он был и в рубке. Матовая вода не блестела. В ней лежали неподвижно какие-то выброшенные коком объедки, плавала кедровая шелуха, на плавучем бревне сидели совершенно неподвижные чайки. Плотность, даже тяжесть тумана ощущалась явно, но понизу на воде было видно очень далеко: вот первый мыс, вот второй, вот даже третий за ними. А между туманом и водой на северо-востоке светилась яркая светлая щель, туман поднимался с воды всей массой, он не рассеивался, а полз вверх плотным слоем — чуть быстрее у берегов, медленней — дальше в море. Светлый клин расширялся — вот берег виден вверх уже метров до десяти, показывается полотно дороги, вот уже целиком вышли из тумана телеграфные столбы, вот уже лиственницы на склоне корнями своими растут в земле, а вершинами все еще не видят друг друга.

За мысом крикнул вчерашний паровозик. Вчерашний поезд — два пассажирских и два товарных — небыстро прокатился мимо нас к югу. Белый дым паровоза поднимался к туману, серел, тускнел и сливался с ним. Па-

ровозик уполз в тоннель, черное отверстие еще некоторое время курилось белым дымом, а потом звук колес дошел уже из-за мыса, и в это время наш дизель заскрипел первыми натужными оборотами, будто бы приостановился, а на самом деле вздохнул — и загрохотал, набирая свои полторы тысячи, и вода, уже не такая, как полчаса назад, а отливающая старым оловом, заморщилась и пошла дрожью около катера.

— Боцман! — крикнул из рубки Сергей Александрович.

Заспанный боцман подошел к ручному брашпилю; загремела, копясь в цепном ящике, цепь. Легко, а потом все труднее сгибалась спина боцмана. Из рубки выскочил смуглый поджарый старпом, вдвоем они подтянули якорь, старпом, обернувшись, кивнул капитану, катер вздрогнул и взвыл сиреной.

Начался второй день.

5

У корабля, каких бы размеров он ни был и к какому бы делу ни был приставлен, всегда есть свой характер.

Бывают суда, на которых неприятно жить, — и ощущение это необъяснимо владеет вами, пока вы на таком корабле; есть суда, где вы чувствуете: месяц на борту — и вы перестанете быть самим собой, а иногда все в корабельной жизни располагает вас к лени, к нескончаемому прогулочному естеству, когда от утренней болтовни на юте переходишь к легкой болтовне за обедом, к мыслям о том, что все дела еще успеют сделаться, к легкому, но долгому сну, — и на таком судне можно себе позволить — естественно, если вы пассажир, — целый день гладить штаны и бриться, а когда останется два часа до прихода в порт — время это убить на чистку ногтей...

О каждом судне говорят, как о человеке, — хорошее судно, плохое судно, судно трудное.

О каждом судне говорят, как о семье, — дружное, гостеприимное, или так: «Ну и корыто. Банку гуталина не поделят!»

О каждом судне говорят немного, как о государстве, как о другой стране: «Там всё у них так». Или, напротив: «Там всё у них не так».

У каждого судна есть свой характер.

У катера «Академик Обручев» характер был тактический.

На «Обручеве» поселили меня в кают-компанию. Всего на катере было три жилых кубрика: носовой — комсостава, корма — экспедиции и кают-компания. В кают-компании спали боцман и кок, и все время, с утра до темноты, не они, так другие двое-трое сидели или лежали на диванах. А вся кают-компания была такой величины, что десять человек, сидя вплотную вокруг стола, занимали ее целиком. Локти не разложишь.

Наверно, у всех людей, или почти у всех, есть странная слабость — когда человек пишет, он не любит, чтобы ему смотрели под руку. Даже когда ничего особенного он и не производит на свет. Даже когда приходится переписывать технические ведомости. Говорить устно человек не боится. Иной раз скажешь такое — у самого уши вянут, и ничего. А вот писать у другого или у других на глазах — ну никак!

А в кают-компании «Обручева» я писал. Писал и не чувствовал, что иногда появляется у меня на лице идиотская задумчивость. Никто не ловил меня на мелкой радости от удачной фразы. Никто не заглядывал через плечо, стараясь прочесть то, что я сам бы был прочесть не в силах... Под конец я уже был так уверен в деликатности обручевцев, что листки, исписанные мной, валялись повсюду, и единственный, кто позволял себе их трогать, был кок Гена. Значит, надо было накрывать на стол к ужину или обеду.

И вообще вся манера обращения обручевцев друг к другу была глубоко симпатична. В этих людях не было ни хамства, ни черствости, а с другой стороны, и никакого лицемерия — все были свободны и в то же время связаны общим делом и трогательно привязаны друг к другу... И вкус какой-то — не знаю, врожденный или появившийся оттого, что на катере постоянно живут ученые, — чувствовался во всех мелочах. Я сначала даже не понял, почему так хорошо в этих кубриках, в этой кают-компании. Не понял, но почувствовал. А потом до меня дошло. На катере не было ни одного из обязательных предметов коммунальной показухи — ни одного плаката, ни одной безвкусной пулеметно размноженной картинки, ни одного пожелтевшего листка с приказами. Стояли в кают-компании два букетика цветов, висели на переборках плащи и ватники. Под потолочным световым люком — портрет Обручева, и хороший, сделанный со вкусом, снимок катера. И академик был совсем как родственник семьи, совсем не па-

радный. Какая-то белая рубашечка под нечесаной бородой. Заработался ночью, пришел в столовую чаю попить — его и сняли. Родственник, одно слово.

Бьет, грохочет за двумя переборками дизель. Уже не хватает чего-то, если вдруг наступает тишина. Не посеем. Не придем. Не увидим... Но дизель молотит целыми днями. Через час или два он только скидывает обороты, переключается на кормовую лебедку, я гляжу в иллюминатор — мы остановились, мимо иллюминатора ползет белый мешок глубоководного сачка, стучается по борту его литой наконечник, льется вода, летят брызги, а дизель ослабело грохочет, и слышно, как на корме шестерня лебедки, задевая за стопорную ленту, скрипит на каждом небыстром своем повороте.

Мы уже четыре раза пересекли Байкал. Мы ходим зигзагами от берега к берегу — делаем «разрезы». На каждом разрезе, на каждой прямой — несколько «точек», где опускают сачок. Сачок сделан так, что верхняя его часть более проницаема для воды, чем нижняя. Поэтому его можно тащить с большой глубины, не боясь, что уйдут зачерпнутые в глубине рачки и водоросли. Вместе с небольшим количеством глубинной воды их сливают в баночку и ставят в ячейку большого плоского ящика на палубе.

На корме в это время идут замеры температуры. Начальница экспедиции затыкает в ребристую серебряного цвета штуку фиолетовые стеклышки, и с двухпудовой железинкой для пущей отвесности все это на стальном шнуре травится в глубине.

На шкиве блока счетчик. Сто метров. Двести. Триста. Фиолетовые стеклышки дают уже тридцать атмосфер.

Скрипит шкив. Старпом и начальница экспедиции всматриваются в счетчик. Корму слегка подкидывает волна.

— Стоп!

Начинает работать лебедка. Вытащили. Стеклышки отправляются на свои места — в другой ящик, где рядом еще сотни две таких же стеклышек.

— Все? — кричит из рубки капитан.

— Давай!

Из-под кормы выплескивается белая пена.

Палуба пустеет до следующей точки.

Берега видны все время. Они на Байкале вообще в хорошую погоду всегда видны. Даже в самом широком месте. Потому что море обступают высокие горы. А горы эти всех цветов... В разное время дня, при разном освещении и разных удалениях от берега могут они быть и голубыми и розовыми, и совершенно черными. Могут стать зелеными или серыми. На юге и севере они все в лесах, в середине же Байкала, у острова Ольхон, есть места, где ровные, обдутые ветром склоны не растут ни кустика, ни дерева. Желто-серые громадные скалы, каменистая земля, ветер, ветер и ветер... Особенно дикими кажутся эти голые места на закате — тень от камня или одиноко стоящего дома тянется на сотни метров, склон или равнина оказываются разлинованными черными полосами, а если пойдешь по этой равнине, можешь наткнуться на бурятское кладбище... Не в тайге и не в рощах кедров хоронят буряты близких, а несут их в эту каменную степь, где и могилу-то вырыть нельзя, собирают обломки камней и засыпают ими умершего. Уже давно оседло живут буряты. Но, как и всякий народ, тянутся к древним своим обычаям. То, что диким и пустынным кажется нам, вызывает в потомке кочевника смутные, но, наверно, успокаивающие его душу образы; вас дерет по коже озноб, когда вы смотрите на это кладбище, а старая бурятка, с трубкой в зубах, сидит на камне, смотрит в каменистую степь и на каменные могилы родственников, сидит, молчит и не знаешь — вспоминает ли она кого-то или оцепенела от крепкого дыма...

6

Всякий капитан, каким бы простачком он ни прикидывался, мысленно делает в своей команде замены и перестановки.

«Вот того-то — на ступеньку бы пониже, а того-то — на ступеньку повыше, — думает капитан. — Авось потянет. А третьего — вообще к чертовой матери на берег...»

Только есть и еще одна категория людей на корабле — тех, кто на своем месте. И если на корабле таких не большинство — значит, и корабль ничего не стоит.

И вот ходит в задумчивости капитан, кое-что говорит старпому, кое-чего не говорит даже ему и лелеет свои планы — как бы сделать свою команду идеальной.

Вот дайте ему волю — и сделает... Но прошли века парусного флота. Прошло время, когда капитан без объяснений и без отдела кадров мог набирать и вышвыривать вон... И хотел бы иной раз, а тут — профсоюз, а тут — то да се... И не оберешься неприятностей. Так пусть себе плавает неугодный, черт с ним совсем. И ходит капитан по кораблю злой, как настоящий, всесильный капитан, потому что выгнать он не может, а быть злым ему никакой отдел кадров пока еще не запретит. Но век злым не проходишь. И тогда обращаются взоры капитана не на тех, кто ему в команде противен, а на тех, кто ему мил. И с гордостью думает капитан: «Зато вон у меня кто есть. Там все остальные — ляд с ними, а эти-то у меня есть. Ради них и стоит мне, отличному капитану, командовать».

Надеюсь, что у Сергея Александровича не бывало приступов мизантропии, но если бы они вдруг обнаружились, первый, на кого должна бы потом, после этого приступа, излиться капитанская нежность, должен бы по моим наблюдениям быть кок Геннадий.

Я уж не говорю о непосредственно камбузных делах. Я не говорю о тех супах, рыбах, котлетах и киселях, поглощая которые невольно я задавал себе вопрос: неужели на суше тоже нельзя так готовить? Я не говорю о том, что вообще весь распорядок дня «Обручева» выверялся по приглашениям к столу, как по песочным часам. А если у отличного кока еще и отличный характер, то чего еще желать капитану?

Казалось бы, ничего. Ну зачем, скажем, коку мужественность или лихость? Или скромность? Ведь этого к столу не подашь? И все-таки именно за эти качества, я уверен, капитан ценит Геннадия втрое, впятеро больше...

Отваливаем на шлюпке от берега. Холодно. Погано. Надо бы идти двумя рейсами. Шесть человек — это для нашей шлюпки перегрузка. Но прыгнули в шлюпку повизгивающие студентки. Вошел капитан. Бормоча что-то, влез боцман. К стыду своему, и я уже сижу на корме. Шлюпка стоит на песке. Благодаря пяти людям довольно плотно стоит. А не в шлюпке только Геннадий. Холодина. Дождь со снегом...

И кок, словно это и быть должно, упирается в торчащий к берегу нос шлюпки, так что кости скрежещут, толкает, толкает шлюпку, шлюпка пошла, но все еще ползет по песку. Вот Генке уже по щиколотку, вот уже по колено, и, когда переваливается он у носа через борт

в переполненную шлюпку, он мокр уже чуть не до пояса. Других ботинок у Геннадия на катере нет. Это я знаю. И брюк, по-моему, тоже нет. Кричит на Геннадия капитан. Притворно кричит. Это сразу видно... Идет дождь со снегом.

— Да ну, говорить-то было бы о чем, — лениво бросает Геннадий. Может быть, потому, что лихость его чаще всего идет под лозунгом «черт с ним» или «наплевать», у нее какой-то особенно русский, залихватский оттенок.

Капитан оглядывается на меня, толкает в бок... Через десять минут уже на катере, на корме, Геннадий чистит рыбу — снова на ветру, на ледяной холодине, в одной рубашке с закатанными рукавами. Чуть-чуть давая понять, что в ватнике быть на холоду даже неинтересно... Поэтому ватник он вообще не надевает, и его за Геннадия ношу я.

Весь день дует «верховик», сменившийся к темноте «горной».

Катер стоит, уткнувшись носом в берег. Даже сюда из-за трех мысов доходит зыбь. Катер то лезет форштевнем на гальку, хрустит ею, то отползает, снова натягивая швартов.

— Пойдем в кино, — говорит мне Геннадий.

Мы стоим в селе. Клубная изба — как все клубные избы. Скамейки больше напоминают детские качели. Этой особенностью пользуется отпускник-сержант, которому некогда терять время. Он поминутно вскакивает со своего конца скамейки, при этом две девчонки на другом конце падают. Весело.

Изба вся в засиженных мухами лозунгах. Есть лозунги с подписями. Есть безымянные. Например, такой: «Кадры решают всё»...

В первом ряду дети. Они оборачиваются на нас с Геннадием и молча смотрят, не обмениваясь ни словом. Кое-кто из них встает, подходит к нам вплотную, Жуют смолу.

— Ну что? — гостеприимно спрашивает Геннадий.

Дети испуганно смотрят на него, перестают жевать.

Сбоку от нас сидит старый, похожий на пень, бурят. Он в рыбацком плаще до земли и в кожаной ушанке. Коричневое смеющееся лицо его как потрескавшийся глазированный горшок.

«Ну вот, — думаю я, — и прожил человек в этом селе

всю жизнь. И нигде-то он не был. И не видел ни поезда, ни высоких домов...»

— А вот когда я был в Ленинграде... — вдруг слышу я над своим ухом, и меня берет за рукав тот самый старик. — Когда я был в Ленинграде, в войну, — говорит он, — я очень не любил ночью снаряды караулить...

— Какие снаряды? — спрашиваю я.

— А я на поездах служил, что снаряды подвозили. Так вот в Ленинграде...

— Ты что-то путаешь, отец, — говорю я. — Ленинград-то был в блокаде...

Старый бурят смотрит на меня смеющимися глазами.

— И в Ропше был, — будто без всякой связи говорит он. Но мне после моих мыслей понятна эта связь. — И в Петергофе, и в Оренбауме...

И, понимая или ощущая, что этим «Оренбаумом», таким принятым в Ленинграде коверканным названием, он убедил меня окончательно, замолкает.

«Как он узнал, что я о нем думаю?» — стараюсь сообразить я.

— А я из Ленинграда, — говорю я ему.

— Знаю, знаю... — И, потеряв ко мне интерес, уходит. Лицо его смеется. Он садится вместо сержанта на конец скамейки. Девчонки взлетают кверху.

— Эй ты, оргал! — кричат они. — Потише нельзя?

— Можно и потише, — смеется старик и опять подбрасывает счастливых девчонок.

Наша экспедиция — это три женщины: Матрена Николаевна Алсаева, средних лет молчаливая бурятка, и под ее началом две студентки рыбных вузов. Задумано ли это или случайно совпало, но все трое ходят в красных шерстяных платках. Только на этом, пожалуй, сходство и кончается, — уж больно все разные...

Матрена Николаевна в экспедиции на «Обручеве» раз в двадцатый, если не больше, и команда катера зовет ее просто Мотей. Коричневое лицо Моти невозмутимо, речь точна до предела. Во время обеда, когда все, особенно капитан и механик, много и обо всем говорят, Мотя, опустив глаза в тарелку, слушает, слушает и вдруг произносит что-нибудь очень короткое.

— Не так, — говорит Мотя. И сказанные тихо и с извиняющейся улыбкой эти слова вдруг разрушают всё, что до того наговорили сидящие рядом. Я не знаю, от-

куда берется у Моти этот необычайный эффект убедительности, — произносит свои ремарки она совсем не сурово, напротив, мягкость ее тона не совпадает с категоричностью слов, и на лице — смущение... Но не от собственной неуверенности. А оттого, что кто-то рядом треплется. И эту разницу все улавливают сразу. Стараясь вызвать Мотю на спор, вовсе изощряются капитан и механик. Мотя отмалчивается, а когда видит, что можно, не побеспокоив других, выйти из-за стола, сразу уходит к себе в корму...

У нас с ней очень точные, с первого дня абсолютно выверенные отношения.

— Доброе утро, Матрена Николаевна, — говорю я утром.

— Доброе утро, Михаил Сергеевич.

— Не надо ли, Матрена Николаевна, в чем-нибудь помочь экспедиции? — спрашиваю я днем.

— Спасибо, Михаил Сергеевич, не надо.

Вечером обычно повода поговорить не представляется.

Однажды Мотя сказала речь. Говорила она минуты полторы или две. Текста, правда, я не помню. А дело было вот в чем. Нас трепала непогода, и, вместо того чтобы пересечь Байкал до самого берега по одному из запланированных «разрезов», мы вынуждены были перед самым концом «разреза» отойти к другому берегу и отстояться. Осталась на «разрезе» одна точка у противоположного берега, где надо было взять пробу. А мы уже запаздывали, и метеосводки приходили одна хуже другой. И вот команда завела разговор: мол, бог с ней, с этой одной точкой. Мы, мол, из-за нее потеряем полдня, а если брать на ней пробу не будем, так сегодня удастся сделать рывок вперед. Вот тут Мотя и сказала речь. Текста, повторяю, не помню. Помню интонацию. И ручаюсь, что после этой речи команда сутки не могла смотреть друг другу в глаза. Я не был членом команды, но и мне почему-то тоже было стыдно. И сказала-то ведь Мотя так, что не было в ее речи даже слова «нечестность»... Даже этого не было. Но катер взял курс на ту точку, где вчера не был вытасчен сачок с глубоководными рачками...

Одну из студенток зовут Люсей. Девочки ее типа любят ходить в клетчатых рубашках и до сорока лет носят косички. Люсе чуть перевалило за половину этого возраста, и косички она носит с полным правом. Кожа лица у нее очень нежная и в веснушках. Люся

из Астрахани и поэтому безбожно мерзнет, — без ватника я ее за две недели знакомства, кажется, ни разу не видел.

У второй студентки очень тонкие смуглые запястья и повадки намертво избалованного ребенка. Вероятно, поэтому она картавит и любит говорить о филармонии. Пить чай просто с сахаром ей не под силу. Нужна обязательно сгущенка. Чаще всего лицо ее выражает пренебрежение. Если бы не это, ее можно было бы называть хорошенькой... Ее шокирует алюминиевая посуда и то, что Сергей Александрович может съесть подряд две миски супа. То, что перед этим капитан простоял целый день у штурвала, ей довольно безразлично. Когда она поднимает из травы кедровую шишку, мизинец ее обязательно отставлен...

Самая любимая тема разговора у наших студентов — как они только что поспали и как заснут на обратном пути, когда все замеры будут сделаны. Послушав их, невольно начинаешь думать, что человек произошел от медведя. Впрочем, я, наверно, просто придирчив. Качка действует на людей по-разному. Редкий организм не реагирует на качку никак. У морской болезни масса вариаций. Тошнота и головная боль — это не весь диапазон. Я встречал людей, у которых от качки разыгрывается аппетит, жажда, потребность говорить. Может быть, сон наших девочек — это тоже морская болезнь...

А качает нас много. С броняшки над иллюминатором, на которую я, как на полочку, наложил записные книжки, мыльницу, кусочки зализанных водой кедровых корней, то и дело что-нибудь валится мне на диван... Значит, поменялось направление ветра и пошла бортовая волна. Или мы сменили курс.

Слава богу, почти все здесь любят тишину. То есть как любят... Люби не люби, но если катер двадцать метров длиной и в середине его работает дизель, то, конечно, все переборки гудят. Но к этому необходимому гулу и дрожи можно добавить и еще много всякого шума. Этого шума здесь не прибавляют. В кают-компании плотная дверь. Входя, каждый прикрывает ее. В кают-компании небольшой приемник. Его слушают только тогда, когда Иркутск передает погоду. Ну, вечером еще минут двадцать музыки. И всё.

Лежим с боцманом на диванах и читаем.

Боцман Юра — человек простодушный и бесхитростный. Самые яркие воспоминания его жизни относятся

к тому времени (лет шесть назад), когда Юра служил срочную службу. И до сих пор жизненная психология Юры — начинать делать только то, о чем распорядилось начальство. За отсутствие «рвения» Сергей Александрович (сам необычайно охочий на всякую работу) буквально обглаживает боцмана. Из склонности капитана к подначкам и мистификациям и из беззлобности Юры вырастают иногда целые театральные представления.

Мне с боцманом спокойно и хорошо. Юра взахлеб читает, классифицируя книги скорее тематически, чем по иным признакам. Есть книги «про войну». Есть «про любовь». Есть «про колхозы». Книги «про войну», сколько я успел заметить, интересуют Юру больше, чем «про любовь»...

Вечер.

Нас качает.

Черная вода приникает к стеклу иллюминатора, откатывается под днище, снова взлетает к стеклу... Иду в рубку. На палубе сквозной холод и абсолютная — без огней и бликов — темнота. Надо постоять и дать глазам привыкнуть. Тогда становится виден над световым люком кают-компаний хвост белого дыма. Это морось и брызги. Ночью световой люк мешает смотреть из рубки вперед. Тогда его накрывают сверху брезентом. Снова надо постоять и снова привыкнуть. Становятся видны только два бледных пятна по бокам. Это брызги светятся, взлетая к иллюминаторам. Проходит пять, десять минут. Бледные пятна набирают яркость, становятся единственно видимыми вокруг катера. Старпом резко поворачивается от штурвала и нажимает на невидимую кнопку. Даже отсюда сквозь шум воды слышно, как взвизгивает под палубой ревун. Появляется заспанный боцман.

— Потуши в салоне свет или опусти броняшки! — приказывает старпом.

Через несколько секунд светлые усы исчезают. И сразу же становится виден контраст в черноте неба и черноте чего-то чугунно-плотного прямо перед нами. Мы идем, оказывается, уже под самым берегом.

Старпом наш, Виктор Васильевич, носит знаменитую сибирскую фамилию Лазо.

Старпом красив. Не ушанку бы ему и не ватник —

и можно было бы сказать про этого смуглого человека с тонкими чертами лица, что он откуда-то с юга. Средняя Азия, чуть-чуть Индия, может быть, Аравия... У старпома тонкая породистая кость. Бархатные глаза полны древней кроткой доброты. В них какое-то всепонимание и всепрощение. Нельзя представить Виктора Васильевича взбешенным, вышедшим из себя. Если в голосе его — строгость, так и слышно сразу, что это служебная строгость, а не идущая из глубины. Рядом с Виктором Васильевичем, хотя он всего лет на пять старше меня, я робею, мне неудобно расспрашивать его, как это совершенно свободно выходит с Сергеем Александровичем. Неудобно расспрашивать, потому что старпом обо мне знает, наверно, больше, чем я сам, и словно молчаливо приглашает и меня узнать все, что я хочу, прочтя в душе.

А биография его проста. Был до прошлого года механиком в Лимнологическом институте, а теперь, кончив курсы комсостава, пошел плавать. Все просто. Но под этой простотой таится для меня, как и в глазах старпома, нечто глубокое, непознаваемое... В тридцать пять лет бросить надежную, привычную колею и уйти бродить по Байкалу. Часами в одиночестве стоять у штурвала, слушая только удары волн и собственные мысли...

Что мы знаем друг о друге?

Что знаем мы о самих себе?

7

Два дня стоим за бревенчатым волноломом в Голоульном.

Капитан мерит скорость ветра. Двадцать метров в секунду. В вентиляционных грибах свистит. Опять дует «горняшка».

За волноломом вместе с нами стоят несколько катеров и моторных лодок.

Вода между молами мутная. Плавает крошка сосновой коры.

Днем, огибая вдающееся в море устье, прошли две моторные лодки. Мы с боцманом в это время ходили в лес за грибами. Лес растет здесь только по верху гор. Потому и получается Голое Устье.

Юра увидел лодки первым. Они шли почти рядом на одной скорости. Даже с горы было видно, как волны бьют их в скулу. Над носами лодок все время вставали медлительные белые веера.

— Может ведь наплескать, — сказал я.

Юра молчал. Лодки с трудом пробивались сквозь волну. Сейчас они были в самом плохом месте — прямо против плоской ложбины устья. Над нашими головами свистели деревья.

— Мотор чихни — и всё, — сказал Юра.

— А самому выплыть?

— При горняшке-то?

Юра не сказал ничего о холоде. Но я об этом слышал раньше. Были случаи, когда выпавший летом за борт через пятнадцать минут погибал от судорог.

Лодки упорно пробивались. На каждой из них было только по человеку.

Мы думали, что они зайдут за волнолом и встанут. Но они обошли бревенчатый мол и всё так же, словно прилипнув друг к другу, ушли под крутой берег справа от нас.

— Ну, пронесло, — сказал Юра. — До следующего распада.

Это значило — до следующей ложбины между горами, откуда на лодки снова, как из аэродинамической трубы, рванется «горная».

В лесу было много сваленных деревьев. И гнилых, и еще вполне для дела годных. Они лежали какими-то просеками или точнее — полосами.

— Трактора, — сказал Юра. — Идут трактора и валят... Лес рубят — щепки летят, — вдруг грустно пошутил он.

«Щепок» становилось все больше.

В некоторых местах они образовывали сплошные завалы. И видно было, что никому и никогда не приходила в голову мысль использовать то, что свалено трактором...

Чего-чего, а всяческого дерева в Сибири много. Это понимаешь сразу, попав в Иркутск. Меня убедил в лесной сибирской мощи не вид тайги и не громадные сигарные плоты. Просто-напросто в день прилета с пяти утра до восьми я побродил по просыпающемуся Иркутску. И больше всего меня поразили загородки-заборы вокруг стройплощадок. Досок, которые привозятся на одну площадку, наверно, хватило бы на леса для Исаакиевского собора. Доски штабелями и в развале лежали повсюду, и ясно было одно — стоит такое удовольствие гроши, потому что для здешних лесопилок — это, считай, отбросы.

А теперь о самих досках. Во-первых, они вершковой

толщины. А шириной — я не преувеличиваю — до метра. Доски идут при постройке забора в два ряда, потому что края их волнистые (наверно, это и есть причина бросовости), а, как известно, забор вокруг стройплощадки должен быть непроницаемым для взглядов прохожих. Забор напоминает крепостной тын. За такой оградой можно выдержать осаду войска. Чтобы взять такую стену, нужна стенобитная машина или современный тяжелый танк... И куда ни посмотришь — доски, доски, доски... Под гусеницами доски, под колесами доски... А у здешних тяжеловозов и колеса жуют древесину не хуже гусениц...

Лес в лесу, и лес уже на стройке. А между этими двумя его состояниями — транспортировка.

Идет по Байкалу буксир. Тянет связку сигар. Сигара — это шестьсот-семьсот кубометров бревен, стянутых в одну пачку цепями. Сигар в веренице может быть восемь, может быть десять. Налетает шторм. Что такое шторм на Байкале, наверно, вы уже от кого-нибудь да слышали. Иногда вереница плотов выдерживает, чаще — нет. Сигары разваливаются, бревна раскидываются ветром и волнами. Напоминаю цифру — в одной только сигаре шестьсот кубометров! Можно ли собрать разбросанное? Можно. Сплавщики это могут сделать. Всё соберут и снова свяжут. Только одно маленькое «но». Им надо заплатить. А как же вы думали? Провести часов десять, может быть, сутки, в холоде, брызгах, в непрерывном мускульном напряжении, наконец, во многих случаях просто рискуя собой? И всё — даром? Платить, конечно, надо. И труд сплавщиков будет стоить пять, ну, десять процентов от стоимости того леса, который спасен. Не утонул и не растерялся, а спасен, приведен на лесопилку. Рентабельно? Конечно, рентабельно.

Но статьи расхода, по которой бы сплавщикам можно было заплатить за сбор бревен, разбросанных штормом, — нет. А раз нет, то и тонут бревна, засоряется Байкал, и уходят, как в песок вода, огромные, золотые, самые что ни на есть настоящие деньги... Не те бумажки, которые привычно и на привычное истратят сплавщики и которые мы просто условились считать ценностью, а настоящая и истинная ценность...

Хотелось бы еще мне разыскать среди бревен, которые плавают, плавают, а потом все-таки тонут по всему Байкалу, стволы кедров. Деревя, в Швейцарии и Тироле идущего на изготовление молочной посуды, из ко-

того у нас в старину на Урале делали сундуки и шкафы, где никогда не заводилась моль... Но уж о кедре потом, да и то, если к слову придется...

Капитан и Никитич играют в кают-компании в дурака. Счет у них то ли десять — десять, то ли пятнадцать — пятнадцать. Азарт неописуемый...

Никитич — это наш второй механик. Рост — к метру девяносто, небольшая скуластая голова, черная кепочка с пуговкой. Силища просто неприличная. Когда в книгах о войне я читал слова «на помощь подошла дивизия сибиряков», я представлял себе эту дивизию, составленную из таких людей. Фигура Никитича очень хорошо живет между деревьями, валунами, оврагами. Все словно сразу чуть оседает, становится мельче рядом с ним. Наш катер ему явно мал. Внутри катера везде приходится Никитичу или пригибать голову или поджимать ноги. Поэтому чаще всего второй механик сидит на палубе, привалившись к леерам.

У Никитича — редкий талант вызывать у людей хохот. При этом, как настоящий профессионал, сам он не смеется.

Талант Никитича вылезает наружу только в соревнованиях, только в споре. Просто так он его не расходует. И всегда предметом хохота является противник Никитича, сколь бы резонно противник ни отвечал. Выражаясь напрямик, тут искусство всегда побеждает разум. Искусство будто бы и нехитрое — очаровать слушателей, а вот, поди ты, очаруй...

— Ну, паря, — говорит Никитич капитану. — Заменжевал? Менжон, паря? — и бьет его карту.

Никто из зрителей не знает, что такое «менжон». Это слово Никитич выдумал сегодня. Завтра будет что-нибудь другое. Например, вот так:

— Ну что, паря, кичеван?

И почему-то вдруг всем сидящим в кают-компании становится ясно, что «кичеван» — это конец, непоправимый, позорный конец, в то время, как «заменжевать» — это испугаться, только испугаться не просто, а прийти в ужас, запаниковать... Никитичу смотрят в рот.

— Ходи по углу, паря! — говорит Никитич, и опять эта идиотская фраза вместе с необъяснимой, чуть заметной ленивой мимикой и вместе со всем видом его огромной скрюченной над столом фигуры взрывает сидящих рядом. И я хохочу...

— Заменжевали, Сергей Александрович? — вдруг говорит кто-то из нас, болельщиков. Все смотрят на сказавшего, как на сморозившего нелепицу. Не смешно. Слова Никитича живут произнесенные только им самим. Но еще несколько дней на катере слышатся странные слова. И каждый раз оказываются не к месту. А Никитич уже навывдумывал новых. Свое слово, сказанное хоть один раз другим, он уже не употребляет...

8

Этот день был, наверно, самый холодный за все две недели нашего пути. Дул «верховик», и северные берега Ушканьих островов, около которых мы крутились в этот день, были в белой полосе прибоя. На Большом Ушканьем стоит домик, где работает постоянная экспедиция института. Мы должны были закинуть экспедиции продукты, посылки и письма. Около домика высадиться не удалось. Мы дали ракету и пошли к южному, подветренному, берегу острова. По береговой тропинке вслед за нами двинулась фигурка человека.

Ушканьи острова — это небольшие горбушки, обросшие лесом, в основе своей, как и всё на Байкале, каменные. Живописность их и, что ли, фотогеничность — необычайны, особенно если снимать с одного острова другие, захватывая в объектив загнутые ветром сосны на ближнем плане.

На Ушканьих островах лес, слава богу, еще не рубят. Здесь немного лесу, потому что и сами островки малы. Но, глядя на то, как оголяются склоны Баргузинского залива, невольно приходит мысль, что и здесь скоро раздастся мотоциклетный треск бензиновых пил... И хочется еще раз, пока не поздно, представить себе то далекое и очень длительное время, длительное, видимо, даже геологически, когда все горы вокруг Байкала, все его острова и мысы были сплошным, голым, резко обломанным камнем, и как травам, потом кустарникам, потом деревьям было трудно, невыразимо, мучительно трудно отвоевывать у этой горной страны участок за участком, расселину за расселиной. То, что крошилось от ветра, дождей и морозов, постепенно превращаясь в щебень, песок, постепенно наполняясь остатками упавших на землю растений, — все это мгновенно — разрушаясь дерновый слой — уносилось ветрами, и труд, тысячетный труд растений погибал. Но тайга наступала на горы. Она сплеталась под землей корнями, на смену

поваленному ветром дереву уже торчали по бокам пять новых подростов, множество раз, наверно бесчисленное множество раз, тайга отступала, а потом снова — время у нее было — ползла вверх. И сейчас почти все байкальские берега — это густая красная тайга.

О байкальских ветрах я, помнится, уже немного вам говорил. Есть тут северо-западные ветры, носящие общее название «горная». А у «горной» разновидности — по тому, в каком месте берега этот ветер вас интересует. Самое лучшее для изучения место — долина Сармы в центральной части Байкала, на западном его берегу. Ветер так и называется — «сарма». В селе здесь крыши обвязываются стальной проволокой под фундамент. Слуховые окна наглухо закрыты всегда, — иначе дунет под крышу, поднимет, унесет... «Сарма» сбрасывает в воду с берега скот, я видел человека, который в затишье, когда ветер дул еле-еле, косил на склоне, а скошенную траву сразу складывал в мешок, привязанный веревкой к собственной ноге...

Что может сделать с оголившимся склоном ветер скоростью пятьдесят метров в секунду? Самое простое. Ободрать почву. Он пройдет, как напильник, как рубанок... А сколько лет понадобится лесу, чтобы вырасти здесь снова, — считать уже не нам и даже не нашим внукам. При них здесь будет голо...

Шлюпка с обитателем Большого Ушканьего острова подходила к борту. У обитателя была светлая борода и редко встречающееся отчество — Мелентьевич.

Мелентьич пообедал с нами. От него пахло ветром и лесом. Полчаса он побыл на борту, задал несколько вопросов об институте, и вот снова он уже в шлюпке и снова идет на свой остров. На обратном пути мы должны забрать от Мелентьича двух студентов. У них кончается практика. Тогда он останется совсем один...

Уже в темноте мы вошли в Чивыркуйский залив. Стало еще холоднее. Справа по ходу катера вставали черные силуэты похожих на трамплины мысов. В заливе было тихо.

Через полчаса снова вышел на палубу. Наш дизель сбавил обороты, и первым ощущением было, что мы плывем уже не по воде, а по лесу. Прямо над головой вставали черные тени деревьев. Катер мягко ткнулся и

слегка вылез носом на берег. Оборвался звук дизеля. С берега тянуло сероводородом.

— Раздевайся, — сказал мне капитан. Весь сегодняшний день он обещал мне ванну в горячем источнике.

Мы сошли на берег и через пять минут сидели по горло в плохо пахнувшей горячей воде. То есть сказать просто горячей — это ничего не сказать. Сергей Александрович советовал мне не шевелиться — тогда, по его мнению, тело покрывается мелкими пузырьками воздуха и жизнь внутри организма имеет шансы сохраниться. Относительно пузырьков воздуха — не знаю, было темно, и я ничего не видел, но что касается ожоговых волдырей, помнил я о них все время.

— Не шевелись, — еще раз прошептал Сергей Александрович.

Я замер. И действительно, стало сносно, даже приятно. Я вдруг представил себе своих ленинградских родственников и друзей.

«Где сейчас ваш Михаил?» — спрашивают у них. «Да ведь опять его унесло. На Байкал, что ли...»

И не представляют себе, ну то есть ни на два процента не представляют, где я сейчас нахожусь. А я сижу во вкопанной в землю бревенчатой коробочке, в вонючей целебной воде температурой сорок три градуса, и мне почти уже не жарко — потому что я не шевелюсь, наверно, кожа покрылась капитанскими пузырьками, и еще потому не жарко, что мокрые волосы чуть не леденеют от холода, — и тишина кругом, только шипит на голове мыльная пена и шуршит что-то в кустах, обступающих источник.

— Что это? — спрашиваю я капитана.

— Змеи...

— Как змеи?

— Да так. Змеи, и всё.

— А что же мы здесь сидим?

— А разве не хорошо? — с плохо скрытой обидой спрашивает капитан.

— Да нет, — говорю я. — Конечно... Только ведь змеи...

— А им тоже погреться надо, — миролюбиво замечает Сергей Александрович.

Мы молчим.

Покачивается в пятнадцати метрах от нас черная тень катера. Все на нем спят. Тихо стоит над нами тайга. Берег до самой воды зарос ею. Некоторые деревья стоят прямо в воде.

— Давай вылезать, — говорит капитан, — а то тут один посидел двадцать минут, а потом мы его на катер талями поднимали...

В кустах опять шуршит.

— Давайте, — говорю я.

Раз уж написал о серном источнике, надо заодно вспомнить и еще один — радоновый. Это — местечко Хакуссы, севернее Баргузинского заповедника и Томпы. Источник в Хакуссах — большой мощности. От него течет горячий, весь заросший нежной лягушачьей тинкой ручей, и по дощатому желобу, параллельно ручью, подается вода в баню. В Хакуссах расположен колхозный санаторий. Санаторий действует только летом, а уже сейчас — в начале сентября — все пустовало, все имело бесхозный, запущенный вид, и ни один человек не встретился нам ни на дивной сосновой аллее, ни на полянке, где стоят домики, ни у самого источника. Не знаю, какой температуры в Хакуссах вода, но в ручье, ближе чем метров тридцать от места выхода источника из земли, я сидеть не мог. Мы так все и разместились — каждый в зависимости от того, к каким температурам привык.

Я сидел в горячем хакусском ручье — радоновый пар поднимался над нами всеми — и старался сопоставить эту бедность, эту бесхозяйственность, этот жалкий дырявый желоб, который наверняка рухнет к весне, с тем стеклом и той сталью, из которых построен санаторий «Байкал» у истока Ангары. Перепад был разителен. Миллионы. И копейки. А Хакуссы по своим природным данным ничуть не уступают ангарскому истоку. Все, конечно, разное. Там — крутые берега, здесь — белый песок и сосновые рощи. Там — близость Иркутска, а здесь зато — редчайшей целебности горячий ключ. Там — санаторий-гостиница, с солярием, с трехэтажным рестораном, индивидуальными коттеджами; здесь — несколько избышек и деревянный дырявый желоб... Если провести от санатория «Байкал» к Хакуссам прямую — это и будет, наверно, магнитная ось байкальской показухи...

Видел кто-нибудь из вас, дорогие читатели, кинотеатр с плохим входом? Думаю, что нет. Почти обязательно коллоннада, паркетные вестибюли, бархатные занавеси... Много ли вы знаете кинотеатров, где бы и выход был приличным? Чтобы толпа после сеанса выходила не по железным лестницам со ржавыми перилами, не на черный двор с помойкой, а через паркетные вестибю-

ли? Это и есть то, о чем я говорю. У нас это почему-то называется «товар лицом».

Я сидел в горячем ручье, воде которого нет цены, и вокруг меня валялись зеленые осколки тщательно разбитых бутылок. И в следующей ямке тоже были осколки, и под желобом — тоже... Даже один человек, один сторож мог бы навести здесь порядок. Но мы такого человека не встретили.

Зато в санатории «Байкал» есть площадка для гольфа. Интересно бы посчитать: сколько людей в Советском Союзе умеет играть в эту игру? И сколько из них живет в Восточной Сибири? И какова вероятность их попадания в санаторий «Байкал»?

9

На рассвете, после того как мы с капитаном сидели в змеевом источнике, около места, где мы причалили, высадились рыбаки. Сквозь сон я слышал стук их моторки. Он несколько раз пропадал и возобновлялся снова, а я все просыпался и никак не мог проснуться. С дивана рядом по-кошачьи и, как всегда, весело спрыгнул Геннадий. Потянулся, хрустнув всеми костями, мгновенно отнес в рубку тулуп, под которым спал, скатал в трубу матрац и свалил его под крышку дивана. А через две минуты на камбузе уже сдержанно и быстро бренчала посуда. Встав, сразу мыться Геннадий считал роскошью. А вставал он в шесть.

И мне бы с ним вставать и смотреть кругом, вот сейчас — на рыбаков, что стояли с нами рядом, и на байкальские восходы, но не вставал я в шесть... Ощущая себя профессиональным тунеядцем, я поворачивался из положения, удобного для обозрения встающего Генки, в другое — из которого мне ничего, кроме спинки дивана, видно не было, — и засыпал... Цепко и тихо хватал за переборкой кастрюли и сковородки наш замечательный кок, а мы с боцманом... Мы с боцманом слишком много вскакивали в своей жизни по горнам и звонкам, чтобы не ценить их отсутствие.

И помогал еще тому характер кока. Не было в Геннадии одной весьма распространенной черты — зависти к бездельникам, вернее, к тем, кто имеет возможность бездельничать. Я думаю, что происходило это от Генкиного необыкновенно теплого отношения к своей и вообще ко всякой работе. Во-первых, он сам должен был быть постоянно занят, а во-вторых, не представлял, что

кто-то может не любить работу. Душой он этого не представлял, а глазами все время лентяев видел. И так, по моему, и не мог этой разницы осмыслить, — поэтому удобней Генке по всему его снисходительному и терпимому складу было считать, что и у нас, лентяев, есть в жизни много удовольствий, только мы их получаем в другое время. И когда мы с боцманом поворачивались на другой бок, Генка только снисходительно, какой-то почти внутренней ухмылкой улыбался и еще тише, еще кошачей передвигался между диванами кают-компаний...

Будил нас снова уже голос над самой головой. Это Сергей Александрович, делая вид, что все в кают-компаниях сидят за серебряными приборами и крахмальными салфетками, желал нам с Юрой доброго утра... Голос у Сергея Александровича был точь-в-точь как если бы мы сидели в белоснежных кителях в салоне тропического лайнера. Только на самом дне этого голоса чуть-чуть, как мелочь в кармане от дрожания ноги, позванивало презрительное бешенство... Мы с Юрой переглядывались спросонья и панически вылетали из-под одеял. А на трапе уже гремели ступеньки. Шли завтракать дамы из экспедиции.

— Штаны, штаны сначала, — приперев дверь спиной, советовал капитан Юре. В мою сторону он даже не смотрел. Весь его вид говорил: «Мне дай бог за своими уследить, а за тебя пусть ЦК комсомола отвечает...» Ощущая на себе громадную ответственность, я за доли секунды влетал в брюки...

Когда после завтрака я вышел на палубу, рыбаки тянули невод уже раз в третий или в пятый. Над бухтами Чивыркуйского залива стояла тишина. Глядя на поверхность воды, трудно было поверить, что на море сейчас свирепствует верховик. По радио нам запретили выходить из Чивыркуя. Было тихо. Только над белой грядой заснеженного хребта быстро, как в кинофильме, то светлело, то чернело небо...

Совсем близко от нас рыбаки в оранжевых прорезиненных куртках вытягивали на берег невод. Невод, по моим представлениям, был огромный. Наверное, он был метров полтора-два. Может быть, даже двести. Рыбаки вытаскивали его, накручивая тетиву на два ворота, вертикально укрепленных на берегу. По четыре человека они ходили вокруг этих вертушек. Круг земли под их

ногами был утопан. Было видно, что это обычное место ловли.

— А еще, бывает, лошадей привозят. Чтобы лошади, значит, а не люди ворот вертели, — сказал за моей спиной капитан. Я так и не понял, смеется он надо мной или нет. Судя по величине утопанных кружков, лошадям было бы не повернуться... А работа была явно лошадиной.

— Там Деникин, здесь Юденич, куда хошь — туда и денешь, — сказал Сергей Александрович. Сказав это, он всегда смотрел на собеседника с торжеством. Присказка шла в ударные моменты капитанских монологов.

Петля поплавок ползла к берегу... Видно было, что рыбаки устали. К концу и невод двигался туже. Мы с Геннадием пошли помогать.

Мы хватались за мокрую тетиву и упирались в берег ногами, рыбаки нас не благодарили, но и не гнали — они смотрели на нас почти так же, как на приближающиеся поплавки.

— Скакать начинает, однако, — сказал один из оранжевых рыбаков.

— А и поскачет-поскачет, а в мотне одни пай, — сказал другой.

А Геннадий, словно это не могло ему не доставлять наслаждения, уже стоял по колено в воде и растряхивал тетиву. Нижний край невода уже весь был на мелководье. Между пузырем сети и берегом носилась ошалелая рыба. Черные спинки металась во всех направлениях.

— Под низом, под низом смотри! — кричал тот, который говорил о скачущей через верх. — Ты не торопись, не торопись, однако грузы с песка вздымаешь...

Оказывается, это относилось ко мне. Кто-то схватил мою руку ладонью, на ощупь схожую с брезентовой рукавицей, и прижал к самой земле. Перед глазами уже совсем как в садке густо металась рыба...

Но если говорить о ловле рыбы на Байкале в каком-то чисто практическом смысле, то события, которые здесь происходят, довольно грустны. Омулевый промысел катастрофически скудеет. За последние десять лет он упал в три раза. И при существующей постановке дела не может не скудеть. По всему Байкалу получили распространение «ставники» — ставные невода — снасть, ранее на Байкале не употреблявшаяся. Доктор биоло-

гических наук Москаленко — главный специалист по рыбе в Лимнологическом институте — только руками всплескивал, когда рассказывал мне о них. Ставники с уменьшенной ячейкой губят громадное количество еще не подросшей рыбы. Выпускать на волю эту рыбу — занятие до чрезвычайности трудоемкое и утомительное, а процент все-таки гибнущей при этом молоди очень высок. А в ставные невода набивается иногда по пятидесяти — семидесяти процентов мелкой рыбы. Если нет рядом инспекторов и контролеров, то мелочь очень часто сразу идет «налево». А почему бы, собственно, и не идти? Ведь в байкальских магазинах омуля нет...

Рыбные дела на Байкале — грустные дела. Все время идет война между учеными-ихтиологами и представителями промыслового «вала». Одни думают о том, что будет через двадцать, через сто лет, другие — только о том, что есть сегодня. А кто побеждает чаще всего — мне и говорить вам не надо. Если так пойдет и дальше, скоро не станет на Байкале ни омуля, ни хариуса, как в свое время пропала хорошая рыба на Азовском море...

— Инспектора-то рыбнадзора хоть стоящие у вас? — спросил я у Бориса Константиновича Москаленко.

— Один такой есть, — ответил Борис Константинович. — Волежжанин. На Северном Байкале.

— Как? — спросил я. — Всего один? На весь-то Байкал?

— Один. На которого мы можем полностью положиться.

Ивана Леонтьевича Волежжанина я так и не видел — когда мы пришли в Нижне-Ангарск, он уехал в отпуск. Его имя еще раз мелькнуло у меня перед глазами как-то у одного из берегов. Из воды торчал шест с прибитой к нему фанерой. На фанере была надпись: «Рыбак, хочешь есть рыбку — убей Ваньку Волежжанина!»

10

Нижне-Ангарск боцман и кок называли Сингапуром.

— Вот в Сингапур придем... — говорил Юра, и на лице его, как на экране, отражались все семь смертных грехов сразу.

— Да, уж в Сингапуре-то, да... — говорил Гена и жмурился, как дикий кот.

От этих их разговоров и я почему-то стал мечтать о Нижне-Ангарске. Правда, поселок Усть-Баргузин, в речах боцмана и кока шедший под именем «Бомбей»,

обманул мои надежды, но о «Сингапуре» я продолжал думать, что это нечто из ряда вон выходящее.

Часа за три до Нижне-Ангарска Геннадий стал бриться. Это занятие он повторил дважды, потом вычистил рукавом ватника и краем одеяла ботинки, сменил майку и надел чистую штучку (боюсь сказать — колпак) на голову... Боцман тоже завозился над своим рундуком, повытаскивал из него одну за другой несколько рубашек невообразимой расцветки и мятости и воззрился на них даже с некоторым удивлением. «А точно ли это мои рубашки?» — казалось, хотел он спросить. Но рубашки были точно его, и, постояв над ними остолбенело, он выбрал сначала одну, потом две, потом бросил их обратно, криво усмехнулся, запустил руку поглубже в рундук, вытащил что-то первое попавшееся и сразу надел. Вообще Юра, по-моему, верил в одно из распространенных учений народной гигиены — будто хорошо отлежавшаяся грязная вещь снова становится чистой...

Мои одноклубники были готовы к приходу в Сингапур.

Если сказать честно, я представлял себе, что в Нижне-Ангарске есть какой-нибудь кабак или дешевый ресторанчик, где эти парни действительно получают разрядку после многих дней качки, холода, иногда довольно нудной работы. Но все оказалось не так. Не того нужно было парням. И никаких других радостей в своем Сингапуре у них тоже не бывало. Вместе со старпомом они взяли мешок для хлеба, вместе со старпомом пошли в продуктовый магазин. Купили на весь экипаж продукты. И вернулись. Даже водки не купили. Я с ожиданием смотрел на них. Вот он — их Сингапур. А дальше-то что?

А ничего. Часа через три мы отчалили и ушли из Нижне-Ангарска. Юра спокойно читал, полулежа в кают-компании. Генка весело что-то начищал за переборкой. Напевал. Они будто получили в своем Сингапуре все, что хотели.

Наверно, и получили. В этих вечных своих путях должны были и Юра и Гена видеть какую-то цель. И чтобы приход означал завершенность какого-то этапа. Трудно работать, если не видишь, для чего твоя работа... Экспедиция наша — три женщины — наполняла склянки глубоководными рачками, я старался смотреть и слушать, команда целью своей работы считала приход в конечные пункты. И Нижне-Ангарск — верхняя точка Байкала — потому и стал «Сингапуром», что

был всегда переломным пунктом в путешествиях катера на север. До него дорога шла от дома, после него — домой.

— Вот в Листвянку придем... — сказал, будто прочтя мои мысли, Юра. И Геннадий, словно за шипеньем и треском у себя на камбузе тоже сразу понял, о чем разговор, всунулся в кают-компанию и крикнул:

— Ну что, боцманюга, домой? Ну, там дадим!

Домой. И снова перед подходом к Лиственичному начнется это подбивание височков и выбор рубашек, и снова пройдет день или два, подпишет ученый секретарь Скрябин новый приказ, и «Академик Обручев» отвалит от бревенчатой стенки...

— В Бомбей? — толкнув боцмана плечом, спросит кок.

— Ну? — ответит боцман.

Трудны дороги без верстовых столбов...

Геннадий жарил грибы и заглядывал в кают-компанию, по-пиратски улыбаясь. На камбузе шипело. Оттуда понесло сначала кипящим керосином, потом мазью для сапог.

— А-а, — сказали те, кто сидел в кают-компании. — Нерпячина.

Неожиданно шипенье смолкло.

— Обжарил, — сказала кают-компания и пододвинулась к столу.

— Ну как? — спросил меня капитан. — Тут Деникин, там Юденич... Грибков на нерпичьем жиру попробуем?

И посмотрел на меня, как тогда, когда я ел омуля с душком. Один знакомый рассказывал мне, что, попав к ненцам, он заставил себя съесть сырой олений желудок с содержимым.

— Попробуем! — крикнул я, как мне показалось, воинственно.

— Что-то, вижу, вам запах не нравится... — подозрительно сказал капитан.

А на столе уже стояли грибы.

И то, что они были черные и скользкие и горячие, — все это и по виду и по запаху больше напоминало смазку, именно какую-то техническую смазку, а не гастроному.

Команде изменил ее обычный великолепный такт. Все смотрели на меня. Передо мной стояла миска. Я взял ложку и, чувствуя основаниями ушей, что шарни-

ры-челюсти поворачиваются необычайно туго, сунул ложку в рот.

И ничего. Не то что ничего, а оказалось, даже вполне сносно. Для общего удовольствия я снова полез ложкой в миску.

Капитан отвел от меня глаза, словно отстегнул поводок с ошейника. Ладно, мол, побегай пока. Кок улыбнулся своей пиратской улыбкой. Кругом заговорили.

Оказалось — все боялись, что я не пойму, как это вкусно.

Близко живую нерпу мне увидать не удалось. Когда мы шли Северным Байкалом, я часами стоял в рубке, рядом с Сергеем Александровичем или со старпомом. В сентябре нерпа держится на глубине и вдали от берега.

Постояв в рубке, я уходил вниз. У нас с капитаном было условлено: увидит нерпу — даст в кают-компанию три коротких... Но взывал бешеный морской звонок-ревун, я выскакивал из кают-компании, словно меня снова хотели кормить нерпичьим жиром, а животных все равно я так ни разу как следует и не видел. Иногда где-нибудь на границе пространства, которое поддавалось мне с помощью бинокля, я успевал заметить черную блестящую головку. Мысленно я подрисовывал ей усы, мысленно под водой видел мокрую скользкую тушу, но дальше мысленных экскурсов дело не шло.

— В ноябре приезжайте, — говорил мне капитан. — На Ушканчиках сетями ловить будем. С научными целями, — добавлял он, осторожно и даже как-то бережно глянув на меня. Это за то, что я спросил, откуда у них на катере нерпичий жир.

Мы стояли в рубке.

— А ты что это так о зверях беспокоишься? — вдруг каким-то чуть не официальным тоном спросил Сергей Александрович. Я, пожалуй, понимал, что готовится какая-то подначка, но отшучиваться мне почему-то не хотелось.

— Так уж меня приучили, — ответил я.

— Кто это тебя приучил?

— Те, кто меня воспитывал.

Я сказал это и вспомнил один случай.

Когда мне было десять лет и я проводил каникулы в деревне, кто-то из моих приятелей сказал приехавше-

му на денек дяде, моему приемному отцу, что я убиваю лягушек.

«За что же ты их убиваешь?» — спросил меня дядя, когда мы остались одни. Он был тогда еще молодой и потому очень терпеливый.

«А чего они... мокрые», — сказал я.

«Так, — произнес дядя. — Значит, по-твоему, этого достаточно».

«А чего они... прыгают», — тихо сказал я.

«Мы давно с тобой планировали, что я тебя выдеру», — вдруг как-то очень легко вспомнил дядя и посмотрел вокруг.

«Ты говорил, что у тебя все нет времени», — сказал я, протирая пальцем ноги ямку в земле.

«Обещаю тебе, — торжественно сказал дядя, — отложить самые важные дела...»

Откладывая свои дела ему не пришлось, потому что самым неожиданным для себя образом я впал в другую крайность — стал защищать лягушек, птиц, кошек... Мне хотелось сделать дяде приятное. Сначала я делал это для него...

Сергей Александрович не мог знать, о чем я думаю. Но следующие его слова вдруг попали в самую точку.

— Да, — сказал он. — Всё на клин идет. Скоро нерпы не останется. Вот лет через двадцать тебя сын спросит: при тебе еще были на Байкале тюлени? Что ты ему ответишь? Были, ответишь. А ты был уже писателем, спросит. Что ответишь?

— Проповеди читаете, а сами ухлопали нерпичину, — сказал я.

— Во-первых, всего одну за сколько лет. Во-вторых, это уже подранок был браконьерский, а в-третьих, — совесть...

Сергей Александрович вертел тихонько штурвал и был будто бы серьезен. О совести он не договорил.

— Вон! Вон! Смотри! — вдруг сказал он и показал рукой туда, где впереди по ходу катера вода соединялась с небом. Я всмотрелся, но моих ленинградских единиц в каждом глазу не хватало. Я пошарил сзади по переборке рукой, снял с гвоздя бинокль. Но так ничего и не увидел.

А Сергей Александрович медленно крутил желтого дерева, с латунными шурупами, колесо, и, как змея у бога на посылках, из-под колеса уползала и вновь вползала в гнездо блестящая, плоская и вся в обильной смазке цепь...

Как-то в начале нашего путешествия Сергей Александрович посмотрел в воду и сказал:

— Ну что делают! Ну что, черти, делают!

— А что? — спросил я.

— Вода-то. Смотрите! Это разве Байкал?

Я посмотрел на воду, в воду, напряг все свое знание о Байкале, но так ничего и не заметил.

— Цвет-то, цвет, — сказал капитан. — Прозрачность!

Мы шли Южным Байкалом, километрах в двадцати от Солзана.

Тогда в душе я был уверен, что Сергей Александрович рисуется. Днем на моих глазах мерили прозрачность. Вместо обычных сорока белый диск исчез из глаз на двадцати восьми метрах. Но ведь не на восьми же! И даже не на восемнадцати! На Ильмене прозрачность — полтора метра. Такую муть, конечно, можно заметить простым глазом. Но двадцать восемь! Нет. Признаюсь, тогда не поверил капитану. Но раскаялся в своем неверии очень скоро. Правда, это уже было проверкой остроты зрения, а не умением определить оттенки. Но на всё, наверно, один прибор...

Дня через три я стоял с Сергеем Александровичем в рубке. Смотрел вокруг, иногда открывая дверь, шелкал аппаратом.

— И чего он под берег лезет? — пробормотал капитан.

Я не ответил. Мне показалось, что это не для меня сказано. Но минут через десять Сергей Александрович произнес уже громче:

— Ну, чего там ему надо?

— Кому? — спросил я.

— Да вон там катер навстречу нам идет...

Я посмотрел по направлению руки и ничего не увидел. Взял бинокль. И тоже — ничего.

— А что, у него вторую мачту поставили? — как бы издеваясь надо мной, спросил капитан. Минут через пять в бинокль я все-таки различал почти сросшуюся с берегом медленно движущуюся точку. Через двадцать минут мимо нас прошел серенький, как степная мышка, катер с двумя маленькими мачтами...

«Обручев» шел на север. Мы подходили к главным местам весенних лежбищ нерпы — Ушканьим островам.

Нерпа — это небольшой серо-зеленоватый или серебристый тюлень. Морда у него очень смешная — с круг-

лыми черными глазами. Питается он в основном мелкой глубоководной рыбкой — голомянкой, — рыбкой весьма витаминной, но почти неуловимой для человека. Промысловую рыбу нерпа не трогает, разве что какая-нибудь капризная нерпичья дама из прихоти погонится за омулем, да и то чаще всего тому виной рыбы провокации — омуль оказывается пораненным сетью, а хариус и вообще больной и потому удрать не может... Сейчас нерпы на Байкале тысяч тридцать пять или сорок.

Сорок тысяч тюленей и один человек. Надеюсь, Владимир Дмитриевич Пастухов не обидится за такое объединение. Потому что цели у него и у нерпы одинаковые — рациональный промысел. Во всяком случае, нерпа ни разу не протестовала против разумной добычи, а с тех пор, как ее стали бить, только завидев, на поверхность она норовит не показываться... Этим летом была очень смешная история.

Байкалрыбвод (это такая контора, которая захочет — всю рыбу в Байкале переловит, захочет — перебьет всю нерпу), так вот, Байкалрыбвод, несмотря на четко написанные Министерством рыбного хозяйства инструкции — где, когда, чем и сколько бить нерпы, вдруг, уже к концу весеннего промысла, спрашивает радиограммой у Главрыбвода (а это — такая контора, которая, если захочет... Но уж не дай нам бог до того дожить), так вот, с Байкала спрашивают: «Можно еще побить нерпы?» Главрыбвод подумал-подумал и отвечает: «Сочли возможным».

И — началось... Уже не на саях охотники, на саях ведь трудней подобраться, а на лодках, да взрослых зверей, которых обычно принято беречь... И пошло... И пошло...

Лимнологический институт в панике шлет Байкалрыбводу письмо. Как так? Почему? Кто разрешил? Молчание. Лимнологический институт опять: за что? Кто командовал? Ответ такой: мы вам не подчинены, вы нам не указчики, а кроме того, не собирайте сплетен (дословно: «пользуйтесь объективной информацией»). А нерпу бьют... Только грохот стоит на Северном Байкале.

Институт опять шлет в Байкалрыбвод письмо. На сей раз получает ответ. И даже несколько смущенный. Вот он дословно:

«...После возражений по отстрелу взрослой нерпы, о чем, очевидно, стало известно Главрыбводу, было уточнено, на каком основании разрешен отстрел. Оказалось, что вместо слов «сочли возможным» Главрыбвод сооб-

шил Байкалрыбвodu, что по вине радиобюро из текста радиограммы выпала отрицательная частица «не» и в результате был допущен незаконный промысел взрослой нерпы»...

Байкалу эта чехарда с отрицательными частицами стоила 368 взрослых тюленей. Подранков, ушедших под лед, сосчитать не удалось. Сотрудники института считают, что цифра занижена раза в два. Правда, смешная история?

Тексты писем и параграфы инструкций, надеясь использовать их в статье, я и переписывал в кабинете Пастухова, где его тихие помощники на маленьком стапеле строили скелетик байкальского тюлененка.

II

Все очень быстро закрытилось от Нижне-Ангarsка. До него мы шли почти десять дней, подолгу отстаиваясь в бухтах и заливах, уходя от непогоды за мысы, а сейчас, сделав все замеры, мы шли и в темноте, и утром, — еще не начинало светать, а наш дизель уже молотил, молотил, молотил...

Сделали небольшую остановку только на Ушканьих островах. На этот раз прибоя со стороны домика не было. В ответ на нашу ракету из домика выскочили люди.

Через час наш дизель загрохотал снова. Мы снялись с якоря и пошли на юго-запад.

Все было подвластно одному настроению — домой!

В бухте Песчаной взяли с турбазы письма, — письма тоже идут домой... Отошли от Песчанки — ручной орел на пне повернул нам вслед похожую на наган вороненую голову. До Лиственичного три часа ходу.

И ощущение стыда приходит ко мне. Я, оказывается, тоже начинаю торопиться. Побыл на Байкале двадцать дней и вот уже тороплюсь — в Ленинград, в Ленинград...

А ведь мечтал. Много лет подряд мечтал о Байкале, а теперь так легко с ним расстаюсь. Ну что же. Мои записные книжки едут со мной в Ленинград. И меня заражают эти всеобщие сборы, эта подготовка.

Команда приходит домой.

Мотя приходит домой.

Студенты едут в свои города.

Я тоже хочу домой.

Собираю рюкзак, а мимо идут последние байкальские берега. Я их видел уже, и некоторые из них неод-

нократно. Это когда шалила погода и не удавалось с первого раза сделать «разрез».

Команда стоит наверху. И я с ними стою наверху. Вот сейчас за вторым мысом откроется Листвянка.

Пора прощаться. Двенадцать дней ел, пил и смеялся вместе с этими людьми, а теперь — ладонь в ладонь, и адью... И как будто бы нет уже у меня к ним никаких дел. Час назад были, а сейчас уже нет... Мы ранним своей черствостью людей. И я, наверно, тоже раню...

С какими-то попутчиками нанимаю такси у причала. Перед институтом выскакиваю, несусь к Жерару, но Жерар в экспедиции, и я отдаю спальный мешок его жене. Мне мучительно стыдно за эту гонку, за торопливое, вежливое хамство, которым полон мой приход, а снизу уже ревет сигналом такси. Вспоминаю, что уже на два дня просрочил командировку (будто кому-то это не все равно), и бегу к машине.

Такси летит наперегонки с теплоходом на воздушных крыльях. На повороте к Ангаре «ракета» отстает.

Солнце. Мелькающие тени. Противоположный берег Ангары черен и круто валится в воду. Шоссе взлетает и падает. Тени...

Меньше чем через час я в Иркутском аэропорту.

Полтора часа до самолета на Ленинград.

Какой-то человек в синем кителе и серой фуражке все ходит по залу ожидания и кричит:

— Зина! Почему вас нет на месте? Где я вас должен ходить?

А потом — самолет. Час, и два, и три... Не спится. Роюсь по карманам и вынимаю записную книжку. Две недели назад в музее института списал из книги отзывов одну симпатичную штучку. С удовольствием после двух тысяч километров по Байкалу ее перечитываю:

«26 июня. 1966 года. 10. 45.

Нет сил, но все-таки я доползла до тебя, могучее Байкальское чудо!!! Нет конца и края моим восторгам. Спасибо великим людям, открывшим Листвянку и обосновавшим прекрасный уголок природы — Лимнологический институт. От души благодарна славным дочерям моей огромной Родины — экскурсоводам. Огромное, большущее спасибо!!! Студентка — выпускница Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени академика Губкина». (Подпись).

И вдруг замечаю, что скопления восклицательных знаков перестают меня смешить. Напротив, я, пожалуй, теперь и сам бы что-нибудь такое написал...

А самолет... летит.

Через три часа, накренившись, заходим над Ленинградом. В темном иллюминаторе до самого горизонта качаются огни. Город, в котором я прожил всю сознательную жизнь, уже берет меня, обнимает и бросает в свой ритм...

На строительных площадках Селенги хрипят самосвалы. Радостные прорабы закрывают в конце недели графики. План идет с переработкой. Рабочие и инженеры получают премии. Грандиозность стройки не может не впечатлять...

Но многое, слишком многое уже было в газетах.

И в каждом, кто участвует в строительстве, если этот человек думает о том, как он будет смотреть в глаза своим детям, копошится одна мысль: правы ли? Можем ли? Можно заставить себя не думать. Может быть, и правы... И кто-то наверху знает лучше нас. Больше нас. Всестороннее.

Кто-то более компетентен...

Так может сказать себе любой рабочий, любой простой инженер.

И режут на Селенге бульдозеры, плещется в кузовах цемент, с мягким треском валятся кедры...

Я не был на строительстве комбинатов. Я не разговаривал со строителями. Но я видел другую сторону байкальских дел, видел тех, для кого незамутненность Байкала, его первобытная красота — это жизнь, радость и смысл труда.

Байкальцев трясло, когда они рассказывали мне о своих делах.

И меня трясло тоже. Потому что я видел непритворное горе.

Бывают дни, когда я не вспоминаю байкальцев. Но вот вижу на улице кепи нерпичьего меха — одно ухо желтое, другое зеленое — или грузовик картонных коробок, и вспоминаются мне маленький катер, каюткомпания и грохот дизеля за переборкой.

А Байкал уже, наверно, покрылся льдом, оставшиеся в живых тюлени подплывают дышать к пропаринам, а по склонам гор опавшая хвоя лиственниц лежит на снегу, как солнечные пятна...

— Папа, при тебе еще были в Байкале тюлени?

1967 г.



Начкон

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Ни воздух предгорий, ни рецепты столетних горцев, ни весеннее пополнение табуна — уже ничто не возвращало легкости.

Все труднее было влезать в седло — рослого араба начкон давно заменил на кабардинского маштачка, — все изнурительнее мотаться целыми днями между конюшнями и ипподромом, и все труднее скрывать это изнурение.

Начкон Николай Федорович Лаховский стремительно старел.

Старость подбиралась, как вода в половодье. В этом постепенном затоплении, казалось, не было ничего ужасного, если неотступно за ним следить, — как не страшно смотреть на все постепенное.

Но старый начкон ощущал ее броски. Потому что он вспоминал о старости изредка. Старость делала перебежку и снова залегала, как только начкон обращал на нее внимание. Затаившись и выждав, она вновь бросалась вперед. Было три рубежа обороны — суставы, бессонница и сердце. И на всех трех начкон сдавал позиции.

Начкон не гнулся, не горбатился, а усыхал. Всем казалось, что он с трудом дотягивает до пенсии, — это было естественным, многие на нашем заводе тогда жалели старика, но вот Лаховскому стукнуло шестьдесят, а на пенсию он не вышел.

Стоял весенний вечер.

На сером боку горы полыхал большой красный костер. Днем оттуда доносился визг сирен и взрывы — иногда глухие, как удар в лошадиный бок, идущие из самой глубины плоской древней складки, иногда звонкие, шрапнельные, заволакивающие кольцевыми облаками весь туфовый карьер.

Костер в карьере жгли каждый вечер, но сегодня он выглядел куском закатного солнца, — в седловине между двумя соседними горами задержался точно такой же красный свет.

Старый начкон сидел у окна. Лицо его в красном пологом свете казалось выложенным кирпичной мозаикой. Он читал письмо.

«...Держись, старик. Держись. Осталось меньше полутора лет. Дотягивай...»

Старый начкон не мог понять, как пишутся такие письма. Ласки ему, наверно, было не нужно, но слишком уж все упрощалось: «Держись, старик. Дотягивай!»

«Дотягивай». Это было грубо, хотя по существу и верно. Это означало, что Николай Федорович уже ни на что не годится. Старый начкон зажмурился и наклонил голову. «Дотягивай», — подумал он.

Завод разрастался. Собственно, он даже уже перестал быть просто конным заводом. Он превратился в огромный совхоз с сотнями тысяч гусей и громадными свинарниками. Но название «конный завод» еще оставалось. И пока прежним оставалось название, начкон считался первым человеком на заводе после директора. Правда, чем дальше, тем больше это было формальностью.

Начкон снова стал читать письмо. Письмо было от Сергея Булатова, приемного сына начкона.

У входной двери зашаркали шаги. Лежащий в углу черный доberman легко вскочил с подстилки. В дверях без стука появился человек.

— А, Эренцин, — сказал начкон. — Прошу вас, входите, пожалуйста!

Человечек был так кривоног, что полы длинного ватника кринолином расходились в стороны. Лицо ромбиком добавляло его фигурке сходство с плоскогубцами.

— Гюн¹, — сказал человек. — Гюн Баллада.

— Что с ней, Эренцин?

Человечек молчал.

— Заболела?

Эренцин не ответил ни слова.

— На живот смотрит? Ложится? — продолжал допытываться начкон.

— Да, — вдруг по-русски произнес Эренцин. — Да, животы мало смотрит.

— Пойдем, — сказал начкон. Он встал, стараясь, чтобы его вздох не был слышен, — до нижней конюшни было около километра под гору. А потом надо будет возвращаться.

Доberman тенью бросился к двери.

¹ Гюн — кобыла (калл.).

Закатный костер совсем потух. Седловина еще была четко видна на фоне желтого отблеска, а ближе к вершинам очертания гор скрывались в темном небе.

По вечерам у нас на заводе конюхи и их жены собирались у бывшей конюшни, оборудованной под клуб. И сейчас у мазаной длинной стены сидело несколько человек. Ждали картину. Киномеханик все не ехал.

После ветреного весеннего дня, с утра наполненного привычными, как собственные шаги, делами — кормления, пробы, обмеры, — после всего этого было приятно посидеть, болтая, и способствовал тому вечер, тихий, с запахами, ароматами, благоуханием поздней кавказской весны. Голые, но вот-вот ожидающие зелени, стояли кругом серые кусты акаций, белели в сумерках приземистые абрикосы, в долине тонкими вереницами огней мигали электрички.

— Кислые вы все у нас, — грудным упругим голосом сказала одна из сидевших в темноте женщин. — Вам что осень, что весна, рылом в сено сунуться да храпеть. Мерины все.

— Что, Анька, и твой тоже?

— О моем я знаю, — отрезала Анька.

Помолчали.

— Опять вниз побег, в конюшни, — сказал конюх, который крайним сидел на завалинке.

— Кто? — спросил второй. — Я так понимаю: отработал — и свое право имею...

— Да помолчи ты, — сказала Анька. — Право он имеет... Кто побег-то?

— Известно кто. Кобылья душа. Кто, кроме него, сейчас побежит.

— А я говорю — имею право! — крикнул конюх. — А вы все — суки...

— Досучишься, смотри.

— На работу, значит, — вдруг сразу смирившись, кротко сказал тот. — Утро с ночью, значит, перепутал.

— Мерин он просто, как и вы все, — лениво перебила Анька. — Кому такой мужик нужен? Молиться пора, а часу дома не просидит. Нужен он кому!

— А вот у нас было, — сказала другая баба. Она сидела в штанах и ватнике и до сих пор не говорила. — Вот у нас было. Зашел раз за конюшню, а там вся бригада спит. Думали, он на совещание пошел. Сам перепугался. Нет чтоб к ногтю всех, да всем грабли в руки, да в приказ по заводу. Стоит, будто и не начкон, а мыло какое. Портсигар вынул, а у самого кось об кось

стучит, до чего в страх вошел... Стоял-стоял, да и говорит: «Устали, товарищи? Закуривайте!» Соловков наш — не язык у него, а чесало — «Садитесь, — говорит, — вместе закурим!» Было б это раньше, при Булатове, — тот ему такого «закурим» дал бы — республиканская больница не взяла бы... А этот... Постоял, покачался, да и ушел. Шея только пятнами пошла. Сопли у него, должно, сладкие.

Снова замолчали. Из дальнего конца конюшни-клуба доносилась беспомощно-трогательная простенькая мелодия. Играли балалайки, бубны и гармонь.

— Тюль импортную сегодня в кооперативе давали, — сказала Анька.

— Сколько взяла?

— Все мои, — сказала Анька и щелкнула семечком.

— А я говорю, не тронет его директор! — Это снова зашумел конюх. — Я говорю, не тронет. А вы все — с-суки! — Он хотел стукнуть кулаком по колену, но промазал и чуть не свалился с завалинки.

— Двенадцать метров взяла, — сказала Анька, смилостивившись над слушателями. — Последний кусок.

— Ох уж и не ври, что двенадцать!

— Н-не тронет, я говорю! Хоть сколько ни присылай... Молодых-то. Списки у него. — Конюх опять завладел общим вниманием и, качаясь, стал загигать в темноте пальцы. — Родословные, мать их, у него, бумага вся по переездам — у него... Его директор из-за того и бонтя. Мол, уйду, и все под уход спорчу! Не хотите меня, ну и я вам!

Все молчали. Это была дичь, и сам говоривший, наверное, только сейчас ее выдумал. Конюхи, тренеры и бригадиры сами вели учет и записные книжки, да они, эти люди, искушенные десятилетиями привычной работы, и не нуждались ни в каких записях, — особенно не разбираясь в тонкостях коневодства, они прекрасно держали в памяти сотни имен и десятки цифр. Но спорить никто не стал. Надо было найти объяснение тому, что суетливый, вежливый начкон не уходит с завода.

— Злопамятный он, — сказала баба в ватнике. — Ух и злопамятный. У моего Алексея на дневальстве в прошлом году жеребцы погрызлись прямо перед комиссией какой-то... Встречает меня через два дня. Как бы-то ничего и не было. Здрассьте, поклонился даже, как всем бабам кланяется. Ладно, думаю, значит, все на Лешке отквитает... Так поверите, до сих пор еще в страхе держит, ждем всё...

— Это он умеет, — отвечая на свои мысли, перебила ее Анька. — Прохожу в калитку с ведрами, а он — на встречу в гору пыхтит. Подбежал, калитку держит. Запыхался. В глаза заглядывает: «Что, тяжело, Анна Платонна? Простите, донести не могу, очень тороплюсь, случилось там чего-то...» Тьфу, думаю, кобель... Своему-то рассказала. А мой говорит: это ж кобылья душа — он, говорит, ничего в виду иметь не может... А я-то видела... Чего бы он просто так побег к калитке?

— Картину везут!

— Где?

— А эвон фары высверкивают...

— Опять, верно, «Чапаева» везет. Четвертый раз за год будет...

— Не. Он английский обещал. Друга в прокате завел. Теперь, говорит, все время буду новые возить. Соберите, говорит, на полбанки, я вам самую «Великолепную семерку» достану...

— А что, там кони хорошие...

— Видела я, что с мужиками после этой «семерки» делается: выходят с картины — срам один, — кто в ватнике, кто в чем, начинают задом вертеть. Плечи так неподвижно делает, воображает, будто он там в картине, перед тылыми бабами...

Грузовик, подъехав, остановился.

— Гена, что привез?

— «Волгу-Волгу».

— Что ж, не встретил знакомого?

— А чего, плохая картина? Сто минут смеху!

Начкон и конюх шли вниз, а с завалинок одноэтажных домиков доносился до них тихий говор, который сразу же гас в кустах. Тусклыми цепочками светились внизу маленькие окна конюшен. Впереди по дороге черным зигзагом носился доberman.

— Вы знаете, Эренцин, вечер в предгорьях — это все-таки не время суток... Это особое состояние воздуха...

То ли Эренцин не понял, то ли не расслышал. Он только на ходу снял малюсенькую кепочку, отчего обнажилась седеющая, остроконечная, неделю назад бритая макушка, и снова, покрутив кепочку, натянул ее на место.

— Ладога хо-корюкнин уга¹, — сказал он.

¹ Ладоги золотисто-бурой нет (калм.).

«Новое дело, — подумал начкон. — Чуть недосмотрел, и оставили кобылу в ипподромной конюшне на ночь».

— Кто ее должен был привести, Эренцин? — спросил он.

Эренцин опять не ответил. Было похоже, что мысли у него возникают не в ответ на что-то, а независимо собираются в капли, которые время от времени падают сами по себе.

«В конюшне все выясню», — подумал начкон. А Эренцину сказал:

— Нет, смотрите все-таки, какой вечер. Воздух будто налит между кустами — не шелохнется, не дрогнет...

Кривоногий человечек без выражения глянул по направлению руки Лаховского и сразу же споткнулся о камень.

Практичная сельская жизнь не выносит сантиментов. Но Николай Федорович этого не понимал, и это доставляло ему постоянные неприятности и в то же время от многого спасало. Не получив ответа от Эренцина, Лаховский ничуть не обиделся, ему только стало немного неудобно, что он так настырно вызывает на разговор человека, которому вовсе не хочется разговаривать, но это совсем не означало, что, когда начкона поразят огни, или запахи, или тихое шипение высоковольтных проводов, он снова не обратится к мнению Эренцина.

А сейчас он вспоминал о письме.

Приемный сын писал, что скоро приедет на практику.

Еще лет пятнадцать назад Николай Федорович стал искать себе замену.

Завод только-только оправлялся после войны. С других заводов прибывали на наш элитные ахалтекинцы: нынешний чемпион породы буланый Барьер, огненный Факир-Пельван, рыжая Алл-Киик, родители знаменитого Ангара гнедой Арей и вороная Гитара — те лошади, второе и третье поколения которых брали сейчас призы на конкúрах и скачках.

И уже тогда Лаховский понял, что хлопотное, выматывающее душу и тело место начкона ему не по плечу.

Было образование.

Была любовь, почти страсть к лошадям.

Но сделать свою работу и работу подчиненных ему людей радостной, единственной Лаховский не мог.

Он жил один в двух высоких, ободренных комнатах кирпичной старой постройки, просыпался, если вообще

удавалось заснуть, раньше конюхов и лежал думая. Мысли его были безрадостны: он представлял себе потерянный в предгорьях совхоз — гуси, кони и коровы. Лаховский видел все это как бы со стороны, и видел себя — больного старика, мечущегося среди конюшен... Старик вот-вот свалится. Никому не надо ни его работы, ни лошадей.

Лошади не нужны — их во всем и везде заменили машины, только тотализаторы еще кое-где собирают азартные толпы да получает призы за границей майор Филатов на Абсенте. И конное дело больше никому не нужно. Все было ничего, пока не приходила эта мысль. Его дело никому не нужно...

Начкон вскакивал, надевал начавшую уже сесть после порывления кубанку, и лица его, осевшего, сжавшегося от болезней и какой-то настойчивой, непроходящей, протяжной мысли, из-под шапки почти не было видно. Он вскакивал, глядел в черное окно — «что ему спать-то, ишь, как черт, черной да сухой», — говорили жены конюхов, — и, если дул с Эльбруса ледяной ветер, катящий под гору мерзлый лошадиный навоз, начкон заматывал под воротником плаща старый пятнистый башлык, и таким пугалом, согнувшись, при каждом шаге запахивая летящий в стороны плащ, ковылял к конюшням и, разбудив дневальных, затыкал вместе с ними соломой дыры в дверях и оконцах...

В денниках стояли отборные текинцы и арабы — завод четвертый год подряд брал первые призы на больших скачках.

А потом приходила почта. Она приходила на следующий день или несколькими днями позже, но приходила всегда и приносила циркуляры управления.

Там, в управлении, никто не думал, каково старому начкону.

И это безразличие, казенная уверенность в том, что Лаховский только и ждет приказов, действовали на самого начкона оживляюще.

Таких-то лошадей принимать на станции, приказывали телеграммы.

Таких-то отгружать за границу.

Таких-то отправлять туда-то на соревнования.

Начкон оживал и мчался на станцию принимать «таких-то». Они прибывали, запущенные или ухоженные, но самые настоящие, прибывали, проехав иногда тысячи километров, и Николай Федорович, представляя себе мысленно — и там есть конзавод, и там, и вон там, —

вдруг снова начинал верить, что их много, этих людей, для которых, так же как для него, общение с лошадыю необходимо, как с близким человеку существом, как с произведением искусства, которое нужно, необходимо сохранить...

А потом мысли начкона уходили в прошлое: ему вспоминались скачки и бега времен его молодости — летящая за рысками тяжелая низкая пыль, распряленные в качалках наездники, звон бегового колокола и привставшие судьи... И воздух, ах, какой воздух бывал тогда на ипподроме, и какая трава... И флаги, блеклые от солнца и дождей, ветром съеденные до самых древков, и рокот, мягкий матерчатый рокот флагов и тенгов по всему ипподрому...

Четыре года назад его, Лахёвского, ахалтекинцы впервые стали брать призы.

И в этот день, как тридцать и сорок лет назад, ипподром был забит до отказа. С утра стояло тридцать градусов, и все трибуны были полны задыхающимися от жары людьми. Уже прошли первые скачки, когда со стороны гор заложило небо, по радио: «Граждане, не волнуйтесь, скачки состоятся при любой погоде...», — тотализатор продолжал принимать ставки, и за какнито полчала спала жара, и ветер рывком поднял с бороненной полосы легкую землю, и у жокея на первой дорожке загнуло козырек оранжевого картуза, и сорвало картуз с головы, и понесло его к центру зеленого поля. И еще не успели объявить результаты скачек, как рокотом пошла железная крыша над трибунами и сразу же над судейской коллегией, где сидел начкон, тоже затрещало, град запрыгал перед глазами, и за какую-нибудь минуту ипподром стал белым, как солончак. Град отскакивал от опустевших скамеек у барьера и от крыш. «Лошадей, потных лошадей уберите!» — перекрикивая град, орало радио, и Николай Федорович, подбежав к боковому стеклу судейской трибуны, увидел, что жокеи и конмальчики в прилипших к телу шелковых камзолах бегут с лошадьми под навес. И даже тут, сверху, сквозь пелену сплошного града, начкон, увидев двух рысящих рядом жеребцов, в движениях левого из них — плавных, скользящих, без раскачивания корпусом — узнал своего текинца...

— Скачку!! Скачку!! — ревел ипподром, и кассы тотализатора по-прежнему работали. Директор ипподрома прибежал в судейскую коллегию, требуя продолже-

ния скачек. Но судьи с ним даже не стали спорить, и радио сказало: «Повыбывает лошадям глаза».

А внизу, под деревянной башенкой, где сидели судьи, еще бежали рысью, спасаясь от града, последние лошади, которых выводили после скачки за трибунами. И опять Николай Федорович увидел текинца, только уже другого и теперь сбоку, в каждый отдельный момент напминающего пойнтера в стойке.

Когда град прошел, Николай Федорович спустился вниз, — он знал, что для его текинца эта скачка будет самой трудной: на раскисшей от града дорожке арабы и чистокровные будут иметь преимущество.

А внизу уже снова былолюдно, и конмальчики выводили лошадей, и стояли жокеи в ярких камзолах и белых бриджах, заляпанных грязью, и среди них один — без пятнышка грязи на желтом камзоле — коричневый, сухой, как можжевельовый корень, жокей нашего завода мастер Савуев, во всех скачках пришедший первым. Николай Федорович подошел к нему, но Савуев даже не повернул головы и только медленно оскалился волчьей улыбкой, потянувшей длинные скулы. А потом Савуева подкинули в седло, он взял высоко подтянутое стремя, колени в белых бриджах встали над передней лукой, и, прилипнув сухим задом к легкому седлу, повел текинца на старт... Вокруг ипподрома белели покрытые градом взгорья.

А потом был звон колокола и сначала маленькие фигурки, идущие все вместе на дальней стороне ипподрома, на фоне пирамидальных тополей, и вот уже желтый камзол, желтый, желтый... «Вв-а!! Вв-а!!!» — рев трибун, комья мокрой земли летят назад и вверх из-под копыт, и вслед за Савуевым идет на англо-кабардинце лиловый жокей, из-под которого уехало к крупу жеребца седло.

Лиловый сразу отстал от Савуева, но шел еще впереди всех остальных и лежал на скользкой лошадиной спине, и после финиша он заорал по-горски на конмальчика, затягивающего перед скачкой подпругу, и наотмашь сухой рукой хлестнул его по лицу.

На трибунах бурлила толпа. После объявления одианрных и двойных результатов люди кидались к кассам.

Тотализатор.

Безыменные тысячи. Вzbесившиеся трибуны.

Шальное, слепое счастье. Глаза. Руки. Пальцы.

Не было бы тотализатора — не болталась бы всякая

нечисть вокруг конюшен. А сколько этого народа крутится около тренингового поля, когда после зимы выводят однолеток...

Гораздо больше Лаховский любил конкúры — соревнования с препятствиями. На них собирались те, кто действительно любил конный спорт.

Старый начкон вспомнил, как несколько лет назад, еще тогда, когда Сергей жил с ним на заводе, он взял его на большие соревнования в Москву. «Письмо! — подумал начкон. — Я же его еще не дочитал». Он хлопнул себя по карману. Письмо было здесь, но было темно, и они с Эренцином уже подходили к нижней конюшне. Доберман жался к ногам начкона.

Нижняя конюшня была памятна Николаю Федоровичу. Тридцать четыре года назад он впервые увидел здесь по-настоящему начкона Булатова.

Они вошли тогда в эту конюшню — начкон Булатов и щуплый практикант Коля Лаховский — и услышали какую-то возню в дальнем деннике. Вскрапывала, шарахалась лошадь, глухо доносились удары.

Булатов побежал между денниками.

— Падаль паршивая! — не видя начкона, ругался конюх. И снова глухо ударил сапогом.

Булатов, а за ним Лаховский ворвались в денник.

Примотанная уздой под самые ноздри, жалась в угол караковая кобыла.

— Так, — сказал Булатов. — Ну давай еще!

— Ногу мне, сволота, отдала, — задыхаясь, как после бега, сказал конюх.

— Ногу, значит! А ну, дыхни!

Конюх опустил лицо и исподлобья глядел на начкона.

— Жеребую кобылу! В брюхо сапогом!

И вдруг конюх уже оказался у Булатова на плече, голова и руки внизу, где-то на уровне колен: Булатов понес конюха к выходу. Конюх хрипло кричал и крутил ногами в воздухе. Лицо его стало багровым.

Не говоря ни слова, Булатов вышел на варок, к деревянной громадной бочке, вкопанной в землю у выхода из конюшни. В бочке ровно и черно стояла вода. Конюх на плече Булатова забился и замолотил коленями в спину начкона.

— Воду пачкать, — сказал Булатов. — Потом бочку не отмоешь...

Лаховский шел позади начкона. Видел его ошетинившуюся макушку. На уровне лица мелькали подошвы коноуха.

Несколько человек работало перед конюшней. Они побросали грабли и метлы и смотрели на Булатова. Коноух на плече начкона крутил ногами. Булатов донес его до кучи навоза и бросил лицом вниз, в мягкую зеленоватую кашу.

Перед конюшней бушевало солнце. Тридцать лет не стерли о нем память. Оно было особенно ярким и горячим в тот день. Николай Лаховский был студентом Тимирязевской академии.

— Где ваша больная? — спросил Николай Федорович у Эренцина. Начкон, наверно, был единственным знакомым старого калмыка, который обращался к нему, Эренцину, на «вы». Эренцин открыл денник. В загородке лежала бурая кобыла. При виде людей она даже не пошевелилась. Около нее, набычив голову и пригибаясь всем корпусом назад, на негнущихся ножках стоял темный горбоносый жеребенок.

Ух ты, горбоносик, усмехнулся про себя Лаховский. Жаль, Сережки нет, я бы над ним посмеялся.

По аравийской примете, которую Николаю Федоровичу сообщил младший Булатов, горб на носу лошади означал для всадника «открытую могилу».

Второй такой за весну, все еще улыбаясь, подумал начкон. Надо же, ведь совсем недавно было время, когда Сергей верил всей этой чепухе... Приметам этим. А сейчас? Сейчас во что он верит? И вдруг Лаховскому стало ясно, что он не знает, во что верит приемный сын.

«А-а, черт, — подумал он. — Отвяжись все! Работать надо».

— Ну что, дорогая, что, хорошая? — стал приговаривать он. Кобыла дернула ногами, хотела встать, но раздумала. Каждые несколько секунд она поворачивала голову и смотрела себе на живот, будто недоумевая, что же с ней происходит. Начкон сидел около Баллады, похлопывая ее по крупу. Кобыла подтягивала живот и смотрела на него.

— Выведите ее из денника, — попросил начкон.

— А хо-хе, Баллада, выходи, пошла! — негромко крикнул Эренцин. Кобыла, зарыв ноги в солому и задев боками доски, нехотя встала.

Уже много лет Николай Федорович сам ставил диагнозы. И легкие случаи лечил сам. Он вспоминал своего отца-ветеринара. В детстве Коля часто ему помогал. Двенадцати лет зашил собаке дыру в боку от коровьего рога. Это была его первая операция. Потом бывали и посложнее.

— Принесите термометр, — сказал он Эренцину. Понурая кобыла неподвижно стояла в проходе между денниками.

Начкон не приказывал, а просил. И Эренцин не побежал, а потрусил вперевалку, неторопливым шагом ночного дневального, которому некуда торопиться.

А у Булатова они бегали. И Николай Федорович опять, уже в который раз, это вспомнил...

Около начкона Булатова всегда крутились мальчишки. Они, как тени, ходили за начконом. Носили ему уздечку, седлали Канву, любимую кобылу.

— Мои телохранители, — смеялся Булатов. — Мои черкесы.

— Если любишь то дело, которым занят, — сказал он как-то, — его надо передавать.

И организовал на заводе школу верховой езды.

Сначала были лекции, точнее, даже не лекции, а рассказы. Лишь иногда Булатов брал в руки книгу или тетрадь и читал несколько фраз.

— «Наилучший уход за копытом заключается в том, чтобы как можно дольше его не ковать...» — Булатов стоял у доски — черные глаза, торчащие на затылке волосы, пропыленные брезентовые сапоги... В открытое окно было слышно, как, обмахиваясь, шуршит хвостом Канва.

Потом был рассказ о подковах, — Лаховский до сих пор помнил форму кожаного лошадиного башмака у скифов, тяжелые подковы кондотьерской конницы, каучуковые американские буферы...

Оборудованная под клуб конюшня была забита до отказа.

Люди, которые теперь бы смеялись над Лаховским, попытайся он устроить что-нибудь подобное, стояли и робко, с уважением слушали Булатова.

— В заключение занятия я прочту вам несколько слов, значительность которых мне хотелось бы подчеркнуть... — Булатов окинул глазами зал. — «Тренеру необходимо иметь истинно человеческое доброжелательство

и большую наблюдательность, чтобы уметь приспособиться к индивидуальности всякой лошади, а эти качества не могут быть приобретены чтением. Их дает только неподдельная любовь к лошадям и практика как результат многолетнего опыта».

Зал сидел тихо. На конзаводе еще не было водопровода. Не на всех лошадей хватало уздечек. Начкон, которого час назад видели злым, матерящимся, на пляшущей свирепой кобыле, начкон, от голоса которого робели седые табунщики и прядали ушами нервные кони, читал вслух книгу с золотым обрезом...

Сидели против Булатова черноголовые и белобрывые мальчишки, сидели дремучие табунщики, писал что-то в тетрадке бывший директор конзавода...

В следующий раз о Булатове Лаховский услышал через шесть лет. В Ростов, где он работал, иногда доходили кисловодские газеты. Одна из мелких заметок второй страницы январского номера называлась: «Вредитель отравлял лошадей».

Лаховский попал на наш конный завод в сорок четвертом году, после ранения. Северный Кавказ был только что очищен от немцев.

Иногда, в это самое первое время на заводе, Николай Федорович сталкивался с чем-то, имевшим отношение к Булатову. Например, утром первого дня все конюхи и бригадиры, работавшие при Булатове, собрались к восьми утра у центральной конюшни. Их оставалось уже немного. По лицам было видно, что собираются они впервые за долгое время. Испытующе и с надеждой смотрели они на нового начкона.

— Зачем вы собрались? — спросил Лаховский.

— Булатовское, — ответили ему.

Оказалось, что Булатов каждому давал утром задание. Лаховский растерялся, а когда через несколько месяцев вошел в курс дел — было уже поздно. Никакими силами он не мог добиться того, что само собой случилось в первый день, когда еще не было понятно, что такое новый начкон.

Утром у центральной конюшни Лаховского ждала оседланная, взнузданная лошадь. «Для вас», — сказали ему.

Несколько дней, преодолевая боль в боку, Николай Федорович влезал в седло и ехал в сопровождении табунщика по конюшням. Гораздо проще было ходить.

Дневальные выжидающе смотрели на нового начкона. Что делал с оседланным конем Булатов в семь утра? Лаховский не стал ломать себе голову и спросил у конюхов.

— А надо, значит, было, — уклончиво и отворачиваясь, чтобы спрятать усмешки, отвечали ему. — Надо быть, знал — зачем.

На следующее утро коня ему не подали.

Заведенное Булатовым, на миг воскресшее снова, обваливалось, как отсыревшая штукатурка. Николай Федорович это видел и испытывал острое чувство бессилия. Почти неполноценности.

Надо было отдавать вожжи. Кому? Начкон начал искать. Это было и больно, и неприятно... и необходимо.

Летом на завод приезжали студенты-практиканты. Николай Федорович обычно ждал их с нетерпением. Звал к себе, угощал, расспрашивал. И — охладевал. Все было не то. Один за другим практиканты уезжали с завода и получали назначение в другие места.

Год за годом Лаховский не мог никого найти. Он вспоминал растопыренную фигуру конюха на плече у Булатова, битком набитую конюшню, где Булатов читал лекции, — и твердой рукой подписывал отказы: смена, которую ему предлагали, его не устраивала.

Однажды — это было перед большими скачками, уже прошло пять лет после войны — Николай Федорович зачем-то пошел ночью в конюшню, где стояли его ахалтекинцы.

Конюшня спала. Притулился к лежащему на соломе седлу дневальный, из денников сонно фыркали и похрапывали кони.

По центральному проходу рослый паренек лет тринадцати водил тихим шагом текинца Гелишкли. За пояском мальчика торчал пучок люцерны. Мальчик вытягивал стебельки из пучка и по одному давал их коню. Жеребец лениво и доверчиво пережевывал скудную травку.

Шел третий час ночи.

— Ты что не спишь? — спросил Николай Федорович паренька, когда тот поравнялся с ним.

— Готовлю коня, — ответил паренек, и что-то давно забытое почудилось начкону в его ответе. Мальчишка не испугался, не убежал. Черные, будто масло налитое, глаза скользнули по Лаховскому.

Сопел спящий конюх. Мальчишка с жеребцом тихо уходили по полутемному проходу. Вот они прошли под

лампочкой, и начкону снова почудилось что-то знакомое — какой-то затылок особый... Где-то он уже его видел. Ну, поверни же, поверни голову, подумал начкон. И мальчик повернул голову. На макушке весело торчал знакомый вихор. Мальчик посмотрел коню в глаза и, подняв руку, поправил сползшую на глаз уздечку.

— Гуляй, гуляй, — сказал он. И в голосе его были для начкона знакомые интонации.

А что это он делает? — вдруг подумал начкон. Что это он делает с моим жеребцом? Ведь Гелишикли скоро скакать! И Николай Федорович уже совсем было готовился крикнуть, позвать мальчишку и выгнать его из конюшни, как вдруг смутился. Он не мог этого сделать. Не мог даже приказать поставить жеребца в денник.

Что это со мной? — подумал Николай Федорович. А мальчишка шел обратно по проходу, неторопливо подставляя под ноздри коня длинные вкусные стебельки.

— Долго ты еще будешь ходить? — спросил Николай Федорович.

— Всю ночь, — ответил мальчик.

И опять начкон хотел крикнуть. И опять не мог.

Так они и говорили. Когда мальчик и конь равнялись с начконом, тот задавал, робея и смеясь над собой, следующий вопрос.

И мальчишка односложно отвечал.

— Что все-таки ты делаешь?

— Готовлю коня.

— Ты как-то странно его готовишь...

— По книге. Вон там она лежит.

— Где ты взял эту книгу?

— Мать говорила, что она отцовская.

— Где твоя мать?

— Умерла.

— С кем ты живешь?

— Я детдомовский.

— Почему ты ночью здесь?

— Я вылез через окно.

Начкон зашагал рядом с мальчишкой. Проснулся конюх. Увидев начкона, вскочил было, а потом снова сел. Вспомнил, что Лаховский всегда делает вид, что не видел спящего.

— Ты давно в детском доме?

— Третий год.

— И все время хранил эту книгу?

— Осталась только эта. Раньше другие были. Тоже про коней. Ребята утащили. Эту я ношу с собой.

— А отец жив?

— Не знаю. И мама не знала.

— Кем он был?

— Он знал про коней все.

— Как тебя зовут?

— Сергей, — ответил мальчик.

— Сергей, — повторил начкон. — Сергей... — и задумчиво, глядя в глубину конюшни, добавил: — Сергей Булатов...

— Откуда вы знаете? Это ведь моя фамилия.

— Да... И твоя тоже, — ответил начкон.

Теперь Сергей кончал Тимирязевку.

А вдруг его направят на другой конный завод? Вдруг не отдадут? И Николаю Федоровичу становилось страшно. Но страх был кратковременным. Теперь он знал, что если Сергей хочет стать здешним начконом — он им будет. Уверенность и непоколебимость, казалось, гнездились в молодом Булатове.

«Держись, старик. Дотягивай».

Сергей приезжал на завод как к себе домой. И на время его приезда все становилось не таким. Во всяком случае, для старого начкона.

После поступления в академию Сергей отсутствовал почти год. За это время назначили нового директора, полковника в отставке.

Летом Сергей, как всегда, приехал к Николаю Федоровичу. И сразу понесся по конюшням.

Новый директор с Николаем Федоровичем и другими зоотехниками обсуждали, что делать с бешеным арабским жеребцом. Жеребец был куплен в Египте и прибыл неделю назад. Его еле удалось завести в денник. Но войти за дощатую перегородку уже больше никто не мог.

Сергей появился в конюшне как раз тогда, когда было решено опутать араба ремнями, повалить в деннике и подержать некоторое время связанным.

— Давайте опутывайте, — сказал новый директор. — А то он не ест, не пьет и еще потом кого-нибудь утробит. Отвечай тогда!

— Подождите, — сказал Сергей. Он стоял сзади. — Я попробую с ним что-нибудь сделать.

— А ты откуда? Кто такой? — спросил директор, впервые его увидевший.

— Студент-практикант, — ответил Сергей.

— Ну и что?

— Я попытаюсь его приручить.

— Давайте, давайте, — не слушая больше Сергея, сказал директор. — Заводите корды. Осторожно надо взять, чтобы не побился. Соломы побольше. Четыре тысячи валютой... Его снимать скоро приедут!

Новый директор любил, когда на завод приезжали с киностудий и с телецентра.

— Так я попробую, — сказал Сергей и взялся за щеколду денника.

— Что-о-о? — спросил директор. Этого он уже не любил.

Сергей откинул щеколду и вошел в денник.

— Куда?! — заорали конюхи.

Директор и Николай Федорович отскочили от двери.

Сергей, глядя на жеребца, нашел рукой сзади щеколду и закрыл за собой дверь.

Конь и человек стояли в противоположных углах денника.

Между ними было метра три.

Жеребец оскалил зубы и приложил уши. Ноздри его раздулись и дернулись. Он стал медленно оседать на задних ногах.

— Прыгнет! Берегись! — заорали сзади.

В глазах араба понеслись оранжевые искры.

— Прыгнет! Прыгнет!!

Рука Сергея все еще лежала на щеколде. Если бы он хотел, он мог еще выскочить.

И конь прыгнул. Он рванулся из своего угла, и в следующий момент доски и бревна денника застонали и затрещали от его копыт. Сергея под копытами не было. Позеленевший, но внешне совершенно спокойный, он стоял на соломе сбоку.

— Асуан... Асуан... — мирно приговаривал он.

— Убьет, убьет же! — закричал директор. — Вытащите идиота! — Его крик потонул в новом грохоте. Вставший на дыбы араб снова рухнул на дощатую перегородку.

— Асуан... Асуан... Дурак же ты... — несло из денника.

Жеребец бился о доски, и каждый раз Сергей оказывался сбоку.

Потом они очутились в прежних углах.

Сергей снова стоял у выхода. Асуан — в дальнем углу.

Прошла минута, другая.

И вдруг жеребец вытянул вперед шею и заржал.

Его голос, как весенний гром, покатился по конюшне, и в соседних денниках захрапели застоявшиеся жеребцы. Послышались удары копыт в перегородки.

Асуан стоял, опустив голову и глядя фиолетовым непонимающим глазом на Сергея.

Сергей вдруг сделал быстрое движение, будто хотел броситься к жеребцу. Конь всхрапнул и шарахнулся крупом в угол. Хвост его поджался.

Сергей откинул щеколду и вышел из денника. Мелкая испарина покрывала лицо.

— Не надо вязать, — сказал он.

— А что ты предлагаешь? — спросил директор.

— Поручите его мне.

— Отвечай потом за обоих... — уже менее уверенно сказал директор.

Сергей молчал. Он прислонился спиной к перегородке и редко, глубоко дышал.

— Ну так что? — спросил у всех директор. Зоотехники молчали. Все решил сам Асуан. Он вдруг шагнул из своего угла и, уткнув голову в поилку, стал жадно, тяжело пить.

— А-а, — сказал директор. — Мать с ним, пусть занимается...

Вечером конь подошел к кормушке, к концу недели позволил надеть на себя уздечку. Сергей каждый день заходил в его денник.

Часа три Николай Федорович пробыл в нижней конюшне. Кроме Баллады пришлось возиться еще с одной кобыдой — на выгоне наелась травы с землей. Когда начкон вышел из конюшни, был первый час ночи. Завод спал. Сверху, из домов, доносился ленивый и глухой собачий лай, на пруду самозабвенно орала лягушка, далеко, в просвете между горами, прополз светящийся червячок электрички, и звук ее не дошел, скраденный расстоянием.

Пройдя метров сто, Николай Федорович остановился. Он нащупал в кармане пробирочку с нитроглицерином, но не вынул ее, а только повернул пробкой наверх.

«Дотягивай», — подумал он. Ему вдруг захотелось услышать от Сергея не только эти слова. Он вложил в мальчишку свою душу, и принял тот ее или нет — это был уже другой вопрос, а Николай Федорович полюбил

Сергея. Как сына или не как сына — он не знал. Потому что у начкона никогда не было сыновей.

«Дотягивай». Он дотягивал и знал, что простит Сергею и грубость и отчуждение, лишь бы передать ему вожжи. Но все-таки хотелось тепла... И разве чему-нибудь, кроме доброты и человечности, учил он Сергея? Ничему другому он научить Сергея не мог, а выяснилось, что ни доброты, ни тепла в Сергее нет. Вернее, были, но только для лошадей. С людьми он был груб и нетерпим.

«Дотягивай». И старик вдруг подумал, что Сергей приедет на завод и скажет: «Все, старик. Хватит. Кончилось твое время». Сергей это вполне мог сказать.

Ну и что же, думал старый начкон. Сейчас такое время. Дело делают сильные, жесткие люди, у которых нет времени на душевные выкрутасы. И Сергей такой. Может быть, и его отец был таким? Может быть, таким был и отец?

Но Николай Федорович этого не знал, не видел таким начкона Булатова и не мог его таким себе представить... А может быть, просто время было не то, и можно было полагаться на людей? Или его, Лаховского, годы — не те?

И старый начкон начинал сомневаться — то ли он сделал. Того ли человека готовит себе на смену. Он думал и вспоминал.

Вот они едут с Сережей в Москву.

Центральный ипподром.

По среднему кругу несутся рысаки, а в центре, на конкúрном поле, закрытом кустами, перед немногочисленными знатоками идет последний отборочный перед Олимпийскими играми конкúр.

И мастера один за другим манежным, танцующим галопом выходят к судейской трибуне, поклонившись, натягивают глубже картузы и, привстав на стремянах, нависая над шеями лошадей, плавной дугой, под удар колокола, выходят на старт. Ноги лошадей будто ветром относит вбок, всадник заходит на паутину, и хоп — паутина сзади, хоп — сзади цветочная этажерка, хоп — водяной ров... Хоп. Хоп. Хоп. А перед каменной стеной закидка. И еще закидка. И еще.

А над ровной линией кустов видны только уши идущих по большому кругу рысаков, и чуть сзади встает быстро оседающее облако коричневой пыли.

И слышно, как сошедший с коня всадник и его тре-

нер идут, переругиваясь вполголоса, вдоль края конюрного поля и тренер запальчиво говорит:

— Не самолет же это. Кобыла. Свисти не свисти — не прыгнет, если ты ей не поможешь...

А перед судейской коллегией уже новый всадник. И новый конь выписывает на галопе легкие узоры тонкими ногами.

Хоп. Хоп. Хоп.

— На нулях! — вразнобой кричит трибуна; эта трибуна говорит и кричит, она не орет, и этот крик гаснет в вое ипподрома, — там к финишу подходят рысаки.

Сергей — ему еще не было шестнадцати — бледнел и вцеплялся в скамейку. Он еще ни разу не был на больших соревнованиях.

Следующий наездник не снял картуза. Он нагнул голову, и вдруг Сергей схватил Николая Федоровича за рукав:

— Смотри...

Девушка собрала поводья и дала шенкель. Рослый жеребец сделал несколько шагов рысью, пошел галопом, и Николай Федорович увидел, как дрогнуло нежное некрасивое лицо всадницы. Она будто на миг забыла, что надо делать, когда конь пошел на препятствие, но в следующее мгновение уже нависала всей своей тонкой фигуркой над конской гривой и так же, как предыдущие мастера, приподнялась на стремянах, и тот же колокол звякнул ей вдогонку.

Паутина... рраз, каменная стенка... рраз.

Рраз. Рраз.

Девушка неслась к жердевой изгороди.

Березовые кривоватые жерди невысоко висели над землей. Препятствие было легче, чем другие, поэтому перед ним не было заложения — полоски песка, извести, мятой в землю доски...

Девушка неслась к березовым жердям.

Хоп.

Жеребец снялся чуть раньше, чем было нужно, и чуть слабее получил шенкель. И, уже приземляясь, будто перекатываясь через невидимый горбатый мостик, почувствовав, наверное, что не дотянул, — дернул передними ногами вверх, но одно копыто уже пошло под брус, и так, ножницами, наискось схватив передними ногами березовую жердь, путаясь в ней, ломая суставы, он упал на колени, мордой, вдавливая собственные глаза в мягкую землю, встал на лоб и рухнул спиной на вылетевшую из седла всадницу.

— О-ох! —дохнула трибуна. К бьющему воздух копытами коню понеслись всадники и побежали пешие.

Николай Федорович не успел схватить Сергея. Он видел только, как мелькнул под веревкой затылок. Народ бежал к жердевому забору.

Николай Федорович подоспел к месту происшествия, когда толпа уже стояла неподвижно.

— Шейные позвонки, — сказал кто-то.

Тело девушки лежало на траве, заслоненное стоящими около нее на коленях людьми. Сергея в кругу не было.

Он сидел на земле, за препятствием. На коленях его лежала оскаленная голова жеребца. Сергей плакал.

Николай Федорович подошел к нему.

— Дура. Ду-ура! —шептал мальчик. — Дура. Иди-отка.

— Ну-ка, замолчи, — сказал старый начкон.

И Сережа повернул к Николаю Федоровичу зареванное лицо и, срываясь, крикнул:

— Так ей и надо, дуре... Надо книжки читать. Кто ж на горбоносом коне через препятствие прыгает?

У лежащего жеребца была типичная «звезда султана».

Николай Федорович схватил Сережу за руку и рывком поднял его с земли. Он втокнул заплаканного мальчишку в толпу и пихал его в спину до тех пор, пока Сергей не очутился в первом ряду. А дальше был вой несущейся по краю ипподрома «скорой помощи», люди в белом, еще люди в белом, и их суета, внезапно сменившаяся неподвижностью.

Тело увезли. Сергей стоял молча. Потом повернулся к коню. И тут лицо его снова запрыгало, задергалось.

Если конь и человек будут тонуть, подумал Лаховский, а спасти можно лишь одного, Сергей не станет даже сомневаться...

Начкон шел к дому. Доберман петлял у ног, подскуливал, жался поближе.

Начкон шел домой, и ему не хотелось идти, не хотелось зажигать лампочку без абажура в высокой гулкой комнате, не хотелось ложиться. Время, когда он мог еще заснуть, было пропущено. Пройдя несколько шагов, начкон останавливался и, повернувшись лицом к спуску, отдыхал. Уходила к станции чуть различимая в темноте дорога, вставала луна, и на засветлевшем с ее стороны небе проступил силуэт склона плоской горы.

Старый начкон смотрел вниз.

Он смотрел в темноту, на этот кусок мира, который его окружал и был его миром, и думал.

Думал о лошадях, о своей старости и о Сергее.

Что ж люди, думал начкон. Может быть, им не так нужно, чтобы Сергей их любил. Ведь повинуются они ему с полуслова.

А может быть, его неприязнь обращена не ко всем людям? Но это уже было слишком обидно — не попасть в число избранных. А может быть, Сергей имеет основание так ко всем относиться, подумал начкон. И тут же себе ответил: нет, права на это нет ни у кого.

Из нижней конюшни донесся глухой протяжный крик. Казалось, не лошадь ржет, а кто-то тягуче и тонко кричит о помощи.

Кричит — и не может, не в силах замолчать. Остановиться.

Старый начкон понимал, что скоро придет конец. Все силы — их оказалось немного, он это чувствовал и знал, — отданы лошадям, сил было мало, но он отдал их все. И он знал, что, куда бы он ни ушел и ни уехал, каждый день того небольшого остатка жизни, который ему отпущен, он будет вспоминать стремительную настильную рысь ахалтекинцев, сухих, высоконогих, и призывное, тонкое, от которого ярятся в денниках жеребцы и роют солому копытами пришедшие в охоту кобылы, — тонкое, а потом расходящееся, идущее от дрожащей кожи живота, спины и ноздрей ржанье. Мощное, как труба, неистовое, степное, единственное в лошади, оставшееся неподвластным человеку.

От нижней конюшни по темной дороге шел человек.

— Эренцин, это вы? — крикнул начкон.

— Гюн Баллада живот, — ответил конюх.

Начкон еще раз посмотрел вокруг и заковылял вниз, к конюшне.

— Пойдем, Аракс, — сказал он собаке, — обратно, обратно.

«Слава богу, для меня есть еще дело, — подумал он. — Держись, старик. Дотягивай».

Ему вдруг стало страшно, что скоро приедет Сергей.



СОДЕРЖАНИЕ

ГОРИЗОНТ ЧИСТ. <i>Повесть</i>	3
ЩУКИН. <i>Рассказ</i>	82
ВЕСНОЙ. <i>Рассказ</i>	105
ДОЖДЛИВЫЙ МАЙ. <i>Рассказ</i>	123
ДЕКАБРЬ. <i>Повесть</i>	146
ВТОРАЯ «АМЕРИКАНКА». <i>Повесть</i>	211
ЗА НОВГОРОДОМ. <i>Рассказ</i>	293
В ТУНДРЕ. <i>Рассказ</i>	311
ДЖЭН. <i>Рассказ</i>	331
ЭТО БЫВАЕТ ВСЕ РЕЖЕ... <i>Рассказ</i>	338
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ НА БАЙКАЛЕ. <i>Путевая повесть</i> . . .	345
НАЧКОН. <i>Маленькая повесть</i>	392

Михаил Сергеевич Глинка

Дождливый май

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Заведующий редакцией *А. И. Белинский*

Редактор *В. М. Шевелева*

Художественный редактор *И. В. Зарубина*

Художник *А. И. Векслер*

Технический редактор *И. Г. Сидорова*

Корректор *Г. И. Семенова*

ИБ № 3754

Сдано в набор 14.11.85. Подписано к печати 23.05.86. М-26458. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,16. Уч.-изд. л. 23,91. Тираж 65 000 экз. Заказ № 224. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лени-
издат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени ти-
пография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Г54 Глинка М.
 Дождливый май: Повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1986. — 414 с.

В книгу ленинградского прозаика вошли повести и рассказы, сюжеты которых тесно связаны с Ленинградом, с его людьми, с заботами и делами наших дней, с событиями истории города и страны.

Г 4702010200—075
 М171(03)—86 202—86

84.3(2)7